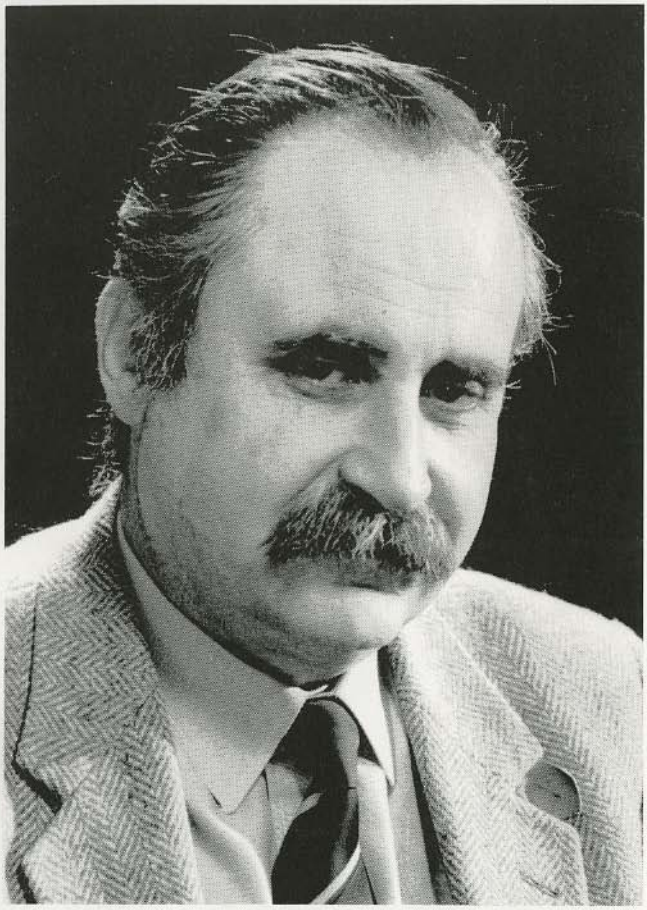
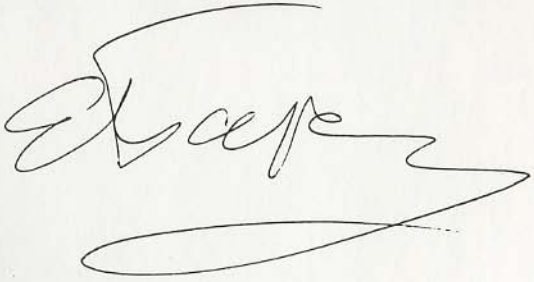
Еремей ПАРНОВ

1

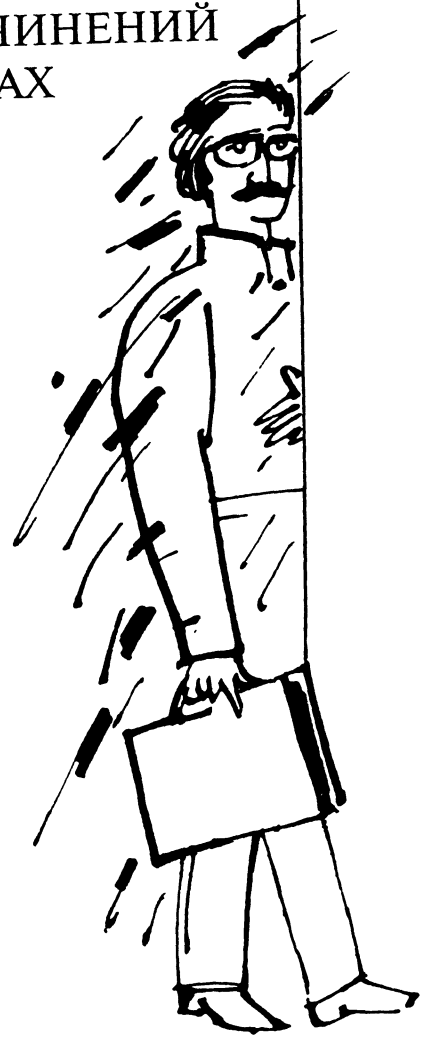




Еремей
ПАРНОВ

Еремей ПАРНОВ

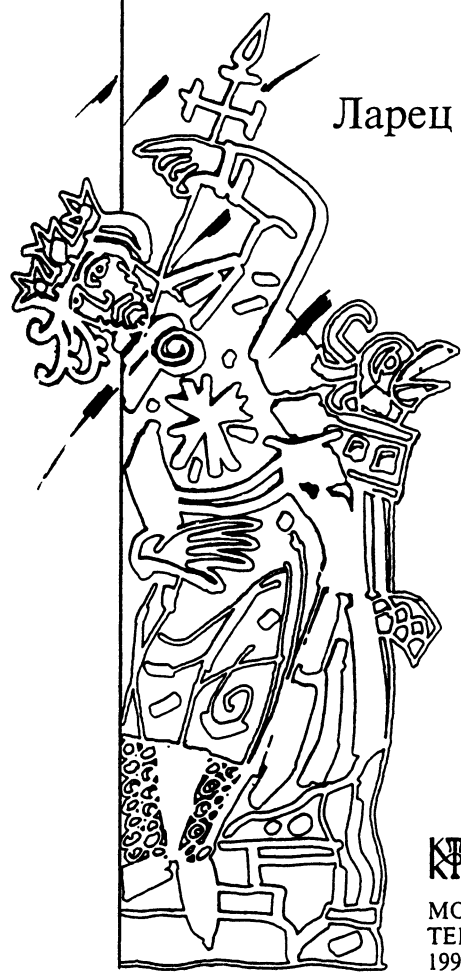
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ



Еремей ПАРНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Ларец Марии Медичи



КЛУБ ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1998

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
П18

Художник
С ЛЮБАЕВ

Парнов Е. И.
П18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1: Ларец Марии Медичи: Роман. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 384 с.

ISBN 5-300-01819-8 (т. 1)
ISBN 5-300-01818-X

Еремей Парнов — известный российский писатель, публицист, ученый и путешественник, автор научно-фантастических, приключенческих, исторических и детективных произведений, пользующихся неизменным успехом у читателя

В первый том включен роман «Ларец Марии Медичи» — захватывающий детектив с элементами мистики, в котором автор, описывая похищение таинственного ларца, из XX века переносит читателя в глубины истории

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-300-01819-8 (т. 1)
ISBN 5-300-01818-X

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1998

ПОД ЗНАКОМ КОЛЬЦА

Авторское вступление таит в себе множество подводных камней. Никогда не знаешь, какой из них пропорет днище лодчонки, которую ты самонадеянно погнал в открытое море, вместо того чтобы осмотрительно держаться в виду берега. Здесь многое зависит от первой фразы. Упаси Боже начать с личного местоимения. Тут же коварное течение увлечет в такую даль, что и подумать страшно. В лучшем случае получится исповедь, о которой никто не просил, не слишком искренняя к тому же. О панегирике в честь собственной персоны и говорить не приходится: самое последнее дело. Проторенный форватер биографической хронологии тоже не сулит ничего хорошего. Начинать с отдаленных предков, как это было во времена оны, в наше время смешно. Тем более, если они не записаны в «Бархатную» родословную книгу, а если записаны, все равно никто не поверит. Еще более дурацкая ситуация может сложиться, коли угораздит — бывали такие случаи! — назвать родильный дом, в коем выпало несчастье появиться на свет. Лучше уж вспомнить о родной школе. По крайней мере можно пококетничать по поводу двоек за поведение. Дескать, такой был хулиган, а что вышло! Вышло собрание сочинений, к которому твои мерзкие выходки не имеют никакого отношения. Это этап, если не итог, жизни. От него и надо танцевать.

Впрочем, все связано в этом мире, абсолютно все. Тем не менее мне кажется не совсем достойным говорить о себе, перечисляя удачи и промахи, от которых некуда деться. Так о чем же тогда говорить? О чем?!

Пожалуй, следует позаботиться о формальной стороне дела. Чувство стиля подсказывает, что сюжет придется закольцевать, а раз так, то нужно подумать не столько о начале, сколько о конце. Выйти бывает много труднее, чем войти. Тем и славно кольцо, что в нем, как поется в песне, нет ни конца, ни начала.

Однажды Иван Антонович Ефремов — это было уже незадолго до его смерти — подарил мне зеленый от патины обломок буддийской статуи. Он нашел кисть неведомого божества в гобийской пустыне среди раскаленного бурого щебня. Тонкие бронзовые паль-

цы, соединясь в кольцо, образовали знак, символизирующий неразрывность причин и следствий.

Благодарная память очень вовремя воскресила давнишний эпизод. Во-первых, представилась возможность помянуть добрым словом учителя, во-вторых, кольцо — универсальная эмблема, способная объять самые разнородные элементы действительности, облегчив тем самым неблагодарную задачу говорить о себе.

Это и знак буддийского закона, и «врата рождения» даосов, и змей алхимиков, олицетворяющий тайну и чудеса превращений, творящая пустота индуистского космоса и физический вакуум, насыщенный нерожденной материей и полями.

Чарлз Сноу когда-то вызвал сенсацию, заявив, что культура окончательно разделилась на естественно-научную и гуманитарную. Видимо, так оно и есть, но для меня они неотделимы друг от друга, и графическим выражением этого единства и взаимоперетекания тоже может служить кольцо, объявшее столь притягательные для меня предметы.

Я благодарен судьбе за то, что, стремясь к искусству, получил тем не менее техническое образование и двенадцать лет проработал в науке как экспериментатор и как теоретик.

Физика и физическая химия дали главное: понимание мироустройства на всех его уровнях. От элементарной частицы до метагалактики, которые, не исключено, тоже смыкаются в бесконечный круг, ибо рождены из единой точки.

Едва ли есть смысл пересказывать содержание романов и повестей, включенных в данное собрание. И уж тем более пытаться их как-то анализировать, истолковывать или перетолковывать. Пусть этим занимаются критики и литературоведы, если, конечно, готовы оказать подобную честь. Еще более странно выглядела бы попытка затронуть вещи, которые по тем или иным причинам остались «за бортом».

Пожалуй, если о чем-то и стоит поговорить, так это жанровые различия и, главное, тенденции, что обусловили тот или иной выбор. Порой такое выходило случайно, порой преднамеренно, но всякий раз где-то за горизонтом маячила заведомо недостижимая сверхзадача. Оглядываясь назад, я вижу теперь, что продвигался — хорошо, если так! — не по прямой, а своего рода витками. Остается только надеяться, что это был путь по спирали, а не гонки в замкнутом круге. Начав с научно-художественной литературы, я довольно плавно перешел к научной фантастике, затем увлекся историей, а когда жизнь позволила собственными глазами увидеть священные камни — древней и древнейшей историей. Затем произошел качественный, опять-таки надеюсь, скачок, и после двенадцати лет перерыва — универсальное, зодиакальное, священное число — фантастика вновь завладела моими помыслами. Но на ином уже уровне. Оставаясь в основе научной, она претерпела нечто вроде алхимической трансмутации. В неразрывном единстве мира и человека на первое место вышла душа че-

ловека. Алхимия здесь всего лишь метафора. Стремясь к совершенству и совсем не обязательно достигая его, писатель, подобно искателю философского камня, тоже испытывает известные превращения. Можно возразить, что мудрствование тут не уместно, и единственным движителем перемен является сама жизнь. Пожалуй, я соглашусь с этим, хотя не все так просто.

Какие вещи считать как бы этапными? Право, не знаю. Из потока строк, как и из потока жизни, трудно вырвать что-либо, не нарушив общей взаимосвязи. Тем не менее все же решусь разбить витки на отдельные отрезки. В названной выше последовательности от науки к фантастике, в которой физика, говоря обобщенно, отошла на задний план, а архетип, вместе с коллективным бессознательным (по Юнгу), как бы дал ключ, возможно, мнимый, к тайнам пространства и времени.

Вот нужное слово: тайна! Она-то и влекла меня с самого детства. Даже названия книг, посвященных исследованию основ мироздания, несут на себе фрейдистский отпечаток неутоленного доселе стремления приподнять покрывало Исиды.

«Окно в антимир», «Дальний поиск», «На перекрестке бесконечностей». Мы и вправду стоим на таком перекрестке. Дороги в бесконечно малое и бесконечно большое проходят через мозг, который тщится понять, и сердце, что предчувствует зов запредельности, откликаясь на ритмы Вселенной.

Из романов начальной (шестидесятые годы) поры, совпавшей с расцветом запретной прежде фантастики, я бы назвал «Душу Мира» и «Море Дирака». Рассказы — не в счет, хотя в ряде случаев они и предвосхитили открытия в разных областях науки и техники. Нейтронную бомбу, например. Впрочем, «открытия» слишком сильно сказано. Речь, само собой, идет об идсях. Это единственное, на что способна в этом плане литература.

Прежде чем двинуться далее, следует особо сказать о путешествиях, хотя в полном смысле слова их было не так уж много: Вьетнам, Лаос, Гималаи, Монголия и дальнее плавание через Средиземное море в Атлантику. Остальное скорее подпадает под категорию поездок, хотя порой достаточно одного мгновения, одного беглого взгляда, чтобы увидеть и понять нечто важное, пусть для тебя одного, из чего и произрастет потом волшебная кристаллизация. Нам не дано предугадать, скажу перефразируя Тютчева, в какие формы она отольется.

Все же мне удалось побывать в тех местах, где возникли главные центры древних цивилизаций, но прошло тридцать лет, прежде чем я смог четко сформулировать мучавшую меня с детства интуитивную догадку об изначальном единстве религий и искусства. Книга «Кольцо Змея» потребовала еще нескольких лет. Как странно! Я писал о гибели Трои и Теночтитлана, Крита и Ниневии, Вавилона и Хатусаса, а под ногами шаталась земля. На глазах рушилась последняя империя. Географические пункты, где создавались ключевые главы, превращались в заграницу. Как ина-

че могу я назвать Дубулты или Пицунду, которые почитал своими, любимыми, где так хорошо и спокойно работалось? Географические пункты.

Впрочем, я забегаю вперед. Или, может, это витки накладываются один на другой?

Журналистские поездки по Средней Азии сублимировались в повесть о средневековом властителе-астрономе Улугбеке («Атлас Гуратона»), Вьетнам, где я был корреспондентом на трех войнах, тоже заставил дать крен в прошлое, хотя и не столь давнее (роман «Красный бамбук — Черный океан»). В газеты, командировавшие меня, отписывался, как положено, самыми свежими впечатлениями, а душу тянуло к истокам: повесть об открытии загадочного Тибета «Бронзовая улыбка». Прямым откликом на увиденное, продуманное и в какой-то мере выстраданное стала книга «Боги лотоса», жанр которой определить не берусь. Философские эссе, основанные на непосредственных наблюдениях путешественника? Скорее благодарная дань судьбе, позволившей пройти путями Будды и его учеников. Ничто, даже книги, которым я обязан практически всем, не может заменить личную причастность к месту, отмеченному следами великих учителей человечества. Земля, небо, светила — сама природа одухотворяет высокие истины, запечатленные в знаках письма. Тем более что, как говорится, свято место пусто не бывает. Встречи с Четырнадцатым далай-ламой Тибета, с Кумари — непальской девочкой, возведенной в ранг «живой богини», мудрецами и йогическими подвижниками Индии дали мне новое понимание той реальности, что нам дано ощутить на краткий срок пребывания на Земле. Так называемая «парадоксальная буддистская логика» позволила приподняться над усвоенными с институтской скамьи догматами насчет «борьбы противоречий» и увидеть их действительное «единство». Кто виноват, что, как сказал Маяковский, «мы диалектику учили не по Гегелю»? Жаль, что не по Гегелю, но ведь и Гегель не знал такой, к примеру, системы как «Навья-ньяя».

В древнем памятнике «Ямато-моногатари», то есть Японских сказаниях, мне запомнилась одна танка, долго тревожившая воображение неуловимой логической игрой:

Расставаясь с жизнью,
Все же встретиться с тобой —
Такой клятвы я не давала.
Но бренное мое тело
На воде показалось.

Поэтичность, проникновенная грусть — это было на поверхности и не требовало никакой расшифровки. И все же оставалось нечто такое, что никак не укладывалось в слова. Я обратился к приятелю-японисту, который растолковал игру омонимов: ми-во нагу — «броситься в воду» и «умереть», укими — «бренное тело» и «всплывающее, плывущее на поверхности воды тело». Смысл опре-

деленно углубился, подобно свече, отражающейся в супротивно поставленных зеркалах, но тайна так и осталась несказанной.

Слитность объекта с субъектом — вот то главное, что отличает миросозерцание Востока. Именно здесь скрыта тайна его очарования, равно как и ключ к подтексту, без которого едва ли возможно постигнуть глубинную суть и философии, и литературы. Впрочем, есть еще и особая, в чем-то приближающаяся к алгебраической, логика, которую вполне заслуженно именуют парадоксальной. Свободно оперируя привычными для западного сознания полярностями, она как бы приподнимается над ограниченностью «да» и «нет», проскальзывая сквозь дискретные ячейки утверждений-отрицаний, словно вода, не теряющая своей текучей сплошности.

Вот характерный пример, взятый из сутр «Праджняпарамиты», написанных в конце третьего века н. э. в Индии: «Когда Будда проповедовал о скоплении пылинок, то это были не-пылинки. Это и называют скоплением пылинок».

Как тут не вспомнить, что слово изреченное — есть ложь? А если и не ложь в прямом, точнее, примитивном смысле, то по крайней мере и не истина. Ибо всякое описание расходится с реальностью, так как язык оперирует лишь «ярлыками, надетыми на реальность». Считается, что подобная логика — не формальная и не диалектическая — опирается на философское понятие пустоты — «шуньяты».

Не вдаваясь в метафизические тонкости, я все же рискну поспорить по поводу ее «недиалектичности». Трудно не увидеть, что выстраивается характерная триада из утверждения, отрицания и некого возвращения к изначальному утверждению, но как бы уже обогащенному попыткой ниспровержения. На мой взгляд, это не только оригинальный, но и весьма многообещающий метод анализа.

На конгрессе Пен-клуба в Бледе (Словения), темой которого была извечная проблема «Правда истории и правда искусства», я попробовал построить выступление на фигурах парадоксальной логики.

Правда истории — правда искусства. Противоречие как будто бы заложено здесь уже в основе. История принадлежит прошлому, искусство, подлинное искусство, всегда современно.

Значит — две правды? Притом разные?

Но кто может отнять у капризной музы истории Клио право быть современной? Напротив, ее постоянно подновляют и подправляют. Ей то тут, то там накладывают самый модный макияж. Вспомним Джорджа Орвелла: «Кто конструирует прошлое, тот конструирует настоящее, кто конструирует настоящее, тот конструирует будущее».

Это одна, крайняя сторона. Но есть и другая. «Кто не заботится о будущем, тот уже потерял настоящее». Как автор научно-фантастических романов, я знаю цену этой нестареющей истине древних римлян. Но как писатель-историк, всегда помню об условности временных разделений. О стойкости идей, порой порочных и диких,

проникающих в самую лучезарную действительность из обветшалых гробов.

В романе «Клочья тьмы на игле времени» была сделана попытка соединить научную фантастику с исторической прозой. Хотелось попытаться взглянуть на прошлое как бы из далекого будущего. Обнаружить сходные элементы, будь то идеология, пропаганда, ритуал, в самых различных эпохах.

Как иначе можно было обнажить корни фашизма, выявить его живучие ростки? Так от научной фантастики я пришел к историческому роману. И этот полет, это путешествие в катакомбах истории нравится мне все больше и больше. Следы минувшего неожиданно проступили даже на шумных улицах современных городов мира, как путеводные знаки.

И здесь рубежным видится мне роман «Ларец Марии Медичи», за которым через неравные промежутки времени последовали «Третий глаз Шивы» и «Мальтийский жезл», объединенные в трилогию не столько сквозным героем, вернее, героями — детективом Люсиным и писателем-историком Березовским, сколько общим методом внедрения исторических ретроспекций.

Писатель всегда останется писателем. Даже если он работает как археолог, историк. Вольно или невольно он ищет свою правду, а не правду истории. Надо ли бояться, что эта сугубо личная правда более субъективна, чем некая всеобщая? Я вообще сильно сомневаюсь в существовании универсальной исторической истины. В странах Востока на Чингисхана смотрят иначе, чем в Европе. Впрочем, и на Востоке едва ли найдется общая точка зрения. У правнуков лихих конников завоевателя мира одна память, у правнуков его жертв — другая. Нет и не может быть единого взгляда, к примеру, на образ Наполеона. Даже в русской литературе легко обнаружить различные нюансы. Скажем, почти апологетический, невзирая на «Бородино», у Лермонтова и уничижительный у Льва Толстого.

История — это не только холодный мрамор мавзолеев и горькое молчание руин. Для жаждущих реванша, ее отгремевшие битвы еще продолжаются. Более того: исход этих битв, зафиксированный в хрониках, для них вовсе не окончателен.

После страшной войны, опалившей детство моего поколения, после Нюрнбергского трибунала, многие полагали, что фашизм окончательно и бесповоротно похоронен. Прекраснодушные мечты! Действительность обернулась много сложнее. Человеконенавистническая идеология, мрачная символика фашизма оказались весьма привлекательными и в лагере побежденных, и в лагере победителей. Это серьезный урок на будущее. Урок политический и урок исторический. Не усвоив его, едва ли возможно говорить о какой-то универсальной исторической правде. В глазах мира Иван Грозный — изувер, а его опричники — шайка палачей, но Сталин возвеличивал царя-садиста, воевавшего собственные города, а «кромешников» называл «прогрессивным воинством». Впрочем, и сам

генералиссимус не избежал столь же полярных оценок своей многогранной деятельности.

История — непрерывный процесс. Прошлое, настоящее и будущее взаимообусловлены и взаимозависимы. Понять столь простой философский урок легко. Но для писателя мало только понять. Нужно выстрадать, переболеть, научиться «жить» во всех временах.

Этапами такого ученичества, или, лучше, работы — я как-то стесняюсь употреблять слово «творчество» по отношению к себе — стали исторические романы и повести, приуроченные к переломным эпохам: «Под ливнем багряным» — XIV в., «Витязь чести» — революция 1848 г. в Европе, «Посевы бури» — Россия 1905 г., «Заговор против маршалов» — период репрессий тридцатых годов, «Секретный узник» — времена нацистского рейха.

Академической чистоты жанра я не придерживался сознательно. Перефразируя опять-таки популярную формулу прежних лет, насчет такой-то по форме и такой-то по содержанию, могу сказать, что терпкое вино истории разлито в нестандартную стеклотару остросюжетного романа, порой авантюрного, порой детективного, а то и вовсе политического детектива, как уже названный «Заговор против маршалов». Мне хотелось не только приподнять занавес тайны, окутывающий одно из самых чудовищных преступлений Сталина, когда перед самой войной НКВД совместно с гитлеровской секретной службой СД были уничтожены руководящие кадры Красной Армии, но и выявить сходство обеих тоталитарных систем.

Я всегда писал только о том, что мне интересно, полагая при этом, возможно самонадеянно, что этот интерес «открывателя неизведанного» как-то передается читателю. Что же касается формы, то я по-прежнему убежден в том, что даже самый сенсационный материал требует завлекательного сюжета, и старался выстроить его на нескольких этажах, в расчете на разные степени восприятия. Отсюда известная зашифрованность некоторых книг на глубинных ярусах. Судя по письмам, которые приходили из самых неожиданных мест, грех жаловаться на непонимание. Наш благодарный читатель недавних лет ухитрялся вылавливать между строк даже то, что проглядела цензура, столь чуткая на всяческие аллюзии и «переклички эпох».

Особенно ярко это проявилось с выходом в свет «Трона Люцифера» — довольно объемистой работы, посвященной объективному исследованию магии, астрологии, алхимии, кабалы, тайных обществ — короче говоря, всех тех явлений, которые зрели в обществе, — и вызрели, как это мы видим, — но считались абсолютным табу.

У Поля Валери мне встретилось следующее признание: «Я мыслю, как самый трезвый рационалист, но чувствую, как мистик». Рискну отнести это отчасти и к себе. Эзотеризм пронизывает всю нашу культуру. Без него нельзя по-настоящему понять историю и искусство. Дата написания картин Боттичелли, например, астрологически зашифрована расстановкой персонажей. Но

это не значит, что нужно кидаться головой в омут первобытной дикости.

Сон разума, как известно, порождает чудовищ. Ничто так не способствует иррациональности мышления, как намеренно ограниченная, а уж тем более искаженная информация. И прежде всего в сфере истории, особенно чувствительной к мифологизации. Здесь одинаково опасны всякого рода перелицовки, искажения, недомолвки.

У всякого культа есть две стороны: прагматическая и мифологическая. И проявляются они в самых причудливых сочетаниях. Порой на передний план выступает беспощадный, отчужденный от человека расчет, порой мерещится нечто вовсе запредельное. Диалектически противостоя голому, зачастую циничному практицизму, иррационализм как раз и олицетворяет его сокровенный смысл. Это сродни «бинарной логике», столь характерной для первобытного мифологического сознания. Ад и рай, свобода и рабство, враг и низведанный до послушного винтика единомышленник, светлая правда и черная, как ночь, клевета — вне подобных противостояний нельзя постичь отработанную в веках технологию, превращающую народ в экзальтированную толпу. Без истерии восторга и ненависти, без всеобщей подозрительности, заставляющей в каждом видеть скрытого носителя сатанинской силы, дает сбои даже цепной механизм террора. И это, пожалуй, главный урок, который преподносит история.

Но возникает неизбежный вопрос. Способно ли человечество учиться на собственных ошибках? Ответ подсказывает уже сама наша природа. Последовательно проходя в материнском чреве все стадии эволюции, мы словно бы повторяем грандиозную мистерию жизни. За считанные месяцы пробегаем невообразимую дистанцию в сотни миллионов лет, заботливо освобожденную от тупиков и ответвлений слепого отбора, яростной конкурентной борьбы. Обретя затем отдельность самостоятельного существа и постигая великое таинство речи, каждый из нас как бы проигрывает сценарий становления человека как вида. Неудивительно, что и каждое новое поколение стремится набить на заезженных колдобинах собственные шишки. Прав Бернард Шоу: история учит только тому, что ничему не учит.

Обращая свой взор назад, мы зачастую пытаемся развеять нынешние тревоги. В прошлом уже ничего нельзя изменить. Лишь будущее, пока не сделан действительно роковой шаг, остается открытым. Поэтому едва ли разумно прыгать по вчерашним выбоинам, да еще и с завязанными глазами.

Верно, верно заметил Конфуций: «Народ можно принудить к послушанию, но его нельзя принудить к знанию». Зато знание можно закрыть, а заодно и перекроить мозги, сделав их невосприимчивыми к адекватному отражению действительности. Без него, адекватного, нет понимания, нет чувства личной ответственности и собственного достоинства. И совести в конечном счете тоже. Мы несем в глубинах своего подсознания все ужасы дремучей архаики.

Ни атомная энергия, ни генная инженерия не смогут обуздать спящих чудовищ, что готовы вырваться на свободу под рев озверелой толпы. Между тем, на глазах одного поколения человечество превратилось в космический фактор. С полным на то основанием мы говорим о глобальном влиянии техносферы, о сфере разума — ноосфере, изначально отвергающей все, что способствует разъединению людей. В том числе предрассудки: религиозные, расовые, национальные. Альтернативы этому общемировому процессу нет. От него в конечном итоге зависит наше выживание. Познать, а следовательно, и преодолеть устойчивые стереотипы прасознания в сущности заставляет сама жизнь. Глобальный характер ее мегапроблем, несовместим с любым групповым или узконационалистическим подходом.

И здесь особенно важно помнить, что в борьбе за чистоту разума нет и не может быть раз и навсегда завоеванных рубежей. Каждому новому поколению предстоит мысленно оценить пройденный путь и сделать свои собственные выводы. Это необходимая ступень становления.

Кто мы? Откуда? Куда идем?

Мы не ищем ответов.

Бросая зерно в борозду, не задумываемся над тем непреложным и одновременно удивительным фактом, что работаем на будущее. Суматоха буден, их нервный ритм не очень-то способствуют философским раздумьям над конечным смыслом каждодневных усилий.

Будущее всегда считалось прерогативой пророков, оракулов и астрологов. Наш век добавил к этому списку футурологов, прогнозистов и авторов научной фантастики. Футурология потерпела очевидное фиаско. О прогностическом даре нынешних аналитиков предоставляю судить телезрителям. Равно как и об астрологических экзерсисах, что предписывают всем Львам успех в деловых переговорах во вторник и транспортные осложнения всем Девам — на ближайшую среду.

Поэтому обратимся к фантастике — научной и мифопоэтической. Скорее неявно, нежели узаконенно, обе эти ветви во многом определяют уровень и качество нашего менталитета. Как Джэкил и Хайд в одноименной повести Стивенсона в едином лице. Как правое и левое полушария мозга.

В идеале фантастика представляет собой некий синтетический метод познания, открывающий неизвестные ранее стороны бытия. Не случайно видный футуролог Роберт Юнг отдал пальму первенства в разработке прогнозов не логическому мышлению и даже не критическому исследованию имеющихся данных, а творческому воображению. «Оно характеризует эпоху, — говорит он в работе «Роль воображения в исследовании будущего», — и очень часто выводит ум за пределы противоречий, которые характеризовали прошлое и представлялись неразрешимыми».

Питаясь живительным соком научных идей, фантастика не перестает быть искусством. В отличие от науки, которая неудер-

жимо ветвится, образуя все новые ячейки узкой специализации, научная фантастика всякий раз стремится создать целостную картину мира.

Палитра идей, обгоняющих время, исследование социальных моделей, блистающие солнца утопических миров и мрачные пророчества грядущих опасностей — все это разные лики изменчивой музы. Мгновенные черты, по которым едва ли возможно судить о всем облике. Как незаметно, как естественно просто перетекает она в реальность. «Космический корабль», «космонавт», «космический скафандр», «невесомость» — эти знакомые всем термины подарила научная фантастика. После полета Юрия Гагарина они вошли и в язык науки, и в повседневный обиходный язык.

Фантасты предсказали спутник связи и голографию, атомную бомбу и лазер, подводные аппараты и алмазы в Якутии. Оглядываясь на пройденное, могу добавить генную инженерию, частицы со скрытой массой, вакуумный компьютер и, разумеется, нейтронную бомбу, опередившую реальность на двенадцать лет.

Роль фантастики в современном, бурно развивающемся мире трудно переоценить. Только одно то, что она подготавливает общественное мнение к вторжению в жизнь очередных научно-технических новинок, делает ее незаменимой. Именно благодаря усилиям поколений фантастов человечество приняло как нечто давно ожидаемое и первый искусственный спутник, и первый орбитальный полет, и высадку на Луне.

Психологически мы давно готовы лететь к Марсу и в принципе ничего не имеем против полетов к звездам, что едва ли возможно в обозримом будущем.

Для меня наиболее заманчивой в научной фантастике была возможность выразить невыразимое. Через образ, через метафору, наконец, через символ попытаться перешагнуть барьеры, которые принципиально — таковы законы природы — нельзя одолеть. Вот, на мой взгляд, наиболее типичный пример.

Согласно современным космогоническим представлениям, наша Вселенная переживает процесс бурного расширения из сверхплотной точки, в которой вещество-поле равно как и пространство-время пребывали в некоем невыразимом даже языком математики единстве. Можно ли заглянуть за эту постоянно убегающую от наблюдателя границу? Очевидно, нельзя, потому что, согласно теории относительности, никакой обладающий конечной массой объект не может двигаться со скоростью света. Но на то и существует научная фантастика, чтобы нарушать, причем совершенно осознанно, если этого требует развитие темы, любые запреты науки. Так родился рассказ «De profundis» («Из бездны»), в котором космонавт «прыгает» через барьер, вырывается за «край» расширяющейся Вселенной. И там, где безраздельно властвует — вне времени и пространства — непредставимое ничто, продолжает работать человеческая мысль. Жажда познания, вечно живущая в человеческом сердце, не может смириться даже с налагаемыми

неумолимыми уравнениями «табу», представлялась мне неизмеримо важнее спора с прописными истинами науки.

Такого же рода мысленный эксперимент был поставлен и в повести «Уравнение с Бледного Нептуна», научно-фантастический фундамент которой базировался на идее все того же кольца — алхимического змея, кусающего собственный хвост. Герою повести удается проникнуть в область ультрамалых ячеек или, говоря иначе, перепрыгнуть барьер субквантового микромира. Но дверь, ведущая к конечным основам материи, меньшим самых маленьких элементарных частиц, неожиданно распахнулась в бесконечность Вселенной. В распределении микроточек, вспыхнувших на экране прибора, возникли знакомые очертания галактик. Я избегаю здесь разговора о сюжетных перипетиях, нарочито сосредотачиваясь на проблемной стороне, ибо без философского осмысления научно-фантастического субстрата любые острые ситуации уподобятся прыжкам в безвоздушном пространстве.

Идея повести отталкивалась от тривиальных представлений о бесконечности: бесконечности космоса и бесконечности микромира, объединенных, однако, скоростью света. Применяя слово «бесконечность» к элементарной частице и Вселенной, мы как бы лишний раз подчеркиваем их диалектическое единство. В нем выражено то общее, что заставляет нас располагать атомы и галактики на одной прямой — от меньших размеров к большим, — и так в обе стороны, пока не откажет воображение, пока не взбунтуется заведомо ограниченное мышление. В нашем представлении, таким образом, большое как бы убегает от малого, бесконечность «Микро» расходится с бесконечностью «Мего». Но в природе микрокосмос непрерывно и повсеместно присутствует в макрокосмосе. Природа едина и целостна. Почему же в таком случае не задаться вопросом о месте, или, быть может, о моменте, где обе великие бесконечности сливаются воедино?

О том, что такой вопрос, вполне уместный в научной фантастике, отнюдь не бесплоден и для науки, свидетельствовало позднейшее развитие естественно-философской мысли. Мне было приятно узнать из работы академика М. А. Маркова о том, что математически Вселенную в ряде случаев можно моделировать с помощью... элементарной частицы.

Короче говоря, древний змей так или иначе, но все же замкнул свое великое кольцо.

Еще более сложный мысленный эксперимент был проделан в повести, декларативно озаглавленной «Сфера Шварцшильда». Декларативно потому, что речь идет о реальном астрофизическом термине, которым описывается граница гравитационного коллапса — сжатия звезды. Абстрагируясь от неумолимого факта, что людям никогда не удастся не то что попасть внутрь подобной сферы, но даже приблизиться к границам переживающей катастрофическое сжатие звезды, представлялось все же интересным поставить подобный вопрос. Сможет ли человеческая мысль осознать

невероятную ситуацию, когда вся вечность — от бесконечно далекого прошлого до бесконечно далекого будущего — умещается в неизмеримо коротком миге? Когда прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино? Когда различия между ними перестают существовать?

Вопреки всем принципиальным невозможностям, хотелось дать утвердительный ответ, потому что я не знаю более величественного зеркала, чем Вселенная, где отражен лик человека-творца, человека-познавателя.

Тысячекратно прав был великий физик Макс фон Лауэ, сказавший, что «ничто так не волнует человечество, как свойства пространства и времени». Рискну добавить сюда, что только научная фантастика позволяет «одухотворить» столь будоражащие ум размышления об устройстве мироздания, привнести в них наглядный человеческий элемент.

То же можно сказать и о такой разновидности научной фантастики, как еще недавно столь популярный у нас «роман-предупреждение», повествующий о глобальных опасностях. Однако, если со времен Уэллса это были атомные катастрофы, межпланетные войны и тоталитарная диктатура, то ныне акценты сместились в сторону самой замшелой мистики и мрачной мифопоэтики, реанимированной реалиями смутного времени. Достаточно бросить взгляд на любой книжный развал, чтобы убедиться в том, что, казалось бы, навсегда забытое прошлое вновь дает о себе знать. Расхожая сентэнция об истории, которая повторяется в виде фарса, не лишена смысла, хотя этот фарс то и дело разыгрывается на сцене, залитой кровью.

Фантастика аккумулирует страхи и вожделения общества. Судя по чтиву, которое предложено ему на данном этапе, в общественном сознании происходят опасные подвижки. Особый смысл приобретает ныне предупреждение американского философа Сантаяны: «Тот, кто забывает об истории, обречен на ее повторение».

Так, словно бы помимо воли, меня «вынесло» на дугу фантастики «постисторического» этапа.

Небольшая, но все еще не отболевшая — такое редко бывает со мной — повесть «Проснись в Фамагусте» целиком построена на гималайском местном колорите. Она, таким образом, вобрала опыт, страдания и радость открытий, связанных с путешествиями в Непал и Ладакх, а также всяческими ориенталистскими разысканиями в музеях и монастырских библиотеках. Это было возвращение в лоно жанра, чьим несмываемым клеймом я все едино помечен в глазах общественного мнения. Но возвращение не с пустыми руками, пожалуй, даже и возрождение в определенном смысле. Выбирая героев, я осмысленно остановился на пифагорейской семерке. Зашвырнув их в заповедную долину где-то между Непалом и Бутаном, в затерянный мир, в котором непостижимым образом исполняются самые потаенные вожделения, я, признаюсь, преследовал цель, не обозначенную в фабуле. В явном виде по

крайней мере. Завкафедрой марксизма-ленинизма откуда-то из Свердловска упрекнул меня в печати за нездоровый интерес к потустороннему и пессимистическую трактовку жизни и смерти. Я был польщен, ибо ставил перед собой куда более скромную задачу. Меня интересовала тайна сна, не раскрыв которую, мы никогда не поймем до конца тайну искусства.

Но это так, заметки на полях, между прочим...

Замысел возник случайно, словно со стороны, и долго созревал, ожидая воплощения в образах. Роман «Сны фараона» тоже пережил подобный инкубационный период, хотя здесь-то я точно знаю, откуда пришел первоначальный толчок.

В 1954 году в песках на плато Гизе, рядом с великой пирамидой, отрыли погребальную ладью фараона Хеопса, правившего в 2582—2551 годах до н. э. На таком же примерно весельном судне, выгнутом лунным серпом, мне выпало счастье пересечь Нил. С Востока на Запад. От Луксора, Города ста ворот, с его уникальным храмом Амона, в Долину Царей, в страну мертвых. Красноватая охра скал с фиолетовыми натеками марганцевых солей, бесплодный щебень, убийственный зной, тишина. На другом берегу пальмы, оживленные улицы, магазины, здесь — ни травинки, ни ветерка. Лишь куцые тени в ложбинах, где замурованы потаенные лазы в подземные усыпальницы фараонов. Точнее — были замурованы и завалены скальными обломками. Хитроумно устроенные, с ловушками и ложными ходами, но так и не уберегшие вечный сон богов. То, что не досталось грабителям, извлекли на свет божий археологи. Добыча, скажем прямо, превзошла самые смелые ожидания. Предметы, извлеченные из знаменитой гробницы Тутанхамона, заняли целый этаж в Каирском музее археологии. Семь саркофагов с мумией и всемирно знаменитой золотой маской были выставлены на всеобщее обозрение. Лишь восьмой, самый большой саркофаг остался здесь, в мертвой пустыне, в погребальной камере, заботливо оборудованной электропроводкой и чуткими приборами, регистрирующими температуру и влажность.

Нил у Луксора, где прежде были Фивы, столица Египта, не столь уж широк, и путешествие по воде заняло минут двадцать или того менее. Но ни временем, ни расстоянием не измерить дорогу в лабиринты небытия. Не месяц плывет по небесному Нилу, но корабль мертвых. Можно верить в загробное существование, можно не верить. Но нельзя не думать о тех, миллионах и миллионах, чьи скорбные мысли проследовали этим надмирным путем. Явственно ощущалось присутствие иной, эзотерической реальности, текущей, как бы параллельно нашему миру. Словом, я почти верил в существование Небесного Нила египетской мифологии. И даже видел его отражение в мутных струях великой реки. Это ощущение не оставляло меня в течение всей поездки. Временами казалось, что я угадал то, может быть, самое главное, что по сей день одухотворяет неповторимые творения жреческой мысли. С двойственным чувством смотрел я на запеленутые му-

мии, расписанные священными знаками вечной жизни. И на пустые саркофаги с иероглифами, обозначающими предметы заупокойного культа. Иные из них «читаются» без малейшего усилия. Не надо быть Шамполионом, чтобы понять значение такого, например, рисунка, как пара сандалий. Тутанхамона щедро снабдили обувью, как, впрочем, и всем прочим. Расшитые золотом и драгоценными камнями сандалии могли бы еще долго служить не одному поколению фараонов. И не в них суть. Подобно душе человека (ка, ба и прочие астральные двойники), иероглифы как бы отражают сущность вещей. Иначе зачем столь скрупулезное и реалистически точное дублирование? Ладьи и чаши, флакон с благовониями и опахала из павлиньих перьев, скамеечка для ног и колесница, копья, кинжалы — вся погребальная утварь повторена на внутренней поверхности саркофага. Словно реестр, предназначенный для потусторонней таможни. В навязчивом, почти маниакальном стремлении выразить в знаке любые, даже самые незначительные реалии бытия, возможно, и кроется уникальная особенность могучей культуры Египта. Запечатлеть предмет, охранить его магическим обрядом записи от всеобщего уничтожения — это ли не сверхзадача?

Остается лишь благодарно восхищаться тем немыслимым обстоятельством, что все так и сложилось, хотя и не совсем по воле бритоголовых жрецов. Немеркнущие краски по-прежнему ярко горят на неподвластной времени белизне алебастра. Бросив вызов времени, они по крайней мере здесь, в гробницах, обошли его неумолимые жернова.

Не оттого ли и жаль посмертно ограбленных фараонов? Их опеленутых мумий, выставленных на публичное обозрение, разлученных со скарабеями — ответчиками загробных путей. Но всего более — распечатанных погребальных камер, ибо душа, тень, двойник потомка Осириса мог длить свое призрачное существование только здесь, где все вещи стояли на предназначенных им местах, заколдованные от перемен священными письменами.

И ничто не уберегло: ни изощренная магия, ни маскировка, ни ложные камеры, ни обманные, никуда не ведущие коридоры. Из шестидесяти семи известных на сегодня захоронений только могила Тутанхамона дошла до наших времен в первозданной целостности. Грозные заклинания, стерегущие кладбищенский сон кобры, даже стометровая подчас глубина равно не устояли перед всепожирающим молохом алчности. Местные жители, впрочем, уверены, что в Долине Царей сохранилось еще много подземных склепов, забытых людьми, сокрытых камнем и временем, перемалывающим камни в песок.

Долгий спуск по каменным лестницам в подземный склеп. В электрическом освещении первозданной свежестью лучатся краски, что были погружены в непроглядную мглу три с лишним тысячи лет. Собственно, так и назначено было: оставаться во мгле до скончания мира, ибо тень усопшего бога не нуждается в свете. Она и

так отыщет боевое оружие и знаки верховной власти, победную колесницу и выгнутую лунным серпом ладью, драгоценные кубки, ложа в виде гепардов и грифов, сундуки, черные ковчеги с золотыми змеями, алебастровые сосуды, леопардовую шкуру жреческого наряда, сиденья из красного дерева и слоновой кости, туалетный столик, посохи, трости, систры — короче все, вплоть до букетов цветов и яств для загробного пира. Иное зрение, иные чувства, иное пространство — время, втиснутое в скальную камеру. Здесь, как в квартире Берлиоза, что распахнулась навстречу Вальпургиевой ночи, стены лишь внешняя видимость. Нам, покуда живущим, не увидеть, как тени проходят сквозь толщу земли. Не подстеречь дуновения перемены в остановленном кадре. Обманчива неподвижность и безмолвие мнимо. Скарабеи на сердце мумии отвечают подземным судьям, только нам не дано услышать вопрос и отклик. Деревянные фигурки «ушебти» — «те, кто отвечают», мертвы для нашего зрения. Их уста неподвижны. Лишь золотые искры мерцают в черноте зрачков. Кощунственное вторжение электричества (кабель от щита тянется черной змеей вдоль магических росписей), противоестественное пересечение несопрягаемых миров.

Обо всем этом — увиденном, пережитом, осмысленном — я написал в книге «Кольца Змея», самой значительной по объему и, не скрою, близкой сердцу. Но мысль о душе — или частице души? — длящей призрачное существование в погребальной камере, не оставляла меня. Она тревожила воображение и крепла день ото дня, пока не попросилась на бумагу. Роман «Сны фараона» писался, словно под диктовку. Загробные миры египтян, ацтеков, хеттов, греков слились в единой проекции архетипа во вне. Остальное, как говорится, было делом техники. Уже закончив работу, я поймал себя на мысли, что все еще ищу ответ на вопрос, поставленный в «Проснись в Фамагусте». Возможно, мне вообще не вырваться из этого беличьего колеса...

Не знаю, кому могут быть интересны подобные откровения. Остается лишь вновь повторить, что печатное слово живет самостоятельной жизнью. Меньше всего я хочу дать своего рода «путеводитель» по пронумерованным томикам и едва ли на такое способен.

Мысли по поводу. Объяснение побудительных причин.

В нижеследующем случае они — причины — предельно ясны.

Действие романа «Секта», в равной степени фантастического, детективного, мистического и сугубо злободневно реалистического происходит здесь и сейчас. Это отклик на гримасы современности.

Существуют индикаторные сигналы, которыми не стоит пренебрегать. Страх перед концом света, пожалуй, наиболее характерный признак. Если проследить резонансные пики болезни, то они неизбежно совпадают с переломными моментами. Так было в канун французской революции, так было в России после поражения революции 1905—1907 годов и перед семнадцатым годом, так было и в веймарской Германии. Сходство всем известных симптомов лишь увеличивает тревогу.

Нам ли не знать, как реализуются мифы! Жаль лишь, что подлинное знание — удел немногих. Если о кошмарной гекатомбе в Гайане успели основательно позабыть, то огонь, в котором заживо сгорели сектанты Кореша, всколыхнул всю Америку. До очередной сенсации, разумеется. И она не замедлила последовать: Белое братство у нас, «АУМ сенрике» у нас, у них и прежде всего в Японии.

Создается впечатление, что с приближением нового века, нового тысячелетия тем паче, миром вновь овладевает шизоидная лихорадка. Несмотря на всю условность календарных отметок, люди, сами того не сознавая, связывают со столь знаменательным рубежом не столько головокружительные надежды на перемены, сколько застарелые опасения.

Общий уровень иррациональности год от года растет. Всюду гадалки и невежественные даже в собственном ремесле астрологи, колдуны и шаманы, прозелиты традиционных культов и экзотические восточные гуру, хироманты, нумерологи и контактеры с «внеземным разумом» — словом, все, кто пророча неприятности ближним, с завидным оптимизмом взирают на собственное будущее. Чем сильнее скачки доллара на валютных торгах, тем вернее их личный доход. Вызывают духов, составляют гороскопы живых и усопших вождей, гадают по иероглифам древнекитайской «Книги перемен» и на кофейной гуще. В общественном сознании все это причудливо перемешивается, усугубляя и без того достаточно мрачный фон.

Поветрие, о котором ведется речь, называется хилиазмом (от греческого «тысяча»). Однако, оставаясь верными традиционной для медиков латыни, страх перед тысячелетием предпочтительнее назвать синдромом милленаризма. Боязнь тысячелетия — старая и хорошо изученная болезнь, хотя симптомы ее не отличаются постоянством. Вирулентная идея Страшного Суда проистекает непосредственно из «Откровения Иоанна Богослова». Подчас оно преподносит нам неожиданные сюрпризы. Марию Дэви Христос, например, или «Звезду Полынь», без которой не обошлась, наверное, ни одна публикация о Чернобыльской трагедии. Коль скоро все мы знаем теперь, что случилось после того как протрубил Третий Ангел, проследим по первоисточнику за дальнейшим развитием событий:

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.

И сказано было ей, чтобы не делала вреда твари земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.

И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.

В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Каждый волен найти здесь желаемое сопоставление: СПИД или синтетический сверхнаркотик, синтезированный студентами-химиками в подвалах МГУ. Благо у подобной самодеятельности большое будущее. Возможны и другие варианты. Их так же легко обосновать, как и опровергнуть. Исполненные мрачной экспрессией образы, созданные на острове Патмос около 96-го года, по-прежнему остаются в арсенале представлений. Опосредованно и прямо, то есть традиционно-мифологически. Проповеди секты Асахары или Белого братства, где евангельские мотивы эклектически смешаны с примитивно истолкованными догмами индуизма, могли найти отклик лишь в абсолютно стерильных мозгах, подготовленных, однако, к восприятию любых «чудес».

Связи мистического сектантства с политикой вполне традиционны. Из окрашенного кровавым отблеском тумана высвечиваются такие фигуры, как Алистер Кроули, «маг двадцатого века», провозгласивший себя «зверем Апокалипсиса». «Зверь», основавший «Орден восточного храма», стоял и у истоков мистики зарождавшегося нацизма.

Она культивировалась сперва в «Обществе Туле», получившем название от мифической колыбели «расы господ земли», затем получила возгонку в гиммлеровском «Аненербе», призванном развивать «немецкое родовое наследие». Не отличая научную гипотезу от фантастических спекуляций, интеллектуалы в эсэсовской униформе придавали исключительное значение поискам «вриля» — таинственной энергии, пронизывающей все мироздание. Едва ли английский писатель Бульвер-Литтон, автор фантастического романа «Грядущая раса», надеялся, что кто-то отнесется к его выдумке столь серьезно. Погромщикам с змблемой мертвой головы, возомнившим себя «сверхчеловеками», «белокурыми бестиями», не терпелось утвердить себя не только над человечеством, но над временем и пространством.

Для этого и требовался мифический «вриль». С началом войны и вплоть до конца 1944 года «человеческий материал» для преступных опытов бесперебойно поступал из концлагерей.

Когда гитлеровцы еще только приступали к «очищению» района, отведенного для массового уничтожения народов, эсэсовский охранник объяснил одной польской женщине: «Вам тут нельзя оставаться. Здесь будет ад на Земле».

Дети атомного, компьютерного, ракетно-космического века, мы редко задумываемся о прошлом. Каждое новое поколение на скорую руку подводит итог тяжкому наследию предков, проникаясь наивным ощущением собственной исключительности. Сколько дураков сломали на этом себе шеи!

Мне думалось, что всякий раз я писал о разном, а на поверку оказалось все об одном. Но как многообразно оно, Единое!

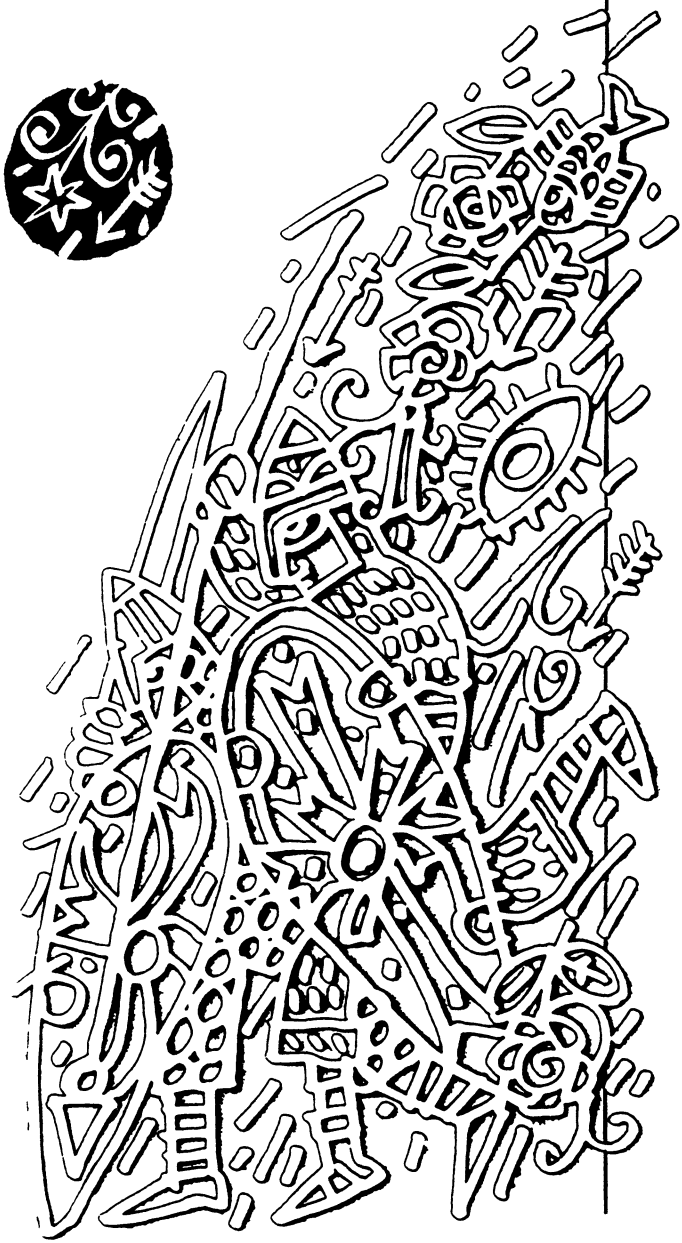
Виртуальная реальность лишь еще одна его ипостась.

Что было, что есть и что будет? Я не гадаю на картах, но некая комбинация все же составилась. Нечто вроде трилогии без общих персонажей: «Сны фараона», «Секта» и «Бог паутины».

«Все во всем, — говорится в «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста. — Что внизу, то и наверху». Прошлое, настоящее, будущее — вечное теперь. На сем пора последовать обычаю индийских коллег по перу и пожелать читателям благополучия: «Сарва мангалам», как я это сделал впервые в «Бронзовой улыбке».

Сюжет должен быть закольцован.

Ларец Марии Медичи



Глава 1

АМЕТИСТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ

Хуже нет, когда пропадают иностранцы. Этот же, очевидно, пропал вчера где-то между двенадцатью пополудни и семью вечера.

В двенадцать его видели за вторым завтраком в ресторане гостиницы «Россия», а в семь он должен был занять кресло в третьем ряду Театра на Таганке. Кресло, правда, пустовало недолго, но сел в него не иностранец, а если даже и иностранец, то вовсе не тот. Сведения эти были совершенно проверенными. Билет в театр доставала гид «Интуриста» Женевьева Овчинникова, и она же не дождалась там своего подопечного. Что же касается второго завтрака, то официант Витя прекрасно помнил, как усатый, с благородной сединой на висках господин из 1037 номера заказал апельсиновый сок, паровую осетрину, сыр и кофе с булочкой. Было это что-то в начале первого.

Если присовокупить сюда, что означенный господин в номере не ночевал, а на следующее утро не сел в экскурсионный автобус, направлявшийся в Загорск, то вполне обоснованным выглядит и печальный вывод: иностранец исчез и произошло это в промежутке 12—19 часов. Более того, промежуток можно сузить. Ведь в начале первого человек еще сидел за столиком, а ровно в семь прозвучал третий звонок в театре. Итак, остается узнать, что же произошло за эти пять, ну от силы шесть часов.

Легко сказать, конечно, «остается узнать»! Поди-ка узнай! Кроме того, иностранец, вполне возможно, еще и объявится. В самом деле, почему решили, что он пропал? Не пошел в театр на «Пугачева»? Не явился ночевать в гостиницу? Не поехал к мощам Сергия Радонежского в Загорск? Чепуха какая-то! Кто сказал, что каждый иностранец должен вести себя, как среднестатистический интурист? А если этот усатый господин просто немного перебрал за обедом и вообще решил загулять? Могла же ему подвернуться такая возможность? Вот и плюнул он, как говорится, на святое искусство, на иконы да семиглавые церкви. Или в Москве он этих церквей не видел? Только возле гостиницы их три или даже четыре. Свежевыкрашенные. С узорной резьбой, что твои печатные пряники. Вро-

де никто и не замечал их в Зарядье, а тут рядом с серым квадратом отеля заиграли они вдруг детской игрушечной красой. Одним словом, загулявший иностранец вполне мог пренебречь Загорском.

Но поди изложи все эти разумные доводы, когда разрастается лавина телефонных звонков. Сначала эта самая Женевьева Овчинникова сообщила, что пропал иностранец. Потом звонило высокое начальство, куда обратился представитель консульского отдела одного из посольств с просьбой помочь отыскать гражданина данной западноевропейской страны. А там пошло... Отдел виз и регистраций, соотечественники пропавшего, администратор гостиницы и т. д. и т. п. Были, конечно, и встречные звонки. Во все указанные адреса и еще многим абонентам московской АТС. Уведомили дежурного по городу, справились в больницах и моргах, посоветовались с компетентными товарищами. Ведь если не загулял человек, то могло с ним приключиться несчастье, а ежели не то и не другое, то приходилось учитывать третий вариант. Самый неприятный. Респектабельный интурист смывает искусно наложенный грим, отклеивает усы, снимает парик с алюминиевой проседью и превращается совсем в другого человека. Разумеется, с заранее припасенными соответствующими документами. Потом, попетляв по городу и убедившись в отсутствии слежки, оный господин с обновленной внешностью отправляется на какой-нибудь вокзал или, схватив такси, мчится в один из аэропортов. А там ищи-свищи. Надо было предусмотреть такой поворот событий? В том-то и дело, что надо. Вот и пришлось подключить к этому делу соответствующих товарищей.

Неудивительно, что порой звонят все три телефона одновременно. А рук-то только две и, что особенно неудобно, всего два уха. Так, опять звонит главный...

— Люсин слушает. Да, товарищ генерал. Сейчас и выезжаю. Проверю все на месте. Конечно, распорядился, чтобы в номер никто не входил. Разумеется, все самым тщательнейшим образом осмотрю. Безусловно, в присутствии сотрудника посольства. А третьим лицом может быть хоть та же Женевьева Овчинникова — гид «Интуриста». Слушаюсь. Попросим поприсутствовать кого-нибудь из друзей пропавшего. Так точно. До конца расследования не будет никаких сообщений для печати. Есть, товарищ генерал! Большое спасибо.

Владимир Константинович Люсин положил трубку и достал из кармана тонкий костяной мундштучок от опийной трубочки, которую купил когда-то в качестве экзотического сувенира на Занзибаре. Еще вчера, кажется, сидел он в комитете комсомола мурманского тралового флота, а теперь вот должен искать пропавшего иностранца. А это совсем не то, что искать в море хека или сельдь, или даже зелено-пятнистую рыбу зубатку.

Начальству, конечно, виднее. Может, понравилось, как ловко отыскивал он пропавших мариманов с норвежских или, скажем, с голландских судов. Правда, там иностранец был попроще, и отыскать его особых трудов не составляло. Заморские рыбачки все

больше загуливали. А найти такого человека несложно, если, кроме «Заполярья», в городе Морской клуб и каких-нибудь полтора десятка шалманчиков. Была, конечно, и своя специфика. Работать приходилось в темпе, пароходы не ждут. Но зато минимум формальностей. Нашел, отгрузил на борт — и привет! Шесть футов воды вам под киль и попутного ветра! Работа, скажем прямо, не очень веселая, зато здоровая. В смысле психики. Никакой тебе нервотрепки и никаких международных осложнений. Все, к обоюдному удовольствию, обходилось без дипкорпуса.

Теперь же генерал инструкцию дает, переговоры с инстанциями, визиты представителей консульского отдела. Но, надо признать, работа, конечно, поинтересней. Первый сорт работа. Как бы это поточнее сказать: работа что надо! Люсин достал крохотный аэрофлотовский календарик и отметил сегодняшний день — 21 июля 1971 года.

Кажется, телефонная атака отбита. Короткое затишье. Перекур перед боем. Перекур не перекур, а трубочку пососать можно. Мегрэ тут, конечно, ни при чем. И Шерлок Холмс тоже. Просто ходил Володя Люсин три года вторым помощником на танкере. Белая такая здоровенная посудина. Там не раскуришься. В один миг святым можно стать в ореоле коптящего пламени. С тех пор и трубка. Английская, прямая, из настоящего вересового корня. Купил, уже прокуренную, у радиста с БМРТ, у которого из-за курения стала неметь нога. Курить после танкера так и не стал, только трубочку посасывал или мундштучок занзибарский. Ребята говорят, что это дешевый мегризм, который, как и молодость, проходит со временем. Им, конечно, не докажешь. Сухопутная психология. Семь баллов в арктических морях, когда фальшборт в ледяной глазури, а шканцы приходится ошпаривать из кишки, — это ж испытать надо! А нефтью даже хлеб, даже простыни пахнут. Нет, братцы, трубка эта не дешевый мегризм, это вещь, и чем пахучей она, тем скорее на язык набегает спасительная слюна. Это ж понимать надо, что такое семидневная качка на танкере!

Но к делу, однако. Машину к подъезду. Соберем портфельчик и покатим в Зарядье. Номер, если не изменяет память, 1037. Номер полулюкс. Через двадцать минут Люсин стоял в вестибюле гостиницы.

Лифта долго не было. Мигали огоньки на табло. Кабину перехватывали на других этажах. Наконец двери ушли в резиновые пазы, и Владимир Константинович вошел в ярко освещенную зеркальную кабину. Поправил галстук перед зеркалом. Послюнив пальцы, пригладил волосы. Критически оглядел себя. Ничего себе парень. Внешность, как принято говорить, приятная, хотя и простоватая малость. Зато сразу видно, что человек добрый и с юмором, открытый и если не рубаха-парень, то, по мѣньшей мере, душа-человек. Жаль, немножечко нос подкачал. Следы давнего обмороза легко принять за тревожный сигнал любовно проспиртованного организма. Не будешь же рассказывать каждому встречному, что эта

краснота и некоторая припухлость совсем не оттого. Господи, о чем только не думает человек.

Тут лифт остановился.

В холле у столика дежурной его уже дожидались. Высокий парень с черной бабочкой и удлиненными свежеподбритыми висками — официант Витя, миниатюрная блондинка в голубой плиссированной мини-юбке и нейлоновой насквозьке — та самая Женевьева, пожилой, лысеющий администратор, какая-то незнакомая дама с вычурной, легкого чернильного оттенка прической и понятые.

Люсин хмыкнул, заулыбался вдруг и, бросив в глубокое модерновое кресло портфель и скомканную болонью, спросил:

— Ну как, не отыскался еще?

— Никак нет, товарищ Люсин, — трагически развел руками администратор. — Никаких следов. Вот... — Он кивнул на незнакомую даму, и улыбка, промелькнув, погасла на его лице, как перегоревшая лампочка. — Согласно вашим распоряжениям, мы пригласили мадам Локар... Она, — администратор вдруг перешел на шепот, — обычно сидела за одним столиком с... Ну, вы понимаете... — Он печально опустил голову и едва слышно выдохнул: — С исчезновенцем.

Словно о покойнике сказал...

— Здравствуйте, мадам Локар. Благодарю вас, что вы согласились оказать нам помощь. — Люсин неуклюже раскланялся и опять улыбнулся. Ему очень понравилось собственное произношение. Он и впрямь недурно говорил на родном языке мадам Локар, а втайне очень гордился, что и по-английски говорит не хуже. Пожалуй, даже лучше, с тем особым романтическим шиком, присущим одним морякам.

Мадам протянула ему тонкую в кружевной перчатке руку и нежным, детским голоском прощебетала:

— К вашим услугам, мосье. Вы из полиции? Это серьезный случай?

— Ничуть! — отмахнулся Люсин. — Уверяю вас, все скоро разъяснится... Ключ от номера у вас? — повернулся он к администратору.

— Так точно. Этот... уходя, как всегда, оставил его у дежурной.

— А где дежурная?

— Я отослал ее, — он опять понизил голос до шепота, — из конспиративных соображений. Ключ теперь у меня. — Он тотчас же вынул из кармана тяжелую никелированную грушу и завертел вокруг нее тонкий золотистый ключик.

Люсин пожал плечами и, осторожно присев на самый краешек соседнего с мадам Локар кресла, шепнул ей:

— Как придет представитель посольства, так и начнем. — Потом он повторил это по-русски для всех.

От мадам веяло тонким, чуть горьковатым ароматом. Люсин уселся поплотнее и вытащил свою трубку.

— О, — оживилась мадам, — комиссар Мегрэ.

«А, чтоб тебя! И эта туда же!» — выругался про себя Люсин и спрятал трубку.

— Это для того, чтобы производить более солидное впечатление на администраторов отелей, — шепнул он ей. — Специально захватил с собой.

Она заговорщически улыбнулась и милостиво кивнула ему.

«Как королева держится, — подумал Люсин. — И правильно в сущности. Отчего бы нет?»

Но он заставил себя думать о другом. Оборвал мысль. Не дал себе прийти к банальному открытию, что каждая женщина, чувствующая себя королевой, оной особой и кажется. Мадам ему понравилась, и он внутренне немного стеснялся того мига, когда станет в ее присутствии рыться в вещах господина из 1037 номера. Тут бы и выручила трубка! Она бы придала всей процедуре гениальный мазок законченности, высокой какой-то значимости. Но Люсин уже стыдился ее, как, наверное, стыдился бы лупы в руках.

Он встал, подошел к столику и позвонил в вестибюль. Спросил, не появлялся ли человек из посольства, и велел фотографу подниматься. Фотограф, увешанный аппаратами, с его ослепительной вспышкой будет явно уместен. Во всяком случае он мог с лихвой компенсировать отсутствие лупы и трубки.

— Как прибудут из посольства, так сразу и начнем, — опять пообещал Люсин.

Заложив ногу на ногу и оттянув носок, Женевьева покуривала «Кент» и любовалась новенькой, синего английского лака туфелькой. Администратор о чем-то перешептывался с официантом.

— А вы, Витя, собственно, можете быть свободны, — сказал Люсин. — Спасибо вам за помощь. У вас ведь, наверное, дела есть?

— Ну что вы! — Витя снисходительно улыбнулся. — Какие уж тут дела. Я вот вспоминаю подробности вчерашнего дня, и мне кажется, что он очень торопился за завтраком.

— Почему же это вам кажется?

— А как же! — Витя даже подался вперед. — Осетринку только, извините, вилкой потыкал, а кофе...

— Осетрина свежая была?

— Помилуйте!

— Ну ладно, еще раз спасибо, Витя. Увидимся!

Витя недовольно пожал плечами и направился к лифту. Но только нажал кнопку вызова, как двери раскрылись и из кабины вышел высокий, представительный мужчина в отлично сшитом синем в белую полоску костюме. Блеснув обворожительной и чуточку меланхоличной улыбкой, он направился прямо к Люсину, хотя виделись они впервые. Следом за ним вышел ощетинившийся просветленными объективами и блендами фотограф.

Люсин обменялся с сотрудником посольства крепким рукопожатием и представил ему присутствующих. Прислушиваясь к своей красивой, уверенной речи, он ввернул даже один столичный оборот, с которым познакомился на просмотре фильмов последнего Каннского фестиваля. Дипломат это явно оценил.

— Вы превосходно знаете наш язык, господин Люсин, — поклонился он и вдруг спросил по-русски: — Ну что ж, начнем, пожалуй?

— Ключ, — сказал Люсин и протянул администратору раскрытую ладонь.

Тот осторожно опустил в нее тяжелую грушу.

Непринужденным жестом Владимир Константинович пригласил всех проследовать по коридору. Пропустив дипломата, мадам и Женевьеву, тихо спросил администратора:

— Что-то они у вас такие тяжелые?

— Чтоб постояльцы в карманах не таскали, — жарко шепнул тот в самое ухо.

— Умно придумано, — хмыкнул Люсин. — Вы задержитесь тут, в холле, и проследите, чтоб нам не мешали. Ладно?

Администратор разочарованно склонил голову набок.

— Посидите немножко с Витей, — сказал Люсин. — Я вижу, он еще не уехал, — кивнул он на топтавшегося перед лифтами официанта.

С озабоченным лицом зашагал он по красной ковровой дорожке мимо отделанных под орех дверей, почти касаясь головой низкого, пылающего люминесцентными трубками потолка. Вся компания почтительно ждала его у двери 1037 номера. Фотограф, прижав к уху японскую вспышку, выслушивал, есть ли в ней ток. Вспышка явно не жужжала.

Люсин повернул ключ и распахнул дверь. В номере был полумрак. Нашарив выключатель, зажег свет, который включился не сразу, а нарастающими конвульсивными всполохами. «Дроссель плохо контачит», — отметил он и пригласил понятых и представителя посольства первыми проследовать в номер. Затем он предложил мадам и Женевьеве Овчинниковой задержаться у входа, пока фотограф произведет съемку. Когда все было сделано, он усадил дам в глубокие огненные кресла и приступил к детальному осмотру вещей. Предстояла большая канитель, увенчать которую должны были опись вещей и протокол осмотра. И один только Бог знал, пригодится ли хоть что-нибудь из этого для нужд следствия.

В стенном шкафу стоял легкий кожаный чемодан. Наклейки гостиниц, кемпингов, мотелей. Возможно, хозяин водил автомобиль.

Чемодан был не заперт. Люсин положил его на стол и раскрыл. Серый, исландской шерсти свитер, рубашки, галстуки, пара замшевых перчаток, какая-то легкая курточка, два ящичка гаванских сигар «Корона коронас» (куплены, очевидно, в Москве, благо дешевы), электрогрелка и другие мало о чем говорящие вещи. Другое дело нейлоновая, на молнии папка. Ее следует осмотреть особо.

Люсин уложил вещи обратно в чемодан и опустил крышку. Рядом на полированной поверхности стола осталась только папка и маленькая сафьяновая коробочка. Он повертел, повертел ее и, на-

жав незаметно на какой-то потайной гвоздик, раскрыл. Вид у Люсина при этом был такой, словно он чему-то неожиданно удивился.

Коробочка была выложена серым лоснящимся атласом, на котором тяжелым лиловым светом переливался золотой аметистовый перстень. На внутренней стороне его было вырезано имя «Гвидо». Люсин вытащил перстень и, прищурившись, поглядел на свет. Фиолетовые изломанные огни закружились в калейдоскопической разгранке. Перстень был явно мужской. Об этом говорила и величина камня, и массивность зажавших его золотых лап. Но предназначался он для пальца тонкого, женственного...

Люсин положил перстень в коробочку, отметив в памяти марку известнейшего магазина Картье. Он вновь откинул крышку чемодана и разворошил вещи. Так и есть! Достал двумя пальцами перчатку и, высоко подняв, повертел ее, словно кисть винограда.

Перчатка и перстень предназначались для разных рук. Логичнее предположить, что в чемодане хранят свои перчатки и чужой перстень, чем наоборот. Более того, именно перстень, а не перчатки, может быть, скажем, предназначен для подарка. Кому? Может быть, тому самому Гвидо?

— Скажите, мадам Локар, какие руки были у мосье?

— Простите?

— Ну, большие, маленькие...

— Средние. Нормальные мужские руки.

«Значит, колечко кому-то предназначалось».

— Волосатые?

— Да, немного.

— А какого цвета волосы?

— На руках?

— Разумеется.

— Такие же... Я имею в виду, как и на голове. Темные.

«Окажись они светлыми, сразу бы завертелся третий вариант. Хорошо хоть, волосы как будто свои...»

— Составим опись сейчас или после осмотра сразу все и перепишем? — спросил Люсин посольского чиновника.

— Как вам будет угодно, — улыбнулся тот и развел руками.

— Тогда после, — решил Люсин. Бросил коробочку в чемодан и защелкнул замок. — Папку тоже под самый конец поглядим.

В шкафу висели два костюма: черный — вечерний и серый — деловой; на полках были уложены сорочки и голубая пижама.

— Скажите, мадам Локар, — спросил Люсин, — в каком костюме вы видели его последний раз?

— В сером.

— Вот в этом? — Люсин снял вешалку с пиджаком.

— Нет. Тот был в клетку.

«Значит, он не переодевался после завтрака».

Люсин легко прошелся по карманам. Вроде ничего интересного. Мелочь наша и не наша, троллейбусные билеты и билеты в кино, крошки табака...

— Он курил?

— О да! Сигары, — ответила мадам.

«Значит, не только сигары. Ну конечно! — обрадовался Люсин, обнаружив смятую целлофановую пачку «Филипп Моррис». Но тут же лежала и сигара в алюминиевом футляре. — Сигареты мог держать для угощения. Бывает и такое».

— Он носил кольцо?

— Да. Золотое обручальное, но как вдовец, и на среднем пальце правой руки массивное серебряное с чернью кольцо с черепом.

— Не масонское? — оживился чиновник.

— Не знаю, — равнодушно повела плечом мадам.

«Масонское? Любопытно... А вот это еще любопытней!» Люсин извлек из бокового кармана серого пиджака несколько квитанций комиссионных магазинов.

— Так... Куплено в комиссионном на Арбате, — сказал он. — Рисунок Ю. Анненкова тушью «Женщина в ванне», тридцать два на двадцать восемь, цена сорок пять рублей. Любопытно... Это тоже на Арбате — художник Сомов «Арлекин и Смерть», девяносто четыре рубля.

«Сомов потянул больше».

Люсин скользнул взглядом по стенам. Кроме гостиничной картинки, изображавшей каких-то людей, любующихся с Ленинских гор Лужниками, других шедевров живописи не было.

«Где же они, эти Арлекин и женщина в ванной?»

Третья квитанция, выписанная антикварным магазином на улице Горького, лаконично сообщала, что пропавший владелец этих костюмов, покупавший картины, приобрел еще и Будду, позолоченного, высотой 14 см, с дефектами. Стоил Будда полсотни.

Но его тоже не было видно.

«Искусством интересуется... Божественным... И чего он в Загорск-то не поехал? Что ж с ним, беднягой, приключилось?»

Люсин закрыл шкаф и еще раз оглядел номер. За сдвинутыми шторами привычно гудел город.

«Зачем это я свет зажег, когда на дворе день? Надо было только штору раскрыть. А публика небось подумала, что так надо...»

Он подошел к телевизору и раскрыл столик. Там, рядом с экспортной «Столичной», изготовленной из отборной пшеницы (отлитые на стекле английские буквы гарантировали однократное употребление стеклотары), скрывался позолоченный Будда. Был он страшен, трехголов и толстопуз и вид имел неприличный.

«А я-то представлял себе Будду по-другому. Думал, что он, как человек, а у этого морда кабанья и черепа на голове. Но им виднее. Высота та же, позолочен, потерт, пальцы сломаны. Так что, несомненно, с дефектами. Он самый и есть. За полсотни я бы такого купил. Забавно».

«Столичную», которую надпись на этикетке рекомендовала слегка охладить, пропавший иностранец в холодильник не ставил,

видимо, вообще к ней не притрагивался, так как была она завернута в первозданный целлофан.

«Неужто тоже для кого-то припас? Тут, наверное, ноль восемь. Удивительный человек!»

Дошла очередь до письменного стола. Там-то и отыскались в среднем ящике завернутые в бумагу «Женщина в ванне» да «Арлекин и Смерть». Женщина была голой, но выглядела скромно. Люсин решил, что за несколько штрихов черной туши сорок пять рублей многовато. Зато другая картина была многоцветной акварелью. Желтый скелет в черном, забрызганном жемчужными слезками плаще выглядел весьма внушительно. К тому же он еще наигрывал на скрипочке из берцовой кости.

«Тоже дороговато», — решил Люсин.

В тумбе стола он нашел две нераспечатанные коробки шоколада («Поистине этот человек живет для других!») и план ВДНХ.

Не обрадовала его и ванная. Там на зеркальной полочке стояли всевозможные флаконы, мыльница с тремя сортами мыла, какая-то ароматичная соль и бритва. «Золинген» в кожаном футляре.

«Опасная! — с уважением подумал Люсин. — Не какая-нибудь электрическая. Значит, выбрит всегда, как биллиардный шар».

Еще висел там мохнатый халат, стояли поролоновые туфли и прямо в ванной валялась мочалка, вернее, настоящая морская губка.

«Вот и все. Документы, деньги и сертификаты у него при себе. Человек он небедный и со вкусом. Но все в меру. Джентльмен».

— Он ведь настоящий джентльмен, не правда ли? — спросил Люсин, выходя из ванной.

— Думаю, что да, — согласилась мадам Локар.

— И, конечно, вчера за завтраком он был гладко выбрит?

— Конечно.

— У брюнетов это, знаете, целая проблема: не пройдет и часа, как снова синева проступает.

— Он всегда был гладко выбрит.

«Отлично! Это хорошо, что у него опасная, очень хорошо... Но ведь перед вечером ему надо было где-то побриться?»

— Ну что ж, дамы и господа, осмотрим теперь эту папку и приступим к описи.

Люсин прошел к столу, раскрыл папку и аккуратно вывалил на стол ее содержимое.

Фотограф на всякий случай сделал несколько снимков.

— У вас все? — спросил его Люсин.

— Все.

— Тогда раздвиньте, пожалуйста, шторы и погасите свет.

При дневном свете все как-то повеселели. Мадам подошла к окну. В обесцвеченное жарой июльское небо весело изливали лиловые клубящиеся струи трубы ТЭЦ. По реке медленно тащился белый прогулочный катер. Женевьева закурила новую сигарету и длинным перламутровым ноготком время от времени сбивала с нее

серую колбаску пепла. Фотограф перекручивал пленку, а посольский чиновник, откинувшись в кресле, вдохновенно разглядывал потолок, словно стихи сочинял.

Никто уже не ожидал от осмотра никаких чудес, и потому предметы, хранившиеся в нейлоновой папке, не вызывали особого интереса.

А напрасно...

Там был туристский план Москвы, черный пакет с фотографиями, колода карт, путеводитель по Ленинграду, изданный АПН на английском языке, и еще какая-то безделушка не безделушка, брелок не брелок, в общем, ярко-синяя керамическая фигурка величиной с мизинец. Видно, старинная.

Сначала Люсин взялся за план. Метро Калужская было обведено карандашом. На обороте, в списке транспорта, был отмечен автобус 531 «красный», курсирующий от Калужской до Красной Пахры.

Не обнаружив на плане других пометок, Люсин шагнул к гардеробу и, еще раз тщательно осмотрев карманы, забрал все найденные в них билеты. Затем, вернувшись к столу, он взялся за карты. Такие ему еще никогда не встречались, хотя он повидал немало различных колод. Нет, это были карты, одинаково не похожие ни на обычные игральные, ни на те изображения экзотических стран и ярких, весьма легко одетых женщин, которые можно купить в первом же заграничном порту. Даже масти здесь были особые. Не какие-нибудь «кресты» и «буби», а желуди с дубовыми листьями и неведомые желтые шары. Только пики, или, как их чаще именуют в кубрике, вини, были еще малость похожи на настоящие.

Иначе выглядели и фигуры. Валеты, дамы и короли совершенно на себя не походили, и, кроме них, Люсин обнаружил еще свечи, булавы и шпаги. Всего он насчитал в колоде семьдесят восемь листов. Иного названия, как чертовы карты, он для них не нашел.

Путеводитель по Ленинграду никаких явных пометок не содержал, а в черном пакете лежали шесть совершенно одинаковых снимков какого-то рваного, истершегося на сгибах манускрипта. Тонким старорежимным стилем рондо на русском языке с ером и ятем было записано стихотворение.

Люсин прочел его два раза, облизал губы, потом, забывшись, достал злополучную трубку и принялся упорно грызть мундштук. Прочел стихотворение в обратном порядке, вздохнул и сказал:

— Все ясно, дамы и господа, а также дорогие товарищи... Более или менее ясно. В этом смысле, конечно...

Сунув фотографии в пакет, он все уложил в папку и опять полез в чемодан. Извлек оттуда коробочку с перстнем и переложил ее в папку. Некоторое время молча сидел в кресле с весьма озабоченным видом, но вдруг, точно на него снизошло откровение, вскочил и, позвав понятых, кинулся в ванную.

Все с вялым интересом следили за тем, что будет. Из ванной Люсин вернулся со стаканом для полоскания, который он бережно

нес на собственном носовом платке. Поставив стакан на стол и осторожно вытянув из-под него платок, Люсин стрельнул глазами по комнате и подхватил стакан для питья и крышку графина. Все эти нехитрые изделия Гусь-Хрустального завода он уложил в коробки с ватой, которые извлек из портфеля.

Эта работа далась ему, по-видимому, не так-то легко — затылок его побагровел, а розово-лиловые пятна на носу обозначились ярче. Уложив коробки в портфель, Люсин употребил платок по назначению. Покашлял в него и отер себе лоб и затылок.

— Эту папку я забираю до конца расследования, — сказал он чиновнику. — А остальные вещички можно сдать пока в камеру хранения. Давайте составим опись.

Изнывавший от скуки чиновник на секунду оживился и робко спросил:

— Может, перепишем одну только папку? Ведь остальные вещи будут в камере хранения.

Мысль эта показалась Люсину довольно здравой. Он подумал с минуту и, как бы извиняясь, развел руками:

— К сожалению, таков порядок... Но мы быстро с этим справимся. Вроде бы я все помню, потом проверим, не упустил ли чего.

Он достал из портфеля портативную машинку «Колибри», заправил в нее три экземпляра и принялся бодро отстукивать опись. Но, дойдя до «Сигар гаванских («Корона коронас») — 2 ящ.)», он перестал вдруг печатать, поднялся и вновь полез в чемодан. Достав эти самые «2 ящ.», он быстро раскрыл их один за другим перочинным ножом. В первом ящике действительно, как снаряды, были уложены длинные алюминиевые футляры с великолепными, золотисто-серого цвета сигарами. Зато второй ящичек вместо тривиальных сигар порадовал хорошенькой иконкой. Была она на гнутой доске и выглядела весьма старой, хотя краски, слегка, правда, облупившиеся, сверкали удивительно свежо. Фон иконы был светлый, как вечереющее теплолатунное небо. Три синих фигуры с крыльями и золотистыми нимбами вокруг голов сидели за овальным столом, уставленным одними только чашами. В руках небожителей были длинные тонкие копья. Складки их синих хитонов были очерчены схематично и резко.

Бесстрастная, не проронившая за все это время ни слова Женевьева Овчинникова при виде иконы явно взволновалась.

— Вам она знакома? — спросил ее Люсин.

— Нет! — почти выкрикнула Женевьева и, отрицательно покачав головой, уже спокойно добавила. — Эта, — здесь она сделала ударение, — мне незнакома. Но точно в такой же манере выполнена знаменитая рублевская «Троица»... Может, всего лишь копия?

Засыпавший уже чиновник тоже несколько оживился.

— Это криминал? — спросил он по-русски.

Тут только Люсин сообразил, что все это время разговор шел на другом языке. Впрочем, такое было в порядке вещей. Не переводить же специально для фотографа, которому было, как говорится, до лампочки.

— Криминал? — переспросил Люсин, как будто слово его озадачило. — Это уже как взглянуть. Во всяком случае, если она ценна, то вывозить ее из страны нельзя. Тем более таким способом. — Он покрутил пальцами и кивнул на раскрытый ящик. — Даже на эти картинки, на женщину эту и Смерть, нужно специальное разрешение. Ведь не все, что продается, можно вывозить, не так ли?

— Конечно, — понимающе согласился чиновник. — У нас тоже такие законы.

— Ну вот видите... — поскреб подбородок Люсин. — Эта находка сообщает всему делу определенный нюанс... Вы понимаете в иконах, Женевьева Александровна? — спросил он вдруг по-русски, резко повернувшись к девушке.

— Немного разбираюсь, — скорчив пренебрежительную гримаску, сказала она. — Я же кончала искусствоведческий.

— Это прекрасно, это очень прекрасно! — Люсин даже руки потер. — Вы непременно дадите мне консультацию.

— Если смогу, пожалуйста, — равнодушно согласилась Женевьева.

— А вы почему не были вчера в Театре на Таганке, мадам Локар? — вдруг неожиданно спросил Люсин.

— Я? — удивилась мадам. — Но что мне там делать, когда я ни слова не знаю по-русски? Это ведь не опера и не балет: нельзя же смотреть пьесу с переводчиком! Разве не так?

— Ну конечно, конечно, я как-то не подумал об этом. Простите... А он разве говорил по-русски?

— Говорил! — неожиданно ответила за мадам Локар Женевьева.

— Хорошо? — мгновенно обернулся к ней Люсин.

— Да, почти без акцента.

— Вы мне об этом не рассказывали...

— Значит, как-то запамятовала, да вы и не спрашивали.

— Да, — кивнул ей Люсин. — Конечно... Вы говорите, почти без акцента, в чем же выражалось это «почти»?

— Трудно сказать... Это так неуловимо. Промелькнуло, и не вспомнишь потом. Одним словом, понять это можно только в том случае, если вы специально вслушиваетесь. Я неясно объясняю?

— Нет, ясно. — Люсин выглядел явно раздосадованным. — Хорошо, пока кончим с этим.

Он вновь сел за машинку и не поднимался уже, пока не отпечатал всю опись.

— Проверьте, пожалуйста, не упустил ли чего, — сказал он чиновнику, отделяя отпечатанные листы от копирок. — И подпишите.

— Все правильно, — сказал тот, бегло проглядев список, и, достав авторучку, поставил подпись, прижимая листок к колену.

— Теперь подпишите вы, мадам, и вы, Женевьева Александровна, — взяв у чиновника листок, сказал Люсин, — а я тем временем закончу еще одну маленькую формальность.

Он извлек из тумбы коробки с шоколадом, разорвал целлофан и раскрыл их. Обычные шоколадные конфеты, ничего более.

— Ну и отлично, — вздохнул Люсин. — Все же находка иконы проливает свет на некоторые контакты этого господина? — склонился он над сидящим в кресле чиновником.

Тот многозначительно кивнул.

— И мы должны проверить их, если хотим разыскать его?

Чиновник согласился и с этим.

«Какой покладистый малый», — подумал Люсин.

— Следовательно, у вас не возникнет возражений, если мы не будем сдавать вещи на хранение, а временно задержим их у себя?

Чиновник сначала широкой улыбкой дал понять, что никаких возражений у него не возникнет, а затем сказал:

— Конечно, конечно... Поступайте, как считаете нужным. Мы все это сейчас и оговорим в протоколе. Я вижу свою задачу в том, чтобы всемерно сотрудничать с вами, ни в чем более... Скажите мне только, что это за снимки там у вас в описи? Что на них?

«Глаз-алмаз! — восхитился Люсин. — Вроде бы даже и не глядел, а сразу суть ухватил».

— Так, пустяки... — сказал он. — Стишки какие-то. Но в интересах следствия лучше их до времени не очень того... — Он пошевелил пальцами, подыскивая подходящее слово. — В общем, я вам покажу их при личном свидании, если не возражаете, конечно.

Покладистый чиновник кивнул.

Люсин уже проникся к нему уважением, смешанным с настороженностью.

— А что это за карты у него такие странные? — решился спросить он. — Вы, случайно, не заметили? Так я их сейчас покажу.

— Не надо. Заметил, — маскируя зевок, задвигал нижней челюстью чиновник. — Это тарот.

— Ах, тарот! — понимающе покачал головой Люсин. — Небось это посложней преферанса или там бридж-белота? — тихо спросил он, еще ниже склоняясь собеседнику.

— Конечно, — ответил тот. — Тем более, что чаще тарот используют не для игры, а для гадания.

— Ну разумеется! — развел руками Люсин. — Конечно, для гадания. Это само собой... Для чего же еще?

— Конечно, сейчас трудно сказать, сколько времени займет это дело? — спросил чиновник.

— Да, — сказал Люсин. — Возможны любые неожиданности. Я уж не говорю о том, что пропавший может сам преспокойненько объявиться в любой момент.

— Если он жив.

— Разумеется. Во всяком случае к дорожным катастрофам за последние сутки он отношения не имел.

— Внезапный сердечный приступ?

— Справлялись уже... А, кстати, как у него со здоровьем?

Чиновник улыбкой продемонстрировал свою полную неосведомленность.

«Богатая мимика», — подумал Люсин.

— Когда к нашим властям обращаются за заграничным паспортом, то, как правило, не спрашивают о здоровье.

«И напрасно», — мысленно прокомментировал Люсин.

— Знаете что? — чиновника словно осенило. — Сделайте нам официальный запрос, и мы быстро наведем необходимые справки об этом человеке. Вам это может помочь.

— Спасибо, — сказал Люсин. — Я немедленно доложу о вашем любезном предложении.

— Вот и хорошо. А теперь позвольте задать вам совершенно неофициальный вопрос.

— Пожалуйста.

— Видите ли, господин Люсин, я большой любитель детективов. Это мое хобби, весьма неоригинальное, как вы понимаете. Но что делать? Такова жизнь. Мне, понимаете ли, более всего интересно следить за прихотливой нитью догадки. Здесь Шерлок Холмс или, скажем, патер Браун не имеют себе равных. Это победа железной логики. Я имею честь быть другом господина Сименона, приходилось мне беседовать и с мадам Кристи. В вашем лице, господин Люсин, я вижу представителя детективной школы иного типа. Я вас не утомил своим многословием?

Люсин молча поклонился.

— Тогда я, с вашего разрешения, продолжаю. Какой ускользнувший от моего поверхностного взгляда факт, какая, может быть, случайная деталь заставили вас обратить внимание на аметистовый перстень? Почему вы вдруг опять полезли в чемодан?

Люсин спешно придумывал правдоподобный ответ.

— Я понимаю, когда вы, печатая опись, спохватились, что не проверили коробки с шоколадом... Честно говоря, я, как увидел их впервые, так сразу решил, что вы их вскроете.

Люсин закусил губу.

— Это ведь только естественно, господин Люсин, не правда ли? Но перстень! Чем он привлек ваше внимание? Быть может, он как-то связан с теми фотографиями?

«Во шурует тралом парень!»

— У меня есть приятель, — засмеялся Люсин. — Жонглер. Любитель, конечно. Так он запросто работает с пятью мячиками. Я его как-то попросил объяснить мне всю технологию. Он начал было объяснять, но тут же сбился и в первую минуту не то что с пятью — с тремя мячами не мог совладать. Боюсь, что и я не сумею удовлетворить ваше любопытство. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится, и вы сами поймете, в чем тут дело. И, конечно, быстрее, чем я, как это уже было с конфетами.

Они дружелюбно посмеялись.

— Ну, вот и все как будто, — сказал Люсин, пригладив волосы. — Большое спасибо всем вам за помощь. Надеюсь, мадам Локар, что мне удастся с вами еще встретиться...

— Послезавтра группа мадам Локар улетает в Ленинград, — сказала Женевьева Овчинникова.

— Надолго?

— На пять дней, — ответила мадам одновременно с Женевьевой.

Они улыбнулись друг другу.

— А потом назад?

— Нет, — энергично покачала головой Женевьева, и золотистые кудряшки на миг отделились от ее висков. — Из Ленинграда — на три дня в Киев, а потом уже в Москву.

— Ну и отлично, — сказал Люсин. — Желаю вам приятного путешествия. А вы, Женевьева Александровна, навестите меня как-нибудь перед отъездом.

— Когда? Завтра?

— Можно и завтра... В пятнадцать часов вас устроит?

Женевьева кивнула и, решительно смяв сигарету в массивной мраморной пепельнице, поднялась. Бросила на плечо синюю сумку на длинном ремне с эмблемой авиакомпании «Сабена» и подошла к мадам Локар напомнить, что сегодня будет экскурсия по вечерней Москве с посещением Останкинской телебашни. Сдержанным кивком распрощалась со всеми и ушла. Люсин стал собирать вещи пропавшего иностранца.

— Давайте я помогу вам уложить костюмы, — предложила мадам. — Мужчины, как правило, этого не умеют.

Они управились с этим делом в пять минут, после чего Люсин прошелся по шкафам и ящикам, не забыл ли чего. Все оказалось в полном порядке.

— Еще раз спасибо, мадам, — сказал Люсин, осторожно пожимая тонкую, затянутую в перчатку ручку. — Счастливого вам пребывания в нашей стране.

Она ушла, и вскоре где-то по соседству хлопнула дверь ее номера.

Потом Люсин обменялся крепким рукопожатием с чиновником, заверив его, что в случае чего немедленно даст знать.

Оглядев в последний раз опустевший номер — огненные кресла, телевизор, полированный стол, раскрытые шкафы, блеск голубых и белых кафельных плиток в неприкрытой двери ванной, раздвинутые шторы цельностеклянного окна, потолок со скрытым освещением и серый плюш сплошь закрывавшего пол ковра, — Люсин склонился над широкой деревянной кроватью и быстро осмотрел ее, потом отворил балконную дверь.

Ворвался тугой ветер. Затрепетали легкие занавески. Вместе с уличным шумом в комнату проник легкий аромат бензинового перегара. Солнце уже закатывалось за крыши домов. Противоположные окна превратились в ослепительные оранжевые зеркала.

Балкон был пуст.

Люсин вернулся в номер, с усилием притянул дверь и повернул ручку. Еще раз прошел в ванную, побыл там с минуту, после чего тщательно осмотрел плетеную корзину для бумаг. Разочарованно сморщил нос и, взяв в одну руку портфель с плащом, а в другую чемодан иностранца, мотнул головой на дверь. Фотограф, который, глубоко усевшись в кресло и вытянув ноги, пускал кольца, загасил беломорину и неторопливо стал навешивать на себя аппаратуру.

Люсин пропустил его вперед.

В коридоре, притулившись к стене, стояли администратор и официант Витя.

— Ну, нашли чего-нибудь? — спросил администратор, расплываясь до ушей.

— Нет, — сказал Люсин. — Просто вещички переписывали. Пошли теперь вниз. Оформим. Нате-ка вашу гантель. — Заперев номер, он отдал администратору ключ.

Официальный рабочий день был окончен. Оставалось только вернуться на работу, доложить обо всем начальству и все как полагается занести на бумагу.

...Возвратившись в кабинет, Люсин узнал, что фотографии пропавшего уже размножены и разосланы по отделениям милиции.

— Сообщите по отделениям, — первым делом распорядился он в телефон, — пусть побывают во всех парикмахерских. Может, он вчера вечером или сегодня утром куда заходил побриться. И вот еще что: кроме городской милиции, подключите сюда и Старую Калужскую дорогу, пока до сорок пятого километра. Там тоже пусть пройдутся по парикмахерским.

После этого он принялся исследовать содержимое папки. Начал с билетов. Отделив троллейбусные от автобусных, он остановился на двух соединенных воедино контрольных билетах московского автобуса ценою по 10 копеек каждый. Записал индекс: Ма 193, 762-71, серию: ЗЕ-109 и, конечно, номера 770266 и 770267. К ним же, возможно, примыкал и обычный пятикопеечный билет.

Сказать наверняка, конечно, нельзя, но, поскольку все три билета первоначально были смяты в один комочек, Люсин решил остановиться пока на том, что иностранец совершил поездку за 25 копеек.

Оставалось выяснить, куда и когда. Записав все характеристики третьего билета, Люсин стал названивать по автобусным паркам и транспортным управлениям. После десятого, а может, пятнадцатого звонка он уже знал, что билеты могли быть приобретены у кондуктора В. С. Антиповой, обслуживающей автобус номер 73-21. Автобус совершал рейсы по маршруту 531: станция метро Калужская — 45-й километр, что согласовывалось с пометками на плане Москвы. Билеты могли быть приобретены что-то около 16 часов; разумеется, вчера. А это совпадало с роковым временем: промежутком 12—19 часов.

Все, таким образом, пока сходилось. Почему же тогда Люсин записал «могли быть приобретены», а не «были приобретены»?

Прежде всего, из неисправимого рыбацкого суеверия. Удачу ведь легко вспугнуть. Даже виду не надо подавать, что замечаешь,

как благоприятно складываются события. Впрочем, честно говоря, суеверие играло в этом деле последнюю роль. Все было значительно сложнее.

Чаши весов все еще колебались у точки равновесия. Из двух возможных версий — «иностранец пропал, потому что с ним что-то приключилось» и «иностранец пропал, потому что это ему было зачем-то надо», — обе были пока равноправны.

В самом деле, пометки на плане и эти билетики могли быть намеренно оставлены, чтобы сбить со следа. Если так, то он идет сейчас у иностранца — дыру ему под ватерлинию! — на поводу, словно лосось какой на спиннинге. Но тогда и остальное сделано намеренно — иконка эта, стихи...

«Вроде бы и ни к чему все это... Слишком странно тогда это дельце выглядит. И если уж уводить из города, так почему столь близко? Почему на 30 — 38 километров (зона действия билета в 25 коп.), а не, скажем, в Одессу или тот же Ленинград? Что ж, расширить зону поисков всегда можно. Подождем первых результатов, а там видно будет...»

— Лаборатория? Это Люсин говорит. Вещички получили? Начните, пожалуйста, с серого костюма. Особенно низ брюк.

«Если все это не подстроено, то можно с уверенностью сказать, что человек ехал на автобусе именно в том костюме, в кармане которого лежат билеты. Вроде бы так?.. Ха! Как это ускользнуло от внимания? Брюки серого костюма, кажется, с манжетами... Старомодно вроде и как-то не вяжется...»

Люсин опять придвинул к себе внутренний телефон.

— Катя? Это Люсин говорит. Катечка, золотце, скажи мне, как там в Европе сейчас насчет брюк с манжетами? Не в моде? Ну погляди, погляди и сразу же мне позвони...

Он положил трубку и тут же взял ее:

— Лаборатория? Люсин. Брючки те вроде с манжетами? Ага! Так вы их выверните... Да что вы, ей-богу!.. Я совсем не учу... Просто так, к слову пришлось...

Люсин покраснел. Яростно почесал макушку и, сунув в рот трубку, стал грызть мундштук.

Позвонила Катя и сообщила, что еще в прошлом сезоне ателье Лианье предложило модель делового костюма с манжетами у брюк. Фотографии были помещены во многих парижских журналах, а также в женском швейцарском еженедельнике «Вы и он».

«Уже легче... Было бы неприятно, если бы этот джентльмен отставал от моды. Это как-то не гармонировало бы...»

Позвонили из лаборатории. На брюках обнаружили небольшие пятна грязи; похоже на брызги желтой глины и строительного цемента. В манжетах сбившаяся в комки пыль и кусочек прелого листика. Микроскоп выявил ольху. Сжигание пыли и последующий спектральный анализ показали линии, которые можно отнести к свинцу и кадмию. Заключение по другим вещам обещали дать завтра.

«Ну что ж, завтра так завтра. И это уже кое-что. Улов, конечно, незначительный, но, похоже, что эхолот пишет косяк. Утро вечера, конечно, мудренее, но пока еще не вечер».

— Гараж? Люсин говорит. Машину бы мне, если можно... Нет, не очень надолго. Часа на три... Во, спасибо! Так я минут через пять спущусь.

Он спрятал документы в сейф. Подумав, положил туда же и портфель. Запер. Вдавил нитку в розовую пластилиновую нашлепку, разгладил пальцем и приложил печать. Взял плащ. Закрыл кабинет и отдал ключ в соседнюю комнату. Увидев на всех лифтах красные огоньки, махнул рукой и весело затрусил по гулкой лестнице.

Глава 2

СТАРАЯ КАЛУЖСКАЯ ДОРОГА

Серая «Волга» миновала завод фруктовых вод, уютно расположившийся в бывшей церквушке из ядовито-малинового кирпича, и, сбавив скорость, аккуратно проехала мимо кукольного домика ГАИ, возле которого стоял милицейский синий мотоцикл с коляской. Инспектор в кожаной куртке разговаривал с кем-то по телефону. Совершив плавный поворот, машина на скорости 90 километров влетела на мост через реку Десну. В зеленом зеркале тихой воды отражались береговые кусты и разноцветные лодки. Вдали вода горела вишневым огнем.

Люсин засмотрелся на всю эту красоту. Потом вдруг обратил внимание, как легко и артистически большие Колины руки ложатся на кремовый обод руля, трогают переключатель скоростей или электрическую зажигалку. Заметив на красной, обветренной коже, золотящейся редкими волосками, венозный контур якоря с рулевым колесом, а чуть поодаль, ближе к большому пальцу, оплетенный вывалившей жало змеей меч, спросил:

— На флоте служил, Коля?

— Почти, Констиныч. В береговой обороне, — улыбнулся шофер.

— Ну все равно, кореша...

— Мы друзья — сухопутные крысы? — засмеялся шофер.

— Только не я, Коля! — покачал головой Люсин. — Я, брат, арктические моря бороздил за рыбой на белом пароходе БМРТ.

— Это что же за «бормоте» такое, Констиныч?

— Большой морозильный рыболовный траулер — это, понимаешь, Коль, громадный такой плавучий завод. Вроде до сих пор наплавался. — Он постучал ребром ладони чуть ниже подбородка. — А вспомнишь, так сердце заноет... Весной особенно в море тянет.

— Чего же ушел?

— Да, наверное, не ушел бы, не случись со мной травма. Взяли мы, понимаешь, сельдь, а это дело такое, что пока весь улов не

попадет в бочки, палуба от чешуи да молок скользкины неимоверной, ну я возьми и приложись темечком. И готово. Сотрясение мозга. Меня на базу, в лазарет. Вылечили вроде, но только я на палубу — горизонт под сорок пять градусов. Понимаешь? Море не могу с палубы видеть! Страшное дело. Хоть совсем уходи с тралового флота. Хорошо, ребята в комитет комсомола избрали, и стал я освобожденным секретарем. Но разве может моряк усидеть в управлении, когда рядом море? А что делать, если в море нельзя? Тут как раз комсомольский набор у нас объявили. Так оно и получилось, Коля, что решил я податься подальше от соленой воды, чтоб соблазна не было.

— А не жалеешь?

— Не. Не жалею... Сбавь, Коля, ход до самого малого. Мы теперь медленно будем ехать аж до Красной Пахры, смотреть будем во все, как говорится, перископы.

Проехали участок дороги от двадцать восьмого километра до сорок пятого, то есть до самой Красной Пахры.

По обе стороны дороги, как минимум, семь строительных площадок — значит, везде есть цемент. А глины, что называется, навалом. Всюду полно желтой глины. А уж сколько этой глины да цемента в стороне от шоссе, даже страшно подумать!

На сорок пятом километре, сразу за почтой, разворот. Отсюда автобус отправляется в обратный путь. «Волга» медленно съехала с шоссе и по отпечатанной на шлаковой крошке колее свернула к дощатому забору, посеревшему от дождей. Остановилась у телеграфного столба, на котором висел оранжевый почтовый ящик и была прибита покореженная жестяная доска с расписанием автобусного движения.

Напротив, через дорогу, у бетонного закутка стояли на остановке люди.

Машина развернулась и все так же медленно двинулась в обратный путь. Но только она поравнялась с деревянным, под красной железной крышей домиком почты, Люсин велел остановиться.

Перебежав шоссе, он прямиком через картофельные грядки по утоптанной до металлического блеска тропке заспешил на почту.

В Москве ни вчера, ни третьего дня дождей не было. Но они вполне могли пройти по области. Ведь даже в сводках погоды чуть дело доходит до области, как дается полная свобода самым фантастическим предположениям: и если в столице тепло и ясно, то по области возможен град, суховей и заморозки местами. Итак, если по области, в особенности в районе Пахры, прошли дожди, то брызги на серых с манжетами брюках лучше забыть. Другое дело, если дождя не было. В дождь человека может забрызгать любая пролетевшая мимо машина. И эта же случайная машина притащит на своих протекторах и глину, и цемент, и даже гуано. Вы можете стоять на сухом тротуаре, а вокруг вас за сотни миль не будет ни песчинки портландского, скажем, цемента, но вылетит из-за какого-то там поворота десятитонный самосвал с тремя ведущими осями, окатит

мутной струей и улетит в небытие по мокрой мостовой, вихляя железными бортами и гремя цепочками. А вот ежели никакого дождя не было, забрызгать брюки можно лишь при соблюдении ряда специфических условий. Тут уж нужно ступить в лужу где-нибудь на стройплощадке или, что в сущности то же самое, дать окатить себя проехавшей через эту лужу машине. Это уже значительно лучше. Все же в сухое время глинистые лужи не так часто встречаются возле цементных куч. Можно, конечно, попасть случайно под струю из шланга во время приготовления бетонной массы, и тут все разговоры о дождях окажутся неуместными. Но надо же на чем-то остановиться, выбрать что-то одно, главное... И тут не идет из ума ольховый листок. Сама собой вырисовывается картина: подступающий к поселку ольшаник, уводящая в лес тропинка, вся в рытвинах и колдобинах, наполненных застоявшейся на глинистой почве водой. И тут же, на окраине, строящийся домик из каких-нибудь плит или панелей со шлаковой засыпкой. Все это, конечно, чистейшая фантазия. Но картина получается! Живая, яркая, словно все это видено глазами, и не раз видено. Поросшая чахлым клевером поляна, лениво жующая корова, почему-то черная с белыми пятнами, ржавая перекладина импровизированных футбольных ворот...

Конечно, картину можно и разрушить. Начисто смыть эту жалкую фантазерскую акварель. Во-первых, чтобы забрызгать костюм, не надо отправляться на Старую Калужскую дорогу. Слава Богу, это нетрудно сделать и в Москве. Ольховый листок, правда... Но кто, черт возьми, сказал, что он застрял в манжете в то же или примерно в то же время, когда иностранец забрызгал свои брюки от Лианье или как там его?.. Картина может оказаться построенной из событий, разделенных во времени и пространстве. В этом случае она никуда не годна. К тому же, если здесь прошли дожди, то и вовсе говорить не о чем. Вероятности всех иных событий, кроме случайной машины, окажутся ничтожными. А на случайной машине далеко не уедешь.

Люсин присел на корточки. Щелчком сбил с бледно-лилового картофельного цветка какую-то букашку, растер серый комок земли между пальцами и сдул мягкую, как пудра, пыль. Она не пачкала рук.

Вроде бы дождя не было.

Он потянул на себя скрипучую, обитую черным потрескавшимся дерматином дверь.

В отделении связи было сумрачно. Крохотные окошки скупо пропускали грустный предвечерний свет. У двери с прорезным овальчиком, за которой что-то кричала в трубку телефонистка, ожидал старик с маленькой девочкой.

За деревянной стойкой одиноко стучал телеграфный аппарат. Чуть поодаль, у столика с весами, дремала женщина. В руках у нее было вязанье. Красный клубочек упал в консервную банку с застывшим сургучом.

На стойке лежали стопка газет и жестянка с гвоздями для заколачивания посылок.

Люсин кашлянул.

Женщина приоткрыла один глаз.

— Можно газетку у вас купить? — спросил Люсин.

— Свежих нет. Остались только вчерашние.

— А мне все равно! Хочу кулек сделать, а то, боюсь, грибы некуда будет класть.

Он взял первую попавшуюся газету и положил на стойку медяк.

— Только мало что-то грибов! — вздохнул Люсин.

— А откуда им взяться без дождей? — проворчал старик.

— А что, разве вчера у вас дождя не было? У нас в Москве был, — не удержавшись, зачем-то соврал Люсин и тут же добавил: — Местами, по области.

— Не было у нас, — сказала женщина и закрыла глаз.

— Почитай, неделя уже, как последний прошел. — Старик погладил девочку по голове. — Мы вот с Ирочкой подберезовиков опосля собрали и рыжиков малость. Да, Ирочка? Конечно, ему, грибу-то, не только дождик, но и сухость нужна, тепло для созревания, но все едино: без дождя грибов не будет.

— Я слышал, дедушка, — Люсин пододвинул табурет к старику, — что в тутошних ольшаниках бывает много грибов. А?

— Ольха, она больно воду любит... — Старик с сожалением покачал головой. — Может, опенка какая-то там и уродится... Али свинушка...

— А у вас тут где поблизости ольха растет?

— Да не знаю, милок. Везде понемногу.

— Серпухов будет говорить! — выкрикнула из-за двери телефонистка. — Пройдите в кабину!

Старик суетливо подхватил девочку и зашаркал к кабине.

Люсин отворил дверь и вышел на крыльцо. Солнце уже закатилось за синюю кайму леса. Вечерняя тоска окрасила листья и травы.

Но картина недостроенного домика на поляне все стояла перед его глазами.

Прямо наваждение какое-то...

Если верить билету, иностранец сошел где-то между тридцатым километром и тридцать восьмым. По шоссе он мог пройти от остановки либо километр назад, либо километр вперед. Не больше.

Получается зона в десять километров. В сторону от дороги вряд ли кто пойдет пешком больше пяти километров. Нет смысла. Проще доехать по другим путям. Значит, пять километров в одну сторону, пять в другую — получается прямоугольник в сто квадратных километров. Территория приличная, но не безнадежная. Глина, цемент, ольха плюс застойная вода — такое сочетание вряд ли часто встретится. Весь вопрос в том, как его отыскать. Первым делом проверить, какие на этой территории есть объекты, могущие заинтересовать заведомого шпиона. Если возле них указанных признаков нет... Одним словом, понятно... Но сегодня, пожалуй, уже ничего больше не сделаешь. Смеркается уже.

— Поехали назад, Коля, — сказал Люсин, усаживаясь рядом. — Все на сегодня.

— Я вот что хочу спросить тебя, Констиныч, — сказал Коля, включая зажигание. — Какое у тебя образование?

— Чтой-то вдруг?

— Да так просто... я ведь не впервой тебя вожу. Работаешь ты быстро, точно... Интересно мне знать, понимаешь, талант это у тебя такой или научился где?

— А откуда ты знаешь, как я работаю? Ты же никогда из машины не вылезаешь.

— Э, у нас, шоферов, своя телепатия есть! Запомни, Констиныч, может, пригодится в работе. Хороший шофер все про свое начальство знает. До тонкости!

— Ну, если так... Я, Коля, мореходку закончил, а потом заочный юридический.

— Обучали, значит, тебя...

— Ты как машину водить выучился?

— Курсы такие прошел на военной службе.

— А первый класс, как приобрел?

— В процессе работы и жизни. Рос, значит, над собой.

— Вот и я так: в процессе работы и жизни... Только мне, Коля, в отличие от тебя, до первого класса еще далеко.

— У кого же тогда первый класс? У вашего хозяина или у этого, у Мегрэ?

— Конечно, у Мегрэ, — чертыхнувшись про себя, зевнул Люсин. — Куда хозяину до него! Только ты об этом, Коля, ни гугу.

Следующий день был похож на костер, который сперва никак не желает разгораться, а после вдруг начинает полыхать со страшной силой, требуя все больше и больше топлива. Одним словом, костер разгорелся вовсю, но было сомнительно, удастся ли на нем что-нибудь сварить.

Встреча с кондуктором Антиповой В. С., как и следовало ожидать, решительно ничего не дала. A priori кондукторша сказала, что не запоминает пассажиров, потому как их у нее за день перебывает столько, что если всех запоминать, то недолго и на Канатчикову дачу угодить. Люсин целиком согласился с ней, но на всякий случай все же показал карточку 9x12 усатого мужчины. Антипова В. С. с ходу его не признала, а когда, уже в процессе душевного, никакого отношения к делу не имеющего разговора она, видимо, проникшись к Владимиру Константиновичу симпатией, сказала, что вроде этот усатый ей кого-то напоминает, Люсин понял свою ошибку и быстро дал задний ход.

Если она скажет еще хоть слово, он погиб. По отмякшим, переливающимся сочувственным блеском глазам ее было видно, что ей ничего уже не стоит вспомнить, что усатый, скажем, вышел у Десны и, не раздеваясь, сиганул с моста или, допустим, вылез на конечной остановке, воровато пряча под пиджаком мешок, в котором было что-то круглое.

Люсин ловко перевел разговор на цемент и ольху, но и здесь товарищ Антипова не смогла сообщить ему никаких полезных сведений.

Из лаборатории принесли полное заключение экспертизы. Ничего нового по части костюма от Лианье оно не содержало. Остальные вещи, увы, тоже не дали никакой информации. За одним, впрочем, исключением. На левом лацкане пиджака все того же щедрого костюма были замечены две крохотные капельки коллодия. Следы клея оказались также на галстуке и на одной из рубашек.

Ну клей так клей, и черт с ним! Мало ли что может склеивать человек! Некоторые только и делают, к примеру, что склеивают свою жизнь, которая почему-то дает трещины. Но почему именно на лацкане? Вот в чем вопрос.

Люсин спустился в лабораторию и велел принести манекен. Его обрядили в сорочку иностранца, завязали на нем галстук, руководствуясь едва заметными складочками.

После надели пиджак. Так и стоял без штанов посреди ярко освещенной лаборатории этот розовый пижон с безупречной укладкой.

Эпоксидные капли дали, как говорят артиллеристы, незначительный эллипс разброса: лацкан, галстук — чуть пониже узла, рубашка — как раз в вырезе пиджака. Это можно было бы понять, если бы пропавший иностранец обладал редким даром рыдать коллодиевыми слезами или, что дает сходный результат, пускать клеевые слюни.

Абсурд, конечно. Но что-то в этом эллипсе все же было. Какая-то очень неслучайная сумасшедшинка.

— Что можно клеить этой штукой? — спросил Люсин высокого химика с вьющейся ассирийской бородой, вызывающе черневшей на безупречно белом халате.

— Многое: бумагу, дерево, шерсть.

— Капли упали сверху вниз?

— Конечно. — Химик поднял брови. — Как же иначе?

— Вот и я говорю: как же иначе?.. Он что-то клеил у себя на голове. Надо послать людей в гостиницу. Пусть тщательно исследуют пол в ванной и перед гардеробом, у зеркала... А что у него там в пузырьках оказалось?

— Ароматические соли, эссенции, шампунь, бесцветный лак для ногтей, ацетон, всевозможные кремы и, конечно, кельнская вода.

— Одеколон.

— Ах, одеколон... — Люсин покосился на химика. — Для бритья, надо полагать... А зачем ацетон? Для маникюра?

— Видимо. Лак смывать, если начнет отставать.

— А больше ничего им смыть нельзя? Вот это нельзя? — Люсин кивнул на бесштанный манекен. — Я про клей говорю.

— Сейчас проверим. — Химик вынул стеклянную пробку из бутылки с ацетоном, набрал его в бюретку и смочил ватку. Вынув лупу, он подошел к манекену и потер ваткой лацкан. — Начи-

сто, — сказал он, помахав перед носом ладошкой, чтобы развеять запах. — Прекрасно растворяет.

«Что же он клеил и что смывал, гад? Парик небось. Неужели все же парик? А вдруг это он не для конспирации, а потому что лысый? С него станется. Вполне. Лак, маникюр — абсолютно в стиле.

Будем рассуждать последовательно и строго. Мало ли что мог он клеить? И когда? Ведь никто не сказал, что он делал это вчера или позавчера? А вдруг это было еще до приезда в Москву? Э, нет, так не пойдет. Рубашка, она о многом говорит. У него же дюжина рубашек. Зачем? Очевидно, чтобы чаще менять. Восемь из них первозданной свежести, четыре, в том числе и эта, лежали на отдельной полке. Нет, недавно он клеил, подлец! Теперь — что клеил? Если нечто, к внешнему виду отношение не имеющее, то пока можно вообще всю эту историю отложить. Поэтому станем полагать, что дело все-таки касалось внешности. Если он заклеивал себе пролысину на макушке — то не наше дело, пока во всяком случае. В итоге остается лишь вариант с более или менее радикальной переменой физиономии. Тут дело закручено туго: не нос же он себе подклеивал и не глаза. Либо волосы, либо усы, либо бороду. Здесь, как говорит «Бюллетень по обмену жилплощади», возможны различные варианты.

Если у него косметический парик, то пока позволительно на это закрыть глаза, все равно как на природную шевелюру. Парик — штука постоянная. Остаются усы и борода. Бороду можно наклеить, куда-то там сходить, в укромном месте снять и вернуться в первозданном виде домой, в гостиницу то есть. То же относится и к усам. С той лишь разницей, что в документах дядя фигурирует в усах, но без бороды. Отсюда с неизбежностью вытекает, что меньше всего мороки с усами. Вышел из гостиницы, отклеил, сделал свое, неведомое, но, наверное, не очень благородное дело (иначе зачем же маскироваться?), наклеил усы предстал перед людьми в привычном облике.

В таком случае наши фотокарточки помогут, как мертвому припарки...»

Люсин поднялся к себе в кабинет и занялся полукилометровой картой, на которой был обозначен интересовавший его отрезок дороги с прилегающими окрестностями.

Но тут зазвонили сразу два телефона.

Одна трубка принесла весть, что вблизи наиболее важных объектов ольхово-цементного комплекса вкупе с лужами не наблюдается. Другая обрадовала, что парикмахерский цех человека на фотокарточке 9х12 не признал.

— Спасибо! Хорошо, — сказал в одну трубку Люсин. — Хорошо! Спасибо, — сказал он в другую и добавил: — Мы вам пришлем другие фотокарточки.

Положил обе трубки и взял третью, внутреннего телефона:

— Фотолаборатория? Это Люсин говорит. У вас фотография, что вы для нас размножили? Так вот, сделайте, пожалуйста, три

варианта: номер один — с усами и с бородой, номер два — с бородой, но без усов, номер три — без усов и без бороды... Какую бороду? Ну среднюю, не очень большую... Да, и размножьте тоже... Мы разошлем.

«Ощущение, будто гоняешься за пустотой. Человек-невидимка. Фантомас... Что же еще можно сделать? Антикварными магазинами и образами займемся завтра. Зарубежные сведения поступят не скоро. Что же сейчас еще можно сделать?»

Он позвонил дежурному по городу и попросил держать его в курсе всех происшествий, будь в них что-то невыясненное или же странное. Особо упирал на последнее, ибо чувствовал, что дело ему досталось очень странное. Надо сказать, что на то у него были некоторые основания. Зато уверенности, что дежурный понял его правильно, не было.

Глянул на часы — самое время обедать. Позвонил, справился об антикварных магазинах. Их оказалось довольно много: главные — на Арбате и улице Горького, а также магазины на Беговой, на проспекте Мира, Комсомольском проспекте и антикварной мебели около Бородинского моста.

Но без фотографий туда нечего и соваться. Хочешь не хочешь, а надо ждать.

Пошел в столовую. Бросил грохочущий поднос на дюралевые направляющие, положил на него алюминиевые ложки и вилку. Стал толкать вперед, продвигаясь в небольшой очереди. Есть особенно не хотелось. Взял четыре стакана компота и полную тарелку борща, подумал и добавил еще порцию кальмаров под майонезом.

Стоявший сзади незнакомый коротко остриженный парень покосился на его поднос и вдруг засмеялся:

— Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты...

— Ну кто? — лениво повернулся к нему Люсин.

— Вы, товарищ, имели отношение к плавсоставу, где, кроме как пить компот или перетягивать канат, делать абсолютно нечего.

— Почему же? Можно еще в домино сыграть.

— Во-во! — обрадовался парень. — Забить «козла», а после кукарекать под столом... И еще вы, товарищ, жили в высоких широтах.

— А это откуда видно?

— Вы взяли одно только первое.

— Может, я есть не хочу?

— Нормальный человек — я имею в виду жителей средней полосы, — когда не очень голоден, берет все-таки второе.

— Обычно.

— Совершенно верно: обычно. Полярник обычно берет первое.

Люсин рассмеялся.

— Ладно, ваша взяла. Меня Люсин зовут, Володя.

— Очень приятно, Володя. — Он пожал протянутую Люсиным руку. — Гена Бурмин.

Люсин слегка поморщился.

— Ну и хватка у вас, Гена! — сказал он, помахав ладонью. — Дзюдо небось какое-нибудь?

— Подымай выше — карате.

— Это что — когда кирпичи ладонью разбивают?

— Можно и кирпичи.

Они сели за один столик.

— Очень вы подготовленный товарищ, — сказал Люсин.

— К чему это? — ухмыльнулся Гена, поднимая глаза от тарелки.

— К нашей работе.

— Промах, товарищ Люсин. Я здесь случайный гость. Я, видите ли, редактор. Редактирую приключенческие книги. Поскольку же в последнее время многие из ваших коллег подались в литературу, я вынужден их время от времени навещать. То они ко мне в редакцию приходят, то я к ним в этот богоугодный дом — так и живем.

«Занятный парень», — подумал Люсин. Гена ему определенно понравился.

— А вы, случайно, не пишете? — спросил Гена, вытирая губы салфеткой.

— Не пишу, — сокрушенно вздохнул Люсин, — не умею. У меня товарищ пишет. С историческим уклоном.

— Кто же это, если не секрет?

— Юрий Березовский. Может, слыхали?

— Ну как же! — Гена всплеснул руками. — Это же мой автор и приятель.

«Занятно», — подумал Люсин, не очень удивляясь привычному коловращению жизни.

Только вчера он думал о том, что надо бы повидаться с Березовским, и вот, пожалуйста, случайная встреча — за столом сидит человек, который отлично знает Березовского. Что это — чудо? Или свойство мира, который, как уверял один ученый чудак, есть только воля и представление?

Люсин знал, как иные случайные совпадения укладывают человеческую жизнь в такую железную прямую, что только разводи пары и дуй по ней, словно по рельсам.

В сущности ведь ничего не меняется. Все равно даже без этого знакомства в столовой встреча с Березовским состоялась бы. Потому что это необходимо, потому что, кроме Юрки, ни один человек в мире с этим делом не справится. Тут все ясно. Но если этот коренастый черноглазый парень Юркин приятель, то и с ним тогда рано или поздно пришлось бы встретиться. Вот в чем скрыта страшнейшая диалектика. Как будто случайность, а попробуй избегни ее? Минуешь один закоулок, где она подстерегает тебя, так она все равно столкнется с тобой носом к носу за ближайшим поворотом.

— В таких случаях говорят: мир тесен, — сказал Гена.

— Он и вправду тесен, — согласился Люсин. — Только ты в нем, как иголка в стогу, ищущая другую иголку.

Они рассмеялись и встали из-за стола.

— Ну, рад был познакомиться с вами, проницательный мастер карате, — сказал Люсин и пожал на прощание Генину железную руку. — Думаю, встретимся еще, и не раз.

— При нашей работе да еще Юрка Березовский — и не встретиться? — Гена свистнул. — Это, как говорят в Одессе, надо уметь.

И они расстались. Гена умчался в свою редакцию или еще куда-то навстречу приключениям, которые редактировал, а Люсин прошел к себе в кабинет, куда вскоре должна была прийти Женевьева Овчинникова.

На столе его ожидали дактилоскопические отпечатки. На стакане и на пробке от графина иностранец оставил-таки папиллярные линии четырех пальцев правой (если, конечно, он не был левшой) руки. Остальные отпечатки оказались смазанными. Люсин повертел фотографии и убрал их в папку. Пока они были ни к чему, но, конечно, могли пригодиться в дальнейшем.

Глава 3

СВЯТАЯ «ТРОИЦА»

Женевьева явилась точно в 15.00, ну может, было каких-нибудь три-четыре минуты четвертого. Люсин вышел из-за стола, поздоровался, усадил гостью на диванчик.

Она закинула ногу на ногу, расстегнула молнию своей стратосферной сумки и, достав сигареты, спросила, можно ли курить.

«Ну конечно, можно, Женевьева. Конечно, можно. Отчего бы и нет? Суть в том, Женевьева, что пока только ты одна, быть может, хранишь ключ к разгадке этой нелепой истории. Ты сама даже можешь не знать об этом. Но то, что видели твои голубые глаза, слышали твои хорошенькие ушки, розовеющие сейчас в прямом свете окна, не могло исчезнуть бесследно. Пусть неосознанно, но ты впитала это в себя, и оно спит сейчас где-то в таинственных глубинах, которые называются подсознанием. Как разбудить тебя, Женевьева? Как сделать, чтобы сумела ты рассказать то, что нужно, то, что ты, возможно, знаешь? Человек человеку рознь. Одни и те же вопросы рождают совершенно различные ответы. Фантазия освежает слабые следы в памяти, позднейшая догадка оборачивается вдруг истинно пережитым эпизодом. Но где же здесь истина, позвольте спросить? И это все, Женевьева, когда люди не имеют основания лгать, скрывать истину. Если же есть у них такие основания, то тут уж совсем нелегко докопаться до правды. Но сейчас тебе нечего скрывать, Женевьева. В этом деле нет и не может быть у тебя никаких интересов. Так как же спросить тебя поудачней, чтобы ты могла рассказать, что знаешь, что видела и слышала, вовсе не думая в тот момент, как какие-нибудь сутки спустя все это станет удивительно важным.

С чего же начать? Допустим так: «Сколько времени, Женевьева Александровна, вы работаете с этой делегацией?» Конечно, очень оригинальный вопрос. Его так трудно было найти. Вот оно и получается, что весь сложный, живущий в тебе мир вдруг выливается в бледный стереотип. И ты думаешь, что этот стереотип способен пробудить не менее сложный мир чужой души? Каков же будет ответ тогда? Впрочем, все это философия. С чего-то надо начать. Пусть это что-то будет определенным и однозначным. Однозначный вопрос и однозначный ответ. Плавание всегда начинается от твердой земли, от берега».

— Вы давно работаете с этой делегацией, Женевьева Александровна?

— Неделю... Восемь дней, если быть точной.

— И за неделю этот господин уже сумел откопать древнюю иконку!

— Это еще вопрос! — усмехнулась Женевьева, смяла недокуренную сигарету.

— То есть?

— В смысле древности... Я, знаете, не верю, что можно так запросто купить пятнадцатый или шестнадцатый век. Даже если речь идет о семнадцатом, то и здесь легко нарваться на подделку.

— Мы отправили иконку на экспертизу.

— Не сомневаюсь в ответе.

— Думаете, подделка?

— Нет, что вы! — Женевьева пожала плечами. — Подлинный Рублев или в крайнем случае его ближайший ученик. У нас же такие вещи на улице валяются.

— Понимаю вашу иронию, Женевьева Александровна, — беспомощно развел руками Люсин. — Вы уж, Бога ради, простите мое невежество. В этих вещах я совершеннейший профан.

— Тогда тем более не стоит вам возиться с этой иконкой. Она вам вряд ли поможет отыскать иностранца.

— Вы думаете? — Люсин забарабанил пальцами по столу. Краем глаза он следил за тем, как Женевьева достала новую сигарету и осторожно прикурила от газовой зажигалки, выбросившей неожиданно высокое пламя.

«Что-то задела тебя эта иконка, Женевьева... И чего ты сердишься, чего нервничаешь? Я-то, конечно, в этом деле ни бум-бум, но тебе-то чего волноваться? Или это настолько очевидная фальшивка, что ты как профессионал-искусствовед возмущаешься моей непроходимой тупостью? Нет, Женевьева, тебе бы больше пошла снисходительная усмешка и короткая, полная тонкой иронии разъяснительная лекция. Чего же ты сердишься на простоватого милиционера? Просвети его... Впрочем, разве я знаю тебя? Может, так и нужно: молчаливо негодовать на тупые действия профана и дубаря, который теряет время, возясь с какой-то фальшивой иконкой?»

— Дайте-ка я отрегулирую вам пламя, Женевьева Александровна.

Люсин взял ее изящную перламутровую зажигалку и осторожно повернул блестящее рифленое колесико.

— Вот теперь в самый раз! — сказал он, любуясь крохотным голубоватым огоньком.

— Спасибо, — холодно кивнула ему Женевьева.

«Это-то вы можете...», — подумал за нее о своей персоне Люсин.

— Видите ли, Женевьева Александровна, в нашей работе очень много всякой формалистики, между прочим, отнюдь не лишней, а очень даже необходимой. Что бы я лично ни думал об этой иконке, мне все равно нужно официальное заключение экспертов. Будь на моем месте даже такой специалист, как вы, то и ему пришлось бы обратиться за таким заключением.

«Специфика жанра, как любит говорить мой друг Березовский».

— Я понимаю, — отчужденно согласилась Женевьева, всем своим видом как бы говоря: «А мне-то какое до всего этого дело?»

«Во! — обрадовался Люсин. — Это уже совершенно правильная реакция. Это как раз в твоем духе, Женевьева!»

— Как говорится, не в службу, а в дружбу, ответьте мне, Женевьева Александровна, на совершенно частный вопрос. Выгодное дело подделывать иконы?

— Что? — Она широко раскрыла великолепные, такие синие, такие сердитые глаза. — Вы меня, — на этом слове она повысила голос, — спрашиваете?

— Я вас обидел?

— Нет... — Она на секунду смешалась. — Но причем здесь я.

«Опять сила эмоции не соответствует ничтожности информации. Хоть убей, не пойму, почему она так кипятится... Постой. Может, она думает, что я подозреваю ее в этом деле с иконой? Неужели она такая дура? До чего же обманчива внешность. Или это нам, мужчинам, просто свойственно — каждую красивую девушку автоматически зачислять в разряд хороших и умных? У-ди-ви-тельно!»

— А что, если иностранец вовсе и не покупал этой иконы у нас, а, наоборот, сам ввез ее из-за границы, чтобы выгодно продать?

Люсин опять откинулся на стуле, с удовлетворением наблюдая, как Женевьева, наморщив лобик, обрабатывает брошенную им мысль. Она пришла к нему только что, и он не верил в нее ни на грош.

— Очень может быть, — сосредоточенно закивала Женевьева, легонько покусывая нижнюю губку, чуть тронутую перламутровой помадой. — Он ввез ее, чтобы сбыть здесь какому-нибудь дураку. — Лицо ее прояснилось.

«Конечно... И ввез в коробке, на которой стоит штамп ресторана «Россия». Тем более что буфетчица помнит, как указанный господин третьего дня приобрел у нее обе коробки».

— Так, — одобрительно склонил голову Люсин, — но весь вопрос в том, насколько это выгодно?

— Очень выгодно! — Женевьева прижала ладошки к груди. — Шестнадцатый век — это уже тысячи.

— Ну? — удивился Люсин.

— Я вам говорю. — Она многозначительно постучала кулачком по колену. — Только они там перестарались. Не надо было копировать Рублева, от этого за милю несет липой.

«Не за милю, Женевьева, за версту... Но дело не в этом. Главное, что ты уже больше не опасаешься за себя».

— А другой сюжет прошел бы?

— Конечно. Спас, Никола или там, скажем, Иверская, Троеручица... Лучше всего Одигитрии, конечно! От них так и веет стариной.

— От кого, простите?

— От Одигитрий. Это Божья Матерь такая... Или «Неопалимая Купина»! Тоже очень эффектная икона.

— А! Понятно... Простите, если не так спрашиваю, но разве только от сюжета зависит...

— Древность иконы? — оживленно перебила Женевьева. — Нет, конечно. — Она снисходительно рассмеялась. — Просто для фальшивки лучше выбирать привычный, я бы сказала — рядовой сюжет. Для надежности! Это не так внушает подозрения, как «Троица» или «Архангел Гавриил» в рублевской манере. О возрасте же судят по многим признакам: доска, патина[1], манера письма, трещины на краске, сама краска, наконец, да мало ли... Если доска, допустим, выпилена, то я сразу скажу, что это самое большее конец восемнадцатого века!

— Почему?

— Да потому, что пила в России появилась только при Петре! — с торжеством подбоченилась Женевьева.

— Ух ты! — восхитился Люсин. — Почище любой детективной науки.

— А вы думали...

— Здорово, здорово, чего там говорить... А кому он надеялся продать ее?

— А я почем знаю? — Глаза Женевьевы вновь настороженно сузились.

— Конечно, вы не можете знать, Женевьева Александровна, разве я не понимаю? Но может быть, он спрашивал у вас или еще у кого-нибудь о художниках, антикварах там, любителях...

— Нет, не спрашивал.

— По комиссионным он один ходил?

— Видимо, один, меня во всяком случае при этом не было.

— Ну что ж, Женевьева Александровна, спасибо за консультацию. Счастливо вам поездить по Союзу. Передайте привет мадам Локар, скажите ей и другим членам группы, что мы сделаем все, чтобы найти их товарища. Все, что возможно.

Он взглянул на часы и подписал Женевьеве пропуск. Шел уже пятый час. За окном потемнело. Солнце скрылось за грозной ас-

[1] Патина — налет времени

фальтовой завесой. Порывы ветра безжалостно трепали пыльную листву, раскачивали ветви. Вот-вот мог хлынуть ливень.

Зазвонил телефон. Люсин сразу же взял трубку. Звонили из гостиницы. Какой-то молодой человек спрашивал администратора об иностранце. Интересовался, когда его можно будет застать.

— Скажите, что иностранец ненадолго вышел, вернется минут через пятнадцать! Ясно? Пусть подождет в холле. Под любым предлогом задержите его до моего прихода!

Люсин положил трубку и сразу же позвонил по внутреннему телефону в гараж.

Только успел он сесть в машину, как начался грозовой ливень. И какой! Серые струи хлестали по мостовой. Из водосточных труб бежали пузырящиеся молочные реки. Прикрываясь газетами и портфелями, разбегались люди. В мгновение ока попрятались они под навесами подъездов и киосков, прижались к стенам домов и к стволам деревьев в саду «Эрмитаж».

«Прелестно! — подумал Люсин. — Чудненько! Волей-неволей этот тип останется в гостинице!»

«Волга» неслась в каком-то тумане. Мостовые дымились. Серые фонтаны вздымались выше крыльев. Но надсадно стонущие «дворники» не успевали отгонять набегающую пузырящуюся воду. Едва прочерчивался на ветровом стекле дрожащий, искажающий очертания сектор, как его сразу же затягивала слепая шевелящаяся плесень.

Люсин вспомнил вдруг, как тревожно ревут в туман тифоны в порту.

Машина остановилась у самых дверей северного входа. Подняв воротник пиджака и пряча голову в плечи, Люсин открыл дверцу и неуклюже запрыгал к дверям. Всего три шага. Но спина успела намокнуть, а залившая гранитные ступени ледяная вода, взлетев вверх, окатила его до колен. Целую неделю в предвидении непогоды он таскал с собой свою коричневую болонью, а сегодня забыл в кабинете.

Администратор дожидался у самого входа, стоя рядом со швейцаром.

— Тут! — Он шепнул Люсину и мотнул головой в сторону газетного киоска, возле которого уютно устроился в кресле парень с пышной вьющейся шевелюрой и полубаками.

Он лениво листал югославский журнал «Филмски свет» и, видимо, совсем не торопился идти под дождь. Благо были на нем лишь легкие дакроновые брюки и серая нейлоновая водолазка.

— Это вы ждете иностранца из 1037 номера? — спросил Люсин, вытирая платком мокрую шею.

— Да. А что? — Он согнул журнал и поднял голову.

— Мне придется задать вам несколько вопросов. — Люсин протянул ему раскрытое удостоверение.

— Пожалуйста, — равнодушно согласился парень, мельком глянув на документ.

— Какое у вас к нему дело?

— Личное.

— Это не ответ. Предупреждаю, что положение очень серьезное. Иностранец уже двое суток как исчез. Я должен официально допросить вас, как свидетеля.

— Свидетеля чего? — Он подчеркнул последнее слово. — Я ничего не видел.

— Свидетель — это юридический термин. Ваше заявление в данном случае тоже свидетельство.

— В таком случае свидетельствую! — усмехнулся молодой человек и небрежно поднял руку.

Люсин вытер наконец мокрый затылок и, скомкав платок, спрятал его в карман. Огляделся. Кресло, в котором сидел парень, стояло у квадратной мраморной колонны, других кресел вблизи не было. Киоскерша вся подалась вперед, подмяв стопки заграничных газет, и буквально поедала собеседников глазами.

Люсин улыбнулся ей и, достав кошелек, сказал:

— Мне «Юманите», «Уоркер» и «Морнинг стар»... Тут не совсем удобное место для беседы, — сказал он парню, свертывая газеты в трубку. — Люди делом заняты, а мы им мешаем. Пройдемте-ка лучше в комнату администратора.

Тот нехотя поднялся и, равнодушно пожав плечами, пошел вслед за Люсиным.

Веселая, окрашенная бледно-желтой эмульсионной краской администраторская после сумрака холла буквально слепила глаза. Дождь уже прошел. За окном сверкало свежее ярко-синее небо. В бездонных солнечных лужах купались взъерошенные голуби. Все блестело и переливалось. Откуда-то сверху еще срывались тяжелые, напитанные светом капли.

Люсин приоткрыл форточку. В комнату влетел влажный электрический ветер. Шурша, заколыхался на стене отклеившийся рекламный плакат компании «Эйр-Индия» с темнолицым белозубым сикхом в зеленом тюрбане.

— У вас есть с собой какие-нибудь документы? — спросил вдруг Люсин.

Парень весело похлопал себя по брючным карманам и развел руками.

— Не держу. Не предусмотрел допроса. Виноват.

— Фамилия?

— Вы сперва скажите, что я такого сделал предосудительного или незаконного? На каком основании вы учиняете мне допрос?

— Я уже все вам объяснил, дорогой товарищ. — Люсин закрыл форточку. — Человек пропал, его надо найти. Только поэтому мы с вами здесь и встретились.

— Но вы же допрашиваете меня!

— Правильно, допрашиваю. Но в качестве свидетеля. Если бы у вас оказался при себе паспорт, я бы просто выписал оттуда все необходимые данные. Таков порядок. Свидетель — лицо юридическое, и нужно установить его личность.

— У меня нет документов.

— Знаю. Вы уже говорили мне это. Поэтому я и спрашиваю вашу фамилию.

— И вы поверите мне на слово? — усмехнулся парень.

— Отчего же не поверить? — удивился Люсин. — Поверю. Вы скажете, я позвоню, проверю, и мы вместе с вами съездим к вам домой за документами.

— Ах вот как!

— Ну да! А как же еще? — Люсин опять удивленно выпятил нижнюю губу.

— А звонить-то тогда зачем?

— А это, — Люсин заговорщицки подмигнул, — чтобы не пришлось лишний раз съездить совсем в другой конец города и по другому адресу. Бывают, знаете ли, такие простаки, что вместо своей фамилии называют чужую.

— Неужели бывают? — Парень сокрушенно покачал головой. — Действительно простаки. Их небось не предупреждают, что будут звонить и проверять, а потом все равно возьмут да поедут к ним на дом. Нелогично как-то получается. Если уж ехать, то зачем звонить? Себя зачем утруждать?

— Ну ладно. — Люсин зевнул, прикрыв ладонью рот. — Уговорил. Звонить не будем. Время дорого. Фамилия, имя, отчество, адрес? — Он достал блокнот.

— Михайлов Виктор Михайлович. Малая Бронная, семнадцать, квартира шесть.

— Где работаете?

— Нигде.

— Как так?

— Я нигде официально не числюсь.

— А неофициально?

— Художник.

— Ну вот, а говорите, что нигде не работаете. Работаете, значит. В мастерской работаете, дома.

— Для вас же, если не член МОСХа, так уже и не художник вовсе, а почти тунеядец.

— Для кого — для меня? — Люсин ткнул себя в грудь.

— Ну может, не для вас лично, а так... вообще.

— Ну напрасно это вы, Виктор Михайлович. У меня друг есть, писатель. Хороший, настоящий писатель, хотя и не член союза. Но будет, конечно, в союзе, обязательно будет... У вас дома телефон есть?

— Нет. А зачем вам?

— Да все за тем же. Больно уж не хочется мне ехать с вами за паспортом. Человек вы нервный, раздражительный. Вместо того чтобы помочь мне найти пропавшего иностранца, вы... К чему это все, Виктор Михайлович?

— Скажите мне, я обязан быть этим — как его? — свидетелем?

— Обязаны, товарищ Михайлов. А когда я вызову вас к себе или, если для вас это более удобно, нанесу вам визит, то попрошу

подписаться, что вы уведомлены об ответственности по закону за дачу ложных показаний.

— Я? Уведомлен?

— Ну разумеется! Я ведь обязан буду уведомить вас.

— Сейчас, значит, составлять протокол не будете?

— К сожалению, бланков не захватил. Вы давно знаете этого человека?

— Недавно. Случайно познакомились.

— Где, если не секрет?

— Какой же тут секрет, если я обязан по закону? В магазине с ним разговорился, в антикварном, на Арбате. Между прочим, имейте в виду, я только сейчас от вас узнал, что этот субъект иностранец!

— А фамилия?

— Мало ли у нас людей с нерусскими фамилиями? Может, он из Прибалтики.

— Резонно. Но все это к делу отношения не имеет. Он что, картину у вас хотел купить?

— Можно сказать, что и картину, — усмехнулся Михайлов. — Во всяком случае в этом роде.

— Вы-то сами картины пишете?

— Я, знаете ли, больше реставратор. Но и пишу, конечно, немного, для себя.

— Он у вас уже что-нибудь приобрел?

— Так, одну штучку. Пустячок.

— Платил советскими деньгами?

— Я же сказал вам, что принял его за нашего! А с валютой никогда дела не имел.

— Понимаю! — кивнул Люсин. — Сколько вы взяли с него за рублевскую «Троицу»?

— Ух ты! Не в бровь, а в глаз, товарищ начальник! Все знаете!

— Да нет, Виктор Михайлович, к сожалению, не все.

— Это он сам вам об иконе сказал или своим умом дошли? Дедуктивным, так сказать, методом?

— Я охотно отвечу на ваши вопросы, но сначала все же позвольте спрашивать мне. Сколько вы получили за икону?

— Пятьсот.

— Это за рублевскую-то школу?

— Она такая же рублевская, как... — Силясь найти сравнение, он пошевелил пальцами, словно раздавал карты. — Это старая, безнадежно испорченная доска, вновь расписанная в девятнадцатом веке. Цена-то от силы ей рублей семьдесят. Ну, сто!

— Сознательно, значит, обманули покупателя?

— Обманул? И не думал. Она ему понравилась, я назвал цену, а он взял. Все законно.

— Выходит, он сам обманулся? По неопытности?

— Не думаю. Рублевская школа потянула бы, как минимум, еще на два нолика. Эта же штучка вполне качественная, редкая.

Где ее достанешь? Тут и переплатить не грех. И тем более, вы говорите, что он иностранец. У них там она столько и потянет, да еще в долларах. Прямой смысл ему был купить.

— А вывезти?

— Это уж его дело. Я не знал, что он иностранец.

— Когда вы с ним познакомились?

— В понедельник.

— Где передали икону?

— У меня дома, на другой день.

«То есть во вторник, а в среду он уже не вернулся ночевать в свой номер. Так-то вот...»

— Кто-нибудь еще знал об этом?

— О чем это вы?

— Я имею в виду, знал ли кто-нибудь, что этот человек купил у вас за пятьсот рублей, как вы говорите, копию рублевской «Троицы»?

— Не думаю. Я-то, во всяком случае, никому ничего не рассказывал, но за иностранца, конечно, не поручусь.

— А если бы кто-то случайно узнал про это и, не будучи, конечно, осведомлен, что икона на самом деле представляет собой всего лишь копию, сделанную в прошлом веке, попытался ею завладеть? Улавливаете ли мою мысль?

— Тюкнул иностранца, чтобы присвоить ее?

— Ну не обязательно это... — поморщился Люсин, — но примерно. Возможно такое?

— Вам виднее, — пожал плечами Михайлов. — Скажу только, что и за меньшее убивают.

— Что вы имеете в виду?

— А вон таксиста позавчера какая-то сволочь по голове трахнула. Мне нынче шеф все рассказал, пока сюда в гостиницу вез. У него всего выручки-то семь рублей было, как потом по счетчику определили. А тут икона, за которую полкуска плачено, а она, может, куда больше стоит... Могли соблазниться...

— Не подозреваете кто?

— Кто ж его знает, с кем он тут познакомился?

— А с вами как?

— Да разговорился я с ним, на свою беду, в комиссионке. Там три миниатюрки продавались на финифти: «Преподобный Серафим», «Сергий Радонежский» и «Нечаянная радость» — всего сто рублей. Он их в лупу разглядывал, сомневался насчет трещин. Финифть, конечно, дело верное, чистый восемнадцатый век. Я ему и посоветовал купить. Он уже и чек велел выписывать, да махнул вдруг рукой и сказал, что возьмет одного Будду — он еще и Будду там присмотрел, — потому как хочет настоящую, писанную на доске икону и, по возможности, древнюю. Ему, конечно, идола завернули и говорят, что иконами не торгуют! Тут я сказал, что зря он миниатюры не купил, долго они на прилавке не пролежат. Я как в воду глядел, потому что в среду их уже не было. Будь у меня тогда деньги, я бы сам их купил. Одним словом, вышли мы

из магазина вместе, разговорились, я и пригласил его к себе коечто поглядеть, не для продажи, конечно, тогда я об этом и не думал.

— У вас много икон?

— Нет, не очень... Случайно попадаются, конечно, я же реставратор.

— Ваши иконы, Виктор Михайлович, меня не волнуют, — заверил его Люсин, — собирайте себе на здоровье, дарите их или там продавайте, если это не нарушает закона. Меня только иностранец интересует. Он что, сам предложил вам продать ему икону?

— Конечно, сам! Он сразу на нее глаз положил. «Подлинник»? — спрашивает.

— А вы?

— А что я? Я говорю: «Подлинник, хотя и не рублевской школы». Разве не правду сказал? Он же спрашивает: «А время приблизительно то же?» — «Ну, — сказал ему я, — время точно установить не удалось». Он тут же полез за бумажником и спросил: «Сколько?» Я назвал ему цену, он без звука отдал. Вот так...

— Вы говорите, он в тот день приобрел в магазине Будду?

— Да, в понедельник.

— Не сможете ли описать мне его?

— Отчего же? Бронзовый, со стершейся позолотой. Страшный такой. Волосы, как пламя, пузатый, с натуралистическими подробностями.

«Он самый и есть. Надо будет позвонить — справиться, когда продали!»

Люсин сделал в блокноте пометку, потер лоб, сморщившись, помолчал с минуту, потом спрятал свои записи и сказал:

— Ладно, товарищ Михайлов. Спасибо за информацию. На сегодня, думаю, все. Простите, что отнял у вас, — он взглянул на часы, — двадцать пять минут. Вы сейчас куда?

— Домой, с вашего позволения. Не возражаете?

— Помилуйте, Виктор Михайлович, какие могут быть возражения? Я вас даже подвезу.

— Ай, спасибо, дорогой! — Михайлов вскочил, раскланялся, поводя по полу пером воображаемой шляпы. — Вот уважил! А если я пешком хочу прогуляться, подышать свежим воздухом после дождя? Имею право?

— И то правда, — согласился Люсин, — воздух свежий, чистый, пыль всю прибило. Давайте пешочком пройдемся. А машина за нами поедет на тот случай, если устанем.

— Во! То-то и оно. Зачем же спрашивать да записывать, если у вас с самого начала доверия к человеку нет.

— Э, Виктор Михайлович, опять старая песня! Поймите же вы наконец, что я на работе и есть определенный порядок... Ну что, опять все надо сначала? У меня ведь, — он опять глянул на часы, которые по старой морской привычке носил циферблатом внутрь, — рабочий день уже кончился. Неужели надо милицию вызывать?

Они, конечно, быстро установят вашу личность и все потом мне доложат. Но спрашивается: по какому моральному праву я так с вами поступать буду? В благодарность за ваш рассказ, который очень нам помог? Право, Виктор Михайлович, давайте уважать друг друга... Ну что, поедем или пройдемся пешком?

— Ладно, — махнул рукой Михайлов, — поехали. Только в гости к себе я вас не приглашаю. На лестницу паспорт вынесу, а то не поеду.

«Боится за свои иконы», — решил Люсин и, улыбнувшись, спросил:

— У вас лестница не очень темная?

— На площадке окошко есть, разберетесь, — ответил Михайлов и вдруг рассмеялся.

«Ну и жук ты, парень! Самый настоящий жук».

Люсин раскрыл дверь и чуть не зашиб притулившегося к косяку администратора.

— Виноват. Мы заняли ваше помещение? Простите, уважаемый, и большое-пребольшое спасибо.

Он раскланялся с администратором и, пропустив вперед Михайлова, пошел к выходу.

Швейцар предупредительно распахнул стеклянные двери. «Капитан-директор», — определил Люсин, взглянув на пышные швейцарские галуны.

Они свернули с улицы Горького на Садовое кольцо, и, когда проезжали мимо «Аквариума», Люсин заметил, что там идет «Бей первым, Фреди!» Приятели советовали посмотреть. Люсин решил, что на обратном пути обязательно выйдет у «Аквариума», благо было недалеко и рабочий день действительно кончился.

А через минуту «Волга» развернулась и, сделав правый поворот, въехала на Малую Бронную. Промчавшись мимо Патриарших прудов, машина, взвизгнув тормозными колодками, резко остановилась у подъезда желтого четырехэтажного дома №17.

— Кажется, приехали? — спросил Люсин, раскрыв дверцу. — Прошу вас, Виктор Михайлович. Я лучше в машине подожду.

Он вылез на тротуар, придержав дверцу, помог выйти Михайлову и пересел к шоферу. Как только Михайлов скрылся в подъезде, Люсин снял белую телефонную трубку:

— Нужна срочная справка. Михайлов Виктор Михайлович. Около тридцати лет. Предполагаемое местожительство: Малая Бронная.

Как только адрес подтвердили, Люсин велел уезжать. Они быстро развернулись и поехали обратно.

«Конечно, это кавалергардство. Ничего страшного, правда, через шестую квартиру я его все равно найду, кем бы он там ни был, но это кавалергардство, чистейшей воды гусарство».

И все же он был доволен, что послушался внезапного побуждения. Голос интуиции? Навряд ли... Но что-то мерещилось ему, где-то провидел он, что этот совершенно неожиданный для Михайлова отъезд еще сослужит свою службу.

У «Аквариума» он попросил остановиться. Попрощался с шофером и ленивой походкой фланирующего моряка устремился в сквер прямо к зелененьким кассам.

Глава 4

ВЕРА ФАБИАНОВНА И ЛЕВ МИНЕЕВИЧ

— Слышу, иду! — пропел Лев Минеевич и, теряя шлепанцы, засеменил к двери.

Звонок — кто-то намертво вдавил кнопку — неприятно резал уши.

— Иду, иду! Нельзя же так... — бормотал Лев Минеевич, открывая крепостные ворота.

Пали оковы и скрепы. Два верхних, один нижний, задвижка — все!

Дверь распахнулась, и в прихожую влетел Витюся, единственный, но весьма беспокойный сосед Льва Минеевича.

— Опять ключик забыл? — сладенько спросил Лев Минеевич. Но Витюся был невменяем. Он пронесся, как вихрь, наполнив тихую, заставленную всяким ненужным скарбом полутемную прихожую грохотом и свистом.

Лев Минеевич, крохотный, но весьма бодрый и розовенький пенсионер, едва успел отскочить.

Где-то на Витюсиной половине уже нервно позвякивали ключи. «Значит, не забыл ключик, — покачал головой Лев Минеевич. — Ни спасибо, ни здрасте. Воспитание-с».

Он вздохнул и прошлепал в ванную, чтобы вымыть руки после прикосновения к дверным запорам.

Но не успел повернуть фарфоровую ручку допотопного выключателя, как грохот корыт и шелест бумажных рулонов в прихожей возвестили, что беспокойный сосед проследовал в обратном направлении. Загремели замки, оскорбленно звякнула нетерпеливо сорванная цепочка. Потом гулко загудели каменные ступени лестницы.

«Так и есть, дверь не захлопнул!» Лев Минеевич скорбно кивнул грустному лысому человечку, который смотрел на него из сумрачных глубин рябого и ржавого зеркального осколка.

Он машинально намылил руки, но тут же спохватился, что дверь на лестницу открыта. Ее следовало немедленно запереть, и мытье, таким образом, пропадало зря. Но руки уже были намылены... Лев Минеевич прибавил струю в кране. Тщательно вытерев пальцы розовым с желтыми пуховыми цыплятками полотенцем, он погасил свет.

Но тут он услышал, как скрипнула входная дверь и чьи-то растерянные шаги вновь разбудили ворчливое эхо прихожей. Лев Минеевич затаился и, приоткрыв дверь своего убежища, приник к щели. К величайшему облегчению, он распознал в сумраке знакомую тень неугомонного соседа.

«Вернулся».

Лев Минеевич властно распахнул дверь и, пройдя к выключателям, осветил прихожую.

Витюся стоял перед своей дверью, опустив голову и раздумчиво выпятив нижнюю губу. В поникших руках он держал какой-то истрепанный и засаленный предмет, в котором только наметанное око Льва Минеевича могло распознать паспорт. «Совсем рехнулся. Это уже алкоголический маразм», — определил Лев Минеевич.

— Заприте, пожалуйста, за собой дверь, Витюся, — строго сказал он. — Я уже вымыл руки.

Лев Минеевич пошел в комнату и неторопливо принялся за свой туалет. Достал из глубин мрачного темно-красного шифоньера полосатую шелковую рубашку. Вдел в нее запонки, прикрепил свежий, с длинными острыми концами воротничок; благодушно и снисходительно оглядев себя в зеркале, выбрал зеленый, в широкую полоску галстук. С костюмом дело обстояло проще — он был у Льва Минеевича единственным.

Отойдя от шифоньера, Лев Минеевич любовно оглядел собрание своих картин (за резными завитушками и золотом багетов не было видно изодранных, в потеках и пятнах обоев), взял давно потерявшую форму фетровую шляпу с широченной засаленной лентой и прошел к стеклянной этажерке. Там среди великолепных, копенгагенского фарфора безделушек он углядел пузырек. На дне его вязкой янтарной полоской еще теплилась жизнь каких-то неведомых духов. Притукав горлышком галстук и пиджачные отвороты, Лев Минеевич покинул наконец свою резиденцию.

— Витю-уся! Ухо-жу-у! — пропел он, закрывая дверь.

Лев Минеевич направился с традиционным визитом к давнему и единственному другу, Вере Фабиановне Чарской, урожденной Пуркуа. Жила Вера Фабиановна неподалеку, на улице Алексея Толстого.

Лев Минеевич неторопливо шел вдоль Патриарших прудов, уверенно поигрывая свернутым зонтом. Он наслаждался нежарким летним вечером. Теряя остроту и пронзительность лучей, солнце уже опускалось за утыканные телевизионными антеннами крыши. В голубоватом еще, но уже невесомом небе таяла, расширясь, белая полоса реактивного самолета. Шумел поток машин на Садовом. Меж стволов лип и тополей метались мальчишки, треща автоматами, в которых вспыхивали красные лампы. Но, несмотря на эти осязаемые приметы времени, Лев Минеевич видел зеленые пивные ларьки, где грудились пунцовые раки и тяжело провисали связки баранок, слышал звон трамваев, явственно ощущал давным-давно забытые, но все еще такие тревожные, такие влекущие ароматы...

Легкие рессорные экипажи пролетали мимо, и он долго смотрел вслед раскрытому кружевному зонтику, что-то провидя за ним, что-то угадывая, с чем-то прощаясь.

Может, во всем было виновато вневременное, невесомое, грустно зеленеющее небо?

Лев Минеевич ощутил легкую жажду. Еще как бы окончательно не проснувшись, смутно возжелал он какого-то ситро, ароматной воды «Фиалка», а может быть, квасу или пива, но, уже пробуждаясь, огляделся и узрел поблизости красную батарею газированных автоматов Не то чтобы плоха ему была эта шипящая и фыркающая за три копейки струя, напротив, он очень любил автоматы, потому что мог всласть намыть свой стакан, но стало ему грустно и тяжело, ибо пробудившись, ощутил он себя старым и одиноким. Так оно в сущности и было.

Инстинктивно стараясь не касаться лишний раз губами стакана, допил Лев Минеевич свою отдающую химией крем-соду и поспешил затеряться в улочках и переулках, еще знакомых, еще не окончательно перестроенных, как будто могла в них, как в сонных излуках, застояться хоть частица прежнего времени.

Оставив в стороне высокий Дом звукозаписи, нырнул он в подворотню и длинным туннелем проследовал куда-то на задний двор, где не закрываются ни окна, ни двери, а дома не стыдятся своего необлицованного кирпично-малинового нутра.

Возле одного из подъездов Лев Минеевич задержался. Там сидела на табуретке полная женщина и вязала что-то на круговых спицах.

Монументальная нога ее покоилась на крохотной скамеечке, под которой в красном пластмассовом шаре плясал клубок шерсти. Краем глаза она следила за малышом в коляске, который отчаянно тряс начиненного каким-то мусором целлулоидного попугая.

Лев Минеевич расшаркался перед дамой, похвалил малыша и попросил одолжить ему скамеечку. Женщина молча кивнула и убрала ногу. Лев Минеевич подхватил скамеечку, приставил ее к самой стене и, встав на цыпочки, потянулся к окну в бельэтаже.

— Тю-тю-тю! — пропел он, вытянув губы трубочкой, и ласково застучал подушечками пальцев по стеклу.

Кружевная занавеска дрогнула. На подоконник бесшумно прыгнула дымчатая грациозная кошка, за ней последовала несколько простоватая белая кошечка, а немного погодя к ним добавился еще огромный тигровый котище. Презрительно щурясь, глядела на Льва Минеевича эта необычная троица сквозь двойную оконную раму.

— Тю-тю-тю! — игриво повторил он, расплющивая носик о стекло. — Ставенки не заперты, значит, дома кто-то есть или баю-баюшки, милая хозяюшка?

Вертикальные прорези кошачьих зрачков не дрогнули. Лев Минеевич забарабанил настойчивее. По кошкам прошло движение. Дымчатая красавица полуобернулась куда-то в глубину комнаты, белая резвушка выгнула спину и пистолетом подняла хвост, а котище тяжело спрыгнул вниз. Занавеска раздвинулась, и в темном ее разрезе появилось чуть одутловатое старушечье лицо. Бескровные тонкие губы раздвинулись, то ли в улыбке, то ли в коротком слове «сейчас».

Лев Минеевич спрыгнул вниз. Сдул со скамеечки прах ног своих и с поклоном возвратил ее хозяйке.

— Тю-тю-тю! — сурово насупившись, погрозил он пальцем малышу, который уже дошел до того, что пытался разгрызть попугая.

Но тут же полное личико Льва Минеевича разгладилось и с улыбкой шутника — хе-хе-хе! — предназначенной охранительнице младенца, вступил он в каменный сумрак пропахшего кошками подъезда.

Поднявшись на четыре ступеньки, он остановился перед дверью, увешанной почтовыми ящиками и звонками, и замер в ожидании. Защелкали замки, громыхнул откинутый крюк, и его впустили.

Очутившись в комнате, Лев Минеевич галантно поцеловал Вере Фабиановне руку, стараясь не замечать сидящего на ее плече мистического чудовища. Это была любимая кошка Веры Фабиановны — тощая, шелковая и абсолютно черная. Глаза ее переливались влажным янтарем, внезапно вспыхивая, как дорожные знаки в ночи. «Моя египетская», — называла ее хозяйка. У Веры Фабиановны было четыре кошки, но белую резвушку и тигрового страшилу Лев Минеевич видел сегодня впервые.

— У вас прибавление семейства, Верочка?

— Да, Лев Минеевич, да, дорогой, так получилось... Это, — она указала на тигрового, который примостился на сундуке, застланном свернутым гобеленом, — Леонид (она произнесла «Лэонид») с бульвара. Я назвала его так, потому что принесла бедняжку с Гоголевского. Его мучили какие-то ужасные мальчишки. Насилу удалось вырвать из когтей этих извергов несчастное животное...

— А эта беляночка? Я ее вроде раньше не видел.

— Ах, эта! Ее пришлось взять у соседей. У них подрастает ребенок, и они, странные люди, по этой причине решили расстаться с кошкой. Не понимаю! Я подумала, что это будет хорошая подружка для Леонида. Они сочетаются, не правда ли? Странный такой колорит. Как Рембрандт с Саскией. Вы не находите? Я назвала ее Саскией, но — вы сейчас будете смеяться, Лев Минеевич, я знаю! — понимаете ли, выяснилось, что Саския — кот! Ужасно, не правда ли?

Лев Минеевич рассмеялся.

— Вы очаровательны, Верочка! — сказал он, склоняясь к сухой морщинистой руке.

На пальцах Веры Фабиановны поблескивали старинные перстни с огромными, мутными от времени камнями.

Вся внешность этой старой женщины и то, что окружало ее, характеризовались какой-то болезненной несопоставимостью. На ногах ее были старые боты, траченная молью шерстяная вязаная кофта вытянулась и висела почти до колен, ногти были обломаны и обкусаны. Зато совершенно свежий перманент, несметной цены кольца и янтарное ожерелье из округлых, с добрую картофелину, бусин.

Так же странно выглядела и ее комната, где нельзя было сесть, чтобы не придавить невзначай кошку. На туалетном столике стояли хрустальные флаконы с драгоценными, но давно высохшими эликсирами, шкатулки с неоправленными самоцветами, тантрическая

позолоченная статуэтка, изображавшая тесные объятия трехголового восьмирукого юдама со своей шакти[1], пыльные, сухие бессмертники, тут же небрежно брошенное ожерелье, составленное из синих фаянсовых фигурок богов Верхнего и Нижнего Египта. Позолоченную статуэтку, напоминающую сплетенных по весне пауков, Вера Фабиановна иногда надевала на цепочке в театр, что всегда вызывало самый пристальный интерес, древнеегипетское же ожерелье она даже не примерила. Были у нее и скарабеи из оникса, аметиста, горного хрусталя и нефрита, редчайшие геммы и камеи, античные пряжки и знаменитые эмали, принадлежавшие когда-то семье Борджиа.

В бездонных ее сундуках и шкафах хранились наброски Врубеля и театральные эскизы Рериха, японский веер русской императрицы Александры Федоровны, образ, подаренный Распутиным камерфрейлине Вырубовой, молитвенная мельница из Тибета и огромный хрустальный шар для гадания. Да разве все перечислишь?.. И надо ли? Не лучше ли сказать о банках с какой-то наливкой, тазах, дачном рукомойнике, который висел на стене, хотя в квартире был водопровод. Или, может, упомянуть о персидском ковре, на котором валялись линяющие кошки, о лоскутном одеяле, которое хозяйка берегла пуще своих гобеленов?

Все московские коллекционеры благоговейным шепотом говорили об этой комнате. И если даже молва преувеличивала размеры сокровищ старухи Чарской, все равно им могли бы позавидовать многие музеи мира. Пусть была подделкой висевшая над софой тряпичная кукла (Вера Фабиановна выдавала ее за орудие любовного приворота), пусть сама она скопировала врубелевские наброски (Вера Фабиановна слыла способной художницей) и вылепила из воска венценосные фигурки, которыми якобы несчастный Ла Моль пытался вызвать ответное чувство у Маргариты Наваррской, пусть даже каменные скарабеи извлечены не из царских некрополей одиннадцатой династии, а куплены в знаменитых парижских магазинах для туристов — пусть, все это возможно! Но эмали-то Цезаря Борджиа не подделаешь — секрет утерян, но пасторальный гобелен, принадлежавший Марии-Антуанетте, описан в литературе, а перстни Веры Фабиановны с закрытыми глазами возьмет любой ювелир. Так-то...

Конечно, между нами, старуха любила приврать. Но врала она бескорыстно, не надеясь на выгоду, не пытаясь кого-то обмануть, врала для интереса. Впрочем, само грубое слово «врать» совершенно к ней не подходило. Она не врала, она совершала полет, она творила. Любя все старинное и таинственное, проникаясь скрытой жизнью вещей, заражаясь какой-то непостижимой, накопленной в них энергией, она скользила сквозь стены домов, вопреки запретам времени и пространства, витала среди давно исчезнувших городов, запросто общаясь с умершими маркизами и царями.

[1] Юдам, шакти — ламаистские божества

Любопытна была и ее небольшая библиотека: «Великие посвященные» Шюре, все пять книжек йога Рамачараки о ступенях йоги, «Тайная доктрина» Блаватской, «Прижизненные призраки», «Символы Таро» Успенского, полное собрание Крыжановской, «Сокровенная религиозная философия Индии» брахмана Чаттерджи, несколько антикварных брошюр конца восемнадцатого века о знаменитом деле с ожерельем, в котором участвовали королева Франции, кардинал Роган и граф Калиостро...

Но есть ли нужда продолжать этот сам по себе весьма примечательный список?

Нет, Вера Фабиановна не врала. Все было куда сложнее. Жила она на небольшую пенсию, довольствовалась ржаным хлебом, картошкой, селедкой и кислой капустой. В капусту любила она мелко покрошить лучок и полить все постным маслом. Зато для своих кошечек никогда не забывала купить на рынке мясных обрезков. Да и себе не отказывала в хорошем кофе и фруктовом торте, который брала всегда в знаменитой филипповской (бывшей, конечно) булочной. Совершенно самозабвенно обожала она кино и старалась не пропускать немногих шедевров театрального сезона, которые удостаивались снисходительной похвалы знакомых. На это на все и уходила ее скромная пенсия. Тряпок она никогда не покупала.

Но иногда, не совладав с собой, Вера Фабиановна приобретала какой-нибудь приглянувшийся ей раритет, и тогда на долгие дни приходилось ей отказываться от театра, от кофе и от залитого клюквенным и абрикосовым вареньем филипповского торта. Но кошки и кино от этого не страдали. В самом крайнем случае она могла что-нибудь продать. С принадлежащими ей редкостями она расставалась очень неохотно, можно даже сказать, болезненно. Напрасно обхаживали ее со всех сторон богатые, а также едва сводящие концы с концами коллекционеры. Она почти ничего не продавала.

Иногда, правда, дарила знакомым что-то не очень значительное, какой-нибудь второстепенный свой дубликат. Ее несметные сокровища прозябали, часто портясь и погибая, в темных хранилищах. Она сама уже точно не знала, что у нее есть. Иногда заново открывала вещи, изумленная и обрадованная, но чаще безуспешно искала какой-нибудь предмет, который, может быть, был у нее раньше, но, вернее всего, который ей просто когда-то хотелось иметь. Такие бесплодные поиски приводили ее в дурное настроение. Она начинала подозревать какие-то кражи, аферы и, запершись в тесном своем мирке, не выходила на улицу и никого не принимала.

Она не просто жила среди своих вещей — она жила их собственной потаенной жизнью, которая непостижимым образом виделась ей. Как-то она приобрела копию античной бронзовой чаши. Этот предмет из шпиатра[1], изготовленный в прошлом веке на саксонской фабрике, не мог бы обмануть мало-мальски понимающего человека.

[1] Шпиатр — легкий сплав

Отдав за чашу восемьдесят старых рублей, Вера Фабиановна тоже не питала на ее счет никаких иллюзий. Полюбовавшись рогатыми головами сатиров, она спрятала чашу куда-то в закрома и с тех пор ни разу не извлекла на божий свет. Но знакомых уверила, что обладает тем самым сосудом, из которого Сократ, не дрогнув, выпил настой едкой цикуты. Постепенно рассказ ее обогащался красочными подробностями, и настал день, когда правда и вымысел слились в голове бедной женщины воедино. С того дня Вера Фабиановна, отдыхая на софе с книжкой или возясь с кошками, не раз думала о страшной участи великого мужа древности. Сократ вошел в ее крохотный, но безграничный и неподвластный времени мир и тихо зажил в нем. Одной тенью стало больше.

Теперь, зная все или почти все, решитесь ли вы обвинить Веру Фабиановну во лжи? Впрочем, на все это можно взглянуть и совершенно иными глазами. Есть люди, для которых Вера Фабиановна всего лишь лживая, нечистоплотная старуха, для некоторых же она просто свихнувшаяся, малограмотная, нахватавшаяся каких-то оккультных верхушек баба, для третьих — эдакий Гобсек в юбке.

Что ж, может, в каждой из этих характеристик и есть доля истины.

Но для Льва Минеевича эта старая женщина верный, испытанный друг. Бог весть когда и при каких обстоятельствах они познакомились. Никто не знает этого, и сами они никогда о том не говорят. Может, оттого, что неприятно вспоминать, но скорее всего потому, что быльем поросло, растворилось в радужном тумане, стало еще одной тенью кошачьей комнаты. Они часто виделись и, старея вместе, не замечали потому тех беспощадных изменений, которые, говоря научным языком, преподнесли им постепенно и необратимо деструктирующие белки, липоиды и коллагены. В его глазах она была все той же милой, но такой взбалмошной и увлекающейся Верочкой, такой сумасбродной фантазеркой. А он... Но это уже сложнее. Так случилось, что на протяжении жизни, в разные ее стадии, Вера почти готова была выйти замуж за этого человека. Но каждый раз что-то мешало. Непредвиденное, разное, неумолимое. И лишь теперь, по прошествии лет, старуха Чарская с обнаженной ясностью видит, что главной причиной всего был смешной маленький пустяк — рост Льва Минеевича. Он едва достигал ее подбородка, и это — решало, даже если и казалось, что дело вовсе не в том. Именно в том! Теперь с дальнозоркой и мудрой усмешкой она понимала это. Но мысли ее текли легко и спокойно, отрешенно, сонливо текли. Давно уже думы о прошлом не вызывали в ней никаких чувств. Чужую любовь на киноэкране переживала она куда сильнее.

— Не хотите ли кофе, голубчик?

Лев Минеевич осторожно втянул ноздрями сладковато-затхлый кошачий дух и покачал головой:

— Благодарю, Верочка. Я уже пил.

Прошлое тоже мало мучило его. Он сентиментально жалел о нем, но не более. Гораздо сильнее волновал Льва Минеевича сегод-

няшний день. Годы не приглушили в нем ни остроту желаний, ни деловую сметку. Одна, но пламенная страсть владела маленьким, но таким постоянным кавалером некогда прекрасной Веры. Лев Минеевич собирал картины. И кто знает, что сильнее влекло его в этот пропахший кошками дом: воспоминания юности или надежда в один прекрасный день стать обладателем небольшого наброска Врубеля.

Кажется, Блок, а может, и вовсе Брюсов, в общем, кто-то из них, вспоминал, что видел у Врубеля — художник работал тогда над «Демоном поверженным» — голову сверхчеловеческой красоты. Врубель уничтожил рисунок. Много раз он потом пытался восстановить его, вновь поймать этот промелькнувший отблеск непостижимого. Демон, которого мы видим теперь в Третьяковке, — лишь слабая тень того исчезнувшего наброска.

Так вот, Вера Фабиановна владела одним из тех картонов, на которых гениальный художник пытался воскресить утраченное, а Лев Минеевич готов был отдать последнее, чтобы этот картон заполучить.

Но Вере Фабиановне ничего от Льва Минеевича не было нужно, а он ничего не смог бы отдать ей, поскольку ничем не владел. То есть у него было великолепное собрание картин русских художников начала двадцатого века: Ларионов, Сомов, Лансере, Билибин, ранний Кончаловский, Сарьян, Пастернак, Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, Яковлев, Рерих, Давид Бурлюк и даже Василий Кандинский. Один этот ранний Кандинский мог бы дать Льву Минеевичу безбедное существование до конца дней.

Но маленький пенсионер жил только ради своей коллекции. В отличие от подруги юности, он не любил острые блюда. Предпочитая всем яствам кефир с белой булочкой и горошину поливитамина, он вкушал любимую пищу три раза в день, лишь изредка разнообразя ее чаем или антоновскими яблоками. Костюм из коричневой жатки верно служил ему вторую пятилетку, в кино же он не ходил, ибо купил за 15 рублей в комиссионке телевизор КВН с крохотным экраном. Книги Лев Минеевич брал в библиотеке.

Все наличные деньги уходили на пополнение коллекции. Поэтому можно без преувеличения сказать, что Лев Минеевич готов был отдать за Верочкиного Врубеля все, кроме, конечно, картин, которые ему не принадлежали, так как были частью его существа.

Так по сути не принадлежит нам наше собственное тело. Оно дается нам как бы взаймы. Парадокс настолько древний, что сделался банальностью.

— У меня тахинная халва есть, — сказала Вера Фабиановна и полезла в какой-то шкафчик.

Она долго возилась там, шурша и погромыхивая, наконец извлекла заветный сверточек. Долго отлипала суровую оберточную бумагу, но халва держалась стойко, как замазка на олифе.

— Ради бога, Верочка! — запротестовал Лев Минеевич, страдальчески глядя, как оставляет лоскутья отдираемая бумага. — А у меня вчера Дормидонтыч был, — то ли похвастался, то ли некстати выпалил он.

— Вот как? — Вера Фабиановна положила халву на подоконник.

Саския обнюхал загадочный предмет и легонько ударил его лапкой. Лев Минеевич даже глаза закрыл, до того живо представились ему кошачьи шерстинки, приставшие к халве.

«И ведь не болеет ничем! — тайно вздохнул он. — Одно слово — колдунья!»

— Так что же Дормидонтыч?

— Ах, Дормидонтыч, — спохватился Лев Минеевич, — он... ничего, он Яковлева приходил у меня торговать.

— Это которого же?

— «Букет ландышей», конечно. Все же знают, что с персидским натюрмортом я не расстанусь.

— Конечно, — кивнула Вера Фабиановна. — Больно много хочет этот Дормидонтыч! Он меня тоже обхаживает. Так и вьется, так и вьется... Кстати, Лев Минеевич, вы не думаете, что его деловые визиты ко мне только предлог?

— Предлог?

— Ну да! Временами мне кажется, что все его разговоры об обменах, все хитроумные комбинации только уловка.

— Да о чем это вы, Верочка?!

— Ну как вы не понимаете? Ах уж эти мужчины!.. Просто ему приятно быть со мной...

— Да?.. — Лев Минеевич тут же представил себе выжигу Дормидонтыча, рябого и белого, как лунь, старца. — Очень даже возможно, — хмыкнул он, отворачиваясь.

— Вот и я так думаю! — всплеснула руками Вера Фабиановна. — Иначе он бы не закидывал удочку насчет этого... — усмехнувшись, она погладила вытянувшуюся на сундуке Мою египетскую.

— Ну об этом и говорить нечего! — Лев Минеевич пренебрежительно вскинул подбородок. — Все знают этому истинную цену. Больше для очистки совести стараются: вдруг да клюнет? Такова уж природа человеческая.

— Смешно! Да всех их сокровищ не хватит! Я уж не говорю о завещании покойного отца. Ну ладно, допустим, это совершенно случайная для меня вещь и я готова ее уступить. Но что, позвольте спросить, они дадут мне взамен? А? Ничего!

— Ничего... — согласился Лев Минеевич. — Между прочим, Верочка, Дормидонтыч как будто готов отдать свою «Изиду». Вы же всегда хотели «Изиду»? Богиня волшебства, покрывало Изиды и все такое прочее.

— И что он хочет?

— Яковлева и еще одну штучку.

— Ага! А вы потом потребуете моего Врубеля?

— Что вы, Верочка! — сразу же дал задний ход Лев Минеевич. — Я и не думаю меняться с Дормидонтычем. Это я так, для вашего сведения. Может, вы сами с ним договоритесь?

— Вот как? — недоверчиво подняла бровь Вера Фабиановна.

— Ну Верочка! — Лев Минеевич прижал ручки к сердцу.

— Ах, ладно, ладно... Я вам верю, — смягчаясь, сказала она. — Как там ваш драгоценный сосед?

— И не спрашивайте! — отмахнулся Лев Минеевич. — Табуном к нему валят. Все эти непризнанные художнички, бородатые гении в свитерах, девчонки голоногие.. Одним словом, народ подозрительный и ненадежный. А мой еще их подзуживает. Дескать, у соседа, у меня то есть, настоящий третьяковский запасник. Очень этого я боюсь, Верочка, — вздохнул он.

— А вы запирайтесь, запирайтесь. Замочки-то ваши мне, правда, не очень нравятся. Винтовой вам нужен, на шлицах.

— Что замочки! Стукнут по голове — и конец.

— Тогда дома сидите, не вылезайте, если у вашего изверга гости.

— Я и то стараюсь. Да разве убережешься? Намедни, Верочка, у него архимандрит был.

— Архимандрит? У него?

— Может, и не архимандрит, но очень властительный поп, вальяжный такой иерей с золотым крестом и в орденах церковных.

— Иконами интересовался?

— Не скажу точно, потому что не присутствовал. Витюся потом хвастался на кухне, что важный заказ получил.

— На реставрацию?

— На реставрацию. На сей раз в самой лавре работать будет, в Троице-Сергиевой. Ба-альшие деньги платят!

— Не люблю я попов.

— Знаю, знаю, сколько раз говорили... Только непонятно както: в приметы вы верите, в гадания всякие, о Боге и дьяволе порассуждать любите, а церкви не признаете. Почему так?

— Моя религия вне исповедания, Лев Минеевич. Что знаю, то знаю. Ни Бога, ни диавола, может, вовсе и нет. Но что-то есть такое. Что-то есть! Астраль или что другое, только не все так просто. Далеко не так просто...

— А я и не говорю...

— Вот и не говорите! Случайностей не бывает! Ничто не случайно, поимейте это в виду! Вот хотя бы ваш Витюся. Почему вы этого дылду все Витюсей зовете?

— Повелось уже так. Мать его, покойница, все Витюсей звала, ну и я привык... Как-никак тридцать лет в одной квартире... Признаться, мне скучно без него бывает. Вот завтра уедет он со своей пассией в Питер, неделю его не будет, так, думаете, я радуюсь? Ничуть! Это я сначала обрадовался, когда он мне сказал, а потом подумал: как останусь один в пустой квартире, так... — Лев Минеевич махнул рукой. — Привык я к нему. Он хоть непутевый, но человек очень даже по нынешним временам неплохой.

— Дождетесь вы с вашей добротой, с толстовским всепрощением вашим.

— А что мне всепрощать? Чего он мне плохого-то сделал? Ну погулять любит, выпьет там — так дело молодое. А ко мне он ничего, не обижает... Конечно, шумно, боязно, но ведь знаю я его с малолетства.

— Чегой-то мы все про вашего Витюсеньку распрекрасного?

— А я... не знаю. Вы сами зачем-то спросили.

— Я? Ах да, конечно... Я к тому, что в мире, дорогой мой, нет ничего случайного. Будет вам через этого Витюсеньку беда, помяните мое слово. Предчувствия меня никогда не обманывали.

— Не каркайте, пожалуйста, не каркайте! Я предчувствиям не верю! — Лев Минеевич украдкой постучал три раза о ножку стола.

— Что знаю, то знаю. Вот... — Она кивнула на куклу над софой. — Вроде бы пустяк, тряпка, но я сама, своими глазами видела, как простая деревенская баба приворожила этим великолепного кавалера. Жену и детей бросил ради нее. «Никого, говорит, мне, кроме тебя, не надо». Это он ей говорил.

— А к вам-то как куколка попала? — лениво спросил Лев Минеевич, слышавший эту замечательную историю много раз.

— Она подарила. Приглянулась я ей.

— Зачем же дарила такую важную вещь? — привычно подыграл Лев Минеевич.

— К тому времени все у них кончилось. Он к жене вернулся.

— Не помог, значит, приворот?

— Отчего же не помог? Помог. Просто ей надоело держать его силой воли. Устала она. Да и пил он сильно. Как приходил — так она сразу бутылку на стол. Без этого он и говорить-то не мог.

— Да-а... — протянул Лев Минеевич, про себя усмехаясь. Он-то давно смекнул, что именно за бутылкой и приходил великолепный кавалер, которого излечили потом в больнице Ганнушкина и от любви, и от водки с помощью инъекций.

В Верином изложении это, правда, звучало так: бедняга не вынес семейной жизни и угодил в психиатричку, откуда вышел настолько сломленный, что даже пить бросил.

— Вот и говорите после! — заключила Вера Фабиановна.

— Чего уж тут говорить, — несколько двусмысленно согласился он. — Скажите мне, Верочка, лучше, какая тайна особая скрыта здесь? — Он двинул подбородком в сторону покрытого гобеленом сундука, на котором свернулись клубком уже две кошки: Моя египетская и еще какая-то, имя которой забылось — Вы давно уж обещали, да все как-то... — Лев Минеевич неопределенно помотал рукой.

— Не знаю. До конца так и не знаю! Эту тайну отец унес с собой. Вы ведь хорошо знали моего отца, Лев Минеевич?

Он закивал, скорбно опустив уголки рта.

— Вы же помните, какой это был необыкновенный человек? Он так много ездил! Был в Египте, Мексике... Он никогда не рассказывал мне об этой вещи. Все обещал, но так и не успел. Ему постоянно не хватало времени. Ученые занятия, чтение старинных инкунабул на разных языках... Но при всем при том он очень

любил людей и был необыкновенно обаятелен. Его живой, истинно галльский ум... Не правда ли, у него был настоящий галльский ум?

— Еще бы! Он ведь француз!

— Наполовину, Лев Минеевич, только наполовину. По отцу. Вообще-то наша фамилия Пуркуа де Кальве. Но дед — он был таким демократом, тогда это считалось модным, — решительно отбросил де Кальве. «Почему, — спросил он, — де Кальве? Пусть будет просто Пуркуа, раз мы живем в России». Возможно, он уже тогда предвидел революцию.

— Какую?

— Ну декабристов там, пятый год, — небрежно махнула ручкой Вера Фабиановна, которая была отнюдь не сильна в истории. — Не в этом дело. Просто отцу никогда не хватало времени на меня. Вы же знаете!

Лев Минеевич опять прижал руку к сердцу и, закрыв глаза, поклонился. Он отлично знал, как порхала по балам очаровательная Верочка Пуркуа и как однажды сбежала она, так и не закончив гимназии, с актером Чарским, подвизавшимся в странствующих труппах на амплуа героя-любовника. Но Верочка, на которой он зачем-то женился, оказалась его последней ролью. Об этом ползли тогда какие-то глухие слухи, но толком ничего не было известно. Верочкин побег вызвал, конечно, громкую сенсацию, но что значил он в сравнении с последовавшей вскоре за ним революцией? Право, все знакомые и родные быстро забыли даже о Верочкином существовании, как, верно, и она забыла уже о своей юности, легко мешая теперь быль с небылицей. Чарский же не то спился, не то повесился, а может, и вовсе был расстрелян каким-нибудь «батькой». Верочка возвратилась в родной дом только в двадцать третьем году. Она быстро пришла в себя после бурных и неустроенных лет. Еще больше похорошела и вскоре сделалась широко известной в районе Столешникова и прилегающих улиц, где гуляла тогда вся нэпманская Москва. Последний представитель захудалого дворянского рода Пуркуа де Кальве умер год с небольшим спустя после возвращения дочери. С ним случился удар — недуг, почти наследственный в этой семье, — который лишил его дара речи и возможности двигаться. Лев Минеевич случайно был при этом. Он-то и вызвал «скорую помощь», сбегал за докторами, достал сиделку.

Сознание вернулось к больному только на пятый день. Он что-то мучительно пытался сказать, глаза его молили о чем-то, но лицо оставалось неподвижным, как гипсовая маска. Через неделю он умер. В доме в этот момент никого не было. Первой нашла его женщина, которая приносила молоко и возилась со стиркой. Она подняла шум, вызвала милицию, потом кто-то отыскал Верочку.

Когда она вбежала в квартиру, то застала странную сцену. В столовой толпились какие-то люди. Бледный милиционер что-то втолковывал пьяному дворнику. Она вбежала в комнату отца и замерла в дверях. Голова его была запрокинута. Черная, халдейским клинышком бородка воинственно поднята вверх. Эту даже в смерти

прекрасную голову окружал венец из пяти кошек. Осиротевшие животные, подняв хвосты и выгнув спины, жалобно мяукали.

За квартирой Пуркуа утвердилась нехорошая репутация. Вера Фабиановна сначала подумала выбросить кошек на улицу, но и ей они внушили какой-то суеверный страх. Постепенно она привыкла и полюбила эти загадочные существа, о которых так хорошо сказал Бодлер:

Эреб в свой фаэтон охотно впряг бы их,
Когда бы сделаться они могли рабами

С тех пор у нее не переводились кошки. Как она уверяла, это была наследственная черта.

Сколько лет минуло с тех пор...

Теперь и Лев Минеевич, вспоминая мучительную немоту в глазах парализованного, думал, что тот хотел тогда сообщить нечто необыкновенно важное, но не успел. Воспоминания вспыхивали, как солнечные блики на туманной реке. Вспышки, вспышки — отдельные, несоединимые... Может, и вправду необычный этот человек, который раньше был управляющим какого-то поместья, а потом сделался антикваром, предавался таинственным ученым изысканиям? Может, и намекнул он дочери о важной тайне, да только не нашел времени рассказать все до конца? Сначала занят был, потом болезнь обрушилась — не успел.

Многое порассказала Льву Минеевичу Вера Фабиановна за долгие годы. В том числе и такое, чему поверить было никак невозможно, хотя бы потому, что противоречило собственным Льва Минеевича наблюдениям. Но Вера Фабиановна так часто повторяла свою версию тех давних событий, что постепенно они стали представляться совсем по-иному.

Вот и теперь, слушая монотонную, но убедительно-вкрадчивую речь Веры Фабиановны и упорно борясь с дремотой, Лев Минеевич не находил в себе сил проконтролировать рассказ о завещании Пуркуа собственной памятью. Туманная река этой памяти лениво поблескивала глянцевитыми вспышками, и Лев Минеевич не хотел окунаться в нее. Было холодно да и лень.

— Он часто говорил мне: «Веруся, это дело предстоит довершить тебе. Я не успею». Помню, возвратясь из Александрии, он привез ожерелье, составленное из главных богов. Вот это. — Она махнула рукой на туалетный столик — Да вы знаете его.

Лев Минеевич прекрасно знал это голубое ожерелье, но знал он и то, что Верин отец никогда не был ни в Египте, ни в Мексике, ни даже в Париже, откуда исходил корнем и куда каждый год ездил погулять какой-то бывший его хозяин.

Но так убаюкивающе сверкала, так вкрадчиво рокотала вода (или это Верочка что-то говорила?), что увидел Лев Минеевич, как высокий седой человек с черной бородкой клинышком стоит возле большого белого парохода и следит за носильщиком, перевязывающим ремнем его чемоданы. А рядом — тоненькая гимназисточка с

атласным белым бантом, который едва удерживает толстую, несколько раз сложенную русую косу. Человек раскрывает ручной саквояж и, лукаво улыбаясь, медленно вытягивает оттуда синие, сверкающие на солнце бусы...

«Здесь не хватает только фигурки, — как-то сказал он, — бога Анубиса, у которого голова шакала. Когда она найдется, мы узнаем все».

— Как так найдется? — чуть встрепенулся заклевавший было носом Лев Минеевич. — Она потерялась?

— Я дословно передаю вам его слова. Так он ответил мне на мои расспросы. «Причем здесь это ожерелье?» — спросила я его. «Ни при чем, — ответил он, — просто фигурка Анубиса — это знак причастности к тайне». Он еще сказал, что есть много других знаков, но нас они не касаются. «Мы все узнаем в назначенный срок», — так всегда говорил он, когда я начинала слишком надоедать расспросами.

— Что же, он и сам всего не знал?

— Он? Он, я думаю, знал. Просто не хотел мне раньше времени говорить, ведь я была тогда еще так молода: в этом, мне кажется, все дело. Он не думал, что рано умрет. Все надеялся, что я повзрослею.

На миг осветился в памяти Льва Минеевича Верочкин облик тех лет (короткая стрижка и тускло-желтое платье цвета танго с вырезом на левом плече), потом толпы какие-то оживленные увиделись, то ли на трибунах ипподрома, то ли еще где-то. Но все потонуло, едва он успел разглядеть, выхватить что-то из небытия. Вместо того все та же гимназисточка возникла, сидящая в кожаном кресле у отца в кабинете. Она о чем-то спросила, наморщив лобик, а он снисходительно усмехнулся, погладил ее по головке и отпустил.

А Вера Фабиановна говорила всерьез. Ей и впрямь было приятно вспомнить, что-то такое по-новому осмыслить, понять наконец непонятное. Она совершенно искренне пыталась вспомнить, как все было на самом деле, в действительности. И не могла! Она уже давно верила всему тому, в чем сама себя убедила. Она уже не могла выскользнуть из сотворенного ею же замкнутого круга. Словно белка в колесе, была обречена бежать и бежать, наматывая новые выдуманные подробности, украшая свою постоянную орбиту несуществующими деталями. Как и старому, верному другу Льву Минеевичу, ей внезапно мерещилось что-то. В отличие от него (ему просто лень было шевелить мозгами, поскольку вся эта история его совершенно не трогала), она замирала в своем замкнутом беге, прислушивалась к себе и, готовая понять что-то необыкновенно важное, пыталась повернуть назад, размотать нити бесцельного своего вымысла. Но инерция привычного бега увлекала ее вперед. Какое-то мгновение она еще сопротивлялась, медлила, потом вновь бросалась в полет. Вот и теперь:

— Как-то упомянул он еще об одном знаке... Не помню точно, речь шла как будто о епископ... Лев Минеевич?

— М-м? Простите, голубушка, задремал. У вас всегда так спокойно, так хорошо, а я ведь ночи не сплю! Маюсь до самого рассвета. Все думы свои стариковские думаю. Так что простите... Я ведь все слышал. Это я только сейчас, на минуточку.

Но все было испорчено. Мелькнуло, и нет его. Теперь не вспомнишь. Когда-то, в вихре удовольствий и развлечений, она мало думала об отцовских делах. У нее была своя, совсем отличная от его забот жизнь.

Она не думала, она просто как бы изначально знала, что так будет всегда. Конечно, она понимала, что молодость проходит. Но ведь воспоминания-то остаются. Отец живет своими воспоминаниями, она, когда настанет ее час, будет неторопливо ворошить цветные стеклышки яркой и шумной нынешней жизни своей, составлять из них пленительные калейдоскопические узоры. Но вышло так, что своих воспоминаний у нее не осталось, не о чем было вспоминать. Мысли о кутежах в «Праге» или, скажем, о поездке в Ялту с симпатичным — как же его звали? — молодым адвокатом не вызывали в ней никаких чувств. Они не согревали, не пробуждали в душе того запоздалого эха, которым откликаются уснувшие радости и печали. Как-то так получилось, что самым важным для нее стало отцовское наследство. Кроме немалой денежной ценности, оставленные ей вещи имели еще и свою историю. Но историю эту она не знала, а деньги сами по себе ее не интересовали. Ни молодость, ни те удовольствия, которые можно было получить за деньги в молодости, купить она уже не могла. Конечно, мысль о ценности раритетов была приятна. Но не более. А чем-то же должен жить человек? Интересами? Привязанностями? Да и на расспросы знакомых хотелось отвечать, возбуждать зависть хотелось. Вот и пришлось заново создавать историю для вещей. Нет, не выдумывать, а именно создавать, реконструировать. И никто не виноват, что в процессе этой реконструкции первоначальная история совершенно затерялась, стерлась, исчезла, как исчезает под слоем краски старый и облупленный фресковый слой.

Вопреки всему дочь сделалась наследницей отца, но она творчески переработала его наследство.

— Что же вы, Верочка? Я слушаю, — робко прервал затянувшееся молчание Лев Минеевич.

— Ах, всегда вы все портите! Теперь я сбилась с мысли. Теперь я сама уже не знаю, что хотела сказать... Так вы не хотите халвы?

Он отрицательно помотал головой.

— Так чего же вы хотите?

Он сам не знал, чего хотел. То есть, конечно, знал, поскольку хотел (и это слово в данном случае лишь бледная тень действительности) Врубеля. Но о том нельзя было говорить прямо. Можно было все испортить. А Лев Минеевич умел ждать и надеялся, что наступит его час. Он верил, что создастся такое благоприятное стечение обстоятельств, когда Вера согласится на что-нибудь обменять свой бесценный картон. Возможно, она даже просто подарит его. Нужно только

терпеливо дождаться упомянутого выше стечения и, конечно, соответствующего настроения Веры. Сейчас у нее оно явно портилось.

— Чего же вы хотите от меня, Лев Минеевич? — нахмурясь, требовательно спросила она. Это звучало почти как: «Чего вам здесь, собственно, надо? Не пора ли вам домой?»

— Может, погадаете, Верочка? — робко попросил он, чтобы умаслить капризную подругу.

— Погадать? — преувеличенно удивленно подняла она брови. Испытанное средство начинало действовать. — Но я же гадала вам на прошлой неделе!

— Так то на прошлой!

— Какие же у вас дела, что быстро так все может перемениться?

— Дела? Нету особых дел-то.

— Зачем же гадать?

— Так... о судьбе вообще, о надеждах...

— Каких надеждах?

— Ну что вы, ей-богу, Верочка! Разные не могут быть надежды. Если человек стар, так ему, выходит, и надеяться не на что?

— На что же надеяться?

— Да мало ли на что! Обстоятельства там разные... Перемены.

— Ну ладно, коли перемен ждете.

Она достала колоду засаленных карт. Они уже не тасовались, и их приходилось перекладывать стопками на столе.

Трефовый король выпал с валетом той же масти.

— Ваши хлопоты, — сказала гадалка.

«А то чьи же еще?» — скептически прокомментировал Лев Минеевич.

— И в тайне хлопоты скрываете, — погрозила она пальцем. — Только напрасны они, эти ваши хлопоты...

— Почему же напрасны? — обидчиво спросил он.

— Не выйдет из них ничего — пиковый валет. Ну да ладно, посмотрим, что будет дальше — Она быстро разбросала вокруг короля с напрасными хлопотами четыре кучки и развернула их в цыганский крест. — Так! — сказала она, любовно раскрывая карты. — На пороге у вас благородный король из казенного дома.

— Кто же это? — зевнул Лев Минеевич, прикрывая рот ладошкой.

— Вам виднее.

— И когда это будет?

— Скоро. Очень даже скоро. Завтра, послезавтра...

— Завтра — суббота, послезавтра — воскресенье. В казенных домах выходные — резонно заметил он.

— Ну тогда в понедельник, — равнодушно согласилась Вера Фабиановна.

Она быстро раскрыла значения карт, потом, отделив одинаковые, разложила пять троек — «на будущее». В настоящем, кроме означенного визита и пустых хлопот, ничего существенного Льву Минеевичу не выпало. Картишки подобрались все мелкие и невы-

разительные — нечто вроде преферансного мизера. Зато в будущем обозначилось некое темное облачко, которое гадалка охарактеризовала как неприятную неожиданность. Но не успел Лев Минеевич встревожиться, как открылась десятка червей. Сердце его, таким образом, должно было успокоиться радостью.

— Ну, спа...

— Типун вам на язык! — разгневалась гадалка. — Сколько раз было говорено, что благодарить нельзя! Не сбудется!

— Так я же не успел, Верочка, и вообще...

— Ладно уж! — отмахнулась Вера Фабиановна. — Так не будете кофе пить?

— Нет, голубушка, благодарствую. Бежать надо. Я еще к Дормидонтычу зайти должен.

— Это зачем же?

— А разве я не говорил? — На лице его обозначилось удивление. — Он же Изиду свою с Гором-младенцем на коленках отдать соглашается.

— Вас-то это почему интересует?

— Меня? Да я о вас, Верочка, хлопочу.

— Вот как? Тронута... А за хлопоты, чего потребуете?

— Ничего. Ровнехонько ничего. Скажите только, что ему взамен предложить?

— Это подумать надо... Скарабей его не заинтересует?

— Сомнительно, — помотал головой Лев Минеевич и равнодушно так, безразлично ударил в самое больное место. — Помнится, он насчет эмалей крючок закидывал, но это ведь пустое? Вы же решительно нет?

— Еще чего? — низким контральто произнесла возмущенная Вера Фабиановна. — А этого он не хочет? — Она изобразила с помощью трех пальцев нехитрую, но весьма выразительную фигуру. — Вы еще и его потребуйте! — хлопнув ладонью по сундуку, она разбудила одну из кошек.

Моя египетская выгнулась и, вытянув когти, в сладкой истоме вонзила их в гобелен.

— Лично я, — он ткнул себя в грудь пальцем, — ничего не требую. Скажу ему, что не состоялось, и все!

— Вот как! А скажите-ка лучше, почему он с вами готов на какого-то Яковлева сменяться, а с меня драгоценные эмали требует?

— Во-первых, Яковлев — это не «какой-то»... — Лев Минеевич вкрадчиво понизил голос: в груди у него тревожно екнуло, словно и в самом деле на циферблате судеб пробил его час. — Во-вторых, он хотел еще подлинную «Маркизу» Сомова и «Версальские фонтаны» Лансере, но это не важно, потому как в-третьих... в-третьих, вы сами можете предложить что-либо из живописи или же графики...

— О! Что же вы раньше не сказали? — всплеснула руками Вера Фабиановна. — Может, ему Врубеля предложить?

— М-можно. — Голос почему-то вдруг изменил Льву Минеевичу. Он неопределенно махнул рукой, глотнул два раза сухим, опа-

ленным горлом и прокашлялся. — Можно... Я так думаю — можно... Но надо поговорить.

— Ах, поговорить! — Она согласно кивнула. — Ну конечно же, поговорить! — И, беспощадно улыбнувшись, покачала вдруг головой — Ай-я-яй, Лев Минеевич! А еще старый друг называется, верный рыцарь! Я же нагадала вам напрасные хлопоты. Чего же вы лезете? Не видать вам Врубеля, как своих ушей... — и звучно припечатала ладонь к клеенке стола.

— Позвольте! — возмутился Лев Минеевич. — Как вы могли подумать? Конечно, я хочу Врубеля, но ваши интересы...

— Бросьте, бросьте!.. Лучше замнем для ясности. Передайте своему Дормидонтычу, что я хочу его видеть. Пусть зайдет. Авось сами как-нибудь столкуемся.

Униженный Лев Минеевич нашарил свой зонтик и взглядом стал отыскивать шляпу.

— Да вон она! — сказала Вера Фабиановна, отнимая шляпу у Саскии, который уволок ее на другой конец софы и брезгливо обнюхивал.

Лев Минеевич вздохнул и поцеловал хозяйке руку.

— Заходите. Не забывайте, — сказала она, провожая его к дверям.

Глава 5

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ СВЕРШИТСЯ

Люсин вышел из кино, когда на Садовом уже зажглись фонари. Тополиный пух кружился в немигающем ртутном свете. Старушки в белых фартуках торговали цветами. Куда-то спешили люди. У телефонных кабин стояли очереди. Вечер только еще начинался.

Люсин прошел мимо концертного зала и, увлекаемый людским потоком, машинально спустился в метро. Делать было решительно нечего. Смутно хотелось куда-то пойти, стряхнуть с себя ленивую тревогу этого вечера.

Получив в кассе четыре пятака, он двинулся к турникетам, но свернул вдруг направо и подземным переходом вышел на другую сторону улицы Горького. В ярких витринах магазина лоснились свисающие с потолка колбасы. У дверей ресторана «София» безнадежно темнела очередь.

Одинокий автомат оказался свободным. Словно решившись на что-то, Люсин вошел в кабину и, порывшись в карманах, отыскал двушку. Но автомат с отвратительным лязгом сглотнул монету, едва Люсин набрал первую цифру. Тихо ругнувшись, он вышел из кабины и перебежал к табачному ларьку. Купив ненужную ему коробку спичек, выпросил заветную медяшку. Не доверяя пиратскому телефону, не поленился дойти до желтого здания, где раньше был Кукольный театр. Там обошлось благополучно.

Юрка, на удивление, оказался дома. Люсину определенно начинало везти. Очевидно, первый автомат сыграл роль алтаря, на котором боги благосклонно приняли жертву.

— Ты где сейчас, старик? — радостно спросил Березовский. — Ах, у Кукольного! Это же рядом. Немедленно приезжай!

Люсин сел в троллейбус и, доехав до Белорусского, пошел по Лесной.

Юрка открыл дверь и сразу же потащил его в заваленную книгами комнатенку. Был он всклокочен, словно только что встал ото сна, тренировочный костюм приятно округлялся на его пополневшем брюшке. Папки с какими-то рукописями, всевозможные газеты и журналы загромождали стол и подоконник, небрежно валялись на полу. Сняв с кресла энциклопедический том и очистив ногой проход, Юрка торопливо усадил гостя.

— Ну и нюх у тебя, старикан! — Он вкусно причмокнул губами, порываясь бежать в кухню. — Я, брат, раздобыл бутылочку шотландского «Лонг Джон». Сейчас мы ее с боржомчиком...

— Погоди, Юр, — остановил его Люсин. — Повремени малость. Ладно? Давай сперва просто так поговорим, а то потом делами заниматься не захочется.

— У тебя есть дело?

— Дело, оно всегда есть. Была бы шея.

— Насчет шеи у тебя все в порядке. Бычья!

— Я тебе не помешал, Юр? Ты чем занимался?

— А ничем! — отмахнулся Березовский.

— Это хорошо, — кивнул Люсин. Он-то уже успел заметить на диване стопку исписанных безобразным Юркиным почерком листков.

Это было в порядке вещей. Друзья, как правило, всегда заставали Березовского за работой, а он пренебрежительно махал рукой и говорил, что ни черта не делал. Вид у него при этом был самый искренний, может быть, потому, что Юрка всегда радовался гостям.

Вот и сейчас он скакал вокруг Люсина, как стосковавшийся после долгого одиночества веселый щенок.

— А ты, часом, не голоден? — участливо спросил он.

— Вообще не помешает, но, если можно, несколько погодя.

— Как скажешь, так и будет, — заверил Березовский.

Сам того не ведая, Люсин уже безмятежно улыбался. Лениво потянувшись, он уютно устроился в кресле и шлепнул пританцовывавшего вокруг него Березовского.

— Да сядь же ты, ради бога!

Юрка сразу же привычно растянулся на диване.

— Выкладывай, — сказал он, стыдливо прикрывая свою писанину раскрытой книгой.

— Понимаешь, Юр! — Люсин шумно вздохнул и пригладил макушку. — Есть одно дело, кажется, по твоей части.

— Давай, — с готовностью согласился Юрка.

— Не все так просто, дружище... Я и сам еще точно не знаю, что из этого выйдет, но на всякий случай хочу заручиться твоим согласием.

— Да брось ты... Что за церемонии?!

— Нет, ты погоди, — остановил его Люсин, — не все так просто. Я не знаю пока, понадобится ли это, но, если понадобится, могу ли я рассчитывать на твою помощь в качестве консультанта?

— Ты что, сдурел? — возмутился Березовский. — С каких это пор ты стал таким... сумнительным?

— Э, Юр, — досадливо поморщился Люсин, — если бы это было мое личное дело!.. Тут материя тонкая. Служебная тайна. Понимаешь?..

Березовский выжидательно смотрел на него, подперев подбородок руками.

— В ходе следствия, — а речь идет именно о следствии, — могут возникнуть всякие неожиданные нюансы. Я, как чиновник и человек подчиненный, могу действовать только в определенных рамках. Ну да ты понимаешь: порядок есть порядок.

— Не нами заведено, — машинально поддакнул Юра.

— Во-во! В моих личных делах ты как был Юркой Березовским, так им и останешься. Тут все ясно. В наших же, — он сделал на этом слове едва заметное ударение, — служебных делах ты, если понадобится, можешь участвовать только в качестве о-фи-ци-ального — понимаешь! — консультанта товарища Березовского. Ясно?

— Более менее. Давай дальше.

— Дальше — проще. Если ты согласен, то будь готов дать письменную экспертизу и все такое прочее, конечно, с полным соблюдением служебной тайны. Опять же, если в этом окажется необходимость.

— А ты лично в этом очень заинтересован?

— Конечно, Юрик! Это же моя работа!

— Тогда об чем разговор? Давай свои бумаги и говори, чего подписывать.

— Пока ничего. На данном этапе я привлекаю тебя к работе, как говорится, на свой страх и риск. Ведь может получиться так, что все это не стоит выведенного яйца.

— Выеденного.

— Чего?

— Выеденного яйца!

— Ну да, конечно, не в этом дело.

— Значит, ты просто подстраховался? Боялся, что, если дело осложнится, а я уйду в кусты, у тебя будут неприятности?

— В принципе это так. По существу же совсем не так! Я ничего не боялся. И не боюсь. Мне очень нужна твоя помощь, и я ни на минуту не сомневался, что ты меня выручишь. Просто не хотел ставить тебя перед свершившимся фактом. Хочу, чтобы ты сам видел все, как оно есть.

— Значит, пока тебе достаточно только моего честного слова?

— Просто твоего согласия.

— Ладно. Считай, что ты его получил. Благодарю за доверие.

— Да брось ты, Юр! Чего ты?

— А ты чего? Мог бы в двух словах сказать. Так, мол, и так. Помоги, Юра, и подпишись в соблюдении тайны.

— Так ведь не надо пока.

— Что «не надо»? Подписываться или соблюдать?

— Подписываться. Соблюдать на всякий случай надо.

— Так бы и сказал.

— А я так и сказал. Только в более деликатной форме.

— Ладно. Инцидент исперчен. Рассказывай.

— Рассказывать, собственно, нечего. Прочти-ка вот эту штуку. — Люсин достал из внутреннего кармана черный пакет из-под фотобумаги и извлек из него снимок. — Что ты насчет этого думаешь?

Юра ловко поймал фотографию и зажег лампу у изголовья.

— Чтоб не сверлить тебя глазами, я пока в кухне чего-нибудь перехвачу.

— Ветчина и сыр в холодильнике, хлеб в шкафу. Есть еще какие-то консервы.

— Хватит одной ветчины, а потом выпьем.

Люсин прошел в кухню и принялся методично готовить себе бутерброды.

— Тебе принести? — спросил он, уже откусывая.

— Нет. Спасибо. Слушай.

Предначертание свершится!
Сим заклинаем семерых.
Капитолийская волчица
Хранит завязку всей игры.
Пусть Монсегюр в огне падет,
Лютеции звезда затмится,
Все ж с розой крест соединится,
И в их единство ключ войдет.
Итак, свершится: роза — крест
Под кардинальским аметистом.
Следите ж за игрою мест!
Звезда Флоренции лучиста,
Но на подвязке будет кровь.
Обеих их соединит
Холодный камень Сен-Дени.
Отличный от других алмаз —
Бордоское вино с водою.
О семеро, мы молим вас.
Не обернитесь к нам бедою!
Из пепла Феникс оживет
В снегах страны гиперборейской.
Когда на смерть — не на живот —
Пальмира Севера пойдет
Против когорт и ал лютейских.
На четках Феникса как раз
Седьмая есмь тигровый глаз.
Жезл победителя мальтийский

Хранит содружество ключа.
Не перепутай сгоряча
Порядок мест в игре их строгой!
Ни эшафотом, ни острогом
Нельзя прервать игру судеб.
Последний есмь наследник — Феб.
Не токи родственной крови,
А волю звезд — небесных судей —
В игре той строгой улови
И разгадай наследство судеб:
Сатрап лакею передал
Цареубийственный кинжал.
Ты положи игре конец
И отыщи жену младую,
Чье имя носит тот ларец,
Чьи звезды — чистый Козерог.
В ночь тихую и ночь святую
Дано узреть концы дорог.
Итак, внемли же: крест и роза,
Затем латинский аметист,
Подвязка и бордоской лозы
Огонь, которым камень чист,
Звезда Флоренции, конечно,
Льнет к италийским городам,
Тигровый глаз теперь навечно
Жезлу мальтийскому отдан —
Вот слуги тайные ларца,
Таящего грозу дворца,
Взращенного на молоке волчицы.
Храни же тайну до поры!
Предначертание свершится!
Сим заклинаем семерых.

Люсин с наслаждением жевал бутерброд с ветчиной, уставившись на заросшее буро-зеленой слизью стекло аквариума, сквозь которое безуспешно пытался разглядеть рыб. Это настолько его заинтриговало, что он поднял покрывавшую аквариум фанерку. В сумрачной воде промелькнули темные рыбьи спинки.

И увидел он залитую тяжелым живым серебром палубу. Лазоревый блеск прыгающих сельдей. Мокрые роканы товарищей. И волны, чуть тронутые суровым глянцем просвечивающегося сквозь облака северного солнца.

То-то потешались они, когда узнали, что пойдет вместе с ними в трехмесячное плавание какой-то корреспондент из Москвы. Но встретили, как полагается — уважительно, широко. Кеп омаров принес из морозильника, десяток лангустов. Ребята морского карася вяленого принесли собственной заготовки. Коньячок был, лососина — все чин чинарем, по самому высшему классу. Даже шашлык из зубатки.

Люсин хотел уступить гостю свою штурманскую каюту, только тот наотрез отказался. Сразу же полез в кубрик, занял свободную койку и, разложив вещички, плотно там обосновался. Первые дни только бродил по пароходу, выспрашивал все и тут же в блокнотик записывал. Все углы облазил и, составив планчик БМРТ, аккуратно

как что называется записал. А потом график для себя сочинил, чтобы каждого человека на судне продублировать. И сети чинил, и бочки забортной водой заливал, вытрясал рыбу и шкерил ее, на муку молол и в камерах замораживал. Стоял он на вахте, дежурил в радиорубке, пачкался тавотом в машинном отделении, пытался овладеть секстантом, путался в радионавигации и ревниво следил, как Люсин прокладывал курс. Это дело ему вроде бы больше всего понравилось. Хотел он и кепа продублировать, да не стал: видно, плохо эту работу изучил или командовать стеснялся.

Проку от него, честно говоря, мало было. Он это и сам понимал. На любую работу, как это у новичков заведено, не бросался, но все, что ему поручали, делал старательно, вдумчиво. Выходил на авралы, драил палубу, смывал из шланга кровавую рыбью чешую.

Но по-настоящему оценила корреспондента команда, когда настала в его графике пора дублировать кандея. Тут уж он себя показал! Первым делом выдал ребятам буайбес по-марсельски — изысканную французскую уху. А дальше — больше: «шатобриан» из мороженой говядины, пюре «сен-жермен», соуса да «парфе» — просто закачаешься. Тут уж его ребята всерьез стали просить бросить к черту график и до конца плавания остаться в камбузе, чтобы тамошние работники могли перенять бесценный опыт.

Французская кухня очень всем пришлась по душе. Первый помощник так просто стонал, когда тарелку вылизывал, бил себя кулаками в грудь, ругался по привычке, ну только не плакал...

Вот как сходил в Атлантику специальный корреспондент «Комсомолки» Юрий Березовский. Память об этом походе сохранится в легендах.

Когда же целиком вышла в столичном журнале его документальная повесть «Рыба под нами, рыба над нами» (это он летучек, очевидно, имел в виду), Люсин как раз пришел из последнего, столь неудачного для него плавания. Весь траловый флот читал эту повесть запоем. И неважно, хорошо или плохо была она написана. В этом мало кто по-настоящему разбирался, да и думать о том ребята не хотели. Это была повесть о них. И это была правда о них. Взглянув на себя как бы со стороны, как бы с высоты себя оглядев, они очень сами себе понравились. Только решили написать автору коллективное благодарственное письмо, постановив после отчаянных споров начать его просто: «Дорогой Юра! Пишут вам...», как в адрес тралового флота пришел крупный перевод.

«Дорогие ребята! — говорилось в листочке для письма. — Вышла повесть, которую все мы вместе писали. Очень жалею, что из-за командировки в Среднюю Азию не могу к вам приехать, да и не уверен, что застану всех вас на берегу. Но банкет в «Заполярье», как я понял, дело святое. Посему приглашаю вас на банкет, который имеет место быть в оном ресторане в удобное для вас время. Всем сердцем с вами. Мою особу будет представлять штурман товарищ Володя Люсин. Я уверен, что он не откажется принять на себя и все хлопоты, связанные с проведением данного меропри-

ятия. Крепко всех обнимаю. Высылаю бандеролью авторские экземпляры на весь экипаж.

Ваш дублер Ю. Березовский».

Что там ни говори, но это было красиво. Ребята поняли все, как надо, и оценили...

— Как там у тебя? — позвал Березовский.

— А? Все в порядке. Подзаправился.

— Тогда иди сюда.

Люсин убрал хлеб, стряхнул крошки с тарелки и, выпив чашку воды из-под крана, вернулся в комнату. Юра лежал, вытянувшись на диване, и глядел в потолок.

— Как это к тебе попало? — спросил он.

— Найдено в папке исчезнувшего иностранного туриста. Собственно, именно его мы и разыскиваем.

— И что ты думаешь по этому поводу?

— Мне кажется, это зашифрованная инструкция. Речь идет, вероятно, о том, как использовать, а может быть, и как отыскать какой-то старинный предмет.

— Весьма здраво. Продолжай.

— Э, нет, брат. Это ты продолжай! За тем я к тебе и пришел.

— А что я? Могу только повторить твои слова. По-моему, ты на верном пути, старик.

— Понимаешь, Юр, для меня тут наверняка больше непонятного, чем для тебя. Я и слов-то многих не знаю. Поэтому давай выжмем из этой штукенции все, что только можно. Считай, что дело ведешь ты, а я только при сем присутствую.

— Ладно! Давай попробуем. Он сел, подтянул к себе ноги и, положив сбоку фотографию, скосил на нее глаза.

Люсин вынул блокнот.

— Так, стариканчик! — Юра зажмурился и потер руки. — Прежде всего линия историческая. Начинается она в Риме, может быть, даже в Древнем Риме.

— Почему?

— «Капитолийская волчица хранит завязку всей игры», — наизусть процитировал Юра. — И потом в конце, — он взял фотографию в руки, — так «...таящего грозу дворца, взращенного на молоке волчицы». Это же явно про римских цезарей! Капитолий, может быть...

— А если это аллегория?

— А если все здесь аллегория? На черта тогда мы теряем время? Нет уж, голубчик, давай сначала исследуем буквальный смысл.

— Согласен, — кивнул Люсин.

— Итак, мы останавливаемся на античном Риме или, по меньшей мере, на Риме раннего средневековья. До Ренессанса.

— Почему?

— Потому, что далее следует Монсегюр. «Пусть Монсегюр в огне падет».

— Что такое Монсегюр?
— Об альбигойских войнах слышал?
— Приблизительно.
— Это последняя твердыня альбигойцев.
— Какой век?
— Тринадцатый, по-моему... Что-то в этом роде, одним словом.
— Значит, сначала Рим, потом сразу тринадцатый век?
— Вроде бы, — пожал плечами Юра.
— Дальше давай.
— «Лютеции звезда затмится...» Лютеция — древнее название Парижа. Хоть убей, не пойму, почему должна была затмиться его звезда. Но оставим пока... Далее следуют роза и крест. Тут у нас дело обстоит благополучно.
— Благополучно? — удивился Люсин. — А мне это место показалось, наоборот, самым темным!
— Ничуть. Роза и крест — мистические атрибуты ордена розенкрейцеров. Это шестнадцатый-семнадцатый века, во всяком случае так говорится в масонских преданиях.
— Масонских? Это правда?!
— А что тебя так удивляет?
— Ты золотой человек, Юрка! Я с самого начала знал, что никакой академик, никакой криминалист тут не разберется. Только ты. Во-первых, ты ходячая энциклопедия, во-вторых, наделен богатейшим воображением, в-третьих, ты, журналист и писатель, сразу ухватываешь суть, в-четвертых...
— Благодарю, польщен, — прервал его Юра. — Но не отвлекайтесь, мамочка. Почему на вас так подействовали масоны?
— Да потому, что советник... одним словом, свидетели показали, что исчезнувший иностранец носил серебряный перстень с черепом, а это...
— Определенно указывает на принадлежность к масонству. Ты это хочешь сказать?
— Не знаю, как насчет принадлежности, но какое-то отношение все же имеется.
— Резонно, — одобрил Юра. — Продолжим наши игры. — Он опять взял фотографию, молча пробежал строчки и, найдя нужное место, прочел: — «Все ж с розой крест соединится, и в их единство ключ войдет. Итак, свершится: роза — крест...» — Он поднял палец. — Это явная кульминация. Чувствуешь? «И в их единство ключ войдет». Здорово! Роза и крест превратились в роза — крест. Улавливаешь нюанс? Это уже, как ты справедливо заметил, похоже на начало инструкции. Но продолжим историческую нить. Тем более, что нас тут же призывают ко вниманию: «Следите ж за игрою мест!» Давай следить!
— Ты пропустил «под кардинальским аметистом», — остановил его Люсин, который уже знал стихотворение наизусть.
— Сознательно! Сознательно, отец. Эта строфа не является исторической вехой...

— Но для меня она важна. Что такое кардинальский аметист? Особая разновидность? Или просто аллегорический намек на нечто фиолетовое?

— Не думаю. Скорее всего, речь идет именно о кардинальском или, точнее, епископском аметистовом перстне. Согласно древнему обычаю, папа, назначая очередного епископа, дарил ему аметистовый перстень.

— И какой он из себя?

— Не знаю точно... Полагаю, обычное золотое кольцо с аметистом.

— Превосходно! — Люсин хлопнул в ладоши.

— Чему ты, собственно, радуешься?

— Этот перстень у меня. Как-нибудь я тебе его покажу.

— Вот как? Дело и впрямь становится интересным!

— Или я к тебе приду с плохим, Юра? — как истый мурманчанин спросил Люсин.

— Разве я тебя не знаю, Володя? — в тон ему ответил Березовский.

Они рассмеялись.

— Дальше давай, — сказал Люсин.

— «Звезда Флоренции лучиста, но на подвязке будет кровь...» — Юра погладил обросший к вечеру подбородок. — Не очень ясно. Что такое звезда Флоренции? Орден? Первая красавица? Или это надо понимать в том же смысле, что и «звезда Лютеции»? Остановимся пока на этом. Звезда, то есть судьба Лютеции, затмится, а судьба Флоренции лучиста... «Но на подвязке будет кровь...» Идет ли тут речь о британском Ордене подвязки или же просто о предмете туалета? «Будет кровь...» Подвязка будет оплачена кровью? Тут нужно хорошо покопаться, иначе черт ногу сломит.

— Покопаться? Думаешь, это что-то даст?

— Не сомневаюсь. Ведь дальше следует: «Обеих их соединит холодный камень Сен-Дени». О чем это нам говорит?

— О чем?

— Сен-Дени — фамильная усыпальница французских королей. Один холодный камень, то есть одна могильная плита, соединит там звезду Флоренции и окровавленную подвязку. Неужели это прошло мимо французских историков? Да не может того быть! История Франции почти не знает темных мест. За исключением Железной маски почти все в ней ясно. Тем более, что речь тут идет об особах королевской крови. Нет, просто надо основательно порыться в истории.

— А без истории ты не знаешь, о чем может идти речь?

— Нет.

— Жаль, я думал, ты все знаешь... Но ты, во всяком случае, пороешься?

— Обязательно! Мне же самому интересно. Под каждую строфу этой великолепной поэмы я подведу строгую историческую базу. Я это подработаю! Что же у нас дальше? Ага! «Отличный от других

алмаз — бордоское вино с водою». Как и аметист, это в смысле истории нам ничего не дает. Разве что намек... Дескать, действие все еще протекает во Франции.

— Все еще?

— Ну да! Сен-Дени...

— Ага. — Люсин сделал в блокноте памятку. — Значит, Рим, Монсегюр, затмившийся Париж, розенкрейцеры шестнадцатого века, потом Флоренция с подвязкой в Сен-Дени. Действительно, все еще происходит во Франции.

— Разобрался? Ну и прекрасно... «Бордоское вино с водою...» Видимо, здесь имеется в виду окрашенный в красный оттенок алмаз. Очень редкая и дорогая разновидность. Его у тебя, случайно, нет?

— Нет, — вздохнул Люсин.

— Жаль. Очень жаль. На одних аметистах дачу не построишь. Ну да ладно... «Из пепла Феникс оживет в снегах страны гиперборейской, когда на смерть — не на живот — Пальмира Севера пойдет против когорт и ал лютейских...» Тут, без сомнения, действие переносится в Россию-матушку. Можно даже побиться об заклад, что оно происходило во время войны 1812 года. «Пальмира Севера пойдет против когорт и ал лютейских» — парижских, значит. Ясно?

— Вполне. А что такое алы? Это вроде когорт?

— Из той же оперы. Ала — нечто вроде конной полуроты. Значит, Россия... «На четках Феникса как раз седьмая есмь тигровый глаз». Это уже из области инструкции. Тигровый глаз, кстати, тоже драгоценный камень, коричневый такой, надо думать, что четки — вещь вполне реальная. «Жезл победителя мальтийский хранит содружество ключа...» «Содружество ключа», как это следует из нашего анализа, означает единство розы и креста. Теперь это содружество перекочевывает в Россию, и спрятано оно, возможно, в жезле победителя.

— Почему «мальтийский»?

— Очень даже потому. После победы над Наполеоном союзники сделали Александра Первого гроссмейстером Ордена мальтийских рыцарей.

— Ну ты даешь, Юра!

— Спрашиваешь, Володя!.. Но идем далее. Нас опять призывают к внимательности. Потом утешают, что ни эшафот, ни острог не могут прервать игру судеб. К чему бы это? Раз мы все еще находимся в России, то чисто хронологически речь может идти, скажем, о декабристах. Предположительно, конечно. Кто же такой последний наследник Феб, я решительно не знаю. Вряд ли тут имеется в виду древнегреческий Феб — Аполлон. Во всяком случае наследник он не очень-то законный.

— Почему?

— «Не токи родственной крови, а волю звезд — небесных судей — в игре той строгой улови и разгадай наследство судеб...» Наследство судеб, мой дорогой, то не наследство крови. Тут уже в

полном смысле игра судьбы. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Согласен?

— Довольно убедительно.

— Тем более что потом следует: «Сатрап лакею передал цареубийственный кинжал». Какие уж тут токи родственной крови! Но постой! — Юра вскочил с дивана и кинулся к книжной полке.

На самой верхотуре отыскал какой-то коричневый томик и начал его нетерпеливо листать. Люсин молча затаился в кресле, боясь спугнуть неведомую догадку, столь внезапно пришедшую. Примерно так он и представлял себе поэтическое вдохновение.

Перелистав несколько раз книжку туда и обратно, Юра в сердцах захлопнул ее.

— Нет, не могу найти! Всегда так, когда нужно... Помню, что где-то здесь. Терпеть не могу, когда в книге нет алфавитного списка имен!

— А что ты ищешь?

— Да у Пушкина! «Цареубийственный кинжал»! Хорошо помню, что это из «Евгения Онегина», но пролистал весь роман, и нет нигде.

— Так ты не там ищешь. Посмотри в примечаниях. Это же десятая глава, которая была уничтожена. Остались только отрывки.

— Это точно? — удивился Юра.

— Конечно! Можешь не искать. Я знаю это место:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал
Читал свои ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал

— Покорен, отец. Покорен и подавлен! Но что я тебе говорил?

— Что?

— О декабристах!

— А я разве спорил? — улыбнулся Люсин.

— Слушай, идея! То, что Якушкин на совещании у Муравьева предлагал убить Александра Первого, хорошо известно. Но что, если этот цареубийственный кинжал не только поэтическая метафора. А? Это тоже надо будет как следует подработать.

— Может, не стоит так уж широко забирать? — спросил несколько обеспокоенный Люсин. — Время, оно не ждет.

— Старик, твои интересы не пострадают.

— Уж пожалуйста... Продолжим?

— Ага. — Юра отложил Пушкина и взял снимок. — Собственно, дошли уже почти до конца. Тут так и говорится: «Ты положи игре конец и отыщи жену младую, чье имя носит тот ларец, чьи звезды — чистый Козерог...»

— Ларец... — начал было Люсин, но Юра не дал ему договорить.

— С ларцом погоди. Это особь статья. Давай закончим сперва одну линию.

— Давай, — согласился Люсин. — Козерога я уже проверял. Под этим знаком находится тот, кто родился в январе. Имени же мы не знаем.

— Все равно, — одобрил Юра. — Добавить ничего не имею. «В ночь тихую и ночь святую...»

— На Рождество, но это уже, по-моему, чистая травля.

— Очень даже может быть, — опять согласился Юра. — Рад, что наши мысли совпадают. Итак, с первой нашей линией покончено, поскольку далее идет повторение участвующих в игре мест. Подытожим?

— Подытожим! Я уже набросал тут схемку. — Он пересел к Юре на диван и показал ему блокнот. — Развитие, так сказать, во времени и пространстве.

Рим (? год) — Монсегюр (XIII в.) — Париж (XIII — XV вв.) — розенкрейцеры (Париж, XVI — XVII вв.) — «звезда Флоренции» и «кровавая подвязка» (Сен-Дени, XVI — XVIII вв.) — Россия (XVII в. — 1812 год) — декабристы (?) — Феб (?)...

— Все верно! — одобрил Юра. — Значит, моя задача подработать историю... К Риму концов не подберешь, поэтому я начну с альбигойцев, кстати, и год уточню. С розенкрейцерами дело темное, но что-то узнать будет можно. Сен-Дени — пара пустяков. Дальше — хуже, в общем, что-нибудь сделаем... Пройдемся теперь по линии инструкции?

— Да. Нам нужно определить для себя следующее... — Люсин забрал блокнот. — Что такое ларец и кто его слуги? Очевидно, их семеро. Но по стиху вроде получается больше.

— Знаешь что? Давай для контроля проведем параллельное исследование? Ты даешь свою версию, я — свою, а потом сравним. А?

— Лады! — Они хлопнули по рукам.

Юра остался на диване, а Люсин вернулся в кресло.

Минут через двадцать обе схемы были готовы.

Версия Люсина

I. Ларец хранит драгоценности или важные исторические документы.

II. Слуги ларца:

1. Крест и роза

2. Кардинальский аметист

3. Звезда Флоренции

4. Кровавая подвязка

5. Алмаз красного цвета

6. Седьмая четка Феникса

7. Мальтийский жезл (он же ключ?)

8. Цареубийственный кинжал

И т о г о: восемь.

Примечание. В конце стихотворения перечисление слуг повторяется:

1. Крест и роза
2. Кардинальский аметист
3. Кровавая подвязка
4. Алмаз красного цвета
5. Звезда Флоренции
6. Седьмая четка Феникса
7. Мальтийский жезл

И т о г о: семь.

О кинжале говорится лишь, что он хранится в ларце (гроза дворца?)

Версия Березовского

I. В ларце спрятаны сокровища или указание, где их найти.
II. Слуги ларца:
1. Роза — крест
2. Аметистовый перстень
3. Звезда Флоренции
4. Подвязка
5. Винный алмаз
6. Четка из тигрового глаза
7. Жезл (он же ключ)

И т о г о: семь.

В повторе порядок мест несколько меняется. Но повтор только перечисляет слуг. Вначале же, напротив, нас заклинают не перепутать сгоряча порядок мест в игре их строгой.

— Это же прекрасно, голуба! — восхитился Юра, когда сравнил записи. — Мы пришли к одинаковым выводам! Расходимся только в порядке мест. Но я продолжаю настаивать на своем варианте. Он гораздо более логичен.

— Да. Я понял это, когда прочел твою версию. Знаешь, Юр, в этих бумажках полностью отразились наши характеры.

— Не понял!

— Ну, я имею в виду ход мышления. Ты хватаешь истину сразу, интуитивно, а я, как черепаха, двигаюсь от пункта к пункту.

— Я тебя умоляю! — запротестовал Юра. — Единственное в чем прав, так это в интуиции. Имеет место. Но эта же интуиция заставляет меня упускать существеннейшие вещи! А ты, старик, страдаешь порой от излишнего формализма. Одним словом, оба хороши. Я, между прочим, только сейчас обнаружил, что загадка кардинальского аметиста решается совершенно однозначно.

— Разве первое предположение неверно? — огорчился Люсин.

— Верно. Очень даже верно. Просто надо было не гадать, а внимательно прочесть стихотворение. Ведь в конце его говорится:

«латинский аметист». Латинский! Католический, значит. Ведь именно так именовали в России католическую веру. Более того, определение «латинский» даже содержит намек на иезуитов! Православные священнослужители в своих проповедях против латинства в первую голову обрушивались на иезуитов. Они и добились-таки, что иезуитский орден был изгнан из пределов Российской империи.

— Только иезуитов нам еще не хватало! — вздохнул Люсин. — И без того полный букет.

— Не в этом же дело. Досадно просто, что я сразу не углядел этот «латинский аметист».

Зазвонил телефон. Юра взял трубку.

— О, Гена! Как? Ну и распрекрасненько! Ничего захватывать не надо — все есть, ну разве что... Ладно... Давай, старик!.. У нас еще много на сегодня дел? — спросил он, положив трубку.

— Да нет. Вроде все уже сделали. А что?

— Тут один приятель хочет завалиться с оч-чаровательнейшей блондинкой. Посидим, поболтаем... Люди они очень милые и интересные. Ты не против?

— Ну что ты, совсем наоборот!

— Вот и я так думаю. Поработали мы сегодня неплохо, не мешает и отдохнуть.

— Как зовут этого твоего знакомого?

— Гена Бурмин. Да ты его вряд ли знаешь. А блондиночку — Марусей. Она у нас очень серьезный хирург... Так ты говоришь, что кинжал в десятой главе? — Он раскрыл книгу. — Ага, вот она. Действительно сплошные точки.

Властитель слабый и лукавый
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Здорово! — Юра погрузился в чтение.

Люсин поднял с пола словарь Ларусса и лениво начал его перелистывать.

— Ого! — Юра вскочил с дивана. — Ты посмотри, что я нашел! — Он протянул Люсину пушкинский томик, ногтем отметив место.

Тряслися грозно Пиренеи,
Вулкан Неаполя пылал.
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
Кинжал... тень Б...

— Ты думаешь? — недоверчиво улыбнулся Люсин.

— А то нет! И почему бы нет? Это ведь та же самая глава! Может, Пушкин и знал что-то об этом кинжале?

— Сначала нужно доказать, что кинжал был на самом деле.

— Вот этим-то мы и займемся!

— Только в свободное время, Юр. Умоляю! Иначе мы потонем без возврата. На дно пойдем.

— Но мы же обо всем договорились. Ты, ради Бога, не беспокойся. Все будет тип-топ.

— Только не очень увлекайся, Юр! То есть увлекайся, конечно, но не забывай про стержень. Я очень уважаю художественную литературу, но ты все же больше на историю нажми. Ладно? Александром Сергеевичем лучше потом займемся...

— Все будет в полном порядке! Ты только не волнуйся. В процессе работы многое прояснится. Художественная же литература тоже может дать важные исторические свидетельства.

Мелодичными колокольчиками заиграл дверной звонок.

— Гости идут! -- обрадовался Юра и подбежал к двери.

В коридоре уже рокотал довольный бас Гены Бурмина:

— Здорово, старик! Здорово... Как дела?

Глава 6

КОВЧЕГ ГРААЛЯ

Были страшные знамения. Хвостатая звезда пронеслась, и говорили, что подобна она срезанной голове. Отсюда, с гор, по ночам хорошо были видны зарева догорающих деревень. Воронье тянулось к старой Каркассоннской крепости, к Тулузе, Фуа.

Арденнский вепрь опустошал страну. Крестьяне кинулись в горы, да поздно. Повсюду на перевалах стояли уже Монфоровы стрелки.

Только о горной тропе на замок Юссон, у самой испанской границы, еще не дознались крестоносцы. Благодарение доброму Богу, ослики, груженные золотом, прошли благополучно. Вчера гонец воротился с письмом от юссонского барона, что груз получен в целости, и караван снаряжен для обратного пути. Значит, на другой день, если ничего не случится, следовало ждать подкреплений.

В круглой башенной келье делалось все сумрачней. Но за мавританской решеткой оконца горел, плавился такой невероятно золотой и зеленый предвечерний свет, что епископ медлил зажечь плавающий в масле фитиль.

— Сколько мы еще сможем продержаться, как вы думаете, Мирпуа? — спросил он коменданта, не отходя от окна.

— О, сколько угодно! — с излишней, может быть, беспечностью отозвался комендант. — Наши горы неприступны, вы же знаете это, Наставник Совершенных. — Он выступил из пыльного сумрака, как был, в одной только полотняной рубахе до пят, не остывший еще после вылазки. Расстегнутые доспехи его лунной синевой поблескивали возле холодного очага. — К сожалению, я не могу сказать того же о самом Монсегюре... Вы тогда не захотели прислушаться к моим советам...

— Ты все о том же, Мирпуа? — Епископ резко обернулся, и коменданту показалось на миг, что горнее сияние исходит от тем-

ного на фоне зарешеченного оконца лика его. — Теперь уже бесполезно спорить.

— Да, теперь бесполезно. Но тогда, когда вы приняли крепость от Рамона Пиреллы и начали ее перестройку, — тогда следовало одобрить мой план.

— Монсегюр предназначался для иных целей.

— Я знаю это, Наставник Совершенных! Мне ли не знать! И я ценю, что именно мне вы доверили высокую ответственность оборонять наш Солнечный храм. Но неужели нельзя было соблюсти минимальнейшие требования безопасности?

— Какой смысл говорить об этом сейчас?

— Кое-что еще можно изменить.

— Что именно?

— Пробить новые амбразуры.

— Они нужны?

— Безусловно. Все наши амбразуры, равно как окна, арки и двери, нацелены на солнечный восход, а вовсе не на возможного противника. У меня же нет никакой уверенности, что крестоносцы пойдут на штурм с первыми лучами. Скорее всего они сделают это под покровом тьмы.

— Вели пробить амбразуры. Что еще?

— Нужно разобрать внутренние мостики. Кроме того, пилоны...

— Они необходимы для наблюдения восхода в день летнего солнцестояния.

— Я знаю, Наставник Совершенных, знаю. Но вообразите себе, что враг завладел стеной и сумел переправиться через второй ров... Что тогда?

— Но день солнцестояния близок, и я боюсь, что все эти перемены...

— А я боюсь, что мы не доживем до святого дня.

— Ты же только что сказал, будто мы сможем продержаться долго! Как я должен понимать тебя, рыцарь?

— Необходимо укрепить замок и усилить его гарнизон.

— Хорошо. Поступай, как знаешь. Какие еще требуются перестройки?

— Простите меня, Наставник, но я солдат, и если мне приходится кощунствовать, то только ради вашей же безопасности.

— Говори, Мирпуа, говори же!

— Вы согласились пробить новые амбразуры, но ведь этого мало. Нужно еще заделать добрую половину старых. Согласитесь вы на это?

— Но зачем? — Епископ удивленно воздел руки.

— Любой амбразуре, Наставник, соответствует точно такая же на противоположной стене.

— Конечно. И ты знаешь почему.

— Знаю. — Комендант почтительно склонил могучую голову. — Но опять же допустите на миг, что они овладели одной из стен... В этом случае их лучники, прячась за зубцами, смогут

пускать стрелы через амбразуры точно в цель, что сделает невозможной оборону противолежащих стен. Поэтому я предлагаю заделать часть амбразур и защитить сзади подпоры для стрелков. Тогда мы сможем сопротивляться, если даже они возьмут одну стену.

— Хорошо, Мирпуа, передам твои предложения астрологам.

— Совершенные могут не согласиться, Наставник. Даже наверняка не согласятся. Неужели лучше всем погибнуть, чем пожертвовать хоть крупицей привычного распорядка?

— Ты говоришь так потому, что сам не являешься Совершенным.

— О да! Вы правы, Наставник. Я всего лишь Верующий. Но я солдат! И поскольку закон не позволяет Совершенным брать в руки оружие, умоляю вас внять гласу солдата. Поверьте, что в деле фортификации я разбираюсь не менее Совершенных астрологов.

— Я знаю это, Мирпуа... Но ты можешь поручиться, что, если я удовлетворю все твои требования, Монсегюр устоит?

— Кто может поручиться в этом, Наставник! Разве мир этот не паутина, протянутая между добром и злом? Укрепите Монсегюр, и я сделаю все, чтобы она не порвалась под нами! Согласитесь, хорошо укрепленную крепость все же легче защитить. Должен сказать, что особое беспокойство внушает мне северо-восточная стена. В том месте, где проходит насечка, ее необходимо спрямить. Простите мне невольное кощунство, но до праздника солнцестояния еще далеко, притом астрологи давно уже составили календарь на много лет вперед... А ведь именно в этом месте враг оказывается вне досягаемости наших стрел. Стену не только необходимо спрямить, но и усилить здесь выступом.

— Одним словом, ты хочешь превратить Монсегюр в простую крепость, — тихо сказал епископ.

— В неприступную крепость, Наставник. Притом временно! Когда настанут лучшие дни, ничто не помешает нам вернуть Монсегюру прежний облик.

— Боюсь, что такие дни настанут не скоро, — вздохнул епископ. — Монсегюр не только последнее наше убежище, Мирпуа, но и последнее святилище. Если нам предстоит умереть здесь, то мы хотели бы умереть достойно, в полном сиянии нашей веры. В этом все дело. Не в упрямом фанатизме, как ты, наверное, думаешь, отнюдь.

— Зачем же умирать, Наставник? Зачем? Разве нет у нас подземного хода, наших тайных пещер? Да и путь на Юссон пока еще свободен! Разве не можем мы отступить, если почувствуем, что военное счастье нам изменяет?

— Оно давно уже изменяет нам, рыцарь! Да и куда мы можем отступить, если вся страна предана огню, мечу и разбою? Во имя чего нам спасать себя? Ради каких целей жить? Нет, Мирпуа, катакомбы предназначены для другого. Мы спрячем там до срока наш невидимый свет, наше сокровенное знание, Мирпуа, нашу тай-

ну. Нам же предстоит иное. Мы должны умереть, принять мученическую смерть, — вот что мы должны... Это нелегкое дело. Но труднее всего ждать, пока оно наконец свершится... Ожидание это страшнее смертной страды.

— Но зачем? Зачем, Наставник? — шепотом крикнул комендант и упал перед епископом на колени. — Ведь они сожгут нас!

— Да, сожгут. Но пламя наших костров навсегда останется в людских сердцах. Оно-то и обессмертит нашу веру. И когда настанет день возрождения и люди кинутся искать сокровище Совершенных, тогда и станет видимым сокрытое в подземельях сияние. Ты понял меня, Верующий?

«Понял, Совершенный, понял, Наставник», — хотел ответить комендант, но только беззвучно пошевелил губами и, все так же стоя на коленях, поник головой перед черной тенью, окруженной остывающим светом прорезанного в толстой каменной кладке окна.

— Говорят, они убивают всех. — Голос, наконец, возвратился к нему. — И женщин, и стариков...

— Да. Таков приказ папского легата. Но и сами они таковы, эти люди тьмы, рожденные на ночных зимних кладбищах из холодного пара могил... Лишь случайно и изредка даруют они жизнь тем, кто принимает их веру и целует их крест — орудие варварской пытки... Ты бы хотел купить жизнь такой ценой?

— Я? Нет, Наставник, конечно же, нет! Я солдат и готов умереть в бою. Но сознаюсь, Совершенный Наставник, пытка страшит меня и костер тоже страшит... Не смерти боюсь, а муки телесной, Наставник.

— Если случится, что ценой формального вероотступничества можно будет сохранить жизнь, я разрешаю тебе это, Верующий, — мягко сказал епископ и, сделав шаг к коленопреклоненному воину, возложил на его склоненную голову сухую и легкую старческую руку свою. — Ты понял меня? То же передай от моего имени своим людям... Но не сейчас, а тогда... Ты понимаешь, когда... Верующие могут бороться за свою жизнь любыми путями, когда оружие будет выбито из их рук. Клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не раскрывайте тайны. Вот мой завет. Мы же, Совершенные, должны будем принять муку. Иначе все вы, кто только останется в живых, утратите веру в душе своей, и дети ваши, и дети детей ваших останутся глухими к зову истины. Только костром своим поддержим мы пламя наших пещерных факелов.

А теперь иди, рыцарь. Вели заделать амбразуры и пробить новые — никаких иных перестроек я не разрешаю. Если суждено дожить нам до великого дня солнцестояния, мы встретим светило, имя которому Добро, так, как велят нам наши священные свитки... А людей своих обрадуй, что караван с золотом и самоцветами благополучно прошел. Папа не получит наших сокровищ. Даже если и падет Монсегюр, вера не погибнет. Она будет тайно гореть невидимым факелом в неведомых подземельях, пока не настанет время выйти на солнечный свет, перед которым все людские огни

только тень. Еще можешь сказать, что близится помощь, не называй лишь сроков, чтобы не было отчаяния, если помощь вовремя не поспеет... Хозяин Юссона уже отправил нам сыр, мед, пшеницу и масло... Не знаю только, послал ли он еще и людей. И если послал, то сколько? Десять? Двадцать?..

— Каждый человек дорог, — сказал комендант, поднимаясь с колен. — У меня всего сотня профессиональных военных. Остальные — дети, женщины, старики. Совершенным же закон не позволяет браться за оружие.

— Да, рыцарь, для нас оно — олицетворение зла.

— Неужели нельзя освободить на время хотя бы некоторых Совершенных от их обета, Наставник? Ввиду крайней опасности? Я знаю многих молодых поэтов, математиков и астрологов, которые готовы... Я даже осведомлен, что они сами хотят просить вас...

— Я откажу им, Мирпуа, откажу. Сколько можем мы еще противостоять десяти тысячам крестоносцев, охвативших нас смертельной петлей?

— До конца, Наставник, как велит нам долг...

— Так. — Епископ сделал коменданту знак приблизиться. — Именно до конца, как велит нам долг! — И уже тише, словно кто-то мог их услышать: — А как ты думаешь, когда он придет, конец-то? Насколько нас еще хватит?

— Без осадных орудий они вряд ли решатся на штурм, — так же тихо ответил воин. — Пока мы не даем им втащить на эти кручи катапульты и тараны, но вылазки обходятся нам недешево. Я уже докладывал вам, что сегодня мы потеряли молодого Рюи, а мой брат и еще четверо получили ранения. Кроме того, люди очень измотаны. Сколько-то мы еще, конечно, продержимся, без катапульт они нас не возьмут.

— А если Монфор перережет юссонскую тропу?

— Неприкосновенных запасов у нас ровно на три месяца. Учитывая, что людей в крепости значительно прибавилось, — скажем, на полтора... Рацион, правда, можно будет еще уменьшить, но даже в этом случае больше трех месяцев мы не протянем. Зато с водой все благополучно.

— «Зато»! — усмехнулся епископ.

— Да. Воды нам хватит. Пещерные источники не иссякнут.

— Как с оружием?

— Оружия достаточно. На складах полно алебард, пик, протазанов, есть лишние арбалеты с большим запасом стрел... Оружия хватает... людей вот маловато.

— Теперь ты понимаешь, почему я не могу освободить Совершенных от обета? — все так же тихо спросил епископ.

— Потому что Монсегюр обречен?

— Да, рыцарь, именно поэтому. Раз нам все равно не продержаться достаточно долго, Совершенные должны жизнью, точнее, смертью своей явить последний пример. Мы умрем мужественно и

достойно, как борцы и пророки, не осквернив своих рук человеческой кровью.

— И кто увидит этот последний подвиг? Палачи?

— Среди наших врагов не только палачи, там много невежественных душ, блуждающих в потемках. Пусть они видят все, может быть, это пробудит в них искру добра. И не сомневайся, Мирпуа, она разгорится. В веках, в поколениях она разгорится, Мирпуа. И я верю, что настанет день, когда мир ужаснется и восхитится дальней памятью нашего подвига, нашей доброты, Мирпуа, нашей мученической кончины! Поэтому мы должны быть безупречны в свой последний час. Иначе люди скоро позабудут нас, и мы действительно погибнем, и наше дело тоже погибнет. Это будет торжество зверя над человеком, торжество наших палачей и гонителей... О, я знаю, что требую от своих Совершенных почти невозможного! Я требую от них борьбы, но не даю им взять в руки мечей, зову их на смерть и отнимаю все надежды на спасение. Но на то и Совершенные, чтобы свершить то, на что обычный человек редко способен по человеческой натуре своей. Я люблю Совершенных, но простых страдающих и заблуждающихся людей я люблю еще больше.

Поэтому передай Верующим, когда настанет время, последние слова Наставника Совершенных. Скажешь, что это были воистину последние слова: клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не раскрывайте тайны! И пусть великий пример Совершенных укрепит их мужество... Возвращайся же на стены, рыцарь!

В ту же ночь крестоносцы втащили на скальный карниз тяжелую катапульту, захваченную ими в бою под Каркассонном.

Хмур и холоден был рассвет следующего дня. Казалось, что за ночь весна повернула вспять и в горы опять возвратилась зима. Колючий снег засыпал перевалы, а когда рассвело, из ущелий поднялся белый, пронизывающий до костей туман. Стража едва различала красноватые масляные пятна факелов на соседних зубчатых башнях.

Но незадолго до полудня солнце растопило облачную завесу и яростно обрушилось на снежные островки, которые туман покрыл льдистой ноздреватой коркой. Теперь этот снег таял заодно с туманом. В горах зашумели ручьи, мутные, глинистые потоки побежали с черных, влажно блестящих скал.

Люди все еще ежились от холода, но с наслаждением вдыхали сырой свежий ветер и щурились на яркое, в легкой дымке водяного пара солнце. Туман отступал, оседая в ущелья, и горные, шумящие водопадами дали раскрывались все шире и шире.

Но прежде чем с башен Монсегюра сделался видимым тот зловещий скальный выступ, на котором уже была установлена готовая к работе катапульта, осаждавшие увидели темные контуры пятиугольной крепости.

Катары[1] не сразу поняли, какую кару обрушило на них это веселое, проясняющееся к ведру небо. Огромные камни один за другим полетели на головы осажденных. С силой ударяясь о стены, выбивая осколки, искры и душную известковую пыль, обрушивая зубцы и проламывая крыши, они заставили немногочисленных Верующих в панике бежать под защиту каменных сводов. Но даже там было небезопасно Перекрытия и купола гудели и содрогались, как при землетрясении. Да, в укрытии было еще страшнее, потому что, казалось, стены и потолок вот-вот обрушатся и навеки похоронят под своими обломками.

В нескольких местах зашатались языки огня. То ли само загорелось от факелов, то ли крестоносцы вместе с камнями обрушили на Монсегюр горшки с горящей смолой.

Они бомбардировали крепость основательно и методично, но было не похоже, что готовился скорый штурм. Очевидно, хотели смести каменным градом саму волю к сопротивлению. Когда окончился наконец этот ужасный истребительный день, и ранние сумерки — погода вновь испортилась — заставили осаждавших прервать камнеметание, настала грозная тишина.

Сперва никто не расслышал ее, потому что в ушах еще дробились и лопались камни, потом же никто ей не поверил, ибо людям показалось, что их поразила глухота.

Страшное зрелище являл собой заваленный каменными ядрами Монсегюр. Стены его обломанными зубцами напоминали пришедшие в негодность гребни. Слепые, развороченные, забрызганные кровью бойницы были похожи на глаза прокаженных.

Хотя убитых насчитали много меньше, чем полагали вначале, а ушибы и раны уцелевших оказались большей частью сравнительно легкими, стало ясно, что крепость не переживет новой атаки и, когда крестоносцы ринутся на штурм, некому будет ее защищать.

Епископ кликнул пажа и велел ему как можно скорее разыскать коменданта Арно-Роже рыцаря де Мирпуа.

Мальчик нашел его на конном дворе. Было слышно, как бьются в агонии лошади под провалившейся кровлей. Воины расчищали подступы к конюшням. Комендант возвышался посреди всего этого содома, щека его была исцарапана и выпачкана сажей, лоб перевязан какой-то грязной тряпкой, сквозь которую проступали ржавые расплывающиеся пятна. У одной из коновязей жарко пылало сено. Змейки жгучего пепла с дымом улетали во тьму.

— Вы хорошо знаете своих людей, Мирпуа? — спросил коменданта епископ, как только паж провел воина в башню.

— Хорошо? — не сразу понял воин. — Наверное, хорошо. Да, думаю, хорошо.

---

[1] Катары (альбигойцы) — религиозная секта на юге Франции в XII—XIII вв Последователи богомилов, пришедших из Болгарии и Чехии Под знаменем катаров объединились против католицизма сеньоры, городская буржуазия, ремесленники и крестьяне На подав ение альбигойской ереси выступили король, папа и феодалы отсталого севера Крестовый поход против катаров был начат в 1204 г

— Настолько хорошо, что могли бы поручиться за них, как за самого себя?

— Нет. — Он помотал головой, все еще тяжело дыша. Грудь его ходила, как кузнечные мехи. — Только немногих я знаю так уверенно.

— Найдется среди этих немногих хотя бы пять человек?

— Найдется, — подумав, ответил комендант. — Столько найдется.

— Пришлите их ко мне, не мешкая. А ты, дитя мое, — обратился он к пажу, — ступай, приведи членов Высокой коллегии... Всех семерых, если, конечно, никто из них не погиб в этот страшный день... Твоим людям предстоит умереть, Мирпуа, — поднял он глаза на коменданта.

— Как и всем нам, — вздохнул тот.

— Этим в особенности, — многозначительно нахмурился епископ, выпроваживая пажа. — Так и передай им.

— Что передать? Приказ умереть?

— Да, приказ умереть, Мирпуа... Сейчас здесь будет вся Высокая коллегия. Совершенные соберут наши тайные свитки и завет, который своей рукой начертал сам Мани[1]. Все это они опустят в ковчег, да сохранят его недремлющие грифоны наши святыни!..

— В священный ковчег, в котором хранится... — Комендант запнулся, не находя в себе сил или просто не смея произнести.

— Да. Все, чем мы дорожим в этой жизни, будет спрятано в нашем священном ковчеге. Совершенные отнесут его в известное им место, где он пребудет в безопасности до лучших дней, когда бы они — ты понимаешь меня, рыцарь? — ни наступили. Такая вылазка связана с опасностью, и твои люди будут охранять Совершенных. Они останутся на своем посту до конца, до самого конца... Когда подойдут враги, они вступят с ними в схватку, в которой и погибнут. Все... Ты хорошо понял меня, рыцарь?

Комендант молча поклонился.

— Тогда ступай и пришли мне таких людей.

— Позвольте и мне, Наставник, быть в числе тех...

— Ступай, ступай... У тебя иная задача. Поспеши, разве ты не слышишь шаги на лестнице? Это уже поднимаются Совершенные. Иди же, рыцарь!

...В ту же ночь семеро Посвященных коллегии в сопровождении пяти воинов вынесли ковчег через подземный ход за пределы крепостной стены. Это была последняя ночь Монсегюра, льдистая и удивительно ясная ночь. Пройдя священную рощу, задержавшись на миг, чтобы молча постоять у каменного жертвенника, они начали осторожно спускаться во тьме вдоль пологого, защищенного от ветров склона, мимо рядов голых еще, узловатых от времени лоз. Там, в самом низу виноградника, находился потаенный грот, откуда уходил в скалу бесконечный и запутанный каменный коридор.

[1] Мани — легендарный пророк катаров

...С рассветом бомбардировка возобновилась. На этот раз катары попрятались в убежище с первыми же пущенными в крепость ядрами и оставались там до полудня, когда головорезы у катапульты, устав наконец, решили дать себе небольшой отдых. Это-то короткое время и надумал использовать комендант де Мирпуа для последней отчаянной вылазки.

И пока крестоносцы, разложив на голой земле среди редких и ранних альпийских цветов скатерть, подкреплялись мясом и вином, двадцать шесть вооруженных короткими мечами катаров незаметно выскользнули из люка под восточной стеной и пошли в обход, чтобы спуститься на занятый врагом карниз и захватить катапульту.

...В этот час недолгого затишья перед грозой в башню Наставника провели запыленного, бледного от потери крови гонца с туго перетянутым над страшной копьевой раной предплечьем. Это был один из тех пяти, которые составили прошлой ночью конвой коллегии Совершенных. У самого грота тайный отряд катаров наткнулся на ночной патруль из конных, закованных в железо тяжелых рыцарей. Воины вступили в схватку, прикрывая Совершенным отход, но тяжелый ковчег не давал далеко уйти.

Когда из пяти воинов в живых осталось только двое — сам гонец и пятнадцатилетний мальчик по имени Риччо, — трое Совершенных подняли оружие павших и яростно атаковали конный отряд. Ободренный неожиданной подмогой, Риччо бросился под ноги лошадей, норовя перерезать им сухожилия, но пал с проломленной протазаном головой. Пока трое Совершенных и раненный в руку гонец сдерживали натиск крестоносцев, остальные члены Высокой коллегии раскрыли ковчег и, разобрав спрятанные там сокровища, стали карабкаться на скалы.

Когда они оказались вне досягаемости закованных в доспехи конников, Совершенные, оттеснив рыцарей от гонца, швырнули мечи наземь и бросились на копья. Исполняя их последний приказ, гонец поспешил скрыться, чтобы предстать перед очами Наставника.

— Четверо Совершенных унесли наши святыни на себе и скрылись в скалах... — торопясь, прокричал он и вдруг захрипел, подавшись вперед. — А мы... мы выполнили твою волю, Наставник: все умерли, и вот теперь я тоже умираю. — Глаза его широко раскрылись, готовые вот-вот выскочить из орбит, и он вдруг обрушился на каменный пол, как подрубленное дерево, и удивительно алая кровь, пузырясь, хлынула из его горла.

А потом к епископу допустили лазутчика. Он поведал Наставнику, что высланный на захват катапульты отряд был внезапно атакован у седловины, по ту сторону пика. Одиннадцать человек пали в бою, остальные были взяты в плен.

— Им обещали жизнь, — рассказывал лазутчик, — если они отрекутся от ереси и признают святые таинства, троицу и папу — наместника святого Петра. Я сам все слышал, ибо стоял под дубом, в толпе солдат де Монфора, одетый, как и они, с крестом паладина. Тех, которые отказались, тут же повесили, остальные же, став на

колени, заявили о своем отречении. Тогда какой-то офицер распорядился привести собаку и стал поочередно совать всем нашим в руки нож, чтоб испытать, насколько тверды они в своем отречении. Но ни один из них не взял греха на душу и не напитал землю кровью невинной твари. Тогда их всех повесили на ветках дубов... — Лазутчик, давясь рыданиями, поклонился и хотел было незаметно уйти, но глухой удар и задрожавшие вслед за тем стены возвестили о возобновлении обстрела.

— Они готовятся к штурму! — крикнул вбежавший в епископскую келью комендант. — Как только их передовой отряд покажется на опушке, они остановят катапульту и полезут на стены.

— Мы примем этот бой, Мирпуа, мы примем его... Но, пока они не перестали забрасывать нас камнями, вели отрядить небольшую охрану для Рено, которого вместе с двумя Совершенными я посылаю в скалы. Может быть, им удастся незаметно выйти...

— Но у нас и без того остается не больше шестидесяти солдат!

— Я знаю, Мирпуа, знаю... Этого вполне достаточно для последнего боя, вполне достаточно. Торопись же...

Большое ядро, сломав мраморную решетку, влетело в келью и, свалив на пути стоявшего в дверях лазутчика, застряло в стене, рядом с висящей у дверей мандолиной.

— Вот видишь? — тихо сказал епископ, откашлявшись от каменного дыма. — Торопись же... ибо превыше всех нас, вместе взятых, священная чаша[1]. Пусть они скорее разыщут в скалах наших людей! Чаша и свитки не должны погибнуть, а тем паче попасть в руки папистов. Иначе вся жизнь была напрасной... Вся жизнь. И вот еще что... — Старый епископ поднял руку и указал куда-то за очаг... — Там спуск в подземелье, четвертая плита от очага. Подыми ее, ибо у меня не хватит на это сил, и позови сюда Марка... Но сперва подыми.

Это были последние слова, которые слышал де Мирпуа от Наставника Совершенных. Отвалив тяжелую каменную плиту, он сбежал вниз, в общую залу, и, кликнув пажа, велел ему подняться к епископу. Минуту спустя он уже прыгал по заваленному битым камнем и щебнем двору, содрогающемуся под ударами ядер. Штурм мог начаться с минуты на минуту, но ни одного лучника не было на стенах, и под котлами с оловом еще не горел огонь.

— Подойди ко мне, мое дитя, — ласково улыбнулся епископ, увидя в дверях своего пажа. — Найди мою шкатулку и спрячь ее хорошенько, а после полезай туда. — Он указал на черный провал в полу. Отсидись там, пока не станет тихо, а потом уходи в горы. Может, встретишь кого из наших или сумеешь пробраться в Юссон... Одним словом, сбереги шкатулку и хранящийся в ней кинжал... Кто знает, не будь его, все могло бы сложиться иначе... Жизни стран и народов, дитя мое, порой зависят от пустяков.

[1] На «ок» — провансальском языке — чаша называется «грааль»

Много превратностей пережил мир из-за этого кинжала, который достался мне от... Все равно, мой мальчик, ты не знаешь этого человека. И дело не в нем. И даже не в самом кинжале, коснуться которого не позволяет мне обет совершенства. Просто помни, Марк, что радикальной переменой ничего нельзя улучшить. Можно только ухудшить... Это мой завет тебе — все, что я могу подарить на прощание... Ну, ну, ступай... — Епископ д'Ан Марти поцеловал мальчика в лоб и подтолкнул его к дверям. — Разыщи шкатулку в моей библиотеке и без промедления возвращайся сюда.

...Больше они никогда не увидели друг друга. Только рыцарю де Мирпуа в тот момент, когда палач ломал ему кости, довелось увидеть епископа в последний раз.

Он стоял у столба со связанными за спиной руками, обложенный поленьями и хворостом, а белые волосы его тихо шевелились под ласковым весенним ветерком. Мелькнули суровые, измученные лица Совершенных, сквозь темный частокол копий блеснули шлемы и кресты построенных в каре христовых воинов. Потом все потонуло и исчезло в водовороте нечеловеческой боли...

Предание говорит, что, когда остыл страшный закат и длинные лиловые тени легли на подернутые белой пыльцой кучи угольев, слетели с неприступных вершин Монсегюра бесшумными птицами последние хранители тайны. Они были невесомы, эти четверо Совершенных, и невидимы для людского глаза. Едва касаясь ногами земли, проскользнули они через вражеский лагерь, не потревожив даже горький голубой пепел. Никто не видел, как спустились они с высот, и никто не слышал, как прошли они мимо, унося с собой тайные, неведомые святыни. Все было так, как обещал когда-то в своих проповедях великий Мани. Исполнилось предначертание. Мертвая материя и грубая живая плоть стали подвластны Совершенным, пространство покорилось им, и даже необоримое время избавило их от своего извечного гнета. Навсегда молодыми и бессмертными ушли четверо Совершенных в неведомые земли, и сокровенная сила их ушла с ними.

Один только Мирпуа узрел вдруг, как мелькнули в дрожащем над отгоревшим пепелищем воздухе четыре стеклистые тени, но тут загоняющий деревянные клинья палач растращил ему на ногах кости.

Глава 7

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ (в Москве)

Ибо сказано: понедельник — день тяжелый. В 9.15 Люсина вызвали к начальству. Он спустился двумя этажами ниже и длинным коридором, устланным красной ковровой дорожкой, прошел в приемную. Секретарша сразу же доложила о нем. Закончив телефонный разговор, генерал нажал кнопку звонка, и Люсин прошел в кабинет.

Пробиваясь сквозь колеблемую ветерком шелковую занавеску, солнечный свет падал на красивый, навощенный паркет размытыми квадратами. Крохотные зайчики бодро метались по кремовым стенам, ослепительно блестели в золотой раме портрета Ленина и на полированной доске стола заседаний. Зеленые огоньки весело горели на серых панелях селектора и сложных телефонных агрегатов.

Но Люсин знал, насколько непрочна эта безмятежная солнечная тишина. Сейчас генерал подымет голову от бумаг, отложит в сторону ручку и... Люсин уже хорошо изучил все предшествующие разносу признаки. Если входящий в этот необъятный кабинет заставал генерала с пером в руке, можно было готовиться к непогоде. Примета была верная. Словно солнышко в океане, садящееся на горизонте в тучу.

Если солнце село в тучу,
Жди к утру большую бучу

— Ну, как там у вас, товарищ Люсин? — Генерал сунул ручку с ракетным оперением в гнездо, отодвинул бумаги и снял очки. — Продвигается?

— Пока не очень, товарищ генерал, — честно сознался Люсин.

— Хоть что-нибудь есть?

— С полной уверенностью сказать нельзя, — дипломатично увильнул Люсин и едва заметно выдвинул ногу вперед, будто готовился встретить порыв ветра.

Но генерал сегодня проявлял редкостное терпение.

— Садитесь, — пригласил он, разглаживая розовые вмятины от очков на переносице.

Люсин молча наклонил голову, прошел через весь кабинет и сел сбоку от генерала, за крохотный столик для стенографистки.

— Когда сможете доложить? — Генерал подвинул к себе перекидной календарь.

— Понадобится еще трое суток, — сказал почти наобум Люсин.

— Ох, Люсин! Нет у нас этого времени, никак нет. Жизнь торопит. Вон, — генерал протянул ему папку со свежими газетными вырезками, — правая печать уже зашевелилась.

Люсин раскрыл папку и бегло проглядел заголовки: «Загадочное исчезновение...», «Зловещее молчание компетентных органов», «Жив ли?..» и т. д.

— Еще не так страшно, — заметил Люсин.

— Ишь какой храбрец! А это видел? — Генерал вышел из-за стола и, быстро перелистав подколотые вырезки, нашел небольшую, в две колонки, статейку с жирным подзаголовком: «Туристическая поездка в Советский Союз становится рискованным предприятием». — И МИД, и «Интурист» уже обратили внимание.

— Желтая газетенка, совершенно не имеющая веса.

— Завтра подхватят и солидные органы. Нет, товарищ Люсин, там, где отсутствует информация, находит пищу дезинформация! Надо в кратчайший срок это дело прояснить. Понятно?

— Так точно, товарищ генерал.

— Трое суток дать не могу. Нам нужно хоть что-то ответить, и не позже, чем через... — он помедлил, — сорок восемь часов... Но перейдем к делу. Выясняются любопытные обстоятельства. Посольство любезно предоставило нам кое-какие материалы на этого деятеля. — Он подвинул к Люсину еще одну папку. — По национальности он русский, сын белоэмигранта. Настоящая фамилия Свиньин... Да, вот такую нам свинью подложили... Андре Савиньи, Андрей Всеволодович Свиньин, год рождения 1923-й, родился уже там, в 1944 году получил семь лет каторги за коллаборацию с нацистами, в 1948 году досрочно освобожден. Вот какой фрукт этот пропавший. Они и отпечатки пальцев прислали.

— Очень хорошо! — обрадовался Люсин. — У нас они тоже есть. Не понимаю только, почему такой шум подняли из-за этого подонка?

— Вот как? — Генерал не любил говорить о вещах, которые казались ему сами собой разумеющимися. — Во-первых, это правая печать, а во-вторых, в газетах могут еще и не знать всей подноготной, — пробурчал он. — Так-то, инспектор.

— Зато теперь узнают.

— Все это не снимает наших с вами проблем. — Генерал надел очки, и Люсин понял, что аудиенция закончена. — Я передаю в ваше распоряжение Светловидова, Шуляка и Данелию. В среду в шестнадцать часов доложите, как идут дела. — Генерал сделал на календаре пометку. — Идите.

— Слушаюсь, товарищ генерал! — Люсин встал и, взяв досье Андрея Всеволодовича Свиньина, пошел к двери.

Вернувшись к себе в кабинет, он нашел на столе заключение эксперта по поводу найденной у иностранца иконы.

«Икона «Троица» воспроизводит мотив знаменитой рублевской «Троицы». Ярко выпячена тенденция доказать равенство трех лиц святой «Троицы» для назидания инакомыслящим. В ряде деталей икона существенно отличается от рублевской. Художник несомненно был знаком с произведениями сиенских живописцев. Этим он как бы дополняет своего предшественника, исходившего главным образом из византийских источников палеологовской эпохи.

Композиционным центром рублевской иконы являлась чаша с головой жертвенного тельца. Поскольку телец есть ветхозаветный прообраз новозаветного агнца, постольку чаша рассматривалась как символ евхаристии. Руки среднего и левого ангелов благословляют чашу, что дает ключ к раскрытию сложной символики композиции.

В данном же произведении перед каждым ангелом стоит по обычной чаше. Это подчеркивает усиление тенденции к полному равноправию всех лиц «Троицы».

Известно, что замечательное произведение Рублева вызвало бесчисленные подражания. «Троица» была любимейшей иконой древнерусских художников. Но ни один из них не сумел достичь высот рублевского искусства. Даже сам Рублев, создавший свою икону в

момент величайшего взлета, не смог потом написать ее безупречно точных копий.

Данное же произведение, несомненно более позднее, выгодно отличается от многих старых копий. Неизвестный московский живописец достиг в цветовом строе иконы трехкратного, истинно рублевского звучания голубца.

Икону можно приблизительно датировать 1450—1500 гг. Она безусловно является выдающимся памятником древнерусской живописи Московской школы.

Доска липовая, шпонки врезные, встречные, дубовые, более поздние. Левкас. Яичная темпера, 22,5х14».

Люсин несколько раз прочел заключение, поругивая про себя эксперта за ненужное многословие, потом записал в блокнот резюме: «Подлинник. 1450—1500 гг. Московская школа. Автор неизвестен. Выдающийся памятник».

Экспертиза резко меняла дело. Виктор Михайлов представал теперь в несколько ином свете.

«Поистине день неприятных сюрпризов. Иностранец оказывается белоэмигрантом и немецким прихвостнем; икона девятнадцатого века стареет на четыреста лет и превращается в «выдающийся памятник». А как же иконщик? Знал он или не знал? Если не знал, то пентюх он, а не иконщик! Еще художником-реставратором называется! Но ведь и сам эксперт, когда ему позвонили, сказал, что не верит в пятнадцатый век, который находится в сигарных ящиках. Что получилось? Сам же и пишет теперь: «выдающийся», «поистине рублевское звучание» или как там у него?.. И это профессор, знаток! Не какой-то там спекулянт-реставратор. Выходит, что Михайлов мог и не знать... Но не верить — одно, а не ведать — другое. Профессор не поверил, но, увидев, убедился; этот же держал у себя дома сокровище, пребывая в полном неведении. Сомнительно что-то. У него же, наверное, и люди бывают, не исключено, что и знатоки. Раз он этим делом промышляет, должен же... Но в картотеке он не числится. Ни разу в спекуляции не попадался. Очень ловок? Но мог ли такой ловкач не распознать подлинную икону, чистейшую, можно сказать, свою выгоду? Опять же сомнительно. Нельзя, конечно, со счетов сбрасывать и другую возможность. Работяга-реставратор иконами, как правило, не торгует, ну, если случай сам в руки идет, одну-другую продаст, а так — чист. Этим, кроме ловкости, можно объяснить то обстоятельство, что данный гражданин не известен коллегам из ОБХСС. Но чем объяснить промашку с иконой? Разве что и на старуху бывает проруха? Но ежели он знал, то, конечно, врет, что продал ее за пятьсот рублей. Сам сказал, что подлинник стоит на два нолика дороже. Сумма солидная. Да и кто поручится, что брал рублями, а не валютой? Тут, пожалуй, даже прокурор выдаст ордер без звука... Ларчик ведь, как правило, отпирается просто. Одно преступление тянет за собой следующее. Получил крупную деньгу, захотел получить еще больше... Стоп! Стоп! Что же выходит? Завлек иностранца, ограбил его и убил? Больно уж просто... И вел он себя совсем

не так, и в гостиницу нечего было ему потом приходить. Впрочем, это я думаю, что нечего. Он-то ведь мог и не знать, что никаких концов у нас нет. Кто-то видел его из знакомых, кто-то мог о сделке узнать, вот он и явился в отель свою непричастность продемонстрировать. Наверное, и алиби надежное себе заготовил... Вот это мы и выясним!.. В самом деле, зачем приехал этот Свиньин — ну и фамилия, прав генерал! — в СССР? И как он мог исчезнуть? Шпионаж? Маловероятно. Во-первых, этот вариант проверяют специалисты, во-вторых, не стали бы там своего человека дезавуировать, отпечатки пальцев присылать. А вдруг отпечатки липовые? Ну это мы тут же проверим. А как, спрашивается? Сравним с отпечатками на стакане? Но они тоже могут оказаться липой, заранее заготовленной, привезенной издалека липой. Все эти соображения нужно будет доложить начальству. Пусть соображает, ему сверху виднее. Но это — опять прав генерал — не снимает с нас наших задач.

Посему же, оставляя шпионаж в стороне, приходим к довольно правдоподобному выводу. Этот тип приехал к нам из сентиментальных побуждений, поглядеть на страну, из которой сбежал когда-то его папаша. Кроме того или, вернее, прежде всего, он решил сделать на этом бизнес. Скупает по антикварным магазинам картины и статуэтки, по частным коллекциям — иконы, чтобы выгодно все это перепродать по возвращении. На русских иконах они там, говорят, все помешались... В Мурманске мариманы больше насчет мехов проворили... Но они люди простые, в искусстве не искушенные. А тут глаз нужен, образование. Он вот и в магазине картинки выглядел, и ту икону распознать сумел. Ведь и пятьсот за нее не всякий даст. Тут понимать нужно. Какое, кстати, у него образование? Ух ты! Магистр Сорбонны, если, конечно, не врет досье... Историк-искусствовед, так и есть! И откуда они взялись на мою голову, эти искусствоведы?.. Историк-искусствовед! Нет, такой вряд ли станет делать обычный бизнес на иконах. Иконы для него так, пустяки, побочный заработок. Вся суть, конечно, в стихотворении. Он же из эмигрантов, в их-то среде он и откопал это стихотворение. Явно охотится за чем-то крупным! За чем-то таким, перед которым и пятьдесят тысяч — мелочь. Получается, что ларчик открывается не просто, и простота тут хуже воровства. Но это опять лишь одна сторона. Есть и другая. Художник-реставратор Виктор Михайлов. Он-то ведь мог, не мудрствуя лукаво, ограбить иностранца? Вот и накрылась вся сложная игра мосье Свиньина! Опять же могли они и в соглашение войти. Иностранцу понадобился помощник, вот он и доверился спекулянту. В его-то положении это вполне возможно. Тот же не захотел делиться и... Нет, опять все слишком просто получается! А нет в этом деле такой простоты, никак нет... Куда более возможно, что иностранец пропал сознательно, по собственной воле, но не для шпионажа, а для реализации своей шифрованной инструкции. Впрочем, тут уже граница между бизнесом и шпионажем становится довольно зыбкой... И ведь даже в этом случае он мог привлечь Михайлова в помощники!.. А так ли? Сразу взял да и раскрылся?

Не побоялся? В таком-то деле! А почему обязательно сразу? Сколько таких вот «туристов» приезжали сюда! Свиньин свободно мог ехать на верное, подготовленное дело, по самым надежным адресам.

Случайное знакомство в комиссионке? А что если это заранее спланированная встреча? Если этот Михайлов уже многим иностранцам продавал иконы, то они вполне могли рекомендовать его Свиньину в качестве человека услужливого и надежного... Вариантов много, конечно, но как там ни крути, а Михайлова надо прощупать. Все пока на нем сходится».

Вошли ребята из соседнего отдела. Доложили по всей форме, что направлены в его, Люсина, полное распоряжение.

— А что это у вас физиономии такие кислые? — спросил Люсин.

— Так ведь своих дел позарез! — развел руками высокий белый, как альбинос, Шуляк.

«Ему бы фамилию Светловидов носить», — подумал Люсин.

— Начальству виднее, — одернул Шуляка коренастый, чуть сутуловатый Данелия.

Из всех троих Люсин знал его лучше всех. Данелия часто выходил победителем в соревнованиях по самбо.

— Я тут, ребята, не виноват, — объяснил Люсин. — Георгий все правильно понял: приказ сверху.

— Чего тут объяснять? — прервал его Данелия. — Командуй!

— В полном вашем распоряжении! — подтвердил Шуляк.

Они, а вслед за ними и молчаливый Светловидов взяли стулья и расселись вокруг Люсина. Одного стула, правда, не хватило, и Люсин уступил Светловидову свой, а сам пристроился на краешке стола.

— Вас с обстановкой познакомили? — спросил Люсин.

— В самых общих чертах, — сказал Шуляк.

— Мы со Светловидовым в курсе, — кивнул Данелия. — Курков нас вызывал, а его, — он улыбнулся Шуляку, — не было в тот момент в отделе.

— Ну и прекрасно! Вы его и проинформируете потом или я, когда время будет. Сейчас, простите, каждая минута дорога, — извинился Люсин. — Ты, Георгий, поезжай на Старокалужскую дорогу. Обойди все парикмахерские между двадцать пятым и тридцать восьмым километрами. Может опознают... Тут новые варианты появились. — Он вручил ему пакет фотографий, на которых лик мосье Свиньина был представлен в различных ипостасях: от гладко выбритого до усов бородой.

— Будет сделано! — Данелия веером выбросил фотографии на стол. — Какая?

Люсин ткнул пальцем в вариант «только усы».

— Но есть подозрение, что вот эта. — И он показал бритого Свиньина всем присутствующим. — Вы тоже возьмите полный набор, — улыбнулся он, выдавая Светловидову другой пакет. — Вас я попрошу обойти все антикварные магазины. Вы же, товарищ Шуляк, пойдете со мной. По дороге я введу вас в курс дела. Вопросы есть?

— Нет, все ясно! — сказал Данелия. — Можно выполнять?

Люсин попрощался с товарищами и проводил их до дверей. Шуляк ушел вместе со всеми: ему нужно было кое-что собрать у себя на столе.

Зазвонил городской телефон.

— Люсин слушает!

— Товарищ Люсин, с вами говорит дежурный по городу. Здравствуйте.

— Здравствуйте, товарищ дежурный. Есть новости?

— У меня тут в журнале записано, что вы просили докладывать вам о странных происшествиях. Так?

— Так, так! Что-нибудь есть?

— Не знаю, как вы на это посмотрите, но, на мой взгляд, дело самое что ни на есть странное.

— Так, так! Слушаю...

— В цирке питона украли, товарищ Люсин! Понимаете?

— Да. Ну и что?

— Как — ну и что? — обиделся дежурный. — Очень странное происшествие. Непонятно, кому этот питон мог понадобиться?..

— А он не сам, часом, уполз? — осторожно спросил Люсин.

— В том-то и дело, что нет! Клетка взломана. Сейчас оперативная группа выезжает. Вы не заинтересуетесь?

«Только змей искать мне еще не хватало...»

— Спасибо, что сообщили, товарищ дежурный. Но это не то, что нас интересует. У нас по части икон, искусства, вообще древней истории. Понимаете?

— Ну, как знаете!.. В случае чего будем держать в курсе.

— Большое вам спасибо. — Люсин положил трубку и рассмеялся.

— Чего это вы? — удивленно спросил вернувшийся Шуляк. На руке у него был плащ.

— Питона в цирке украли, — все еще смеясь, объяснил Люсин. — Представляете? Это ж надо уметь!

— Действительно... — покачал головой Шуляк. — Какие будут распоряжения?

— Мы сейчас с вами поедем в гости к одному художнику. — Люсин набрал по внутреннему номер гаража. — На Малую Бронную. Дело в том... Гараж? Минуточку, — он кивнул Шуляку, — Люсин говорит. Машину, пожалуйста. Сейчас... Пошли. По дороге все объясню. — Он быстро убрал все со стола. Запер ящик. Спрятал документы в сейф.

— Кто там? — робко спросил чей-то тоненький голосок, когда они позвонили в квартиру №6.

— Отворите, пожалуйста. Мы к Виктору Михайловичу, — ответил Люсин.

— А его нет дома.

— Вот как? Когда же его можно будет застать?

— А кто его спрашивает?

— Да отворите же! — возмутился Шуляк. — Мы по важному делу. Нельзя же разговаривать через дверь!

— Ничего не знаю, — отозвались по ту сторону, — Виктора Михайловича нет дома.

— Когда он будет? — опять спросил Люсин.

— Не скоро, не скоро. Он уехал.

— Уехал? — озадаченно переспросил Люсин, а Шуляк состроил ему назидательную мину: «Вот тебе!»

За дверью послышались удаляющиеся шаги. Очевидно, невидимый собеседник счел свою миссию законченной.

Люсин решительно позвонил еще раз. Долго ничего не было слышно. Он выждал и вновь нажал кнопку.

— Вы перестанете хулиганить? Или, может быть, милицию вызвать? — возмущенно спросили по ту сторону обитой черным обшарпанным дерматином двери.

— Откройте, пожалуйста, — попросил Люсин. — Мы и есть милиция.

— Ах, милиция! Так я вам и поверил! А ну убирайтесь немедленно, пока вас не спустили с лестницы!

— Сказано вам — милиция! — стараясь не переполошить всю площадку, тихо и грозно сказал Шуляк. — Немедленно откройте!

— Всю жизнь мечтал! — издевательски отозвались из-за двери. — Почему же вы тогда не приведете дворника, если вы милиция? Почему соврали, что пришли по делу? Вот я сейчас покажу вам милицию!

«Милиция обычно приходит именно по делу», — усмехнулся Люсин и мигнул Шуляку. Тот понимающе кивнул и пошел к лестнице.

— Сейчас приведут дворника, — пообещал Люсин.

— Да? — удивились за дверью. — Ну-ну, посмотрим.

Получалось, что Люсин свалял дурака.

«Вот оно, гусарство... Конечно, мы его найдем! Но ведь время, время! И главное, как теперь объяснишь? Эх, если б знать наперед, как все сложится! А теперь он и дома следы замел, и сам неизвестно куда скрылся. Положеньице».

— Вы еще здесь? — тихо осведомились за дверью.

— Здесь, здесь! — успокоил Люсин. — Сейчас дворника приведут.

— А вы правда... из милиции?

— Правда. Это вы с нами изволите шутки шутить.

— Но я же не знал! Я же не мог знать, так ведь? И вообще я человек совершенно посторонний. Вы же к нему, а не ко мне?

— А кто вы?

— Сосед. Всего лишь сосед, больной человек.

Внизу гулко хлопнула дверь. Люсин узнал низкий голос Шуляка. Он что-то втолковывал человеку, который то и дело кашлял и чертыхался.

— Ну вот и дворник! — проинформировал Люсин невидимого собеседника.

Тот ответил на сообщение тем, что отодвинул какой-то засов. Дальше, однако, разоружаться не стал. Выжидал.

— Это дворник? — спросил Люсин, когда Шуляк в сопровождении кашляющего человека появился на площадке.

— Дворник. Прокоп Васильевич, — кивнул Шуляк.

— Хе-хх! — задохнулся в кашле Прокоп Васильевич. — Дворник! Дворник, будь оно неладно! Хех-хга-кх! Ой! — Он покачал головой и тыльной стороной ладони отер выступившие слезы. — Прохватило меня вчерась, товарищи! Во!

— Это ты, Прокоп? — осведомились с той стороны.

— Я, Лев Минеевич, я! Прохватило меня, слышь? Открывай, не опасайся! Гха-кх-ка-ка!

Лев Минеевич, очевидно, Прокопа признал, потому что ответом на кашель был лязг открываемых замков. Однако, оставив все же дверь на цепочке, он осторожно приоткрыл ее, чтобы удостовериться, так сказать, лично. Своими очами.

— Добро пожаловать! — приветливо высунулся в щель сухонький старичок.

— Здравствуйте, здравствуйте, — кивнул ему Шуляк.

— Проходите, пожалуйста, милости просим, — Лев Минеевич сбросил цепочку и широко распахнул дверь.

— Спасибо вам, Прокоп Васильевич, — входя в квартиру, обернулся Люсин к шедшему сзади дворнику.

— Так что могу быть свободным? — затоптался тот на месте, мешая пройти Шуляку.

— Иди отдыхай, отец. — Шуляк похлопал дворника по спине и вошел следом за Люсиным.

Дворник сейчас же закашлялся и сказал, что он простыл.

— Холодное пиво? — понимающе усмехнулся Люсин.

— Кх, какое там пиво? — Дворник вытянул руки и раскрыл ладони, словно показывал, что у него ничего там нет. — Какое пиво? Не пью, язва потому как. Вчерась на дачном участке сено косил. По росе, босиком. И все! И простыл. Дела?

— Дела! — согласился Люсин и помахал на прощание рукой.

— Спасибо тебе, Прокоп, — кивнул ему Лев Минеевич. — Иди теперь отдыхай.

И запер дверь.

«Занятно», — подумал Люсин.

— Значит, вы сосед Михайлова, Лев Минеевич? — спросил он, осматривая прихожую.

Ржавая лампочка под непривычно высоким потолком бросала тусклые блики на помятые днища тазов, заваленный бумагами шкаф и подвешенный возле самой двери старый велосипед.

— Лев Минеевич, с вашего позволения... Да, я сосед! — Старичок гордо вскинул голову. — Угодно пройти? — Жестом уличного регулировщика он указал на свою дверь.

— Простите, Лев Минеевич! — Люсин протянул ему свое удостоверение. — Мы, Лев Минеевич, действительно из милиции.

— Нет! — Старик картинно выбросил вперед руки, словно ему предлагали не удостоверение, а незаслуженные миллионы. — Не надо. Я вам и так верю.

— Гм... — хмыкнул Шуляк.

— Верите, так верите, — согласился Люсин. — Очень хорошо.

Лев Минеевич забежал вперед и с поклоном отворил дверь.

— Э, да у вас тут целый музей! — заметил Шуляк, и было непонятно, то ли он восхищается, то ли, напротив, самым решительным образом осуждает.

«Действительно, самый настоящий музей, — подумал Люсин, оглядев увешанные картинами стены. — Везет мне на этих искусствоведов-коллекционеров, как утопленнику».

Он с удивлением поймал себя на том, что проникся к старичку недоверием и неприязнью.

«За что? Из-за картин, что ли? С каких это пор я так реагирую на искусство? А с тех самых, Люсин, как пришлось тебе взять это непонятное дело...»

— Завидное у вас собрание, — одобрил Люсин.

— Ну что вы! — Старичок был заметно польщен, но гордость за свои сокровища боролась в нем с недоверием. — Все русские-с художники. Начало двадцатого века. — Это был определенно голос гордости, но если учесть очевидную, конечно, некомпетентность слушателей, то можно сказать, что в нем звучала опаска. — Всю жизнь собирал...

— Прекрасное дело сделали, Лев Минеевич. Хорошее дело. Но мы к вам, извините, совершенно за другим. Где находится сейчас сосед ваш Михайлов?

— В отъезде он со вчерашнего дня, — с готовностью ответил Лев Минеевич. — Отбыл в Питер, то есть в город Ленинград.

— Надолго?

— Сказывал, на несколько дней.

— А по какому делу, случайно, не знаете?

— Так он, Витюсенька, Виктор Михайлович то есть, к своей барышне поехал, — заулыбался старик. — Дело молодое, понятное. Она у него постоянно в разъездах, а он что? Свободный художник, сел и поехал! Он частенько к ней ездит. То в Ереван, то в Баку, а в Питер уж который раз!

— А как девушку зовут, не знаете?

— Нет. — Старик сокрушенно покачал головой. — Запамятовал. Их у него, извините, много перебывало. Всех не упомнишь. Дело-то его молодое...

— Жаль. Очень жаль, что запамятовали. А он что, просто так взял и уехал, ни с того ни с сего?

— Да к барышне же, говорю, уехал! Не впервой, чай.

— Это он сам вам сказал?

— Он скажет, дождешься! Слышал я. — Старичок нетерпеливо хлопнул себя по колену. — Была она у него тут на неделе. Они в кухне кофеек себе варили, а я по соседству был и все слышал.

— Что же вы слышали?

— А то, что уговаривались они в Ленинграде встретиться. Вот что. Она, вишь, раньше должна была уехать, а он обещался в воскресенье вечерним рейсом прилететь. Впоследствии перед самым отъездом я у него и спросил: куда, мол?

— А он?

— «Не твое дело, — говорит. — Вернусь через несколько дней. Газеты да письма складывай в кухне». Вот и весь разговор. «Так, спрашиваю, и знакомым вашим отвечать?» — «Так и отвечай», — говорит.

— Девушка-то его, как выглядит? Не разглядели?

— Почему же не разглядел? Разглядел! Сколько раз дверь им отворял. Ведь он то ключ дома забудет, то просто отпереть поленится. Так что я разглядел, разглядел... Очень, можно сказать, красивая барышня. Белокурая такая, тонкая вся. Но из этих, нынешних. Юбка до пупа, извините, и курит, как мужик.

— Вот видите, Лев Минеевич, все вы разглядели, все знаете, а самого главного — имени девушки не запомнили, — покачал головой Люсин, стараясь заглушить в себе преждевременную догадку, потому что она наверняка могла оказаться ошибочной.

— Не запомнил, — развел руками Лев Минеевич.

— А как вы думаете, что у нее за работа такая, что все время ездить приходится?

— Работа? Ну тут думать нечего. Это я доподлинно знаю. Гид она, в «Интуристе» работает, иностранцев в разные города возит.

«Так и есть — Женевьева! Она как раз теперь в Ленинграде. А как икона эта ее взволновала! Значит, субъект этот был прекрасно информирован обо всем. Играл с открытыми картишками, так сказать. А кто первый поднял тревогу? Опять же Женевьева! Сутки еще не прошли, как пропал человек, а она уже всех на ноги подняла. Да, плохо пришлось иностранцу, хоть гад он и шкура, силы были явно не равны. Что же им от него было надо? Деньги? Или нечто большее — очень большие деньги?.. И все же не верится! Не такое впечатление она производит... Ах уж эти сантименты! Впечатление! При чем тут впечатление? Совпадение! Вот чего нужно опасаться. Мало ли кто работает в «Интуристе»? Мало ли иностранных групп находится сейчас в великом городе Ленинграде? Вот на чем можно споткнуться, если действовать сгоряча, вот где легко очутиться в дураках! Очень уж это неосторожно — встретиться в Ленинграде! Им вообще, но всем канонам, противопоказано сейчас встречаться. Наоборот! Разойтись, затаиться, выждать, пока уляжется кутерьма... И все же они — если, конечно, это они — безмятежно гуляют в эту минуту по Невскому или, скажем, по Литейному, где продаются отличные краски. Бездумно и гибельно летят, как летучие рыбы на огни парохода. Почему? Считают, что разработанный ими план удался? Уверены поэтому в собственной безопасности? Ах, как это самонадеянно и неумно!.. Или просто надеются, что никому и в голову не придет предусмотреть этот чертовски глупый ход? А в

самом деле, что я знал бы сейчас о них, не будь этого старика? Как бы вообще я сопоставил его с ней? Соединил их имена. Соединил их поступки. Но старик-то существует на свете, и было бы наивно полагать, что я не войду с ним в контакт. Раз я вышел на иконщика, на квартиру его номер шесть, то и знакомство мое с милейшим Львом Минеевичем было раз и навсегда предопределено, жестко детерминировано. Думать иначе непростительно. Но знакомство знакомством, а разговор о Женевьеве мог бы и не завязаться. Собственно, почему? Глаза старика ее видели, уши слышали милый ее голосок. Куда все это денется, пока он, дай Бог ему здоровья, жив? Никуда! К тому же старик словоохотлив, благодушен и трусоват. И нечего надеяться, что из всей богатейшей информации, которой вольно или невольно располагает старик, так-таки ни крошки не перепадет нам грешным. А ведь порой и крошки достаточно. Выходит, гражданин Михайлов, что вы просто не имели права лететь сейчас в Ленинград. А вы, Женевьева? В чем же дело? Почему они так поступили? Наивны и неопытны? Настолько беспечны, что позволили себе необдуманные действия? Излишне самоуверенны? Чересчур хитры и поэтому переиграли? А может, невинны и непричастны, и все это роковое стечение обстоятельств разлетится, как дым? Не исключено, наконец, что они вовсе не знакомы друг с другом и все есть чистейшее совпадение, игра случая. Бывает ведь и такое...»

— Картинками любуетесь? — заискивающе улыбаясь, спросил Лев Минеевич. Но в глазах тревога стояла. Тревога и напряженность.

— А? — Люсин с трудом отвел от картины глаза: в минуты острой сосредоточенности взгляд его казался угрюмым и даже несколько злым. — Да-да, прелестные вещицы! — Он, собственно, их даже не успел разглядеть. Особенно эта, зелененькая, — показал на первую попавшуюся.

— Эта? — благоговейно прошептал Лев Минеевич, ласково погладив золоченый багет скромненького пейзажика из синих, зеленых и красных пятен. — Вы, я вижу, знаток! Это ранний Кандинский. Кандинский, так сказать, реалист. Ей цены нет!

Шуляк, который стоял лицом к окну, перестал барабанить пальцами по стеклу и обернулся.

— Это какой же? — с интересом спросил он. — Этой? — Он подошел к картине, нагнулся над ней, даже потрогал ногтем засохшую колбаску щедро выдавленной из туба краски. А что в ней такого особенного?

— Василий Кандинский — основатель абстракционизма! — блеснул эрудицией Люсин. — Тут одна подпись тысячи стоит. Правда?

— Совершенно справедливо, — подтвердил Лев Минеевич. — Пабло Пикассо недавно понадобился особой конструкции комод. Он набросал эскиз и вызвал к себе самого знаменитого парижского мебельщика. «Сможете сделать такой из розового дерева с инкрустациями?» — спросил Пикассо. «Очень даже свободно», —

ответил ему краснодеревщик. «А сколько это будет стоить?» — «Вам, маэстро, ни одной копеечки, сантима то есть, подпишите только эскиз». Вот что значит подпись... А недавно Пикассо, — Лев Минеевич оживился и обнаружил незаурядную осведомленность об интимных сторонах жизни великого художника, — пришел в знаменитый парижский ресторан Максима босиком и в белых индийских брюках, вроде наших кальсон, а все встали и устроили ему овацию.

— Занятно, — недоверчиво покачал головой Шуляк.

— Да-с! Святое искусство! — Старик назидательно поднял палец. — А скажите мне, молодые люди, если, конечно, не секрет, чего такого мог натворить мой сосед? Парень он, знаете ли, неплохой, только непутевый. Гуллив очень!

— Ничего он не натворил! — пренебрежительно махнул рукой Люсин. — Просто он срочно понадобился нам в качестве свидетеля. Но это как раз секрет! Так что никому... Ясно?

Лев Минеевич понимающе прикрыл глаза и прижал руку к сердцу.

— Ключ от его комнаты у вас? — спросил Шуляк.

— Мы друг другу ключей не оставляем.

— А Виктор Михайлович кому-нибудь свои ключи доверяет? — задал вопрос Люсин.

— Ни разу не видел, чтоб его апартаменты кто-то другой открывал.

— И хорошо. Если даже кто придет от имени Виктора Михайловича, так вы не впускайте, — посоветовал Люсин. — Скажите, чтоб дожидались возвращения хозяина.

— Что я, дурак?

Люсин вспомнил недавний диалог сквозь запертые двери и улыбнулся.

— Скажите, — Лев Минеевич деликатно потянул его за рукав, — есть тревожные симптомы?

— Вы о чем? — не понял Люсин.

— О нашей квартире! О чем же еще? Кто-то подбирается к Витюсиной коллекции? Или... — Не решаясь произнести роковые слова, чтобы не накликать невзначай беду, Лев Минеевич мотнул головой в сторону своих шедевров.

— Нет, знаете ли, дыма без огня. — Люсин едва сдержал улыбку. — Будьте осторожны, это никогда не мешает. Так ведь?

Старик закивал головой. Глаза его расширились, в них промелькнула покорная, обезьянья какая-то скорбь. Люсину стало его очень жалко.

— Вы не волнуйтесь, папаша, — сказал он. — Мы постараемся не дать вас в обиду.

— Имейте в виду! — Лев Минеевич сразу ожил и даже погрозил Люсину пальцем. — В сохранности моего собрания должно быть заинтересовано все государство... Я ведь одинок. — Голос его упал. — И, верно, недолго проживу. Все это... — вялым жестом

обвел он стены комнаты, — достанется им. — Он кивнул на окно, за которым была тихая летняя улица. — Наследников у меня нет.

— Вы бы заявили об этом официально, — посоветовал Шуляк. — Вам бы помощь оказали, жилплощадь улучшили.

— А мне ничего не надо, — горько усмехнулся старик. — Ни помощи, ни жилплощади. Все у меня есть, всем доволен. Человек смертен, но жить, знаете ли, нужно без этих мыслей, иначе все ненужным становится. Умру — пусть делают с этим что хотят. Но пока я жив — это мое. Иначе зачем все? Для чего? Чем-то же должен жить человек? Не хлебом же единым?

Шуляк снова безразлично забарабанил по стеклу.

— Одним словом, не беспокойтесь, Лев Минеевич, — поднимаясь с колченогого венского стула, сказал Люсин. — В случае чего тут же мне позвоните. — Он вырвал из блокнота листок и записал на нем номера своих телефонов. — Это прямой, а если меня не будет, позвоните по другому. Мне передадут.

— Спасибо! — с чувством сказал старик, бережно складывая бумажку.

— О нашем разговоре — молчок! — Люсин приложил палец к губам.

Лев Минеевич кивнул.

— И сообщите, как только вернется Михайлов, — сказал Шуляк.

— Нет уж, увольте! — обнаружил неожиданное несогласие Лев Минеевич. — В чужие дела не вмешиваюсь. Он вам нужен, вы его и караульте. Я на себя поручений сомнительных и даже неблаговидных принять не могу-с.

— Ладно. Не волнуйтесь, — успокоил его Люсин. — Все будет в порядке.

Попрощавшись с хозяином за ручку, они удалились.

— Зловредный старикашка. Себе на уме, — прокомментировал Шуляк, когда они вышли из подъезда.

— Не, — покачал головой Люсин, — не зловредный. Несчастный, скорее. Обломок старого мира.

— Это верно. Собственник. Куркуль!

— Я не про то... Попрошу вас, товарищ Шуляк, установить наблюдение, чтобы возвращение Михайлова не застало нас врасплох.

— А с этим как? — показал глазами вверх Шуляк. — Если он его захочет предупредить?

— Такое возможно, — согласился Люсин. — Это, конечно, надо предусмотреть. Но, пожалуйста, осторожно...

— Понятно, — кивнул Шуляк.

— Машину я пока у вас забираю. Отсюда я прямо в аэропорт. Вернусь завтра, часов в одиннадцать. Вы остаетесь за меня.

— Слушаюсь. Вы в Ленинград?

Люсин развел руками: «Что делать, мол? Надо! Приходится».

Шуляк понимающе улыбнулся, и они пошли к машине.

Шуляк сел на переднее сиденье и сразу же снял трубку. Все, как положено, доложил, отдал необходимые распоряжения, обо всем с кем надо договорился.

— Ну, ни пуха вам, ни пера! — пожелал он, вылезая на тротуар.

— К дьяволу! — благодарно кивнул Люсин. — В Шереметьево, пожалуйста, — сказал он шоферу.

Прежде чем сесть в самолет, Люсин проверил регистрационные списки за вчерашний день. Он обнаружил в них целых шесть Михайловых. Инициалы в билетах, к сожалению, не записывались. Вечерними рейсами в 20.55 и 22.05 улетели два Михайлова. Но это, увы, ровно ничего не говорило. Если бы этой распространенной фамилии не оказалось вовсе, можно было бы сделать два вывода: первый — Михайлов взял билет на чужое имя, второй — он вообще не улетал в Ленинград. Но примечательная фамилия была дважды упомянута в регистрационных ведомостях вечерних рейсов. Поэтому никаких выводов сделать было нельзя...

Глава 8

ФИЛИПП КРАСИВЫЙ

Сбылось страшное проклятие старого тамплиера[1]. Прошел только месяц со дня аутодафе на острове, и вот уже умер папа Климент, всеми покинутый и забытый, терзаемый на смертном одре видениями больной совести.

Верил ли король Франции Филипп Четвертый, прозванный за внешность, поистине ангельскую, Красивым, что его самого ожидает в скором времени внезапная смерть, которая последует в тот же роковой 1314 год от загадочной болезни?

Но и в последний свой день человеку присуще мнить себя бессмертным.

Король был доволен. Многолетняя борьба его с папским престолом приближалась к благополучному окончанию. Филипп IV готовился к последнему акту и точил кинжал для завершающего удара, которым рыцарь добивает поверженного соперника. На языке куртуазности это называется «ударом милосердия». Но король Франции, вероятно обмолвившись, сказал как-то: «Костер милосердия...»

Семь долгих лет продолжалась эта отчаянная борьба, начавшаяся еще в войну с графом Фландрским. Предмет спора был извечным: власть. Впрочем, и папа, и король, предпочитали говорить более определенно — деньги. С денег, собственно, все и началось. В январе 1296 года папа Бонифаций VIII издал знаменитую буллу, которой воспрещал духовенству платить подати светской власти.

---

[1] Тамплиеры (храмовники) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного около 1118 г В 1312 г орден, мешавший укреплению королевской власти, был упразднен

— Старый нечестивец! — простонал Филипп, ознакомившись с буллой великого понтифика. — Пропороть такую дыру в моей мошне! Он что, хочет сделать из французской казны коровье вымя и слюнявым ртом своим сосать золотое молочко?

Судорожно подергиваясь, Филипп вызвал к себе Петра Флотта — великого искусника по части изобретения новых податей, налогов и всяческих финансовых хитростей.

— Пиши ордонанс, мой Флотт. Под страхом смерти воспрещаю вывоз за границу оружия, лошадей, металлов как в звонкой монете, так и в слитках. Записал? Ну берегись же, святейший дуралей... Что еще можно к сему присовокупить, Флотт?

— Полагаю, сир, что полезно было бы ограничить трассирование иностранных векселей французскими деньгами. Это сразу же восстановит против его святейшества все италийские города. Купцы Флоренции, Генуи, Венецианской республики усмотрят в действиях римского престола посягательство на свободу торговли. Лица же, кои пользуются во Франции рентой с предоставленных в пользу церкви имений, станут вполне справедливо сетовать на пресечение своих доходов. А кто виноват? Король? Увы, Франция была вынуждена защищаться!

— Полагаешь, все так и поймут?

— Как же иначе, сир? Более того, чтобы еще острее направить недовольство по нужному адресу, не надобно вообще упоминать великого понтифика в ордонансе. И эту буллу его, продиктованную сердцем горячим, но поспешным...

— Ты учишь своего короля смирению, Флотт?

— Я учусь у него мудрости и... Ах, право, сир, папа наполовину испортил свою буллу хулой. Это от слабости. Силе присуще хладнокровие. Станем же наслаждаться чистотой удара.

— Это дает наслаждение?

— Отчего же нет, сир? Как всякая точная игра. Уверяю вас, папа в ослеплении гнева не предвидел нашей ответной меры. Мы же, напротив, способны с холодной кровью предугадать его следующий ход.

— И как выпадут кости, Флотт? — Лицо короля исказила улыбка. — Скажи мне.

— Никак, сир. Что еще может предпринять против нас Рим? Полагаю, что святейшая лиса подожмет хвост. Ну, появится новая булла, почти дословно повторяющая прежнюю... это только ослабит силу папских постановлений. Возможно, добавятся мелкие дипломатические интриги. Только и всего.

— А мы, Флотт?

— Будем гнуть свое. Твердо и неуклонно. Пусть врагам станет еще страшнее от нашего упорства, которое, я уверен, они назовут тупым. Что ж, тем лучше, сир.

— Как ты, человек высокоученый и тонкого ума, можешь ратовать за грубую силу? Разве это пристало тебе?

— Мне — нет, но вам, сир, безусловно пристало. А я всего лишь ваш советник. Не более.

— Выходит, я груб?

— Вы сильны, государь. Сила же может быть только грубой. Это пугает тех, кто считают себя хитрецами.

Филипп не мог не подивиться правоте своего финансового гения. Все так и случилось, как предвидел Флотт. Против Бонифация поднялась вся Италия, что и заставило великого понтифика сделать еще один шаг к пропасти. Папа подарил «граду и миру» новую буллу, в которой, подтверждая свои прежние повеления, обрушился на французского короля с нареканиями за постоянные распри с Эдуардом I Английским и германским императором Адольфом.

Филипп только рассмеялся в ответ. Он даже закашлялся от хохота. Его красивое лицо покраснело от натуги и пошло пятнами.

Петр Флотт, принесший в королевские покои копию папской буллы, отвернулся к витражному зарешеченному окну и позволил себе легкую улыбку, которую тут же замаскировал надушенным кружевным платком.

— Возьми, — сказал Филипп, снимая с себя толстую золотую цепь. — Ты оказался прав. Где бы нам раздобыть еще денег, Флотт?

— Ваша щедрость безмерна, сир. — Флотт подкинул цепь на ладони — она тянула изрядно — и спрятал подарок в кожаную суму, подвешенную к широкому поясу. — С деньгами худо. Деньги — это не папские козни. Франция выжата, как губка.

— Так придумай же, как снова швырнуть ее в воду... Отчего ты не надел мою цепь?

— Я не маркграф, сир. Зачем возбуждать излишнюю зависть?

— Хочешь, чтобы я сделал тебя бароном?

— Нет, сир.

— Могу ли я доверять человеку, лишенному честолюбия? Чего же ты хочешь, Флотт?

— Самого утонченного наслаждения на земле, сир... Тайной власти. И она доступна мне... Благодаря вам, сир. А цепь я продам, чтобы еще лучше служить своему королю.

— Ты хочешь вернуть мне обращенный в червонцы подарок?

— Да, сир, но особым способом. Деньги пойдут на оплату моих агентов в Италии, Фландрии, Лангедоке, Франш-Контэ.

— Пусть так... Займемся делами, Флотт. Что будем делать с нашим вонючим папой и где взять золото?

— Это две стороны одной и той же монеты, сир. Если мы завладеем римским престолом, то добудем и средства для дальнейшей борьбы с сутанами. А это долгая война, государь. Поверьте, что с папой будет куда легче справиться, чем с легионом его епископов. Вот кого надо подрезать под корень... Не теперь, разумеется.

— А деньги? Папа беден, как церковная крыса.

— Не совсем так, сир. Но мы искусно разоряем его.

— Так где же взять золото? У кого мы можем его отнять?

— Тамплиеры, сир. Нужно вспороть брюхо ордену, ибо оно начинено червонцами.

— Рыцари храма — это большая сила, Флотт. И пока мы воюем с папой...

— Истина, сир! — С неожиданной горячностью Петр Флотт устремился к королю. — Орден можно свалить только с помощью папы!

— Это немыслимо, — холодно отстранился король. — Ты рехнулся, мой бедный Флотт... Бонифаций никогда не пойдет на это... Да и мне уже поздно мириться с ним. Я же ненавижу его, Флотт!

— О сир! Разве я говорю о Бонифации Восьмом? Просто нам нужен новый папа, наш, послушный, который покорно отдаст нам золото храмовников.

— Но прежде нужно еще свернуть шею старому...

— Да, сир. Это и есть оборотная сторона монеты.

— А так ли уж богаты храмовники, как говорят?

— Они значительно богаче, чем думают самые яростные их завистники.

— Вот как? Я хочу знать об этом, Флотт. Я хочу знать!

— Извольте, сир... От доверенных лиц и шпионов, засланных в сердце ордена, я знаю почти достоверно, что богатства храмовников неисчислимы. И этого вполне достаточно для того, чтобы усмотреть в них угрозу французской короне. Независимость и гордый нрав этой духовно-рыцарской республики увеличивают такую угрозу вдвойне. Орден, государь, это невидимое государство, опутавшее всю Европу, черпающее силу крови и духа в Азии.

— Я уже подумывал о том, что храмовникам не мешает подрезать крылышки. Но теперь я вижу — этого мало... Ты прав, лучше вспороть золотое брюшко. Пусть над этим поразмыслит Гильом Ногарэ. Он великий мастер выискивать законные предлоги. — Заметив, что губы Флотта сжались, король довольно рассмеялся. — Не надо ревновать, Флотт. Это не подобает тому, кто стремится к тайной власти. Учись владеть собой, оставайся бесстрастным... Разве ты не учил тому же своего короля? Да, Флотт, я груб и люблю грубую силу, явную силу, мой верный слуга. И потому у меня два советника... Чтоб никто и подумать не осмелился, что направляет волю своего короля.

— Да, сир, — пролепетал советник, на висках и на лбу его выступил пот. Но Флотт не посмел отереть лицо, хотя и сжимал в руке влажный, ставший вдруг таким жарким платок.

— Значит, решено. Все, что у тебя есть о храмовниках, передать мессиру Ногарэ... Теперь рассказывай.

— Что угодно услышать вашему величеству?

— Что мне угодно? — Лицо короля вновь исказилось гримасой улыбки. Филипп был явно доволен смятением и страхом, которые выказал вдруг холодный и точный Флотт. — Ты что, боишься? Я же люблю тебя и верю тебе... Скажи-ка мне, Флотт, вот что... Допустим на минуту, что мы победили Бонифация и держим за глотку нового папу... Да, держим за глотку! С чего мы начнем борьбу с орденом? В чем можно обвинить храмовников? Это правда, что они предаются разнузданным, богомерзким оргиям?

— Именно так, государь. Обвинение, которое мы могли бы в будущем предъявить рыцарям Храма, буквально лежит на поверхности. С одной стороны, они ведут жизнь праздную, позорят себя неумеренными роскошествами, с другой — проявляют удивительное равнодушие к своему истинному предназначению: войне с неверными, которую столь доблестно ведет христианский мир в лице Тевтонского ордена.

— Слабенько, Флотт, очень-очень жидко. Кого только нельзя обвинить в роскоши и небрежении христианским долгом?..

— Вы говорите о правосудии, сир?

— О чем же еще?

— Приношу свои извинения. Я не понял вас. Полагал, что речь идет всего лишь о... предлоге.

— Вот как? Но разве предлог не должен звучать достаточно убедительно?

— Любому предлогу нужную убедительность придадут только две вещи: диктат уверенной в себе силы и... свершившийся факт.

— Отлично, Флотт! Продолжай.

— За первоначальным обвинением обычно следует дознание. Оно и может подтвердить все то, о чем умалчивает юридическая формула предлога.

— Ты имеешь в виду богохульство?

— Да, сир. Оно будет выглядеть весомее, если вскроется уже по ходу дела. А вскроется оно всенепременно. Известно же, что посвящение в рыцари Храма сопровождается тайными обрядами, а на собраниях ордена совершаются богохульные отправления. Этого вполне достаточно для того, чтобы уничтожить орден и истребить его командоров.

— Вместе с фамилиями.

— Да. Плевелы лучше вырывать с корнями. Это, кстати, тоже даст добавочные поступления в казну. Освободятся ленные владения, майораты... Этот орден страшен хотя бы уж тем, что проповедует равенство. Любой рыцарь одет так же, как сам гроссмейстер, и все равны в разврате и осквернении святынь. Недаром храмовники подвергают своих неофитов столь сложной церемонии тайных посвящений. Мне ведомо, государь, что посвященного в рыцари принуждают, в знак повиновения старшим, отречься от Христа, плюнуть на святое распятие и растоптать его!

— А ты сам веришь в это, Флотт?

— Народ верит, государь.

— Народ? Ну хорошо, Флотт, что же еще творят храмовники? Пожирают младенцев? Приносят в жертву молодых девушек?

— Всякое говорят, сир... Но достоверно известно вот что... Мой шпион в ордене — он уже добился посвящения в дьяконы — доносит, что в подземном храме тамплиеры поклоняются мерзкому идолу под именем Баффомет. А вид тот идол имеет козлиный и во лбу, меж рогами его, вставлен невиданный алмаз винно-красного цвета. Тот алмаз, как говорят, и есть философский камень, позволяющий

делать из свинца золото. Вместе с другими сокровищами катаров он перешел, после альбигойских войн, во владение Храма.

— Если это правда, то из-за одного этого камня следует истребить тамплиеров! Моей казне как раз он очень требуется... Но все это пока лишь мечты. У меня нет послушного папы. Напротив, в Риме сидит самый скверный из всех пап. И он мой враг. Чем ответим мы на его новую буллу?

— Мы нанесем святейшему удар, который еще послужит нам в будущем деле. В Лангедоке опасный климат, сир. Там не забыли альбигойские войны. В Тулузе, Фуа, Каркассонне — всюду тлеют угли ереси и мятежа. Южане равно ненавидят и святейший престол, и власть христианнейшего короля.

— Пусть лучше ненавидят папу... Ты, однако, отклоняешься, Флотт.

— Напротив, государь. Я хочу обратить ваше высочайшее внимание именно на юг, где тамплиеры имеют обширную собственность. Там сосредоточены главные их силы. В накаленном климате Лангедока может легко вскружиться голова. Среди тамплиеров, сир, отпрыски лучших семейств королевства. Это все холостая, горячая молодежь, которой беззаветно преданы служилые люди ордена. Именно в Лангедоке, где процветают ненависть и разврат, остатки катарской ереси мешаются с тайными учениями Востока, которые исповедует орден.

— Что же это за страшные учения? Напугай же меня, мой Флотт.

— Вас, сир? Это невозможно! Я думаю лишь о том, как будут напуганы судьи.

— Хорошо сказано. По крайней мере им придется принять испуганный вид.

— Это одно и то же, сир. Позвольте продолжить... запугивание?

Филипп молча кивнул.

— Учение тамплиеров — это чудовищнейшая смесь азиатских культов. Здесь и атеизм радикальных сект ислама, и обряды, которые справляют в далекой Индии, и проклятый еще Библией богомерзкий ритуал вавилонских жрецов. Орден давно уже превратился в тайный союз, который все ненавидят. Поэтому мы тут же приобретем новых друзей взамен старых врагов.

— Если, конечно, победим.

— Да, сир. Те, кто унаследуют титулы и земли храмовников, едва ли станут жалеть об уничтожении ордена. Следует учесть также, что у духовенства тамплиеры тоже не в чести.

— Это можно понять. Богатым и сильным завидуют.

— Истина, сир. К тому же богохульства...

— Все это прекрасно. Я усвоил уже твою мысль о том, как дрожащий от омерзения судейский обнаружит вдруг, что за белым плащом командора скрывается черное обличье богомерзкого грешника. Пусть так... Но что ты можешь сказать мне об этом, кроме общих фраз, Флотт? Где богохульство? Где оргии? Где козни дья-

вола? Погоди! — Видя, что Флотт рвется возразить, король сделал отстраняющий жест. — Я знаю, что под пыткой люди обычно сознаются в любых обвинениях. Мне просто любопытно знать, на самом ли деле в замках ордена творятся все эти непотребства?

— О мой государь! Достаточно взглянуть только на скульптурные украшения за стенами этих замков, чтобы убедиться в истинности народной молвы. Тамплиеры действительно вынесли с Востока постыдные символы и обряды... Если же принять во внимание образ жизни рыцарей итальянского ордена Веселых братьев, которых церковь наделила правом открытого разврата и мотовства, то, правда, любые преувеличения на счет наших ревнителей веры христовой не вызовут удивления. Эти Веселые братья...

— Ну итальянцы меня не интересуют... Пока.

— Не осмелюсь возражать, но...

— А ты осмелься.

— Итальянцы пользуются большим влиянием на юге Франции, особенно среди тамплиеров. Доколе христианский мир будет терпеть изнеженность и роскошь своих духовных пастырей? — С наигранным пафосом, но сохраняя полную серьезность на неподвижном лице, Петр Флотт поднял руку. — Доколе Рим, аки блудница вавилонская, будет отвращать сердца сынов и дочерей христовых от истинной веры примером гнусной жизни своей?.. Что скажете, государь? — Флотт скрестил на груди руки и вернулся к окну.

— А ведь неплохо, Флотт!.. Клянусь ослицей, неплохо. Записывай мой ответ.

— Я готов, сир! — Флотт метнулся к конторке, где уже были приготовлены письменные принадлежности и пергамент.

— Начало, значит, обычное... Его ты после припишешь. Потом я задам свой вопрос: «Из одного ли духовенства состоит христианская церковь? Дают ли ему его старинные привилегии право отнимать у государей средства к управлению и защите их государств? Можно ли оставлять духовенство утопать в неге и сладострастной роскоши, когда отечество нуждается в их деньгах?..» Каково, Флотт?

— Это пощечина, сир. Непревзойденная по форме пощечина.

— Тогда ступай заканчивать ордонанс. И пришли ко мне Гильома Ногарэ. Сегодня мы объявили войну тамплиерам, но они еще не знают о том...

— И не скоро узнают, сир.

— Да. К сожалению.

— Медленный яд — самый надежный, сир. Итальянцы уверяют, что от него нет противоядия, а они в таких делах мастаки...

Но, к тайному разочарованию короля, папа неожиданно отступил. На потеху всему христианскому миру он громогласно заявил, что обе его буллы о налогах на духовенство к Франции никакого касательства не имеют и на права Филиппа не посягают. Волей-неволей пришлось сделать шаг к примирению и христианнейшему королю. Скрепя сердце, Филипп принял папское посредничество в затянувшемся споре с Англией и Фландрией.

В королевстве и на его границах установилось непривычное спокойствие. Оно-то и не давало покоя королю. На очередной, прошедший без особых потрясений день он смотрел как на впустую растраченный капитал. Тем более что настоящих-то капиталов как раз и недоставало.

— Черт бы побрал этого папу! — не выдержал как-то на соколиной охоте король и, дав шпоры коню, догнал Гильома Ногарэ. — Мне это надоело, — сказал он тихому профессору права, оставившему ради суетной придворной жизни кафедру в Монпелье. — Придумай что-нибудь. Неужели старой лисице нельзя наступить на лапу? Эй, Бертран! — крикнул король сокольничему, надевая на свирепую птицу, нетерпеливо когтившую королевскую перчатку, клобучок. — Возьми Жан-Жака, и продолжайте ловитву без меня. У меня дела, клянусь ослицей, а серую цаплю пусть подадут мне на ужин... Ты со мной, Ногарэ. Мы возвращаемся.

Ногарэ неуклюже поворотил своего коня и, припадая к холке, поскакал за королем, больше всего па свете боясь отстать. Но он отстал. И очень скоро.

— Дай же ему шпоры! — недовольно крикнул король и, нетерпеливо натянув поводья, попридержал коня. — И не подскакивай так в седле. Ты что, не можешь пришпорить?

— Да, сир, — тяжело дыша, выдохнул Ногарэ, когда поравнялся с королем. — И все оттого, что у меня не золотые шпоры, — находчиво добавил он.

— Как? — удивился Филипп. — Ты мечтаешь о золотых шпорах? Хочешь стать рыцарем? Странно... А вот Флотт отнюдь не гонится за дворянским гербом, хотя он наездник не чета тебе. И ноги у него подходящие: кривые, как у доброго рейтара.

— Что ноги, государь? Было бы сердце верным...

— Ты хочешь сказать, что у Флотта его нет?

— Я говорю о себе, сир. Надеюсь, что преданность моего сердца заставит вас забыть о недостатках бренной оболочки.

— Короля никто и ничто не может заставить. Ты понял?

— Да, сир. Простите мне невольную обмолвку.

— Пусть так... Но запомни еще одно, мэтр Ногарэ. Королю нет дела до твоего сердца. В душе можешь хоть ненавидеть меня, но служи верно, а прикажу — умри. Я приблизил тебя не за сокровища твоего сердца, в которые можно либо верить, либо... Вот так, Ногарэ. Меня нельзя тронуть заверениями в любви и преданности... Да ты не волнуйся. — Филипп, брезгливо выпятив губы, опустил тяжелую рыцарскую руку на плечо профессора, дрожащего от волнения и тряски. — Не волнуйся. Я не лишаю тебя своей милости, нет. Где уж мне найти себе еще такого крючкотвора, как ты!

Ногарэ облегченно всхлипнул и засопел.

Они скакали по пересохшей земле, не разбирая дороги, топча посевы, перелетая над убогими крестьянскими изгородями. Клубы белой удушливой пыли тянулись за ними, расплываясь и медленно оседая.

Ногарэ непочтительно чихнул. Раскрыл рот, глотнул воздуха и чихнул еще раз, да так сильно, что чуть не сорвал голос.

— Ты бы смог обелить сатану, Ногарэ, на процессе? — спросил король.

— Да, да, сир, — пролепетал профессор и, выпучив глаза, часто-часто закивал.

— А Христа очернить?

— Я верующий христианин, сир.

— Ну а если бы твой король решил начать с Христом тяжбу?

— Да, государь.

— Ты бы помог мне выиграть процесс против Бога?

— Да, государь. — Ногарэ проглотил слюну и выпустил поводья. Его сейчас же тряхнуло, и быть бы ему на земле, если бы не могучая рука Филиппа, схватившая профессора за шиворот.

— Ногами надо держаться, — усмехнулся король. — Как мне ущемить старого лиса? А? Скажи, Ногарэ, если ты такой искусник.

— Нет ничего проще, сир, — с готовностью ответил приободрившийся профессор. — Памье, сир.

— Вот как? — Король прищурился и как-то искоса поглядел на юриста.

Кажется, этот Ногарэ подал ему недурную мысль. Спор вокруг города Памье явно обещал взбаламутить церковное болото. Один из предшественников Бонифация на папском престоле по сути украл этот самый Памье у французской короны. Во всяком случае, не заручился согласием короля, когда отделил город от тулузской епархии и образовал самостоятельное епископство. Много охотников было прибрать к рукам обожженные кострами земли катаров. Много... Дело прошлое, да и жалкий этот городишко не стоит особых забот. Но лучшего предлога возобновить распри не придумаешь. Это, что называется, на мозоль наступить. С одной стороны, претензии французского короля на епископство Памье неоспоримы, с другой — дело это чисто церковное. У Бонифация разольется желчь.

— У тебя и в самом деле золотая голова, Ногарэ. — Король натянул поводья, и кони пошли шагом. — Зачем тебе еще и золотые шпоры?

Ногарэ промолчал.

— Что, хочется? — не отставал король.

— Да, сир, хочется.

— Если все пойдет, как мы думаем, — получишь! А теперь плетись домой, отдохни. К вечеру жду тебя здорового и бодрого. Будем работать. Флотту я велю осторожно продолжить финансовые санкции. Бонифаций, конечно же, сразу почует, откуда дует ветер, и попытается ущемить меня в Памье. Так?

— Истинно так, государь.

— Ну тогда прощай, Ногарэ.

Король перевел коня в галоп и поскакал к серевшему сквозь пыльную завесу городскому валу.

Стояло холодное осеннее утро. Город только начинал просыпаться, окутанный редеющим туманом. Филипп бросил поводья, и серый в яблоках конь его печально процокал копытами по узким и грязным улицам, мимо домов с закрытыми ставнями и нависающими друг над другом этажами.

Король был доволен, что Ногарэ сразу же назвал Памье. Значит, они действовали верно. Флотт, кажется, и на этот раз не ошибался...

Так и случилось. Ответом на финансовую войну было назначение нового епископа Памье. Римский первосвященник ответил, как по подсказке. Но подсказчиком ему был лютый враг.

На пост памьеского епископа Бонифаций подобрал человека безгранично ему преданного, безусловно честного, но недалекого. Получив епископский посох и кольцо с аметистом, Бернар Саниссетти не придумал ничего лучшего, чем бросить вызов французскому королю. В первой же публичной проповеди он провозгласил полную свою независимость от светской власти и, презрев приличия, отказался поехать в Париж.

— Памье — не Франция, — сказал он местному бальи. — А власть Филиппа не от Бога. Он дьявол, и обличье у него дьявольское, гнусное. Кто служит ему, проклят будет во веки веков!

Бальи выслушал пастыря в глубоком смущении и незамедлительно послал в Париж гонца с подробнейшим донесением.

Филипп буквально затрясся от бешенства. И хотя все протекало, как было намечено, смертной ненавистью возненавидел дурака-епископа, чья епархия была лишь пешкой в великой игре сильных мира сего.

Но французский король сумел сдержать неукротимый нрав свой, а папа не сумел: Филипп затаился, сжался, проглотил как будто бы оскорбление, а Бонифаций, распаляясь от кажущегося успеха, пошел дальше, сделал еще один шаг к пропасти. На удивление всей Европе, епископ Памьеский получил назначение при французском дворе. Великий понтифик назначил его своим легатом в Париже. Так Бернар Саниссетти стал дипломатическим старшиной и ближайшим кандидатом на красную кардинальскую шапку.

Филипп Красивый и на этот раз смолчал, хотя мог, не задумываясь, вышвырнуть из своей столицы ненавистного дурака. Но он метил выше и оставил епископа в покое. На время, разумеется, ибо не умел и не желал ничего забывать.

Папа и его верный клеврет торжествовали. Смахнув с доски две королевские пешки, Бонифаций решил, что настало время объявить Филиппу шах, и передвинул свою победную пешку еще на одно поле.

На первом же приеме послов Саниссетти надменным, почти угрожающим тоном потребовал освобождения графа Фландрского. Это был уже открытый удар по политическим интересам Франции. Маленький епископ явно вышел за рамки извечных споров между светской и духовной властью. Он оскорбил короля, проявил явную

неучтивость к французскому двору, поставил себя в один ряд с владетельными особами.

Филипп мог больше не церемониться. И странно: теперь, когда в его власти было дать выход своему гневу, он этого гнева не чувствовал. Было лишь упоительное торжество ловкого охотника, загнавшего в ловушку свирепого вепря. Но правила охоты требовали проявления королевского гнева. И Филипп дал ему волю. Более того, он дал понять всем, что ослеплен бешенством, ибо этого требовали его дальнейшие планы.

Папского легата с позором выгнали из Парижа, а мессир Ногарэ составил специальный протокол, в котором Бернар Саниссетти обвинялся в оскорблении величества, измене, лихоимстве и других преступлениях. Юридически документ был составлен образцово, и лучшие законоведы Европы могли лишь восхищаться искусством французских коллег, которые ухитрились даже отсутствие доказательств лихоимства обратить против обвиняемого, а юридически спорную измену превратить в очевидность.

Зерна, которые посеял еще дед Филиппа, дали первый урожай. Процветание наук и университетов принесло королю Франции чисто практическую пользу.

Филипп по достоинству оценил громкий обвинительный акт против Памьеского епископа. Мессир Ногарэ получил свои золотые шпоры. Он получил даже большее: баронство и два хороших ленных поместья.

После скандального изгнания своего легата папа потребовал предоставить ему, как высшему духовному судье, решение по делу епископа Памье. Но Флотт и Ногарэ холодно отвергли все домогательства Рима. Процесс был начат. Оправданий епископа даже слушать не стали. Он был лишен власти и как преступник препровожден под конвоем в парижскую тюрьму.

Папа Бонифаций подгоняемый бешенством, пошел на крайние меры. В декабре 1301 года он обнародовал буллу, в которой утверждал за собой право верховного суда не только в вопросах веры, но и в светских делах. Это была роковая ошибка. Флотт и Ногарэ могли поздравить себя с успехом. Свирепый вепрь попал в вырытую для него яму. Папские притязания, против которых великий Данте написал впоследствии свою бессмертную книгу, всколыхнули весь христианский мир. Лишая французских королей всех преимуществ, формально подтвержденных грамотами предыдущих понтификов, булла Бонифация VIII ударяла не только по короне, но прежде всего по интересам дворянства и горожан. Вся Франция, вся Италия встали на сторону Филиппа. Папа проиграл. И финал его упорной войны с французским королем был тем самым уже предрешен.

Отправив в Италию своего Гильома Ногарэ, снабженного огромными денежными суммами, король уединился с Петром Флоттом. Он уже подыскивал подходящую кандидатуру на римско-католический престол. Шахматная партия вот-вот должна была увенчаться матом.

Ногарэ между тем вместе с ярым врагом Бонифация, римским патрицием Колонной, напал на папу в Ананьи и полонил его. Три дня не выпускали они Бонифация из его собственного дома, морили голодом, не давали спать. Колонна, впрочем, этими притеснениями не ограничивался и частенько давал волю рукам. На третий день у папы, доведенного до белого каления, разлилась желчь, и он впал в полубезумное состояние. Дни его были сочтены.

Французский король поэтому вполне мог заняться поисками более приемлемой кандидатуры. Перед его глазами стоял сверкающий мираж тамплиерских сокровищ. Красный алмаз, превращающий свинец в золото, снился ему ночами. Воспаленным светом мерцал он во тьме королевского балдахина, беспокойным, зовущим огнем.

Но сначала этот огонь должен был пожрать старого тамплиера...

Глава 9

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ (в Ленинграде)

На аэродроме Люсина встретили ленинградские коллеги — расторопный Шуляк прекрасно обо всем позаботился. Они сообщили, что группа, которую сопровождает Овчинникова, разместилась в гостинице «Ленинград». В той же гостинице занял вчера забронированный заранее номер Виктор Михайлович Михайлов, художник из Москвы.

Все выглядело предельно простым. Даже досада брала. Не расследование, а скучища.

Понятно, что номер для Люсина был заказан в той же гостинице. Впервые предстояло ему работать, что называется, на дому.

Через пятнадцать минут они, дождавшись красного сигнала и зеленой стрелки, свернули с Московского проспекта налево, прямо к новому многоэтажному зданию гостиницы. Как и можно было ожидать, ни Виктора, ни Женевьевы на месте не оказалось. Дежурная по этажу пообещала позвонить Люсину, как только они возьмут ключи от своих номеров. Благо его комната была совсем рядом

Он вошел к себе в номер, снял пиджак, умылся и, сбросив ботинки, завалился на кровать. Делать пока было нечего, и он взялся за журнал «Химия и жизнь», который купил в Шереметьеве. Лениво пролистал он первые страницы, а дойдя до статьи «Элемент №12 — углерод», и вовсе заскучал. Уронив журнал на пол, обвел взглядом пустые стены стандартного своего жилья и припомнил вдруг лихорадочные ночи в мурманской общаге. Кто-то уходит в море, оставляя нехитрые вещички в камере хранения, и дает отходную на десять персон прямо тут, в комнатенке, раздобыв стаканчики и пару тарелок, откупорив пиво, размотав серую проволочку с серебряного горла шампанского. Но кто-то и возвращается, заработав большую деньгу, преисполненный светлых надежд и особой рыбацкой нежности...

«Общежитие да гостиница — вот дворцы твои Клеопатровы...» — стал насвистывать, напевая про себя, Люсин, хотя давно уже не

живал в общежитиях, поскольку владел однокомнатной кооперативной квартирой.

Полежав малость, он встал, подошел к телефону и поднял трубку. Набрал 07, сказал, что говорит из гостиницы, и, назвав свою фамилию и номер комнаты, попросил соединить его с Москвой.

Березовский оказался дома. Очевидно, у него начался очередной «запойный» период. Когда он писал, то, случалось, по нескольку дней не покидал дивана.

— Откуда ты? — удивился Юра.

— Из Ленинграда.

— Чего тебя туда занесло? Что-нибудь срочное? Надолго?

— Нет. Завтра буду. Очередная текучка, понимаешь. Как ты? Новости есть?

— Кое-что. Но это не для телефона. Надо поговорить.

— Что-нибудь любопытное?

— Так себе... Одним словом, подрабатываю историю.

— А!.. Я так и думал. Тебе интересно?

— Да, старик! Честно говоря, чертовски интересно.

— Ну, очень рад. Хоть ругать не будешь...

— Кстати, коль уж ты попал в Ленинград, то, может, узнаешь об одной вещи? Ты не очень занят?

— Какой там занят! Делать нечего.

— Вот и прекрасно. Узнай тогда, нет ли в Эрмитаже того самого мальтийского жезла. Понимаешь?

— Конечно.

— Сможешь узнать?

— Проще простого. А если есть, что тогда?

— Хочу подержать эту штуковину в руках. Поспрошай, что для этого нужно. Могу сам приехать, если только вы не сумеете затребовать его на время к себе.

— Все узнаю самым тщательнейшим образом... Рад был с тобой поболтать.

— Я тоже. Ты где остановился?

— В гостинице «Ленинград».

— А, в новой! Знаю... Если будет время, сходи пообедать в «Неву». Там кухня хорошая. Может, угри будут или миноги.

— Эх ты, гурман! На это времени думаю, не останется.

— Жаль... Между прочим, я гурмэ, а не гурман.

— Не понял.

— А еще говоришь по-французски! У французов, к твоему сведению, гурманами называют обжор, которые переедаются вкусными вещами. Знатоков же изысканной пищи, тонких кулинаров, дорогой мой, именуют гурмэ. Понял разницу? Так что, если хочешь польстить, называй меня гурмэ.

— Понятно. Ты, Юра, — гурмэ. Спасибо за науку, авось пригодится... Ну, до скорого.

— Пока, старик.

Не успел Люсин подобрать с пола журнал и улечься, как ему позвонили со станции и сообщили, что он разговаривал четыре минуты. Он поблагодарил. Из головы не шла Женевьева Овчинникова. Не могла эта девица быть замешанной в преступлении! Стоило вспомнить ее, увидеть, как сидит она, положив ногу на ногу, покачивая туфелькой и стряхивая пепел лакированным ноготком, как рушились все логические построения...

«Модная, стильная, но знающая себе цену, серьезная и очень себе на уме. Очень. И волевая к тому же. Такие ничего не делают сгоряча. А дело, если допустить, что она все же к нему причастна, вырисовывается глупым, кустарным каким-то и уж очень вульгарным. Ведь если только они замешаны в исчезновении иностранца, то это выяснится в ближайшие же часы. Главное, это можно было предвидеть. Такая Женевьева просто не могла этого не предвидеть! Вот в чем загвоздка. Только совершенно крайние обстоятельства, когда уже и выхода нет, могли вовлечь ее в эту игру... Может, конечно, так оно и было. Что, собственно, свидетельствует против них? То, что они связаны — теперь это уже не предположение, а непреложный факт, — еще ни о чем не говорит. Все та же игра случая. Мир тесен в конце концов. Конечно, она узнала тогда эту икону. Это факт. Даже если она и не знала, что Михайлов продал ее иностранцу, даже если знакомство (не слишком ли много случайностей?) Михайлова с иностранцем состоялось без ее участия, то и тогда, со всеми этими скидками, она солгала. Ее, правда, не спрашивали. Но умолчанием своим она солгала. Конечно, люди есть люди. Не всем можно предъявлять высокие требования. Ну, умолчала об иконе, чтобы не навлечь неприятностей на близкого человека. Это не преступление. А если допустить, что Михайлов мог ошибиться по поводу истинной цены своей «Троицы», то для Женевьевы это тем более простительно. Прямо против них ничто не свидетельствует, косвенно их обвиняет многое. Доказать, конечно, не просто, но житейская логика подсказывает, что именно Женевьева свела иностранца с иконщиком. Здесь на долю случая вряд ли перепадет больше доли процента. Но это, мягко говоря, явное нарушение служебной этики. Она могла пойти на это, трезво и холодно прикинув, что в данном случае тайное вряд ли станет явным. Что же, вполне логично и не выходит за грани психологического рисунка. Но тогда исчезновение иностранца и неизбежно связанное с этим расследование для нее должны быть явно нежелательны. Значит, все это совершилось не по ее воле, если не предположить, конечно, что события неожиданно не вышли из-под контроля. В последнем случае ее могли просто вынудить продолжать игру. Хотя бы во спасение дорогого ей Виктора, неожиданно для нее наделавшего глупостей. Но это уже область гипотез. Во всяком случае есть все основания задать этой парочке несколько вопросов. При полном отсутствии других линий этого вполне хватит, чтобы получить разрешение на арест. В конце концов Михайлов сам сознался, что продал икону, которая, по заключению

эксперта, является чуть ли не национальным достоянием. Всех этих мотивов, конечно, недостаточно, чтобы передать дело в суд. Но предварительного заключения в качестве меры пресечения на период следствия можно было бы добиться. Для Михайлова, конечно. С Женевьевой сложнее. Пока ей можно поставить в вину лишь неблаговидное поведение, не больше. Все, конечно, решит, причастность их к исчезновению иностранца».

Зазвонил телефон. Дежурная сообщила, что Михайлов и Овчинникова только что взяли у нее ключи и прошли в номер 436. Его занимала Женевьева.

Люсин поправил галстук, надел пиджак и, прихватив портфель с бумагами, вышел в коридор. Серая ворсистая дорожка совершенно заглушала шаги. Остановившись у двери 436-го, Люсин осторожно постучал.

— Войдите! — услышал он голос Женевьевы и отворил дверь.

Она, видимо, шла ему навстречу, потому что они встретились на самом пороге.

— Вы?! — Брови ее удивленно вскинулись вверх, а в глазах было смятение.

— Можно войти? — тихо спросил Люсин.

Она молча посторонилась и пропустила его в комнату. Михайлов выгружал из авоськи какие-то бумажные свертки. Он обернулся и как-то весь передернулся. Видимо, как и Женевьева, он меньше всего ожидал увидеть сейчас сыщика.

— Здравствуйте, — сказал Люсин, испытывая некоторую неловкость. Ему всегда становилось немного не по себе, когда он видел, что его слова или действия вызывают в людях страх.

— Чем обязана? — сухо спросила быстро овладевшая собой Женевьева.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов... обоим.

Колючие, суженные зрачки Михайлова все еще бегали, как загнанные зверьки. Но Женевьева держалась молодцом. Спокойная и холодная, как всегда.

— Понятно, — кивнула она, вытаскивая сигарету. — Мы уже думали об этом. Просто не ожидали, что вы так... быстро. — Она отбросила коробочку сигарет «Лорд» и щелкнула зажигалкой.

— Если позволите, Женевьева Александровна, я поговорю сначала с Виктором Михайловичем. Покурите пока в моем номере. Это четыреста девятнадцатый, неподалеку. Я вам позвоню. Ключ в дверях.

— Хорошо, — кивнула она и пошла к выходу. Но вдруг задержалась и, не оборачиваясь, медленно, словно сквозь зубы, произнесла: — Расскажи все, как есть, Виктор. Нет смысла...

— Благодарю за доброе побуждение! — резко прервал ее Люсин. — Я позвоню вам, Женевьева Александровна!

Все так же, не оборачиваясь, она чуть склонила голову набок, и вдруг ее плечи как-то поникли. Она помедлила, потом, словно решившись на что-то, резко тряхнула платиновыми волосами и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

Михайлов молча следил за ней. Глаза его перестали бегать, напротив, сосредоточившись на закрывшейся только что двери, они обрели выражение трагическое и обреченное.

— Имейте в виду, — тихо, едва шевеля губами, сказал он, — она абсолютно непричастна. Абсолютно... Если из нас кто-то действительно виноват, так это я.

— Я не тороплюсь обвинять, Виктор Михайлович, — мягко сказал Люсин, давая Михайлову собраться с мыслями и прийти в себя. — Да и не мое это дело — обвинять... Я вынужден задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить некоторые обстоятельства. Вы не волнуйтесь, а лучше помогите мне кое в чем разобраться. Это и для вас будет лучше, Женевьева Александровна права.

— Спрашивайте, — все так же тихо ответил Михайлов.

— Подумайте хорошенько, прежде чем давать ответы, — предупредил Люсин, — потому что я буду вести протокол.

Он вынул из портфеля зеленоватый бланк, прошел к письменному столу и, отодвинув его так, чтобы Михайлов мог сесть напротив, сказал:

— Прошу.

Михайлов опустился в кресло и невидящим взглядом уставился в окно. Выходило оно на внутренний двор, на пыльный пустырь, где уже стояли строительные краны и высились груды кирпича.

— Сейчас-то паспорт, надеюсь, при вас? — чуть улыбнулся Люсин.

Михайлов полез во внутренний карман.

— Я выносил вам его... тогда, — сказал он, протягивая Люсину свой до невозможности истрепанный документ.

— Знаю, — кивнул Люсин и раскрыл паспорт. — Так... — Он начал аккуратно заполнять бланк. — Михайлов Виктор Михайлович, год рождения 1934-й, место рождения Москва, прописан по Малой Бронной улице, номер семнадцать, квартира шесть. Художник-реставратор... Вы по договорам ведь работаете, Виктор Михайлович?

— В основном...

— Значит, работа по договорам с различными организациями. Так?

Михайлов молча кивнул.

— Ну и прекрасно... А сейчас ответьте мне на такой вопрос: продали ли вы иностранному гражданину икону под названием «Троица»?

— Продал... Но я уже говорил вам, что не знал... А, впрочем, чего уж? — Он махнул рукой. — Знал! Да, я продал эту икону иностранному гражданину.

— Хорошо. Я так и записываю... Сколько вы получили за нее?

— Пятьсот рублей советскими деньгами.

— Когда это было? Где?

— Во вторник на прошлой неделе. У меня на квартире.

— Кто при этом присутствовал?

— Никто.

— Так... Теперь такой вопрос: знали ли вы, что эта икона представляет собой памятник древнерусской живописи?

— Эта икона написана в прошлом веке! Я знал и знаю, что никакой исторической ценности она не представляет.

— Вы утверждаете это?

— Конечно.

— Тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с заключением эксперта. — Люсин протянул ему отпечатанный на машинке листок.

Михайлов бегло просмотрел экспертизу, словно хотел ее моментально сфотографировать, а не прочесть. Но вдруг, схватив бумажку обеими руками, поднес ее почти к самым глазам, отвернувшись на пол-оборота от света. Чтобы не мешать ему, Люсин сделал вид, что заинтересовался каким-то документом в одном из отделений своего портфеля. На самом же деле он напряженно ждал, что скажет Михайлов, подстерегал первую, самую непроизвольную реакцию.

— Да. Очень может быть... — тихо сказал Михайлов и отер лоб. И вдруг, словно высвободилась в нем какая-то до отказа натянутая пружина, он сцепил руки в единый кулак и, болезненно сморщившись, уперся в него зубами. — У меня было подозрение, — раскачиваясь, сказал, будто простонал, он. — Я же видел и это вохрение жидкой плавью, золотистой охрой с подрумянкой по светло-оливковому санкирю! А белильные оживки, мелкие такие, реденькие, нанесенные короткими штришками? Я же сам говорил, что она какая-то первозданная. Эта голубизна на хитоне исконная какая-то... И серо-синие пробела на гиматии левого ангела... Но поймите же: она ведь так хорошо сохранилась! Есть бесчисленные подражания, многочисленные копии... Да и не верю я, что можно случайно, у какой-то старухи купить за двадцатку пятнадцатый век!.. Не верил... — Голос его упал.

Люсин удивился, что Михайлов сказал почти то же, что и профессор-эксперт. Оба они сказали «не верю». И Женевьева — он тут же вспомнил — тоже, кажется, сказала так.

«Может, в этом все дело? Это «не верю» продиктовал им профессиональный опыт, притаившиеся где-то на дне души разочарования, развеявшиеся надежды. Безусловно искренне... Но профессор сказал, не видя доски. У этого же она была черт знает сколько. Впрочем, профессорское звание тоже недаром дают...»

— Значит, если я правильно вас понял, — Люсин опять взял ручку, — вы обманулись в этой иконе?

— Да.

— Хорошо. Так как вы отвечаете на вопрос о древности?

— Отрицательно. Я не знал.

— Это было во вторник?

— Что?

— Продажа иконы.

— Да, во вторник. Часов около четырех.

— Ваш сосед был в то время дома?

— Не знаю... Не помню.

— А что вы делали после того, как иностранец ушел?

— Поехал к одному старичку коллекционеру, к Дормидонтычу. Это можно проверить...

— Когда вы ушли от него?

— Часов в семь.

— Как вы провели среду?

— Среду?

— Да, что вы делали назавтра после продажи?

— В среду?.. Постойте! Кажется, я был весь день дома. Отделывал интерьер.

— Кто-нибудь может это подтвердить? Лев Минеевич?

— Не знаю, право... Возможно. Мы уже так привыкли к совместному существованию, что перестали замечать друг друга. Я по крайней мере... И он, наверное, тоже... Хотя именно в тот день — да, совершенно точно, в среду, часов около пяти, — ко мне приходил Кирилл Анатольевич Воздвиженский!

— Кто он, этот Воздвиженский?

— Проректор духовной академии.

— Он согласится подтвердить, что приходил к вам?

— Я так думаю! Он же действительно приходил. Лев Минеевич, вспоминаю теперь, даже открыл ему дверь.

«В таком случае у тебя железное алиби. И на вторник, и даже на среду... Как я и ожидал, налицо алиби...»

— Как, где и когда вы познакомились с иностранцем?

— В комиссионном на Арбате, в понедельник, совершенно случайно разговорились.

— Вы продолжаете настаивать на прежней версии?

— Не понимаю...

— О случайном знакомстве в магазине я уже слышал от вас в первую нашу встречу.

— Ну и что? Как было, так и говорю.

Люсин чуть приподнял брови и повел плечом, всем своим видом показывая, что лично ему совершенно безразлично, врет Михайлов или же говорит правду.

— Я же вам правду говорю! — наклонился к нему Михайлов.

— Сколько раз вы встречались с ним после знакомства? — Люсин словно не обратил внимания на эти слова Михайлова.

— Один-единственный раз, у меня на квартире.

— Что вы можете сказать по поводу его исчезновения? Что знаете об этом?

— Абсолютно ничего. Я к этому не причастен.

— Он не делился с вами планами на будущее? Не говорил, к примеру, как собирается провести завтрашний день?

— Нет. Мы говорили только об искусстве.

— Где вы приобрели эту икону?

— У одной старухи. Купил.

— За сколько?

— Не помню... точно. Задешево.

— Только что вы упомянули, что не верите в древние иконы, которые можно случайно купить у старухи за двадцатку.

— Разве?

— Представьте себе.

— Ну, двадцатку я употребил в фигуральном смысле, в том смысле, что дешево.

— А продали за пятьсот... Вы часто так продавали иконы?

— Нет. Это был первый и последний раз.

— А покупали?

— Я, знаете ли, чаще меняюсь.

— Это как понять?

— Старухи любят яркие, новые иконы, без дефектов, и охотно отдают за них старые образа. Порой ведь берешь совершеннейшего кота в мешке — абсолютно черную доску! Никогда заранее не знаешь, что из нее получится. Отмоешь, потратишь время и труд, а там, — он развел руками, — только пятна облупленной краски и дырки от оклада.

— Вот вы то и дело говорите: «Старуха, старухи...» Это основная ваша клиентура?

— Нет, конечно... Но с ними, естественно, чаще всего приходится вести дело. Да и кто в основном вокруг церквей трется? Старухи опять же...

— А у вас какие дела с церковью?

— Я же реставратор!

— Кто назначил цену за «Троицу»?

— Я.

— И он сразу согласился?

— Сразу. Сам даже взял стремянку и полез снимать.

— Видимо, не в пример вам, он правильно распознал ценность вещи.

— Вряд ли...

— Почему вы так думаете?

— Они там за рубежом наслышаны о русском Эльдорадо, думают, что у нас Византия чуть ли не на улицах валяется. Купит какой-нибудь дурак попорченную доску восемнадцатого века, а дома у себя кричит, что это Рублев или Дионисий.

— А вы-то откуда знаете?

— Люди говорят.

— Они-то, конечно, все там простофили, — усмехнулся Люсин. — Этот, который у вас «Троицу» купил за пятьсот целковых, тоже, видимо, очень наивный мужик... С кем из иностранцев вы имели дело раньше? Кому и когда продавали иконы?

— Иконы я не продавал и с иностранцами, кроме этого, никаких дел не вел.

— Раньше вы утверждали, что и этого приняли за русского, поскольку он говорил без акцента, но потом одумались и сознались. Откуда на самом деле вы узнали, что он иностранец? Он вам представился?

— Женевьева сказала...

— Стоп! Значит, Овчинникова имела касательство к этому делу? Вы подтверждаете?

Михайлов кивнул и опустил голову.

— Вы подтверждаете? — чуть повысил голос Люсин.

— Да, подтверждаю.

— Какое?

— Она познакомила нас.

— Но вы утверждали, что познакомились случайно, в магазине на Арбате.

— Оно и было случайно в том самом магазине. Женевьева зашла с ним туда. Мы и встретились. Случайно. Мы ведь не договаривались встретиться.

— А что было потом?

— Потом она извинилась, сказала, что торопится, и ушла, мы же остались в магазине. Разговорились. Он спросил моего совета по поводу финифти... Одним словом, на улицу вышли вместе, он заговорил об иконах, и я пригласил его к себе. Тогда я и не собирался ему ничего продавать.

— Как она вас представила друг другу? Какими словами?

— Как обычно. Это мой друг, художник, а это мосье такой-то, историк.

— А Овчинникова не сказала, куда торопится?

— Нет.

— И потом вы ее об этом не спросили?

— Как-то не пришлось... Я думаю, ей просто надоело возиться с ним. Она часто жаловалась, что приходится таскаться по всему городу.

— Она знала, что вы пригласили его к себе?

— Нет. Мы в тот день больше ни виделись. И на другой день тоже.

— А о вашей сделке знала?

— Нет. Вообще она тут абсолютно ни при чем.

— Ну а теперь-то она, надеюсь, знает, что вы продали икону?

— Конечно.

— Почему?

— Она же была там... в номере, когда вы распечатали коробку.

— Ну и...

— Она долго ругала меня, что я это сделал.

— Вы, конечно, рассказали ей о нашей встрече в гостинице?

— Конечно. Она сказала, чтобы я все рассказал вам, но я ведь и так все рассказал!.. Почти все...

— Когда она сообщила вам, что видела икону?

— В тот день, когда вы меня... домой отвезли. Вечером.

— Что она имела в виду, когда только что порекомендовала вам говорить правду? Какую правду?

— О том, как все случилось... О знакомстве в магазине.

— Тем не менее вы не сразу и не очень охотно последовали ее совету.

— Не хотел ее впутывать. Разве не понятно? Она-то ведь ни в чем не виновата.

— Так. Хорошо. Теперь попрошу вас внимательно прочитать протокол и подписать его. Проследите, правильно ли я записал ваши ответы.

Михайлов пробежал глазами по строчкам — ему явно не читалось, он все думал о чем-то своем, потаенном — и взял ручку, которую предупредительно пододвинул ему Люсин.

— Все правильно.

— Благодарю. — Люсин промокнул подпись и спрятал протокол в портфель. — Вынужден предупредить, что нам еще придется, и, видимо, не раз, побеседовать с вами. Поэтому вам нужно будет возвратиться в Москву и на некоторое время воздержаться от поездок.

— Я арестован? — спросил Михайлов.

— Нет. В настоящее время я не нахожу эту меру необходимой. Но подписку о невыезде с вас возьмут.

— Хорошо, — с готовностью согласился он.

— Лучше всего нам будет вылететь в Москву сегодня же. — Люсин акцентировал слово «нам».

— Хорошо, — тут же согласился Михайлов и, чуть помедлив, спросил: — Женевьеве тоже надо будет возвратиться?

— Не-ет! — протянул Люсин. — Пусть Женевьева Александровна спокойно занимается своим делом... Хорошо, что напомнили! Она, поди, совсем уж заждалась.

Люсин позвонил к себе в номер и пригласил Женевьеву прийти.

— Заходите, пожалуйста! — крикнул он, когда она постучалась. — А вас попрошу побыть пока в моем номере, — шепнул он Михайлову и, легонько придержав его в кресле, метнулся навстречу Женевьеве, словно собирался открыть ей дверь.

Но она уже входила. Люсин посторонился, пропустил ее и резко повернулся. Он хотел видеть лицо выходящего Михайлова.

Тот, видимо, смотрел Женевьеве в глаза. Когда они поравнялись, он едва заметно кивнул. Это могло означать все, что угодно: от простого ободрения до «Я сделал так, как ты сказала». Люсин подумал, что скорее всего именно это и имел в виду Михайлов.

«Если, конечно, говорил в основном правду. Коли соврал, то кивок этот надо понимать так: «Все идет по плану, отвечай, как договорились». Но успели ли они сговориться полностью, все отработать, предусмотреть... К моему приезду они во всяком случае подготовлены не были».

— Вы каким рейсом прилетели, Виктор Михайлович? — быстро обернувшись, спросил Люсин.

Михайлов был уже одной ногой в коридоре. Едва не споткнувшись, он замер и, медленно поворачивая голову, переспросил:

— Каким рейсом?

— Да. Во сколько вылетели из Шереметьева?

— В восемь пятьдесят пять...

— Ваше место было четырнадцать «Б»?

— Да... кажется, — озадаченно протянул Михайлов. — А что?

— Ничего! Ничего... Благодарю вас.

«Значит, билет он брал на свое имя, не таясь или не сообразив просто, что нужно таиться... Страху-то я на парня нагнал. Она же, — краем глаза глянул он на Женевьеву, — просто уверена, что за ним следили... Ну что же, это, пожалуй, не повредит...»

— Что, некрасиво с иконкой-то вышло, Женевьева Александровна? — спросил он, усаживая ее в кресло.

— Да, некрасиво! — Лицо ее покрылось красными пятнами.

— Вы должны были мне сказать...

— Я и хотела, но там были посторонние. — Она явно старалась побороть волнение. — Потом мне нужно было поговорить с Виктором, выяснить... Иначе это походило бы на предательство. — Последнее слово она произнесла уже твердо и холодно.

— Понимаю ваши чувства. Вполне понимаю... Но прошел день. Вы встретились, возможно и не раз, с Виктором Михайловичем, могли все спокойно обсудить, и тем не менее... Вы помните наш последний разговор, Женевьева Александровна?

Она опустила голову. На влажном виске ее в розоватой тени идеально причесанных платиновых волос мелко-мелко билась голубая жилка.

— Мы целый час беседовали с вами. Помните? И все об этой злополучной иконке. Ведь вы тогда уже не просто умалчивали, а сознательно старались увести меня с курса. Запиши я тогда ваши показания, вам бы пришлось подписаться под заведомой ложью. Разве не так?

— Так. — Она подняла голову и, чуть нахмурясь, посмотрела прямо в глаза. В сером свете пасмурного ленинградского дня ее удивительно голубые радужки казались почти такими же черными, как и зрачки. Или она сильно волновалась. — Я не думала, что это может быть так... важно.

— Это очень важно! Очень. Правда всегда важна, Женевьева Александровна, и для всех важна. Поверьте, мне неприятно говорить вам это. Но положение достаточно серьезно... Я хочу официально привлечь вас в качестве свидетеля и задать в этой связи несколько вопросов. — Он вынул чистый бланк. — Овчинникова Женевьева Александровна, год рождения?

— 1939-й.

— Адрес?

— Москва, Ленинский проспект, сорок семь, квартира шестнадцать.

— Место работы?

— Агентство «Интурист».

— Подпишите, пожалуйста, здесь, что осведомлены об ответственности, согласно УК РСФСР, за дачу ложных показаний.

Она подписала.

— Вы давно знакомы с Михайловым Виктором Михайловичем?

— Давно... Скоро два года. — И, словно предупреждая новый вопрос: — Он близкий мне человек.

— Вы осведомлены о характере его доходов?

— Что вы имеете в виду?

— Торговлю иконами.

— Он коллекционер, товарищ Люсин, а коллекционеры постоянно что-то выменивают, продают, покупают, но это не является для них заработком, поверьте! Я хорошо знаю Виктора и думаю, что этот случай единственный. Я сама уговорила его рассказать вам всю правду. Да мне и не пришлось его особенно уговаривать. Если бы не этот ваш приезд... он бы сам пришел к вам...

— Охотно верю. После нашего с ним знакомства в гостинице «Россия» безусловно следовало прийти к такому решению. Но до этого! Вы помните, что было до?.. Вы как раз сидели у меня, когда мне позвонили, что какой-то человек спрашивает иностранца. Вспоминаете? Я сам вам могу сказать, к каким выводам пришли вы с Михайловым, так сказать, по первому варианту. Вы решили умолчать, а если удастся, даже запутать следствие, потому что были уверены в собственной безопасности. Надеялись, что мы не узнаем, откуда эта икона.

— Это не так, — все еще глядя прямо в глаза, покачала она головой. — Допускаю, хотя на самом деле все обстояло не так просто, но допускаю, что в отношении меня ваши обвинения справедливы. Но он здесь совершенно не виноват! Совершенно! Мы же не сговаривались с ним. Понимаете? Мы вообще не виделись до того случая в гостинице. Иначе зачем было ему приходить туда? Специально, чтоб навести вас на след?

«Совершенно резонно! Ах я дурак!.. — Люсин был раздосадован тем, что позволил себе увлечься и выпустил из рук нить допроса. — Непростительно! Надо немедленно что-то придумать, иначе инициатива будет потеряна и мое эффектное появление пойдет насмарку».

— К этому я и хотел вас подвести, — улыбнулся он. — Как вы думаете, зачем он пришел в гостиницу?

«Господи, что это сегодня со мной?! Я же забыл задать этот вопрос ему! Не напомни она, я бы вообще, наверное, выпустил это из виду! Во килька какая...»

— Виктор рассказывал мне, что иностранец очень интересовался старинной мебелью, он действительно интересовался, спрашивал, нет ли у кого знакомых торговцев. Конечно, он имел в виду не торговцев, а таких, как Виктор, коллекционеров... Виктор пообещал разузнать, разузнал, конечно, и, одним словом, нашел такого старичка. С этим и пришел он в гостиницу, чтобы отвести иностранца к старичку или же дать его адрес. Ясно?

— В общих чертах... А незаконность, неэтичность подобных операций его не смущали?

— Он, товарищ Люсин — я о Викторе говорю, — несколько не от мира сего. Мне кажется, что он видел в этом человеке не столько иностранца, сколько коллекционера. Понимаете?

— Нет, — жестко сказал он. — Этого я понять не могу... Кстати, этот изысканный, прекрасно говорящий по-русски джентльмен в недавнем прошлом был судим на своей родине как фашистский прихвостень... Это, так сказать, для общего сведения.

— Ой! — Она прижала ладони к щекам.

— Почему Михайлов просто не позвонил по телефону?

— Не знаю. Это уж вы у него спросите. Может, близко в этот момент находился, а может, номер забыл...

— Значит, вы говорите, что с того момента, как увидели икону, до того, как Михайлов пришел в гостиницу, вы не виделись с ним?

— Ну конечно!

— Почему? Разве не естественней было бы предупредить друга о грозящей ему опасности? Или, скажем, потребовать у него объяснений? Ведь вы же не знали, что он собирался продать икону?

— Не знала. Но...

— Вот видите! Но вы почему-то предпочли выжидать. Почему?

— Я тут же поехала к Виктору — у него, к сожалению, нет телефона, — но не застала его дома.

— Во сколько это было?

— Не помню точно... Вечером где-то, часов около семи.

«Он сказал, что принимал в это время попа...»

— Соседа тоже не оказалось?

— Нет, он был дома. Он сказал, что Виктор пошел провожать какого-то священника. Я не стала ждать — ведь иди знай, что он отправится завтра в гостиницу! — и поехала домой. Утром была занята на работе, меня постоянно куда-то вызывали, минуты на месте посидеть не пришлось, потом была встреча с вами.

— На которой вы сделали все, чтобы запутать истину.

— Да. Но он об этом не мог знать...

— Почему вы не попросили Льва Минеевича передать Виктору, что он вам очень нужен?

— Я попросила.

«Прекрасно! Это легко проверить».

— А он?

— Обещал передать. Но Виктор вернулся в тот день поздно, старик уже спал, а утром, наверное, забыл... Если бы я только знала, что у нас так мало времени! Но кто мог подумать, что вы так быстро...

— Да, я понимаю вас, — кивнул Люсин, — не приди тогда Виктор в гостиницу, вы бы успели обо всем договориться и истина никогда бы не выплыла наружу.

Она молча кивнула. Красиво очерченные нервные ноздри ее дрогнули, словно она вот-вот собиралась расплакаться.

— Я не думала, что все так серьезно... Мне казалось, что погоня за этой иконой только собьет вас с правильного пути. Иначе бы я все вам рассказала еще в тот раз, честное слово! Я-то ведь знала, что Виктор не имеет никакого отношения к этому исчезновению.

— Как иностранец познакомился с Михайловым?

— В комиссионном магазине, случайно.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Он — я имею в виду иностранца — как-то сказал мне, что очень интересуется искусством и собирает картины, бронзу и все такое. «Есть ли в Москве подобные магазины?» — спросил он. «Конечно, — сказала я, — есть». И он попросил меня сводить его в один из них в свободное от экскурсий время. Я обещала. В тот день...

— В какой?

— В понедельник... В тот понедельник у нас была только одна экскурсия, в Кремль. Сразу же после нее он подошел ко мне и напомнил о моем обещании. Мы взяли такси и поехали сначала на Горького, потом на Арбат. Только входим мы в магазин, как вижу, стоит там Виктор и рассматривает картины! Я его окликнула. Он подошел, и, естественно, пришлось их познакомить.

— И как вы это сделали?

— Очень просто! «Познакомьтесь, говорю, это мой друг, он, как и вы, интересуется искусством».

— По-русски?

— Разумеется.

— Что же дальше?

— Завязался разговор, самый общий, конечно, ничего не значащие фразы. Потом он повел Виктора к прилавку посмотреть какие-то миниатюры, а я воспользовалась случаем и удрала.

— Не прощаясь?

— Ну что вы! Извинилась, сказала, что очень тороплюсь и не хочу им мешать обстоятельно разглядеть каждую вещь. Тем более что моя миссия в сущности была окончена. Он, правда, интересовался еще антикварной мебелью. Я объяснила, что такой магазин есть неподалеку, у Бородинского моста. Но он только записал адрес и сказал, что как-нибудь заглянет туда сам, а сегодня он и так мне бесконечно обязан.

— Он произнес это все там, в магазине? При Викторе?

— Нет. Это было в такси, сразу же после улицы Горького.

— Значит, вы ушли тогда и больше с Михайловым не встречались до самого четверга?

— Да.

— На нашей последней беседе вы, между прочим, тоже отмечали интерес, проявленный иностранцем к антиквариату. Правда, тогда вы говорили, что по комиссионным он ходил один... Что вы можете сказать по поводу его исчезновения?

— Ничего.

— У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?

— Никаких!

— Что вы делали в тот самый день, перед тем как пошли в театр?

— В тот день? Я встретила на улице свою школьную подругу. Это было днем. Мы пошли в кафе-мороженое и просидели там часа два. Потом я поехала домой. Немного отдохнуть перед театром, переодеться. Вот, кажется, и все...

«Это еще ничего не доказывает. Это только подтверждает предположения. Но все же и у нее есть алиби. Железное. Из напряженного железобетона. Но не лопнет ли оно от излишнего напряжения?»

— Билеты в театр трудно было достать? — словно переводя разговор на другое, улыбнулся Люсин.

— Не очень. У нас же есть бронь.

— И кто там у вас этим занимается? Авось и на мою долю чего-нибудь перепадет? А?

— Тамара Сергеевна, — не принимая его шутливого тона, ответила она.

Но он как будто не обратил на это никакого внимания и продолжал расспрашивать о посторонних, как ей казалось, делах, все чаще сбиваясь на тон уличного приставалы, назойливый, подчеркнуто дружелюбный и вместе с тем напряженный.

— Небось подружке-то вашей, ну той, с которой в кафе сидели, тоже билетик достали?

— Нет.

— Значит, другой какой-нибудь?

— Я никому ничего не доставала! — Она даже не пыталась скрыть раздражение.

— Что же тогда получается, Женевьева Александровна? — В притворном возмущении он развел руками. — Вам пришлось сидеть в театре одной?

— Да.

— Никогда не поверю!

— Ваше дело.

— Может, скажете, что и знакомых вы там не встретили? В буфете? В фойе?

— Представьте себе.

— Не сердитесь, пожалуйста... — Он перестал улыбаться. — Не сердитесь...

«Вот за этой-то гранью и кончается их алиби. Его минуты истекают в девятнадцать часов. Михайлов ушел от старичка коллекционера именно в это время. Она была в этот час в театре, но никто этого не сможет подтвердить... И где-то в промежутке шестнадцать тире... нет, уже не девятнадцать, а икс часов пропал иностранец. Совпадение? А если нет? Если они встретились в тот вечер втроем и куда-то поехали? Но тогда почему они не запаслись алиби именно на это время? Ослепление придуманной ими версией? Крайняя наивность? Ошибка? Все бы выглядело совершенно иначе, если бы Михайлов не пришел тогда в гостиницу! Этот шахматный ход создал весьма двусмысленное положение на доске. Что это? Находка гения или случайная удача простака? Его приход свидетельствует либо о полной их непричастности, либо о какой-то ошибке, которую они допустили в игре. Могла у них быть ошибка или, скажем, помеха, исправить, устранить которую можно было только этим идиотским (или гениальным?) ходом. Черт возьми, ведь приход в гостиницу тоже своего рода алиби, и она сумела дать мне это понять. Итак, все

сводится к отрезку времени девятнадцать часов тире утро следующего дня. Если я сумею узнать, что они делали в это время, задача будет решена однозначно: либо — либо...»

— После театра вы поехали домой?

— Разумеется.

— И провели ночь дома?

— Ну знаете ли...

— Прошу вас ответить, Женевьева Александровна! Мне очень важно знать, где вы были в тот день... Во сколько закончилось представление?

— В начале десятого.

«От Таганки до Ленинского минут двадцать — двадцать пять...»

— Когда вы были дома?

— По-моему, часов в одиннадцать... Я прокатилась немного на речном трамвайчике.

— Больше вы из дому не выходили?

— Нет. Родители, бабушка и младший брат засвидетельствуют вам это. Достаточно?

— Вполне. Хватило бы и одной бабушки. Я лично, знаете ли, как-то больше предпочитаю бабушек.

«Пробел в четыре часа... А за четыре часа можно сделать очень многое... У Михайлова, вероятно, этот пробел еще больше... Лев Минеевич вряд ли годится в надежные стражи. Уж он-то завалился спать, верно, часов в десять. Откуда ему знать, когда возвратился сосед? Сосед — не дочь... Итак, если проверка подтвердит все их показания, останутся невыясненными эти четыре или пять часов. Не Бог весть какая, но все же определенность. Уже кое-что. К сожалению, сегодняшний день почти пропал. Многого не сделаешь. Остается завтрашнее утро... Для успеха операции надо, чтобы, во-первых, они не общались друг с другом, во-вторых, не передали некоторых подробностей нашей беседы родным и знакомым. Проще всего было бы их на короткое время изолировать, но...»

— Женевьева Александровна, какие мероприятия намечены у вас на завтра?

— Поездка в Царское Село. — Она несколько удивилась. — Потом...

— Во сколько поездка?

— Сразу же после завтрака.

— Вы могли бы сказаться больной и не поехать? Вас есть кому заменить?

— Наверное... Но зачем это? Почему? — Теперь она казалась не столько удивленной, сколько испуганной.

— Не в службу, а в дружбу. Так надо! Я хочу... — он доверительно понизил голос, посадить вас и Виктора Михайловича под домашний арест, — о, всего на несколько часов! — понимаете? С этого момента и до... ну, скажем, до обеда оставайтесь у себя в номере, и вторая просьба: не звоните в Москву. Понимаете? Вот все, что от вас потребуется. Согласны?

— А что мне остается делать? Ведь если не соглашусь, вы, очевидно, сумеете как-то... заставить меня согласиться?

— Ах, Женевьева Александровна! Неужели вы не можете подняться над этой альтернативой? Попробуйте взглянуть на все иными глазами! Почему бы вам в конце концов просто не помочь мне? А? Загладить вред, который принесла делу ваша неправда... Ну как? Договорились?

— Договорились. — Она слегка покраснела и неожиданно улыбнулась. — Я сделаю все, как вы скажете. Обещаю!

— Ну и прекрасно! Теперь прочитайте, правильно ли я записал ваши показания, а я позвоню потом Виктору Михайловичу.

Она внимательно прочитала протокол и подписала его. Люсин сложил бумаги в портфель и позвонил к себе в номер:

— Хочу пригласить вас к нам, Виктор Михайлович. Зайдите, пожалуйста.

Когда Михайлов пришел, Люсин еще раз объяснил им обоим, какой помощи он от них ждет.

— Сразу же после обеда вы, Женевьева Александровна, можете вернуться к своим обязанностям. Вы же Виктор Михайлович... — Люсин на минуту задумался, — тоже делайте, что хотите! — Он рассмеялся. — Можете вернуться в Москву вместе с Женевьевой Александровной. Ежели, паче чаяния, вы мне понадобитесь, я вызову вас по телефону. А сейчас, — он зачем-то взглянул на часы, — мы начнем нашу совместную операцию и разойдемся по своим номерам.

Попрощавшись с Женевьевой, они вышли в коридор и, кивнув друг другу, расстались.

Возвратясь к себе, Люсин сразу же позвонил одному из встречавших его коллег и дал самые точные инструкции.

— В случае чего сразу же поставьте меня в известность, — сказал он, заканчивая разговор. — Пожалуйста... Наконец, еще одно. Нужно разузнать в Эрмитаже, нет ли у них в хранилище так называемого мальтийского жезла... Да, запишите, пожалуйста. Мальтийский жезл — жезл великого магистра Мальтийского ордена, который был пожалован Александру Первому. Вот, кажется, и все... А я подамся до дому... Что-нибудь через часик. Только перекушу малость.

Он быстро собрал бумаги в портфель и со спокойным сердцем пошел к лифту. За соблюдением договора, заключенного в номере Женевьевы, отныне следили вполне надежные товарищи. Можно было заняться яйцами и ветчиной в крохотном белом буфете на двенадцатом этаже.

«При всех обстоятельствах я их опережу... О чем бы они ни договорились потом, это уже не будет иметь значения. Если же они попробуют... Что ж, так будет даже лучше, по крайней мере все прояснится. Я-то ведь об этом узнаю...»

Уже потом, когда с трудом втиснулся — пришлось подобрать ноги — в кресло Ту-104А, Люсин мысленно проанализировал последние события.

Пожалуй, все было правильно. Он не сделал ошибки. Теперь, когда неразгаданными оставались именно те часы, от девятнадцати до одиннадцати утра, все обретало совершенно иной смысл. Даже первоначальный след, который пока так никуда и не привел, выглядел совершенно иначе: цементные кучи, застарелая желтая вода в глиняной луже, прошлогодние ольховые листья под ногами — все это по-другому виделось в вечернем остывающем свете. Солнце кануло за темной зубчатой каймой леса. Холодные полосы тумана поползли меж стволов. Мягче сделалась окаменевшая глина, а на травы пала роса... Темная тень человека, идущего извилистой тропкой сквозь черный ольшаник, контуры веток на фоне заметной еще синевы... Все менялось в вечернем свете, даже психологические оттенки неизвестных пока поступков. Таяла определенность: дрожа, растворялась в ночи изначальная простота, которая, как правило, лежит в основе человеческой низости.

Что ж, все его действия были правильны. У обоих не было алиби именно на эти столь значимые часы. Если оба они непричастны, то исчезнет и эта зыбкая, расплывчатая определенность. Пока же он сделал все, чтобы ее сохранить. Она могла рухнуть только извне, под напором новых фактов. И он сделал все, чтобы ее не разрушили изнутри...

«Каждый раз они стремятся втиснуть в салон новый ряд кресел. — Люсин с неодобрением помянул Аэрофлот, стараясь просунуть ногу под переднее кресло. — Повернуться негде! Конечно, они добавили еще ряд или два, иначе я бы не сидел между двух иллюминаторов. Ведь иллюминатор должен быть возле каждого кресла. Недаром говорят: где начинается авиация, там кончается порядок. Особенно верно это для Аэрофлота, где так уж стремятся побольше выкачать из порочного принципа максимальной загрузки».

Как и многие моряки, Люсин недолюбливал авиацию. И, надо сказать, у него были на это причины. Кресло перед ним неожиданно опустилось и основательно стукнуло его по колену.

«О черт! Хоть бы предупредили, оглянулись бы, что ли...» Он еле вытянул ногу обратно.

— Воды не желаете? — Девушка в голубой форме чуть наклонила в его сторону поднос с пластмассовыми стаканчиками, в которых пузырились золотистая фруктовочка и бесцветная минералка.

— Нет! — сказал он, не поворачивая головы, и, морщась, потер ушибленное колено. — Спасибо, — подумав, покосился он на бортпроводницу, но она уже прошла дальше, и Люсин увидел только, как напряглись полные икры, туго обтянутые ажурными чулками пепельно-жемчужного цвета.

Он поймал себя на том, что потерял какую-то важную мысль.

«Нет, нет, как будто все правильно! — поспешил он успокоить себя. — Очень хорошо, что я позвонил Михайлову именно в самый последний момент. По-моему, он это правильно воспринял...»

Он, действительно, вернувшись в номер из буфета, чтобы забрать портфель, позвонил Михайлову.

— Виктор Михайлович! — сказал он. — Я не хотел излишне нервировать Женевьеву Александровну, но почти все, что я сказал вам раньше остается в силе. Мне нужно, чтобы вы вернулись домой. Но сделайте это по собственной инициативе, пусть это исходит от вас. Понимаете?

— Понимаю, — сразу же согласился он. — Вы правы, так будет лучше. Спасибо... Ехать сейчас?

— Нет. Завтра после обеда. Я попрошу, чтобы вам оставили в аэропорту билет. Хорошо? Как только прилетите, сразу же, никуда не заходя, приезжайте ко мне. Ладно?

Потом он позвонил Женевьеве. Попрощался. Просил передать привет мадам Локар. И как бы между прочим сказал, что посторонним совсем не обязательно знать о том, как у них — надо было понимать: у него и у нее с Виктором — идут дела. Женевьева вроде бы все поняла как надо.

— Само собой, я никому ничего не скажу, — сказала она. — И мадам Локар тоже.

Он продумал теперь каждое слово и в целом остался доволен. Можно было, конечно, избежать некоторых сложностей. Едва ли проявленная им деликатность выглядела искренней. Скорее, напротив. Но это, честно говоря, его не очень пугало. Сам-то он знал, что действовал отнюдь не по четко разработанной линии, а скорее сообразно с обстоятельствами. Но Михайлов и Женевьева никак не должны были почувствовать это, иначе он терял важное преимущество. Отсюда и сложность, пожалуй, даже с эдаким оттенком иезуитства. Она должна была замаскировать некоторые его противоречия. Как будто бы это удалось...

Бортпроводница обходила пассажиров с подносом, полным театральных конфеток. Световое табло, запрещавшее курить и приказывающее надеть привязные ремни, горело. Самолет шел на посадку.

Люсин мог теперь разглядеть девушку, что он и сделал, потому как делать было совершенно нечего, а на душе стало спокойнее.

— Не может быть! — вскрикнул он, рванулся из кресла, но ремень бросил его назад.

Она удивленно взглянула на него. А он, потеряв уже уверенность, с которой непроизвольно только что окликнул ее, и все больше смущаясь, перевел взгляд с золотых, рассыпающихся по плечам волос и полного, чуть нахмуренного лица на форменную птичку над кармашком и белое кружево блузки. Здесь уверенность, что он знает ее, покинула Люсина, и он жалко пролепетал:

— По-моему, мы с вами где-то встречались...

— В самом деле? — Она насмешливо склонила голову набок, продолжая при этом раздавать конфеты.

— Вроде бы... — виновато и вместе с тем обезоруживающе улыбнулся Люсин. — Помните, у Березовского? Вы еще были тогда с Геной Бурминым...

Прищурившись, она пристально посмотрела на Люсина, словно только что впервые увидела его и он чем-то ее заинтересовал.

— Ах, это вы, Мегрэ! — вдруг узнала она и засмеялась, так что стали видны и великолепные зубы ее, и дальние боковые коронки. Но тут же спохватилась и сконфуженно оглянулась вокруг.

— Ага, я! — кивнул Люсин и даже достал в доказательство свою знаменитую трубку — традиционный атрибут насмешек и дружеских шуток — Здравствуйте, Маша.

— Здравствуйте! Одну минуту.

Он сидел почти в самом конце, и она, быстро обеспечив конфетками оставшихся пассажиров, возвратилась к нему. Он сделал попытку встать, но она ласково его удержала и склонилась над ним. Волосы ее тяжело упали вниз и затенили лицо. Глаза поэтому сделались темными и большими.

— Вот уж никак не ожидал встретить вас здесь! — сказал он.

— Это почему же?

— Но вы же... кажется, врач?

— Ну и что?

— Как — ну и что?

— А вот так: «ну и что?»! — передразнила она, по-детски кривя полные яркие губы. — Я же не простой врач, а аэрофлотский. Понятно?

— Ах вот как! А я не знал... Да, но почему вы... — Он сделал вид, будто в руках у него поднос.

— Ну, это!.. — опять рассмеялась она. — Я часы налетываю! Что ж мне в кабине, сложа руки, сидеть?

Самолет тряхнуло, и Люсин ощутил, как что-то внутри него отжалось книзу.

— Ну вот, на посадку идем, — сказала она и распрямилась. — Минут через десять сядем. Мне пора идти объявлять... В Москве, знаете ли, непогода. Дождь. До свидания. Увидимся!

— Обязательно! — крикнул он вдогонку, а уши уже заложило и потрескивало в барабанных перепонках.

Утро следующего дня началось с докладов временно прикомандированных к Люсину сотрудников. Первым сообщение сделал Данелия:

— Понимаешь, парикмахер сразу же его опознал! Только глянул на фотографию, так и опознал! «Знаю, говорит, брил я его, как сейчас помню, во вторник вечером». — «Во сколько, говорю, это было? Точно можете указать?» — «Точно, говорит, не помню. Часов, наверное, в семь или восемь». Я тут же...

— Погоди, Гоги, не горячись, — остановил его Люсин. — Какую карточку он опознал?

«Надо же, такая удача, и тут же досадное невезение! Легко сказать «семь-восемь»! Ну почему не пять-шесть? Или восемь-девять? Так нет же: «семь-восемь»! Это же пограничная зона! Тут нельзя «семь-восемь»! Или семь, или восемь! От этого многое зависит. Семь — один вариант, восемь — другой...»

— Вот эту! — сказал Данелия, отыскав нужный снимок. — Без усов и без бороды. Понимаешь? Без усов и без бороды! Усы фальшивые, значит. Улавливаешь? И знаешь, зачем он приклеивал себе усы?

— Чтобы на тебя походить, — буркнул Люсин.

— Э-э! — покачал головой Данелия. — Чтобы на меня походить! Как же, держи карман шире! Шрам у него на верхней губе. Понял? Большой, уродливый шрам изогнутой формы начинается сразу под носом и спускается к уголкам рта. А ты говоришь, чтобы на меня походить! — Он ткнул себя в грудь большим пальцем. — Но все же ты молодец! Предвидел, что усы у него могут оказаться фальшивыми. Шрам только не предвидел.

— Это парикмахер про шрам рассказал?

— Кто же еще? Конечно, парикмахер! Такой боевой лысый старик. Все помнит: и как одет был, и как от одеколона отказался.

«Еще бы не отказаться! «Полетом», что ли, ему освежаться или «Шипром»!

— Все помнит, а время точно сказать не может.

— Не может! — вздохнул Данелия. — Никак не может, говорит, что уже вечер был, но светло еще, часов семь-восемь.

— Где эта парикмахерская, Гоги?

— Тридцать шестой километр, дорогой! Там от шоссе поворот идет к таким воротам. Сразу за ними длинный такой трехэтажный дом из кирпича. Овощной магазин, почтовое отделение «Ватутинки-один», парикмахерская — все в одном доме! Очень удобно. Я на радостях, знаешь, бо-ольшой арбуз купил! Вот такой. — Он изобразил руками окружность. — Но зеленый оказался, как трава... Шесть парикмахерских обошел, эта седьмая была. Ватутинки.

«Тридцать шестой километр. Тридцать шестой километр!» — мысленно повторил Люсин.

— Милиция в тот раз что, эту парикмахерскую пропустила? — спросил он.

— Зачем пропустила? Просто этот замечательный парикмахер в другую смену работал. Понимаешь?

«Действительно, все очень просто. Куда только деться нам от этой простоты!»

— Значит, они просто опросили парикмахеров, не удосужившись даже поинтересоваться, кто именно работал в тот день?

«И из-за таких вот штучек проваливаются порой большие операции! Ну что ты будешь делать...»

— Чего не знаю, того не знаю! Да и что толку? В тот раз ведь у них только одно фото было — с усами. Могли и не опознать... Хотя, я думаю, мой парикмахер все равно бы его узнал, даже с усами. Он так и сказал мне.

— О чем говорил с парикмахером клиент?

— Молчал, к сожалению. Велел побрить, освежиться не захотел, дал рубль на чай и ушел. Вот все сведения.

— Все равно богатые сведения, Георгий. Спасибо тебе... Придется взять эти Ватутинки на заметку, как ты думаешь?

Данелия улыбнулся и молча развел руками.

Все было ясно...

Потом докладывал Светловидов:

— Посетил комиссионные магазины, где продаются украшения и предметы искусства. Был на Арбате, улице Горького, Комсомольском проспекте и на Беговой. Встретился со всеми продавцами, которые работали в прошлый вторник. Ни один из них не опознал.

— А ведь он был и на Горького, и на Арбате! Причем именно во вторник.

— Знаю, — кивнул Светловидов. — Но не опознали. Народу, говорят, много проходит, каждого не упомнишь.

— Верно, конечно, — вздохнул Люсин.

— Ага, верно, — подтвердил Светловидов. — Еще у нас ведь, знаете, продавец и не смотрит на покупателя. Не замечает. Будто никто перед прилавком и не стоит. Ждешь иногда, ждешь, да так и уходишь... Разве их дозовешься?

— Точное наблюдение, — вежливо прервал обычно молчаливого Светловидова Люсин. — Значит, не опознали...

— Я не докончил, простите... Посетил я еще магазин старой мебели у Бородинского моста. Там старший продавец, товарищ Васильев Н. Н., опознал вот эту фотографию. — Светловидов побарабанил указательным пальцем по глянцевитой поверхности снимка, на котором был запечатлен вариант «без бороды, но с усами» — дежурный, так сказать, облик. Везение продолжалось. — Иностранец — продавец Васильев принял его за русского — проявил интерес к старинным сундукам. Просил подобрать ему за неделю — он сказался иногородним, из Баку, — сундук под черное дерево, все равно какой, лишь бы побольше да постарее.

«На кой ляд ему этот сундук? Или у них мода теперь такая пошла?.. Кто-то говорил мне, что в Европе очень ценятся крестьянские лапти, деревянные прялки всевозможные... Отчего бы и не сундук?»

— ...дал ему десятку в виде аванса, — все так же монотонно и обстоятельно тянул Светловидов, — обещал, как следует, отблагодарить.

— Ну и как? Подобрал ему товарищ Васильев Н. Н. сундук?

— Пока еще нет. Нечасто встречается. Я интересовался.

— Когда он был у них?

— Кто, сундук?

— Иностранец.

— В понедельник вечером и во вторник после перерыва.

«Ого, какая прыть! Видно, очень нужен ему этот сундук... Значит, во вторник днем он был в мебельном...»

— Видать, очень нужен ему этот сундук! — телепатически воспринял Светловидов. — Во вторник он опять Васильеву про него втолковывал, торопил очень, поскольку, значит, приезжий... Большой магарыч сулил.

— Это все?

— Других сведений у меня нет.

— И на том спасибо, товарищ Светловидов. Очень вы мне помогли.

Шуляк, получивший задание опекать Льва Минеевича, естественно, не мог похвастаться особыми новостями. Он только сообщил, что Михайлов на квартире не появлялся, а старик сосед ходил в гастроном за кефиром, после чего посетил старуху пенсионерку, которая жила в доме неподалеку, на улице Алексея Толстого. Лев Минеевич пробыл там часа полтора, погулял немного и возвратился домой. Судя по всему, эти действия в прямой причинной связи с Михайловым не состояли...

Сам же Михайлов должен был вскоре приземлиться в аэропорту Шереметьево. Салюта наций и почетного караула по этому поводу, понятно, не предвиделось.

Пора было идти на доклад к начальству.

— Есть новости? — сразу же, как только Люсин вошел, спросил генерал.

— Так точно. — Люсин подошел к столу и, став сбоку от генерала, раскрыл перед ним папку. Это донесение Данелии, товарищ генерал. Оно полностью подтверждает первоначальные выводы относительно Старокалужской дороги. Мосье Свиньин за короткое время пребывания в Москве был в том районе минимум два раза. Сейчас удалось точно локализовать место: тридцать шестой километр, Ватутинки.

— Секретных объектов там ведь, кажется, нет?

— Так точно, нет.

— Значит, здесь другое...

— По всей видимости, товарищ генерал. Очевидно, визиты на тридцать шестой связаны с какими-то розысками. Я вам об этом уже докладывал.

— Да, я знаю... Что еще?

— Еще один любопытный штрих. Удалось подтвердить предположения, которые возникли после химэкспертизы. Он действительно прибегал к маскировке. Усы фальшивые. Ватутинский парикмахер, опознавший Свиньина по фотографии, подтвердил, что тот приходил к нему без усов. Кстати, на верхней губе у него большой шрам.

— Шрам? Это любопытно. Тогда усы могут нести еще одну нагрузку — косметическую. Естественно, отправляясь к парикмахеру, он должен был их снять. Глаз профессионала сразу ведь различит, что они фальшивые... Очень интересно! Молодцы, ребята! Хвалю... Что еще?

— Пока все. Остальное еще требует проверки. Но антикварная версия как будто бы подтверждается по всем пунктам... Пока. Особый интерес он проявил к мебельному магазину. Ему зачем-то нужен старый деревянный сундук. Возможно, что по этому поводу он обращался и к частным лицам.

— А там, в Ватутинках этих, случайно, нет какого-нибудь старого сундучника или кого-то в этом роде?

— Очень возможно. Выясняется... Страсти улеглись? — Люсин кивнул на раскрытое досье с газетными вырезками. — Заметок вроде сегодня поменьше?

— «За-аметок»! — передразнил его генерал. — Это у нас в стенгазете заметки... Ну конечно! — Он усмехнулся. — Вы же у нас редактор.

— Заместитель, — уточнил Люсин.

— Нет, товарищ Люсин, страсти не улеглись. Просто кратковременное затишье... Правительственный официоз дал несколько строк по поводу личности этого «туриста». Это вода на нашу с вами мельницу. Серьезные органы после этого вряд ли станут раздувать пламя, им шумиха теперь не к лицу. Зато ультра подымут вой, что в России тайно арестован сын белоэмигранта, сотрудничавший с немцами.

— Этому многие поверят. Звучит-то правдоподобно.

— Ничего. К такому мы уже давно привыкли. Не испугаешь. Главное, что провокационная кампания в прессе явно сорвалась. Тут надо отдать должное этой заметке. — Генерал щелкнул пальцем по вырезке из официоза.

— Заметке? — с невинным видом переспросил Люсин.

— А? — Генерал озадаченно посмотрел на него и вдруг рассмеялся. — Ладно, один — один... Между прочим, у меня был утром сотрудник консульского отдела. Вы, кажется, с ним знакомы?

— Да. Он присутствовал при осмотре вещей в гостинице.

— Знаю, — кивнул генерал. — Он производит хорошее впечатление. Прекрасно понимает, что за тип этот Свиньин, но дело есть дело... Теперь, после раскрытия этого маскарада с усами, они вряд ли станут нас особенно торопить. Совершенно ясно же, что тут нечисто... Так вот, он осведомился о вашем здоровье, тепло отзывался о вас и просил передать, что тот аметистовый перстень епископский и, безусловно, не принадлежит Свиньину — у того пальцы толще. Откуда этому очаровательному дипломату известно, что вы заинтересовались колечком?

— Не так-то он прост, — буркнул Люсин. — Его поведение при осмотре заставило меня насторожиться. Боюсь, что все его очарование, великосветские манеры, так сказать, только маска. Под его доброжелательной незаинтересованностью и внешним безразличием на самом деле скрывается пристальное внимание... Возможно, он тоже, пусть косвенно, участвует в этой игре.

— Вот как?.. Хорошо. У вас все, товарищ Люсин?

— Все. Разрешите идти?

— Пожалуйста. — Генерал привстал и протянул ему руку. — Вы хорошо поработали. Продолжайте в том же духе. У нас с вами ничего не меняется. Дело нужно кончать.

Глава 10

БЕДА

Вера Фабиановна была серьезно больна. Льва Минеевича поразил витавший по квартире горьковатый больничный запах. Он чувствовался в кухне, где на засаленной четырехконфорочной плите кипели какие-то кастрюльки и зеркальные коробочки со шприцами, в комнате же больной — там хлопотала сиделка в белом халате — даже пощипывало глаза.

Но беспокойство Лев Минеевич ощутил еще раньше, во дворе.

Как стремительно нарастали тревожные признаки... Лев Минеевич по привычке хотел было заглянуть в окно... Но у кого он мог одолжить скамеечку? Полная дама с вязаньем сидела, очевидно, дома или ушла на рынок. Вообще двор был пуст, хотя день стоял жаркий и душный. Лев Минеевич отступил назад и, встав на цыпочки, попытался все же разглядеть, что происходит за кружевной занавесью. Но что он мог увидеть сквозь узорчатые дырочки? Темноту? Что же тогда поразило и даже слегка взволновало его? Он не увидел на подоконнике кошек...

Впрочем, можно ли считать все это предвестьем тревоги? Вряд ли... Просто Лев Минеевич вошел в подъезд, мучимый сомнениями: Верочки могло не оказаться дома.

Но когда на его стук дверь открыла незнакомая женщина в белом халате, открыла, не спросив, он сразу понял, что случилось неладное.

— В чем дело? — шепотом спросил он сиделку.

Но та только приложила палец к губам и провела его в кухню, где колыхались в струях пара подвешенные над плитой какие-то белые тряпки. Тут-то и уловил Лев Минеевич специфический этот запах лекарств не лекарств, карболки не карболки, а грозной какой-то беды. Сердце сразу защемило, а глаза и ноздри как бы учуяли накат слез, словно вдохнул Лев Минеевич лютый дух свеженарезанного лука.

— В чем дело? — Он едва шевелил посеревшими от волнения губами.

— Вы кто будете этой гражданочке? — Сиделка повела головой в сторону темневшего за кухонной дверью коридора. — Не родственник?

— Приятель я ей, близкий, можно сказать, друг. А что случилось?

— Случилось, — вытянув губы, энергично кивнула она, и белый треугольник косынки взметнулся и тотчас опал, как флаг капитуляции. — То и случилось, что инсульт у нее, удар, значит.

— Как же так? — Лев Минеевич выбросил вперед раскрытые ладони и завертелся на одном месте. — Как же так?

Кого он спрашивал? Пожилую сиделку? Бога? Окутанные горьким паром никелированные бачки?

— Очень даже просто. Сосудик в мозгу лопнул, и готово! — охотно объяснила словоохотливая сиделка и со знанием дела добавила. — Видать, давление подскочило или там протромбин.

— Это опасно?

— Еще бы не опасно! — Она даже улыбнулась наивности маленького старичка и, видимо, решив, что в отличие от близких родственников друзей щадить нечего, любезно добавила. — Исключительно опасно! Положение очень даже серьезное. У-гро-жающее!

«Вот оно как!» Едва сдерживая слезы, Лев Минеевич глубоко и шумно вдохнул через нос.

— Но она... не умрет? Нет? — Голос его сорвался.

— И-и, милый! Кто же это знает? Только врач сказывал, — она вновь заговорила шепотом, — случай очень тяжелый. Так-то... Может, и помрет. — Но глянув на оцепеневшего от горя старичка, она сжалилась. — А ежели выздоровеет, то, Бог даст, может, и не помрет.

— Когда это случилось?

— А я почем знаю? Меня дежурить сюда прислали, а что да как, не сказывали. Инсульт кон-ста-тировали тяжелый, полный почти паралич.

— Паралич! — схватился за голову Лев Минеевич.

— Ага. Раз инсульт, так, стало быть, паралич. Так что я ничего тут не знаю. Я здесь с двух часов.

Сиделка, простая душа, говорила правду. Ее прислал врач «неотложной помощи» подежурить у постели тяжелой больной и сделать ей необходимые вливания. Он поступил так на свой страх и риск, ибо не должен был да и не имел на то права — ради одного больного посылать медсестру, которую практически не мог заменить. Тем более что был он уверен в скором конце. Впрочем, может быть, именно поэтому и послал он Пелагею Кузьминичну, опытную сестру с тридцатилетним стажем, к умирающей одинокой старухе.

«Неотложку» вызвала Эльвира Васильевна — соседка по квартире. Торопясь на работу, вышла она утром в кухню вскипятить чайничек, но не нашла спичек. Пошарила на деревянной полочке возле плиты, заглянула в шкафчик: сначала — в свой, потом — в соседский, но спичек не обнаружила.

Тогда она осторожно, чтобы не разбудить, постучала в дверь Веры Фабиановны. Никто не отозвался. Она постучала сильнее, но опять соседка не откликнулась на ее стук.

Эльвира Васильевна в досаде пожала плечами, на всякий случай стукнула в дверь кулаком и при этом случайно отворила ее.

«Как? Вера Фабиановна ушла, не заперев комнату? Нет, этого просто не может быть», — подумала Эльвира Васильевна и, решительно откинув загремевшую бамбуковую занавесь, вошла. И тут же в ужасе закричала.

Вера Фабиановна лежала на полу, неестественно заломив под голову левую руку, в правой она крепко сжимала старинный черепаховый лорнет. Один глаз ее был прищурен, а другой широко и

страшно открыт. Не мигая, пристально глядел он на окаменевшую Эльвиру Васильевну.

Кто может сказать теперь, как долго длилась эта немая сцена? Эльвире Васильевне показалось, что прошла чуть ли не вечность. Но, скорее всего, она сразу же кинулась прочь и, как была, в скромном халатике и бигуди, понеслась к соседям на второй этаж.

Что было потом? А все, что бывает в подобных случаях. Побежали вниз всем скопом, а потом, уже по одному, вошли в комнату. Убедились. Затем, присев на корточки, по очереди пощупали отсутствующий пульс, приложили зеркальце к губам, спорили — запотело оно или нет? Наконец сошлись на том, что старуха, возможно, все же еще жива, хотя находится в глубоком обмороке, и вызвали «неотложку».

Врач, таким образом, застал больную лежащей на полу. В спорах и хлопотах никто почему-то не догадался перенести Веру Фабиановну на кровать. Возможно, по той простой причине, что в глубине души каждый считал ее мертвой, а в этом случае до прихода официальных лиц лучше оставить все, как есть. Но, может, это и к лучшему, потому как, перенеся больного на кровать, состояние его вряд ли улучшишь, навредить же можно всегда.

Одним словом, когда молодой, симпатичный врач с чемоданчиком в руке и болтающимся на груди стетоскопом вбежал в развевающемся халате в комнату больной, он застал ее лежащей на полу в неестественной позе, с лорнетом в руке. Все говорило за то, что недуг захватил Веру Фабиановну врасплох.

На столе стояли две чашки с сухими чаинками и слипшимися корочками сахара на высохшем дне, остывший чайник, банка с вареньем, над которой кружились мухи, почти опорожненная бутылка водки и тарелка с любительская колбасой, тронутой уже увяданием. Скорее всего, это были остатки вчерашнего пиршества. Остается только удивляться, как это кошки не сожрали за ночь колбасу подчистую. Но, очевидно, столь велика была власть повелительницы, что, даже недвижимая, она по-прежнему внушала любовь и страх.

Пользуясь всеобщей суматохой, кошки разбрелись по квартире или даже, проскользнув в наружную дверь, отправились погулять по крышам. Только Моя египетская неподвижно застыла в головах у бедной хозяйки. Она словно несла почетный караул, подобно тем замечательным кошкам, которые, если верить молве, образовали живой нимб вокруг почившего в бозе господина Пуркуа, батюшки Веры Фабиановны.

Но уместны ли здесь такие слова, как «почетный караул»? И суть не в том, что они кощунственно, как скажут иные, отнесены к кошкам. Нет, ибо животные — наши друзья. Дело совершенно в другом. Ведь никто, в том числе и красавец врач с чемоданчиком, не сказал, что Веры Фабиановны больше нет с нами. Никто! При чем же здесь почетный караул? К счастью, ни при чем, и автор сознается, что увлекся и совершил ошибку. Жизнь еще теплилась в этом распростертом посреди комнаты теле. Врач быстро определил это. Остается объяснить только, почему он сначала столь внима-

тельно осмотрел стол и только потом занялся больной. Пусть это не кажется странным.

Во-первых, он, человек еще молодой и чуткий, находился под впечатлением предыдущего вызова — ночного. Это был в самом деле необычный случай. Целая семья отравилась деревенским самогоном из свеклы. Выпивка состоялась по случаю праздника Троицы, когда старушки покупают на базаре зеленые ветки, чтобы разбросать их потом по полу. Там, куда вызвали «неотложку», тоже валялись под ногами съежившиеся за день листья. Но старушки среди жертв суеверия не было. Старушка как раз осталась невредимой, поскольку и в рот не брала проклятого зелья. Именно она-то и вызвала врача! Перепились, увы, несознательные лица более молодого возраста. Всем им сделали уколы и увезли в больницу. В данный момент их состояние уже не внушало опасений. Так что дело вовсе не в этом, надо сказать, редкостном случае, а лишь в том впечатлении, которое произвел он на молодого доктора.

Понятно теперь, почему он не сразу склонился над бедной Верой Фабиановной, а сперва внимательно изучил все, что было на столе, благо там стояла бутылка из-под водки. Врач понюхал колбасу; она хоть увяла и заветрилась, но была свежей, так что острое отравление — ботулизм — казалось маловероятным.

Да, врач не знал Веры Фабиановны, а соседи не смогли сообщить ему сколько-нибудь ценных сведений, поэтому он мог предполагать все, что угодно: отравление, сердечный приступ, глубокий обморок, одним словом, все. Итак, если не ботулизм, то, быть может, водка? Но на столе были две рюмки, а поллитра на двоих — это еще не смертельно. Правда, бутылка была скорее 0,7, чем 0,5, но что-то в ней еще оставалось, граммов этак сто пятьдесят. Притом это была изумительная экспортная водка из отборной пшеницы, а не мутный, как сыворотка, свекольный самогон. По личному, хотя и весьма скромному опыту — он лишь однажды пробовал эту исключительную водку, которую фирма-изготовитель рекомендовала перед употреблением охладить, — доктор знал, что от этой штуки не заболеешь.

Отравление, таким образом, исключалось. Вид стола и состояние постели — софа была убрана и застлана шотландским пледом цветов клана Мак-Грегоров — свидетельствовали о том, что Вера Фабиановна не ложилась. А поскольку Эльвира Васильевна вспомнила, что вчера в девятом часу вечера к ней пришел какой-то гость — лично она его не видела, но слышала грубый мужской голос и шум, как будто волокли тяжелый ящик, — легко было заключить, что несчастье случилось вчера, поздно вечером. Если это сердечный приступ, то драгоценное время было безнадежно упущено.

Как видите, врачу тоже подчас приходится становиться следователем.

Молодой доктор присел возле Веры Фабиановны и раскрыл чемоданчик, в котором в многочисленных гнездах покоились всякие ампулы, лежала коробка с уже прокипяченным шприцем, аппарат для измерения кровяного давления, какие-то блестящие пинцеты,

тюбики с лекарствами, бинты и вата — все (точнее, почти все, так как существуют еще реанимационные установки), что нужно для спасения человеческой жизни. Если, конечно, не упущено время. Но время как раз и было упущено.

Эльвира Васильевна, увы, рано ложилась спать, и поэтому даже случайно она не могла бы зайти в эту комнату вчера. Если Вера Фабиановна и звала на помощь, соседка все равно бы ее не услышала. Ведь даже какой-то грохот и тяжелый скрип, которые почудились сквозь сон, не разбудили ее. Утром она забыла об этом, а сейчас вспомнила и укоряла себя.

Как-то Вера Фабиановна рассказывала ей о спиритических явлениях, в том числе и о характерных стуках, которые производят беспокойные духи. Что, если душа умирающей Веры Фабиановны стучала и звала этой ночью? Но Эльвира Васильевна, хотя и находилась под длительным влиянием соседки, которую иначе как ведьмой, конечно, за глаза, не называли, была женщиной современной. Она быстро прогнала мысль о потусторонних явлениях, но раскаяние (в каких грехах?), но какая-то смутная тревога и неуверенность все же остались.

Поколдовав над Верой Фабиановной — он выслушивал ее и через стетоскоп, и непосредственно приложив ухо к груди, мерил давление, щупал пульс и лоб, колол иголками в руки и ноги, оттягивал веки и прочее, — врач сделал укрепляющий укол и стал собирать чемоданчик. Он определил двусторонний паралич и решил, что старуха на этом свете уже не жилец.

Потом он уехал в кремовой «Волге» с красным крестом на другой вызов. Припудрив лицо и подкрасив чуть заплаканные глаза, ушла с опозданием на работу Эльвира Васильевна. Бедная старуха осталась одна. Ее, правда, перенесли и бережно уложили на софу. Только грациозный черный зверь остался на страже. Бесшумно прыгнув вслед за хозяйкой, Моя египетская в позе сфинкса улеглась на разноцветные квадраты клана Мак-Грегоров и замерла, как изваяние. Кто-то попытался ее согнать, но она молча ударила, не выпуская, однако, когтей, обидчика по руке. Ее оставили в покое.

Потом — это было еще до прихода сиделки — в комнату, со скрипом отворив дверь, вернулся с гулянки здоровенный котище Леонид. Черной тенью метнулась навстречу ему Моя египетская и молниеносно ударила его по наглой морде. Леонид сморщил нос и, собрав щеки в яростные складки, обнажил клыки. Но черная кошка не испугалась и продолжала теснить его. Он попятился, собрался в комок для прыжка и нетерпеливо забил хвостом, но вдруг повернулся и пустился в постыдное бегство. Моя египетская все так же бесшумно возвратилась на свое место. Только когда пришла сиделка (Эльвира Васильевна оставила для нее ключи у соседей), священное животное, словно сдавая дежурство, покинуло свой пост.

Вот как обстояли дела до прихода Льва Минеевича. Надо сказать, паршиво они обстояли...

Насмерть перепуганный добродушной хлопотуньей-сиделкой, вошел он к больной. Она, казалось, безмятежно спала. Но только Лев Минеевич наклонился над ней, глаза ее раскрылись. Они смотрели с какой-то невыразимой мукой и вместе с тем строго, обвиняюще смотрели на него эти глаза, такие близкие, такие знакомые...

«Видишь, что со мной? Видишь? Я даже говорить и то не могу! Даже пожаловаться, насколько мне плохо, и то нельзя. А мне ведь очень плохо! Очень-очень... Что же ты молчишь, остолоп? Отчего стоишь, как пень? Неужели ты не видишь, что со мной? Ты должен кричать, бить во все колокола, созвать сюда самых лучших докторов, а ты стоишь и ничего не делаешь, и пользы от тебя, как от козла — молока».

Это хотела сказать своему бедному другу Верочка? Кто знает...

— Как вы себя чувствуете, Верочка? — робко спросил он.

Ее глаза остались такими же, как и в дни юности, а красные жилки да скользкая желтизна на белках нисколько не портили их. Но они молчали, эти переполненные мукой глаза.

— Вам нисколечко не лучше? — тщетно продолжал расспрашивать Лев Минеевич. — А где у вас болит?

Он чувствовал себя преотвратно. Чуть улегшееся волнение сгустилось в гнетущий чугунный шар, а страх все холодил ему спину, готовый каждую минуту вырваться на волю и схватить цепкой костлявой рукой за горло. И еще: под молчаливым и требовательным взглядом этим он почувствовал себя виноватым. В чем? Он даже не пытался себя об этом спросить.

— Ничего-ничего... Все скоро пройдет... И доктор так говорил, что ничего опасного нет, — фальшиво лепетал Лев Минеевич, потирая горячие, потные руки. — Надо только немножечко полежать, совсем немножечко...

Он старался больше не встречаться с ней глазами. Но колдовской — словно и впрямь была на ней какая-то мана[1] — взгляд ее гипнотизировал его.

— Вам что-нибудь надо, Верочка? — Он был просто вынужден посмотреть ей в глаза. — Может быть, попить дать? Или сиделку позвать? Она сейчас в кухне. Погодите, я покличу ее. — Он, крадучись, метнулся к двери, будто собирался спастись бегством, но она остановила и заставила его обернуться.

Когда они вновь встретились взглядом, ее глаза, как бы закрепляя успех, пристально задержались на нем, а потом чуть передвинулись, сохраняя все то же требовательное и сосредоточенное выражение. Лицо при этом не шелохнулось.

Чего же хотела она? Лев Минеевич попробовал проследить, куда направлены сейчас ее расширенные мукой зрачки. Он повернул голову, скользнув взглядом по тумбочке, японской ширме, покрытой черным лаком, в который были врезаны перламутровые пластинки, составлявшие сложный замысловатый узор, и вдруг его

[1] Мана — причастность к сверхъестественному.

глаза остановились на сложенном гобелене, к которому пристали клочки свалявшейся кошачьей шерсти. Именно сюда и смотрела она! Он сперва ничего не понял, глаза его забегали, он хотел обернуться, как вдруг страх, холодивший спину, вырвался на волю. Так и есть! Горло перехватило, сердце застучало, как пневматический молот, и горячая, расслабляющая усталость разлилась по всему телу. Сразу же стали противно подкашиваться ноги. Он бы упал, наверное, если бы нашел в себе силы оторвать взгляд от гобелена. Но в том-то и беда, что все силы разом ушли.

И все дело было только в том, что гобелен валялся на полу. А раньше? О могли ли быть тут хоть какие-то сомнения? Раньше этот сложенный вчетверо гобелен покрывал э т о!

«Видишь теперь? Ах, какой ты неповоротливый, какой тугодум. Как поздно все до тебя доходит! Но сейчас-то ты видишь?! У меня больше нет этого! Это уже не стоит здесь, на своем месте. Теперь ты понимаешь, почему я умираю?»

— Его больше нет?! — задыхаясь, спросил он. — Вы это хотели сказать, Верочка?

Он сказал это, будто отвечал на ее невысказанные слова. И она поняла его, потому что и он — теперь это было ясно ему — ее правильно понял. «Да, его больше здесь нет», — сказали ее глаза, но губы не шевельнулись, лишь едва уловимая судорога промелькнула по подбородку, как отсвет улетевшей грозы.

Лев Минеевич лунатически нашарил стул и тихо сел. Теперь все стало понятно. Веру Фабиановну ограбили и почти убили. Очевидно, ее сильно ударили по голове, отчего и проистек паралич, протромбин же и высокое кровяное давление были здесь ни при чем. Вера Фабиановна никогда особенно не жаловалась на здоровье. И вот лежит она, умирающая жертва ограбления, и не может даже сказать о своей беде. Он так понимал, так жалел ее в эту минуту! Сами собой полились из глаз бесшумные старческие слезы. Он плакал совершенно молча, но его добродушное личико сминалось и корчилось, как от неудержимого смеха.

У Веры Фабиановны похитили это! Самую ценную вещь в ее доме, давным-давно превращенном в лавку драгоценностей. Ее можно было и не бить по голове (чем? Конечно, обухом топора!) — сам факт похищения сразил бы бедняжку столь же успешно.

Лев Минеевич подумал, что вместе с этим могли пропасть и другие ценности, в том числе, конечно, и врубелевский набросок. Он скосил глаза на пузатый комод, в котором, как он знал, хранился предмет его вожделений, но тут же устыдился низости этой невольной мысли. Под неподвижным и, конечно, всевидящим взглядом умирающей это было даже как-то подло.

Лев Минеевич по-детски растер кулачком подсыхающие слезы, высморкался в застиранный батистовый платочек. Он овладел собой, как и положено настоящему мужчине.

— Верочка. Я обещаю, нет, я клянусь, что верну вам это! — мужественно провозгласил он, стараясь прогнать витавшего перед

внутренним оком карандашного демона. — Вы еще не знаете. Вы многого еще не знаете! Вчера, когда я забегал к вам, чтобы рассказать об этом, вы были заняты, готовились принять гостей. — Лев Минеевич покосился на экспортную бутылку с зеленой завинчивающейся пробкой: «Вот они, ваши гости! По темечку топором...» — Потому и не знаете вы, хотя и раскладывали на меня, что у незаметного Льва Минеевича есть теперь рука. Да-с! И не где-нибудь, а в самом нужном для вас учреждении.

Далее он понес какую-то околесицу насчет благородного короля пик и пограничных собак, но вовремя спохватился и даже застеснялся собственных слов, когда дошел до того, что сказал:

— Вы можете быть совершенно спокойны, ибо добро всегда побеждает зло!

Бедная Вера Фабиановна никак не прореагировала на страстный монолог верного поклонника.

Раздвинув плечом бамбуки, в комнату спринтерским шагом вошла сиделка, неся на вытянутых руках полотенце, в которое был завернут горячий стерилизатор.

— Очистите-ка мне здесь! — скомандовала она, кивнув на стол.

Лев Минеевич сорвался с места, но вдруг как бы осекся и, наклонившись к столу, простер над ним руки, словно наседка, защищающая яйца.

— Нет! Ни в коем случае! Пусть все остается как есть! Это очень важно. Многое мне здесь не ясно. — Он выпрямился и погрозил кому-то пальцем. — Я вам лучше табуретку организую.

Он сбегал в кухню и принес облупленную табуретку. Застелив ее выхваченным где-то куском марли, соорудил у изголовья Веры Фабиановны нечто вроде больничной тумбочки.

Сиделка раскрыла полотенце, исходившее, как компресс в парикмахерской, сухим, горячим паром. Ловко выхватила из стерилизатора затуманенный шприц и вогнала в него неподатливый от нагрева поршень.

— Вы еще побудете? — спросил ее Лев Минеевич.

— До конца работы побуду, часов до семи, а там уж, как знаете... — певуче ответила она, с хрустом сломав наконечник ампулы.

— Вот и хорошо! — заторопился Лев Минеевич. — Вот и хорошо... Я тут сбегаю кое-куда... Время больно дорого, а промедление смерти подобно. Но я скоро вернусь и подменю вас.

Сиделка равнодушно двинула плечом и резко всадила иглу в бессильную, вялую руку больной.

— Только на столе прошу до моего возвращения ничего не трогать! — распорядился, уходя, Лев Минеевич, и бамбуки, гремя, закачались за ним.

Все было ему совершенно ясно. Он едва сдерживал нетерпение, готовый в любую минуту кинуться бегом. Никогда не ощущал он уникальности и невозвратимости каждого мига, и никогда изученный до полной неразличимости домов и предметов путь от Вероч-

киной улицы до родной Малой Бронной не казался ему таким длинным.

На улице продавали с лотков цветную капусту и болгарский виноград. Поливная машина безуспешно пыталась остудить раскаленный асфальт. Черная блестящая полоса за ней светлела прямо на глазах, невидимым паром улетая в пыльное жаркое небо.

Ничего существенного не происходило на улице, поэтому немудрено, что Лев Минеевич не заметил ни винограда, которого никогда не покупал, ни машины, которая его совершенно не интересовала.

Глава 11

ГЕРЦОГ-КАРДИНАЛ

Арман Дюплесси де Ришелье зябко поежился и вытянул ноги поближе к каминной решетке. Буковые поленья уже рассыпались на тлеющие угли и давали ровное, убаюкивающее тепло. Старинное кресло с высокой спинкой и широкими, смягченными атласными подушками подлокотниками навевало дремоту. Высокие стрельчатые окна потемнели и превратились в синие зеркала, за которыми уже едва угадывались очертания веток.

Большой зал, где герцог-кардинал предавался приятной грусти вечерних часов, только что опустел. Писцы, которые сидели вокруг овального стола, заваленного ворохом книг и бумаг, чинно вытерли свои перья, отдали почтительный поклон креслу у камина и отправились по домам. Дежурные пажи ушли в свою каморку, отделенную от кабинета фламандским гобеленом.

Камин догорал. Красноватый отсвет его сумрачно дрожал в застекленной черноте книжных шкафов, горячо и суетливо теплился на золоченой бронзе канделябров. Великий человек тронул колокольчик. Возник длинноногий паж в зеленых чулках и по знаку кардинала зажег свечи.

Ришелье блаженно потянулся, стряхнул с атласного шлафрока вылетевшую из камина снежинку пепла, поправил красную крохотную ермолку и глянул в венецианское зеркало. Его редкие белесые волосы явно требовали завивки, да и миниатюрную седую бородку не мешало немного подправить. Придется отдать завтрашнее утро куаферу[1]. Как-никак, а вечером парижский парламент дает ежегодный бал

Лицо кардинала нахмурилось, уголки узких губ заострились. Он увидел в зеркале, что у скрывающего дверь гобелена стоит францисканский монах в серой, подхваченной веревкой рясе и сбитых сандалиях на босу ногу.

Отец Жозеф, как обычно, вошел совершенно бесшумно. В сотый раз Ришелье поймал себя на том, что испытывает в присутствии

[1] Куафер — парикмахер

капуцина странную скованность, какое-то гадливое опасение. И это чувство было подобно тому безотчетному ощущению, которое вызывает близость затаившейся змеи.

Ришелье с минуту всматривался в темное, изрытое оспой лицо отца Жозефа, которого называли заглазно «серым преосвященством» и «тенью кардинала».

И это была правда. Отец Жозеф был его тенью. И ведь чем ярче сияет солнце над человеком, тем чернее становится тень.

Отец Жозеф поймал в зеркале настороженный взгляд кардинала и наклонил голову. Мелькнула свежевыбритая тонзура.

— А, это вы, дорогой Жозеф? — С наигранной живостью Ришелье поднялся и повернулся на каблуках. — Как всегда, вовремя. — Он повернул кресло боком к камину и сел, поставив ноги на скамеечку, под которой устроилась свернувшаяся в пушистый ком кошка.

Не ожидая приглашения, отец Жозеф взял стул и подсел к кардиналу. Кошка встрепенулась, недовольно мурлыкнула и прыгнула кардиналу на колени. Ришелье приласкал и успокоил ее.

— Что скажете? — спросил он, легонько щекоча теплое кошачье ухо.

— Есть новые сведения о завещании Нострадамуса, монсеньор.

— Я ничего не слыхал о таком завещании. Разве оно есть?

— Нострадамус сделал предсказание на сто лет вперед. В частности, он предсказал, что...

— Я не интересуюсь предсказаниями.

Быстрые, чуть косящие глаза отца Жозефа нетерпеливо сверкнули.

— Но великий астролог оставил наследство...

— Вот как? И большое?

— Да, монсеньор. Огромное. Неисчислимое.

— Неисчислимых капиталов не бывает. На то и существует у нас сюринтендантство. Сколько?

— Это не деньги, монсеньор.

— Что же? Предсказания грядущих событий? За это я не дам и одного су.

— Нет, монсеньор, не предсказания. — Отец Жозеф помедлил, сросшиеся над переносицей лохматые брови его недовольно дрогнули. — Наследство Нострадамуса — это власть над видимым миром и миром невидимым. Это долголетие, монсеньор. Возможно, даже бессмертие.

— В самом деле? — Ришелье сухо рассмеялся. — Судьба видимого мира в этой руке. — Он крепко сжал костлявый кулачок и сунул его монаху под нос. — Над миром невидимым властен только Бог, а бессмертие — враки. Если Нострадамус знал такой секрет, то отчего же не испробовал на себе? Разве прах его вот уже много десятилетий не покоится в земле? Что скажете на это, Жозеф?

— Вы, как всегда, правы, монсеньор. Быть может, наследство чернокнижника и не стоит внимания, но все дело в том, в чьи руки оно попало...

— Договаривайте!

— Известно, что у Нострадамуса были магические четки, сделанные из индийских самоцветов, которые именуются «глаз тигра» за свое поразительное сходство с глазами оных хищников. — Отец Жозеф покосился на блаженно урчащую кошку.

И, словно почувствовав это, животное приоткрыло сверкнувшее золотым пламенем око.

— Мне рассказывали об этих четках, на которых кабалистическими знаками была вырезана какая-то чушь.

— Секретная формула, монсеньор. Причем только на одной четке, седьмой от конца.

— Знаю, знаю. — Кардинал небрежно махнул рукой. — Сказки для малых детей. Кому же досталось это сокровище?

— Клоду де Ту, монсеньор.

— Клоду де Ту? Кажется, мне знакомо это имя. Кто он, Жозеф?

— Монсеньор должен помнить этого шевалье по некоторым событиям, имевшим место сразу же после переговоров с Испанией.

— Так вот он кто! Ну конечно, Жозеф, я помню. Волокита и заговорщик! Как же! Дамский любезник и опасный смутьян в одном лице. Что спасло его от эшафота на Гревской площади?

— Вашему высокопреосвященству было не до него.

— Вы хотите сказать, что я просто забыл о нем?

— В то время нам было не очень удобно задеть отцов-иезуитов.

— Де Ту — иезуит?

— Более того... Фаворит генерала ордена.

— Это ничего не значит. Если он опасен...

— Фаворит прежнего генерала, монсеньор.

— Тем паче.

— Но шевалье состоит в чине провинциала. Он испанский гранд и родственник герцога Медины.

— Какого Медины? Медины-Сели или Медины-Сидонии?

— Медины-Сели, монсеньор.

— Это не спасет, Жозеф, вы хорошо знаете. Будь он хоть принцем крови... Так он опасен?

— Несомненно, — жестко сказал отец Жозеф. — А своим положением в ордене и связями в Эскуриале опасен вдвойне.

— Тогда устраните его, и дело с концом... Но послушайте, Жозеф! — Ришелье всплеснул руками. — Причем здесь четки Нострадамуса?

— Вы не желаете слушать о тайнах, монсеньор.

— Не желаю слушать о тайнах? Да я только то и делаю, что занимаюсь ими! Тайные заговоры, тайные интриги... Я защищаю от них Францию, сударь!

— Здесь иная тайна, монсеньор. Она не в сфере политики.

— Тогда вы правы, Жозеф, черная магия меня действительно не занимает.

— А алхимия, монсеньор?

— Алхимия — другое дело. Это наука о природе. Но, насколько мне известно, еще никто не научился превращать металлы и не добыл философский камень, дарующий ясновидение и бессмертие. И причем здесь астролог Нострадамус?

— Есть в Сорбонне один студиозус, говорят, способный алхимик. У него крохотная лаборатория в Сите, недалеко от Нотр-Дама. Ежели монсеньору будет угодно, я прикажу доставить его сюда. Он может рассказать много любопытного и о четках Нострадамуса, и о Красном льве алхимиков, и о похождениях некоего друга герцогов Медина-Сели и Альба...

— Давайте его сюда, Жозеф, этого вашего студиозуса. — Ришелье схватил колокольчик, но не позвонил и медленно, словно о чем-то раздумывая, поставил на каминную доску. — Очевидно, мне предстоит услышать интересную историю?

— О да, монсеньор! Весьма интересную.

— И, конечно же, про чудеса?

— Про чудеса, монсеньор.

— Тогда я предпочитаю увидеть молодого алхимика в более привычной для него обстановке... Ну скажем, в лаборатории. Быть может, там буду более склонен поверить в чудо, чем у себя в кабинете. Вы сможете найти логово студиозуса?

— Я бывал там, монсеньор.

— Мы застанем его?

— Скорее всего. Он работает по ночам, а днем отсыпается, если, конечно, не надо идти в Сорбонну.

— Тогда едем! Разумеется, инкогнито. — Кардинал вновь схватился за колокольчик и потряс им над головой. — Оливье! — бодро улыбнулся он вбежавшему на звонок пажу. — Мундир и карету.

И едва только паж скрылся, в коридоре послышался зычный голос дежурного лейтенанта:

— Карету его высокопреосвященства!

— Карету его высокопреосвященства! — уже глуше откликнулся другой караульный.

Капуцин и его властный спутник в мундире капитана кардинальской гвардии, осторожно нащупывая в темноте скрипящие ступени ветхой лестницы, спустились в сырой подвал. Каменные стены пахли плесенью и еще чем-то острым, пронзительным, как кислота. Монах шел впереди, по каким-то ему одному известным приметам отыскивая путь. Но вскоре впереди показалась полоска света под дверью, и полночные гости зашагали увереннее. Монах толкнул дверь коленом, и она распахнулась, противно скрипя.

Хозяина они застали склонившимся над обезглавленной бараньей тушей. Вспененная кровь стекала по желобу в каменном полу и собиралась в большом тигле. На алхимике были кожаные панталоны и рубашка с засученными рукавами. И хотя руки его были обагрены кровью, на белом полотне нельзя было заметить ни малейшего пятнышка.

— Что вы делаете, дорогой мэтр? — спросил удивленный монах. — Разве вы гадатель или, того хуже, некромант? — Он быстро перекрестился. — Спаси нас Господь и святая Женевьева!

Алхимик поднял голову и неприветливо оглядел незваных гостей. Но тотчас же выпрямился и почтительно поклонился.

— Входите, господа. — Он сделал приглашающий жест. — Чем обязан?

— Вы не ответили на мой вопрос, — вкрадчиво попенял ему монах. — А мне желательно знать: для чего вам нужна эта кровь?

— Я намереваюсь приготовить кровяную соль, святой отец.

— Разве такая есть?

— Кровяная соль — непременный компонент алхимических превращений. Мы получаем ее путем прокаливания смешанной с поташом и костяной мукой животной крови на медленном огне.

— А человечья кровь для таких целей пригодна? — все любопытствовал монах.

— Все живое на Земле имеет сходную кровь, — пожал плечами алхимик и, указывая на покрытую бараньей шкурой лавку возле горна, пригласил: — Садитесь, святой отец, и вы тоже, благородный господин. Я весь к вашим услугам.

— Значит, можно и человечью... Так-так, — не отставал капуцин. — И вы пробовали?

— Разве похож я на людоеда? — Студент угрюмо развел руками. — Барана и то жалко забить. Одно только, что надо. Да и ем я его после... Что ж делать, коли Господь так создал мир, что живой живого ест?

— Но все равно, господин студиозус! — Монах шутливо погрозил алхимику пальцем. — Кровь — дело опасное. Она... — он понизил голос, — костром пахнет!

— Что это вы такое говорите, святой отец! — закричал алхимик. — Разве не видите, что это баран? За что же костер? А? Что вы такое говорите, святой отец?

— Святой отец пошутил, — сурово сказал офицер и, отстранив монаха, прошел к скамье. Увидев на полке скелет летучей мыши и связки сухих трав под закопченным потолком, усмехнулся: — Не бойтесь, сударь, никто вас не тронет.

— Как же можно так пугать человека? — всхлипнул горлом студиозус и, вытерев руки льняной салфеткой, приблизился к офицеру. Он заметно старался не глядеть на страшного монаха. — Время-то теперь какое! Небезопасно и так науками заниматься. А тут костер...

— Успокойся. Я действительно пошутил, — ласково кивнул монах.

— Вы знакомы с Кабалой, сударь? — спросил офицер.

— Мое занятие — великое искусство алхимии, и потому интересуюсь я также другими герметическими[1] науками. И хотя мне

[1] Герметические — закрытые, тайные

удалось изучить греческий, латынь, еврейский и арабский, истинным кабалистом считать себя не могу. Впрочем, — развел руками студиозус, — в наш век кабалистов уже не осталось. Последним из великих был Лев ибн Бецалель, создавший глиняного великана Голема. Ныне же скрытый смысл Кабалы утерян и тайны забыты. И стали священные книги «Сефер Ецира» и «Зехер» тайной за семью печатями. «Горе человеку, — говорит книга «Зехер», — который в законе не видит ничего другого, кроме простых рассказов и обыкновенных слов! Если б он действительно не содержал ничего более, то мы могли бы и в настоящее время точно так же написать закон, столь же достойный удивления». Но, сударь, мы не можем этого сделать. Мы читаем слова, но смысл их либо темен, либо слишком прост для нас. А квинтэссенции духа мы не постигаем.

— Ну а сама алхимия? Нашли вы свой философский камень?

— Нет, сударь, — печально ответил студент. — Мне нечем похвастаться. Я проштудировал «О природе вещей» Парацельса и попытался создать по его рецепту гомункулуса, но потерпел неудачу. Или я что-то не так делаю, или Парацельса нельзя понимать буквально. Знание утекло между букв, как вода сквозь решето. Не помогли мне и Василий Валентин, и Альбрехт Больштедский, прозванный Великим за свое магическое искусство, и Жан де Мен, и Гебер, и даже сам божественный Раймунд Луллий. Я попытался получить по рецепту Артефиуса красный камень и прожить, как и он, тысячу лет или научиться с помощью философского камня воскрешать мертвых, как это учит делать в «Золотом трактате» Лансиоро. Но и здесь у меня ничего не вышло. А я ведь знаю почти достоверно, что красный камень в природе есть! И в руках человеческих он был. Только не удержали его, исчез.

— Отчего же? — Офицер огладил бородку и с любопытством прищурился на реторту с синей водой, в которой отмокал корень мандрагоры.

— В нечистые руки попал.

— Что за странное суеверие? Разве золотой, скажем, пистоль не остается оным и в кармане убийцы, и в церковной кружке? — Офицер начал выказывать признаки раздражения. — А мне рекомендовали вас, как человека просвещенного.

— Таково уж свойство тонкой материи, сударь, — вздохнул студент. — Философский камень потому и называется так, что находится в контакте с философом, который сумел его получить. У людей же корыстных и низких он долго не задерживается, исчезает, переходит к другим.

— Сомневаюсь, — хмыкнул офицер. — А вы сами его видели, этот ваш красный камень, или — как там еще? — красный лев?

— Сам не видел. Но знаю человека, у которого он был.

— Кто же этот счастливец?

Студент вопросительно взглянул на монаха, который согласно кивнул ему.

— Можете говорить все.

— Шевалье де Ту.

— У него, кажется, еще и четки Нострадамуса есть? — небрежно спросил офицер. — Откуда такая милость судьбы?

— Я мало знаю об этом, но о многом догадываюсь.

— Ну-ка, ну-ка, поделитесь со мной вашими догадками, любезный. — Кавалер вынул из кармана кошелек и бросил его на полку со склянками. — Вот вам пятьдесят пистолей в задаток.

— Покорнейше благодарю, — поклонился студент и, боком скользнув к полке, схватил кошелек, в котором звякнуло золото. — Впервые этот красный камень получил великий Совершенный, который во время Людовика Святого жил в Безье, а потом переселился в Альби. Там он и совершил свое великое делание, которое продолжалось ровно семнадцать лет. Все эти годы Совершенный не выходил из своей лаборатории... Святой человек!

— Вы это о еретике-катаре говорите? — усмехнулся офицер.

— О том, в чьих руках родился красный лев, — благоговейно прошептал студент. — Сей красный, как вино, камень, игрою и твердостью граней превосходящий лучшие бриллианты, наделил своего создателя даром видеть сквозь стены и дали, проникать в скрытую сущность вещей.

— И, конечно, даром бессмертия?

— Если бы Совершенный того пожелал.

— Но он, разумеется, не пожелал... — Офицер раздраженно постучал пальцами по стеклу реторты. — Где теперь камень?

— Неизвестно. После Симона де Монфора, который... — Студент осекся и краем глаза взглянул на монаха.

— Понятно, — сказал офицер. — После усмирения еретиков он исчез, не так ли?

— Да, сударь. Катары спрятали его вместе с другими святынями. Потом он попал на короткое время к тамплиерам и вновь исчез, когда орден стали преследовать. Говорят, что судьи короля Филиппа страшной пыткой хотели вырвать у Якова де Моле тайну, но он так и не сказал, где спрятан камень. И еще говорят, что на костре, с которого призвал короля на Божий суд, он крикнул тайно стоящим в толпе тамплиерам, чтоб берегли сокровище.

— Очень интересная история. — Офицер встал и нетерпеливо зашагал по сумрачному подвалу алхимика, освещенному тремя лишь шаткими фитилями в глиняных плошках с жиром. — Кто следующий? — резко спросил он. — Нострадамус?

— Так говорят, — угрюмо пожал плечами студент. — Только он упустил чудесный камень.

— Руки оказались нечистыми?

— Не знаю.

— Ну а четки из камня, который индусы называют «глазом тигра»? Они какую силу имели?

— На одной из них буквами Священной книги был вырезан главный секрет камня. Тот, кто поймет, о чем говорит четка, сможет с помощью камня обрести жизнь бесконечную.

— Нострадамус не смог.

— Не смог... Он неправильно разгадал надпись, и камень исчез.

— Скажи-ка, какой прыткий камешек! Значит, теперь четки у шевалье де Ту? Так?

— У него.

— Но камня у него нет?

— Камень пропал. Может, потом и объявится, а пока его нет.

— Так... Понимаю. — Офицер ходил мимо горна от стены до стены, сосредоточенно покусывая тонкие губы. — Вы ведь и сами хотели получить такой камень путем алхимических превращений? Зачем?

— Надеялся прочесть четку и вдвоем с де Ту обрести счастье.

— Счастье? Бесконечное пребывание на грешной этой Земле, по-вашему, счастье? Глупец! — Оказавшись рядом с обезглавленной бараньей тушей, офицер брезгливо поморщился и вынул хрустальный флакончик с ароматической эссенцией. — Отчего же вы рассорились с вашим другом де Ту? — спросил он, понюхав флакон. — Ведь вы поссорились с ним?

— Он мне не друг. Я работал на него три года, не видя белого света, а когда стало ясно, что пошли по неверному пути, он бросил меня без всяких средств. Не дал даже тридцати ливров на голландское стекло.

— Значит, это шевалье де Ту заставил вас сделать для него философский камень?

— Он, — студент кивнул. — Де Ту и заставил, будь он проклят!

— И что он надеялся в итоге получить? Богатство? Бессмертие?

— И то, и другое.

— Неужели? — Офицер не мог сдержать улыбки. — А я-то почитал этого господина за умного человека.

— Он и есть умный. Это я дурак.

— Не берусь спорить с вами... Итак, у шевалье все же есть четки, а у вас нет ничего. Даже денег на лабораторную посуду.

— Теперь у меня есть ваши пятьдесят пистолей.

— Верно. Я и забыл. Но де Ту все же в лучшем, чем вы, положении?

— Еще бы! Он богат, знатен, его любят женщины...

— И у него есть четки, — настойчиво гнул свою линию офицер. — Но без камня они бессильны?

— Не совсем так. С их помощью можно легко усыпить человека и наслать на него безумие. Я думаю, что именно так он и сводит с ума женщин, в том числе и монахинь-кармелиток. Все, все они влюблены в него до безумия. Даже мать-настоятельница Бригитта де Бельвиль.

— И та юная дама, в которую влюблены вы? — тонко улыбаясь, спросил офицер.

— Откуда вы знаете? — встрепенулся студент.

— Успокойтесь, милейший, — остановил его офицер. — Это видно по вашим глазам. Ну, святой отец, — офицер повернулся к

капуцину, — мне все ясно. А вы, мой бедный студиозус... — Он опять улыбнулся насмешливо и в то же время сочувственно, мягко. — Не надо горевать о любви, которую покупают, не надо. Даже если ее покупают ценой невиданных камней. И четка, которая без красного алмаза ни на что не пригодна, пусть не манит вас более. Для чего вам она? — Офицер кивнул и направился к двери.

— Дайте мне еще пятьдесят пистолей, и я открою вам последнюю тайну! — устремился вдогонку студент.

— Что? — Офицер удивленно поднял брови. — Вы сказали мне не все? Святой отец, — обратился он к францисканцу, — что есть за этим человеком?

— Самые пустяки, — тихо и вкрадчиво ответил монах. — Сбежал из иезуитской школы, занимался черной магией, украл как-то кусок веревки от удавленника на Гревской площади...

— Сжальтесь! — Студент упал на колени.

— Были и кое-какие мелкие шалости с воспитанницей кармелитского монастыря, — неумолимо загибал пальцы монах.

— Умоляю, святой отец! — Студент истово заломил руки. — Пощадите хоть вы меня, сударь! — На коленях подполз он к офицеру.

— Хорошо. Пусть будет по-вашему. — Офицер подкрутил жиденькие усы. — Вы, кажется, собирались мне что-то сказать?

— Да, сударь, да! Я про четки. Про эти проклятые четки! В них ключ к кинжалу справедливости!

— Какой такой кинжал справедливости? Первый раз слышу.

— Тот, кто поразит этим кинжалом сердце тирана, сразу же станет невидимым.

— Неужели? А вы разве не знаете про Равальяка, преступника, поднявшего руку на славного короля Генриха? Он ведь тоже хотел стать невидимым, но вместо этого угодил на эшафот. Говорите все, что знаете. Где кинжал? Для кого он предназначен? Кто тот тиран, кого вы готовитесь убить?

— Ничего не знаю! Ничего не знаю! — Все еще стоя на коленях, студент замотал головой и рванул руками ворот рубашки, словно задыхаясь. — Ей-богу, дорогой господин, я все вам сказал, что только знал!

— Посмотрим, — сказал офицер, поворачиваясь к выходу.

Монах услужливо раскрыл перед ним дверь.

— Из всей этой поистине чудовищной мешанины сказок и суеверной чепухи я заключил одно, — сказал офицер, когда монах вывел его на улицу, где дожидалась карета. — Иезуиты плетут политические интриги и, возможно, готовят очередное убийство. Этот юный невежда ничего не знает, но он сумасшедший и может стать опасным орудием в преступных руках. Его нужно изолировать.

— Бастилия, монсеньор?

— Да, Жозеф, как обычно. За шевалье де Ту установить наблюдение. С кем встречается, куда ходит... Потом накрыть всех колпаком — и в тюрьму. А дальше посмотрим.

— Будет исполнено, монсеньор... Вы довольны таинственной историей?

— Увы, мой Жозеф! У тебя прямо-таки чутье на всякие заговоры.

Глава 12

ВЕЧНОЕ ИСКУССТВО

— Там она и висела. — Михайлов указал пальцем под самый потолок, где белел квадратик стены. Все остальное пространство сплошь было закрыто иконами. Они висели одна к одной, плотнее, чем на церковном иконостасе, хотя были различных размеров и форм.

— Очень наглядно и убедительно, — одобрил Люсин. — Как глянешь, так сразу и поймешь, что больше нигде она и быть не могла.

Он с любопытством оглядел комнату. Кроме стены-иконостаса, в ней не было ничего особо примечательного. Старая, шелушащаяся проржавевшим никелем кровать, потерявшая почти все шарики, чертежный светильник над ней на телескопической штанге, три запыленных, явно неисправных самовара в углу; кипарисовый крестик и веревочные, старого обряда четки на свободной стене; письменный стол и застекленный шкаф, в котором стояли книги по искусству, какие-то статуэтки, маленькие образки, бронзовые складни, а также утративший все зубы, кроме одного, желтый человеческий череп.

На столе были всевозможные баночки с краской, флаконы с какими-то растворителями, громоздились смятые и запачканные высохшей краской темперные тубы; в полном беспорядке валялись плохо отмытые кисти, какие-то иглы, стеклянные трубочки для туши, бритвенные лезвия, шпатели и комья посеревшей ваты.

Возле самой двери высился внушительный мольберт, к ножкам которого притулились фанерки; на них со средним мастерством были выписаны темные деревянные церквушки на фоне вещего сумрачного неба, прорезанного латунной полоской зари, грустные, скорее всего, карельские, пейзажи. Было там и несколько портретов: расчлененных на плоскости в манере Брака[1] и более менее реалистических, но в зеленых и синих, как у «голубого» Пикассо, тонах. На одной фанерке Люсин узнал Овчинникову. Она была не так хороша, как в жизни, но яркий, изумрудный стронций лица и легкий кобальт волос в фиолетовых брызгах краплака сообщали ей какую-то таинственную значительность.

— Вы продаете свои работы? — спросил Люсин.

— Очень мало. Редко покупают, — усмехнулся художник. — На мне даже фининспектор не заработает.

Люсин спросил его просто так, совершенно позабыв о том, что Михайлов видит в нем только милиционера — не более.

---

[1] Брак — основоположник кубизма

«Нехорошо как-то получилось. Килька какая-то. Это же нормально для художника — продавать свои картины, и очень плохо, когда они не идут».

— Странно, — сказал он. — Мне лично нравятся эти северные виды. Что это? Кижи? Валаам?

— Не знаю. Я там не бывал. Это так... больше из головы.

— Очень похоже получилось. Север! Я его хорошо знаю. Необъятное какое-то небо там. Не горизонт, а именно окоем, а сосны и ели кажутся перед ним крохотными. Сумрачные облака. Все такое суровое, значительное, краски большей частью синие, зеленые, сиреневые, вода свинцовая, хоть и прозрачная... — Он остановился, тщетно ища ускользающие слова. — Вы любите Рериха? Весь он с Валаама начинается... — Но это было уже не его, это он слышал от Березовского.

— Я иконы люблю. Здесь подлинное. Рисовать Бога — это все равно, что каждый раз выше себя прыгать. Сверхчеловеческая сущность. Да разве ее постигнешь? Прыгать прыгают, да не больно-то высоко. Тем и хороша настоящая древняя живопись, что запечатлелся в ней и высокий полет души, и смешной, неудачный прыжок непослушного тела. Глаз видит что-то такое, а рука не может передать.

— Таланта, что ли, не хватало?

— Таланта! Причем здесь талант? Его хватало, не занимать стать... Просто человек одно, а Бог совсем другое. Как же его человеческой рукой передашь? Как его высокую суть постигнешь?

— Так ведь нет его.

— Кого? — не понял Михайлов.

— Бога.

— Ах вот оно что! Это для нас с вами его нет, а для них, — он кивнул на иконы, — был! Без Бога в душе разве так нарисуешь?

— Выходит, что все иконописцы были верующими? — наивно спросил Люсин.

— В старину, знаете ли, почти все веровали. Только не в том дело. Можно ведь в Бога как в такового не верить, но стремиться изобразить что-то непостижимое. Понимаете? Рублев или там Феофан Грек могли и не верить, главное, что тянулись они хоть глазком заглянуть за небесную — как бы это сказать? — твердь. Халтурщик же, ремесленник, вернее, не халтурщик, пусть он поклоны бьет и свечи ставит, все равно ничего, кроме жалкой копии, не создаст. Он же деньгу зарабатывает, а не творит. К чему ему эти прыжки выше собственной головы? Потому-то хорошие иконы так редки. Ведь сколько черных досок отмоешь, сколько поту прольешь, пока хоть что-нибудь стоящее тебе блеснет!

Люсин с интересом слушал художника, все более проникаясь к нему если не симпатией, то сочувствием. Но слово «стоящее» напомнило ему, что именно этот вдохновенный, с горящими глазами человек продал иностранцу — да еще какому! — один из тех «сверхчеловеческих» шедевров, о которых столь взволнованно сейчас рассуждал.

Налицо была та роковая противоречивость человеческого естества, которой Люсин все еще не уставал поражаться... Даже самые последние подонки — Михайлова к ним он, конечно, не причислял — и те любят порой поговорить о величии человеческой души, обличить чью-то низость. И самое страшное, что при этом они совсем не притворяются, более того — бывают совершенно искренними.

«Мысль о том, что подлости не место в человеческом обществе, с детства усваивает почти каждый. И если кто-то и становится подлецом, то мысль эта уже прочно живет в нем. Он с ней никогда не спорит, поскольку она отнюдь не мешает ему быть негодяем. Напротив, она даже утешает его, нашептывая, что другие люди по-прежнему обязаны к нему хорошо относиться. А уж до чего легко облапошивать этих доверчивых, так и оставшихся порядочными людей! Поэтому совершенно искренне возмущение подонка, когда он сталкивается с чужой подлостью. В этом вся суть. Людям же не столь испорченным, да и вовсе хорошим людям также свойственно судить о своих знакомых и о человечестве в целом, полностью исключая себя... Он очень искренен, этот Михайлов, рассуждая сейчас о святом искусстве, которому сам лично не столь уж доблестно служит. Сейчас он заговорит, наверное, о Леонардо да Винчи...»

— Возьмем Рафаэля! — Михайлов почему-то показал на потолок, где висела лампочка без абажура. — Разве он не иконописец? Он же почти все время писал Божью Матерь! Знаете его мадонну с золотыми волосами? Вот она, величайшая попытка познать непознаваемое, сверхчувственное... Только она одна и отличает мастера от богомаза.

— Понятно, — кивнул Люсин. — Какие из этих икон, по вашему мнению, лучшие?

— Богоматерь «Умиление», потом... — Михайлов вдруг замолк и, бросив исподлобья недоверчивый взгляд, равнодушно сказал: — К сожалению, по-настоящему хороших икон у меня сейчас нет... Была одна, да и ту я, как дурак, проглядел.

— Намек понял.

Люсин подошел поближе к иконам.

В окладах из жести, позолоченного серебра или сафьяна, расшитого северным жемчугом, и вообще без всякого оклада, украшенные самоцветными каменьями или стекляшками, черные, облупленные, с изъязвленными ликами и яркие, блестящие, как олеографии, отпечатанные на бумаге или штампованной жести, гнутые на шпонах доски из липы, сосны или кипариса и таинственные серебряные образки, поблескивающие в глубине божниц, — чего там только не было!..

Особенно поражала колоссальная, два метра на полтора, толстая доска. В красноватом, закопченном сумраке угадывались страшные глаза византийского Спаса. Икона выглядела сильно попорченной, краска местами отслоилась и вспучилась, а кое-где даже осыпалась, оставив после себя меловые углубления.

— Старая? — спросил неопытный Люсин.

— Начало двадцатого века, — усмехнулся Михайлов.

— Отчего же она такая попорченная?

— Из погоревшей церкви. Старушка одна уберегла.

— А вам она зачем? Вы ее реставрируете? — Люсин наклонился к образу и увидел отмытый с одного бока светлый участок, где весело проблескивал розоватый фон. Оспины были там умело зашпаклеваны и подкрашены.

— Такую хорошо повесить в центре белой стены, чтобы только она одна и висела. Будь у меня хата побольше, я так бы и сделал... Впрочем, эта штука не моя. Заказ высокого духовенства.

— Выгодный?

— Да, весьма. Они хорошо платят.

Люсин поднял голову. Над «Спасом» висели еще какие-то запыленные, в серых лоскутьях старой паутины иконы, а на самом верху виднелся чистый квадратик.

— Значит, там она и висела? — как бы про себя сказал Люсин. — Вы сами ее снимали?

— Нет. Он полез. Не утерпел... — усмехнулся Михайлов.

— И как же он полез?

— Обыкновенно. Поставил стремянку и полез.

— А ну принесите стремянку!

— Отпечатки пальцев смотреть будете?

— Побеленные стены шершавы, на них не остаются отпечатки, — серьезно ответил Люсин. — Так дайте же мне, пожалуйста, лестницу!

Михайлов принес из туалета забрызганную известкой и краской стремянку.

— Поставьте ее, как тогда, — попросил Люсин. — Постарайтесь вспомнить.

Михайлов установил лестницу, почесал лоб и немного передвинул ее вправо.

— Вроде бы так... — сказал он и, немного отойдя, критически взглянул на стремянку, словно оценивая верность, только что положенного мазка. — Пожалуй, чуть поближе к стене, — и придвинул алюминиевые с резиновыми наконечниками ножки к самому плинтусу.

Люсин стал медленно подниматься по ступенькам. Оказавшись лицом к лицу с Богом, он взглянул вниз: покусывая губы, что-то прикинул и полез выше. Встав на верхнюю ступеньку, дотянулся до того места, где раньше висела «Троица», и опять посмотрел вниз. Ноги его были как раз на уровне реставрируемой части. Он сделал вид, что икона все еще висит под потолком и ему надо ее снять. Встал поудобнее, повертелся, словно проверяя устойчивость лестницы, и поднял руки. Коснувшись оставшегося в стене гвоздя, он спросил:

— Она на гвозде висела?

— Да. По-моему, еще веревочкой ее для верности прихватил.

Люсин сделал руками движение, должно быть означавшее, что он принял веревочку в счет. При этом он опять посмотрел вниз.

Запыленные иконы были на уровне его груди. Машинально он провел по ним рукой, снимая пропыленную паутину. Жестяные колючие оклады от этого мало просветлели. Но что-то, видимо, его заинтересовало. Он еще раз погладил их ладонью и прислушался. Явно что-то шуршало. Тогда он осторожно просунул руку за иконы и пошарил.

По стене медленно посыпались на пол ломкие кусочки сухих листьев.

Люсин проводил их взглядом и вытащил из-под икон сухую черную ветку.

— Что это? — спросил он.

— Это? Ах, это! Я как-то писал... В декоративных целях мне нужно было видеть, как выглядят украшенные ветками деревенские образа. Случайно осталось...

— Это ольха?

— Не помню точно. И вообще, откровенно говоря, в деревьях не разбираюсь.

«Сомнений нет, это именно ольха. Вот ведь какая килька! Иди знай! И кто бы мог подумать? Так вот и рушатся башни, если построены они на песке... Ну что ж, тем лучше! Чуть раньше это был бы серьезный удар, почти крушение. Теперь же просто раскрыта загадка ольхового листика. Не нужно искать этот проклятый ольшаник».

Люсин внимательно прислушался к себе. Как ни странно, почти ничего не менялось. Картина черного, вечереющего леса и угасающего в глинистых лужах заката не исчезала.

«Что же это за лес? Смешанный? Чистый ольшаник?»

Но было слишком темно. Солнце уже село за черную зубчатую линию, и хоть небо еще не остыло, и грустное зеркало луж горело вишневым золотом, но кусты и деревья уже не сквозили на свет. Слившись в единую темную массу, они стали неразличимыми. Только воздух синел чуть-чуть в просветах ближней листвы и смутно белели березовые стволы.

«Иди разберись, где туг ольха...»

Люсин решительно слез со стремянки и взял портфель. Достав стеклянную банку с притертой шлифованной пробкой и вату, он подошел к большому «Спасу» и несколько раз мазнул по свежему месту, легонько, небрежно так мазнул. Положил использованную ватку в банку, аккуратно прикрыл ее чистым куском и сделал еще несколько мазков по нетронутой реставратором шелушащейся части.

Михайлов с интересом следил за тем, что будет дальше. Но дальше ничего не последовало. Люсин закрыл банку и спрятал ее обратно в портфель.

— Что вы делали после того как проводили вашего гостя — проректора?

В том, что означенный факт действительно имел место, Люсин уже не сомневался, поскольку успел проверить. Все алиби железно действовали до девятнадцати часов. Далее начиналась неопределенность.

— Что делал? Ничего. Погулял и вернулся домой. Потом лег спать.

— Во сколько вы возвратились?

— Часов в десять. А что?

«Допустим, что действительно в десять. Но ведь и тогда получается целых три часа».

— Разве вы долго провожали гостя? До самого Загорска, что ли?

— Почему до Загорска? Я же говорю, что гулял! Или нельзя?

— Э, Виктор Михайлович! Я-то думал, что это пройденный этап. Зачем вы возвращаетесь на исходные круги?

— Не понимаю.

— И я не понимаю. Неужели последние события вас не научили?

— Вы икону имеете в виду?

— И ее тоже. Почему, вместо того чтобы помочь мне, вы... Право, Виктор Михайлович, только что вы вдохновенно рассказывали о древней живописи, а теперь вдруг уперлись и не хотите отвечать на самые элементарные вопросы. Или ваше нежелание отвечать вызвано тем, что вы все же причастны к исчезновению этого субъекта?

— Не причастен, — отчеканил Михайлов.

— Тогда в чем же дело?

— Во-первых, у человека, к вашему сведению, может быть какая-то личная жизнь, в которую нечего соваться другим, а во-вторых, вы все равно мне не верите.

— Это уж мое дело! Я задаю вопросы, вы отвечаете — схема простая. А как я ваши ответы квалифицирую, это, простите, вас не касается... Тем более, что мыслей моих вы знать не можете.

— Как же! Пробы с потолка берете, краску с икон снимаете. Целая, можно сказать, химия! Где уж тут о мыслях догадаться...

— В самом деле? — улыбнулся Люсин. — Вот уж не думал, что это произведет на вас столь сильное впечатление. Между прочим, Виктор Михайлович, мне удалось получить ясное доказательство правильности некоторых ваших показаний! И именно благодаря этой, как вы говорите, химии. Иностранец действительно был у вас и, в полном соответствии с вашим рассказом, сам полез снимать икону. Хотите узнать, как я это установил?

— Нет. Я в чужие дела не вмешиваюсь.

— Ладно. Пусть будет так... А где в тот вечер были, скажете?

— Даю честное слово, что моя прогулка никакого отношения к иностранцу не имела. Это сугубо частное дело. Личное, понимаете?

— Вы виделись в это время с Женевьевой Александровной?

— Нет, не виделся. Она же была в театре! Я вообще ни с кем не виделся, и никакого алиби на тот вечер у меня нет. Хотите верьте, хотите нет, но все, что касается иностранца, я рассказал. Больше абсолютно ничего не знаю. Какие еще будут вопросы?

— Видите ли, Виктор Михайлович, чтобы правильно вести розыск, я действительно должен быть уверен в правильности ваших показаний, точнее, в справедливости ваших заверений. Меня совершенно не интересует ваша частная жизнь, но я должен быть уве-

рен — вы понимаете, что значит это слово! — уверен, что вы не были в те часы с иностранцем. Верить вам на слово я, откровенно говоря, не могу, и это, пожалуй, главное, просто не имею права. Заставить вас отвечать вопреки вашему желанию я тоже, как видите, не могу. Что же нам остается? Сложить руки и ждать у моря погоды? А в это время бывший фашистский прихвостень, знающий наш язык, где-то обделывает свои темные делишки, прикрываясь фальшивыми усами и, наверное, фальшивыми документами...

— Разве у него фальшивые усы?

— Именно это вас больше всего трогает?

— Нет... Почему же... Просто это, согласитесь, как-то неожиданно...

— Не в усах дело, Виктор Михайлович... И даже не в иконке, которую вы продали. Все это, так сказать, второстепенные подробности, выплывавшие по ходу следствия. — Люсин застегнул портфель, словно проверяя перед уходом, не забыл ли чего, внимательно оглядел комнату. — Где он сейчас? Зачем он приехал в Союз? Вот что нужно знать нам, Виктор Михайлович. Это для нас сейчас важнее всего. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Ничего... — Казалось, Михайлов внимательно разглядывает какие-то темные пятна на пыльном паркете. — Я, правда, ничего больше не знаю... Вы не думайте, будто я что-то скрываю. В тот вечер я не виделся с иностранцем. Я вообще с ним больше не виделся после продажи иконы, будь проклят этот день!

— Что же вы делали в тот вечер, Виктор Михайлович? — грустно и как-то безнадежно спросил Люсин.

Он стоял у двери с портфелем под мышкой, готовясь уйти, и уже не ждал, казалось, ответа на свой вопрос. Но Михайлов ответил, и та же неуловимая тень безнадежности почудилась в его словах.

— В этот вечер я случайно встретил на улице свою бывшую жену.

— Вы были женаты?! — Люсин тут же устыдился этого непроизвольного вопроса, не вопроса даже, а удивленного восклицания. Меньше всего он ждал от Михайлова таких слов.

Покраснев от неожиданности и, пожалуй, еще от стыда, но более всего от досады на самого себя, он положил портфель на стул.

Как многие холостяки, Люсин почему-то полагал, что Михайлову говорить о бывшей жене будет не только неприятно, но даже как-то болезненно. Недаром же он столь упорно уклонялся от такого разговора. Теперь же, когда Михайлов готовился все объяснить, Люсин немного растерялся. Он не знал, как себя вести: то ли деликатно свернуть беседу, то ли, напротив, выразить Михайлову свое сочувствие.

«Но в чем? Уж не в том ли, что человек встретил на улице бывшую жену? Смешно!»

Но ему было совсем не смешно.

— Почему же вы сразу не сказали, Виктор Михайлович? — с неподдельной досадой спросил он, и, кажется, этот недипломатичный вопрос был найден удачно. Михайлов откликнулся.

— Так... не хотелось как-то... Вы, конечно, можете проверить у нее, но я говорю чистую правду... Мне бы это было очень неприятно. Зачем еще ее впутывать?

— Я не совсем понимаю вас.

— Не понимаете? Я говорю, что лучше бы вам не проверять у нее правильность моих, — он усмехнулся, — показаний. Поверьте, если можете, на слово... Впрочем, как хотите. Ее фамилия Яковлева. Мария Дмитриевна Яковлева. Она работает врачом в Аэрофлоте.

Люсин не сомневался, что Михайлов говорит правду. Но вспомнил вдруг телевизор, и кадры какого-то фильма понеслись один за другим, словно разладилась настройка частоты. И все же что-то различалось в этом мелькании: складка на синей форменной юбке, белый воротничок кружевной блузки и блеск тяжелых золотистых локонов, и шелковистый блеск туго натянутых чулок — все промелькнуло перед ним, перевернулось, сместилось... Потом из голубой тьмы памяти сквозь зигзаги помех выплыл светлый и теплый уголок. Комнатка Березовского с белым медведем на полу («Ах, Машенька, зачем вы сбрасываете туфли? По нему же ходят! Ходят!»), звон веселых рюмочек и Гена Бурмин — мастер карате, эрудит и полиглот...

— И еще... — Михайлов сделал паузу и многозначительно заглянул Люсину в глаза. — Мне бы очень не хотелось, чтобы Женевьева... Одним словом, вы меня понимаете? Я, собственно, потому и не желал говорить... — Он опять угрюмо уставился в пол.

«Господи! Такие отличные девочки! И что они в нем нашли?.. Очень ведь обыкновенный человечишко, скорее даже неприятный. Определенно неприятный... Но почему? Почему вдруг он показался мне таким неприятным? Или это было с первой же встречи? Просто сразу как-то не осозналось?..»

— Все это, вы правы, ваше частное дело, Виктор Михайлович, — сухо сказал Люсин. — Конечно, я никому ничего не скажу. Меня это не касается. До свидания. — Он взялся за ручку двери и неожиданно для себя, с очень затаенной, почти даже несуществующей, мстительной ноткой сказал: — С Марией Дмитриевной я летел одним рейсом из Ленинграда. Она проходит сейчас летную практику. — Он кивнул на прощание и толкнул дверь.

У Михайлова опять было железное алиби. Не стоило даже проверять его. Люсин старался не думать о том, сколь неприятна была бы для него такая проверка. Что же поделать? Это были издержки профессии. Не столь часто и неодинаково резко они все же давали о себе знать. И становилось тошно...

Михайлов испуганно поспешил за ним — то ли помочь разобраться в крепостных запорах, то ли что-то такое объяснить, а всего вернее, спросить. Но Люсин мгновенно постиг всю премудрость механики Льва Минеевича, еще раз кивнул на прощание и сбежал вниз по лестнице.

На выходе из подъезда он и столкнулся носом к носу с ключарем и фортификатором квартиры номер шесть.

— Вот так встреча! — не столько удивился, сколько обрадовался старик. — А я к вам!

— Ко мне? — озадаченно спросил Люсин, одинаково удивленный и неожиданной радостью Льва Минеевича, и его восклицанием. — Вы думали найти меня у вас дома?

— Ах нет, конечно! — досадливо поморщился старик. — Просто у меня дома ваш телефон, а вы мне очень срочно нужны!

— Вот, значит, как, — понимающе кивнул Люсин. — Тогда к вашим услугам...

— Так, может быть, подымемся ко мне? На пороге неудобно как-то... А?

— Давайте лучше пройдемся немного. — Люсин сделал попытку увести Льва Минеевича от подъезда за локоток.

— Но почему? Почему? В комнатах же удобнее! Я чайком вас напою. — Лев Минеевич ловко выскользнул и в свою очередь попытался обнять Люсина за талию. Это ему почему-то не удалось, и он грудью стал загонять милиционера в подъезд, наскакивая на него, как бойцовый петушок. — У меня к вам приватный разговор. Совершенно, можно сказать, конфиденциальный! Почему вы не хотите подняться?

Что мог ответить ему Люсин? Он сам не знал, почему столь упорно не хочется возвращаться в квартиру Михайлова и Льва Минеевича.

Нелепо или даже смешно... Какое кому до этого дело? Не хотелось, и все!

— У меня что-то голова разболелась, милый Лев Минеевич, — соврал Люсин и даже потер, поморщившись, лоб. — Давайте все же пройдемся немножко или, если угодно, посидим на свежем воздухе.

— Будь по-вашему! — махнул рукой Лев Минеевич.

И они пошли к свободной скамейке, манящей куцыми пятнами тени. Это была самая рядовая садовая скамья. На Патриарших прудах стояло много точно таких же белых когда-то скамеек, и жестяная урна возле нее, и пыльные акации тоже были совершенно рядовыми.

— Так я вас слушаю, — сказал Люсин, усаживаясь вслед за Львом Минеевичем.

Глава 13

ТАМПЛИЕРЫ

Все семеро неизвестных собрались в Париже. Говорили, что были они невидимы и жили на Земле вот уже много веков, следя с высот своей мудрости за ничтожными страстями и великими муками людскими. Они принесли с собой семь книг, в которых содержалось сокровенное знание, дающее власть над живой и мертвой натурой и душами людей, а в последней книге были сведены воедино законы, по которым живут и разрушаются государства. Каждый неизвестный

владел одной только книгой, которую пополнял и совершенствовал всю свою долгую жизнь. И если кто-то из них, устав от хрупкой оболочки, подвижнической мудрости и блужданий по дорогам Земли, хотел успокоиться, то созывал остальных. Неподвластные времени и расстояниям, они тут же спешили на печальный зов собрата, чтобы отпустить его на вечный покой. Но прежде они должны были познакомиться с тем, кого уходящий избрал своим преемником. И если кандидат казался достойным, допускали его к великому посвящению, пройдя которое он получал книгу и магическое кольцо.

И вот семь неизвестных тайно встретились в Париже, чтобы увидеть того, кому отныне суждено было сотни лет владеть третьей книгой, повествующей о трансмутациях элементов...

Им предстояло сделать особенно ответственный выбор, ибо сокровенное знание третьей книги, похищенное тысячу лет назад, частично было разглашено алхимиками, а хранимый в Монсегюре кристалл, вобравший в себя таинственную энергию звезд, уже почти триста лет находился в руках непосвященных. И никто из них не знал точно, где был спрятан этот звездный кристаллик, похожий на удивительно яркий бриллиант красной воды. Проницающий дали времен и пространств, взор неизвестных не мог им помочь, ибо по закону, установленному еще индийским царем Ашокой, утраченное знание уже нельзя было возвратить. Кто-то должен был открыть его вновь. Поэтому неизвестные и не пытались разыскать могущественный камень, который Ашока назвал «третьим глазом». Тот, кто владел ныне книгой трансмутаций, всю свою долгую жизнь посвятил кропотливой работе у горна, среди клокочущих реторт и раскаленных тиглей. Он далеко продвинулся вперед, но не ему суждено было вырастить новый кристалл. Теперь его путь близился к концу, а он вызвал к себе остальных, чтобы указать им преемника.

По обычаю, просветленные задали уставшему брату семь вопросов:

— Кто он?

— Человек.

— Достоин ли он унаследовать тайну?

— Достоин.

— Поймет ли он ее?

— Поймет, ибо достиг высшего знания в герметических науках и несравненного мастерства в поэзии, музыке и живописи.

— Не употребит ли во зло доверенный ему свет?

— Вы укажите ему благой путь, о просветленные!

— Чужд ли он низкой корысти?

— Он благороден духом, и неограниченные средства, которые вы вручите ему, не совратят его с верного пути.

— Устоит ли он перед искусом вечности?

— Обретя жизнь долгую, он найдет в себе силы преодолеть искушение и вечности не захочет. В надлежащий, им самим назначенный срок уйдет он в небытие среди вечных снегов поднебесных гор.

— Подготовлен ли твой избранник к просветлению?

— Он подготовлен. Я следил за ним с самых первых дней его жизни и вел по ступеням мудрости. Он прошел через все испытания и удостоился посвящения в высшую степень золотых розенкрейцеров[1].

— Передай же ему кольцо и книгу, — с грустной улыбкой сказали шестеро. — И назови нам его имя.

— У него нет имени, ибо отныне он просветленный, но здесь, в этом городе, он известен как граф Сен-Жермен...

Лейтенант серых мушкетеров Антуан ле Карре, как и было условленно, пришел на закате дня к мосту святого Михаила. От реки веяло прохладой, в тревожном весеннем небе неслись по ветру рваные лиловые облака. Ле Карре запахнул плащ и, взойдя на мост, тесно застроенный угрюмыми домами, прислонился к ограде. Хмурая вода угрюмо трепала черные бороды тины у оснований быков. Вдали, уже у самого острова, река разглаживалась и тускло отсвечивала серовато-зеленым чешуйчатым блеском. Долго и пристально смотрел ле Карре на этот затуманенный островок, где в незапамятные времена Филипп IV Красивый сжег с благословения папы Климента гроссмейстера ордена тамплиеров Якова де Моле.

Вырвав после двух лет упорнейших домогательств согласие папы на формальный процесс против ордена, Филипп разослал всем бальи в провинциях тайное повеление, согласно предварительному исследованию инквизиционного судьи, арестовать в один и тот же день всех тамплиеров, а до времени хранить это дело в глубочайшей тайне. Приказ короля был выполнен с неукоснительной точностью, и в роковой день ареста рыцари были захвачены абсолютно врасплох. Тогда же было конфисковано и все имущество ордена. Всех арестованных подвергли немедленному допросу с применением пытки. Тем, кто, не выдержав мучений, соглашался оговорить себя на суде, обещали прощение. Упорствующим грозили костром.

Лица, производящие следствие, руководствовались при этом заранее присланным из Парижа списком вопросов. Суд, таким образом, начался процедурой, возможной только по византийско-римским понятиям королевских советников о правах и отправлении инквизиционного суда. Подобный способ ведения дела полностью противоречил законам и обычаям франков. Дальнейший ход следствия лишь умножил число явных и тайных несправедливостей. Король находился в очевидном сговоре и с теми, кто в красных мантиях судей выносил приговоры, и с теми, кто в белых прокурорских одеждах требовал для рыцарей Храма мучительной смерти. На защитников же было оказано сильнейшее давление как со стороны светской, так и духовной власти. Королю почти не пришлось подгонять судей, которые все, как

[1] Розенкрейцеры — масонское общество, организованное будто бы еще в XIV в Христианом Розенкрейцом Розенкрейцеры распространяли всевозможные слухи о сверхъестественном могуществе своих анонимных руководителей Под влиянием розенкрейцерства находились многие высокопоставленные лица Фридрих Вильгельм II, Екатерина I, Павел I и другие

один, были лютыми врагами ордена. Приговор был предрешен, и ничто не могло изменить предначертанный королевской рукой ход разбирательства. Тем более что главным следователем назначили мессира Ногарэ, новоиспеченного барона и канцлера.

Тюрьма и пытка сделали свое дело. Один за другим сознавались рыцари в самых страшных грехах. Но следствие еще не было вполне закончено, как нетерпеливый король приступил к казням. В 1309 году под Парижем мучительную смерть на медленном огне приняли 54 рыцаря, осмелившихся отказаться от своих вынужденных показаний. Среди них был и кавалер ле Карре — далекий пращур лейтенанта. Это он сказал своим судьям слова, ставшие потом достоянием истории: «Разве это я сознался на вашем допросе? Разве это я взял на душу чудовищный и нелепый плод вашей фантазии? Нет, мессиры! Это пытка вопрошает, а боль отвечает!»

Слухи о неправедных, страшных процессах вызвали в народе глухой ропот. Это заставило короля дать согласие на то, чтобы привезенным в столицу узникам было разрешено прибегнуть к законной защите генерал-прокурора ордена Петра Булонского. Впрочем, это была лишь пустая формальность, вынужденная уступка общественному мнению. Все защитительные акты генерал-прокурора суд оставил без ответа.

По принуждению короля папа созвал в Виенне в октябре 1311 года собор. Но из королевских особ на нем присутствовал лишь сам Филипп, остальные владетельные особы прислали только своих представителей. Король французский потерпел постыдное поражение. Собор отказался проклясть усопшего папу Бонифация, а за уничтожение ордена из ста сорока кардиналов проголосовали только четверо. Напрасно король и папа уговаривали прелатов осудить тамплиеров заглазно, не выслушав оправданий измученных пыткой командоров славного ордена. Кардиналы требовали беспристрастного расследования. После шести месяцев бесплодных пререкательств Филипп плюнул на нелепую затею с собором и потребовал у папы единоличного решения. 2 мая 1312 года Климент подписал бумагу, начинавшуюся словами: «К провидению Христа...», в которой упразднялся орден Храма. Но сказочные богатства тамплиеров отходили в руки церкви, а не к французской короне. Филипп пришел в бешенство. Из-за чего же он затеял тогда весь этот процесс? Выставил себя вероломным чудовищем в глазах всей просвещенной Европы? Неужели только для того, чтобы присутствовать на церемонии передачи всего движимого и недвижимого имущества в чужие руки?

По совету верного Флотта, Филипп смирил и гордость и ненависть. Он даже выразил свое формальное согласие на то, что наследником рыцарей Храма будет орден иоаннитов. Но, пока выполнялись необходимые формальности, Флотт опутал имения ордена такими долгами, что иоанниты обеднели от неожиданного наследства. Все золото, все лены и майораты достались королю. Исчезли только тайные святыни тамплиерские: кинжал справедливости и красный алмаз.

В розыске пропавших сокровищ не помогли ни пытки, ни костры, ни дьявольское искусство мессира Ногарэ...

Последний же гроссмейстер ордена Яков де Моле, вызванный перед началом следствия с Кипра во Францию, все еще сидел в башне. Чтобы не возбуждать страсти, Филипп удовольствовался тем, что приговорил гроссмейстера к пожизненному заключению. Но на публичном чтении приговора упрямый храмовник отрекся от всех данных под пыткой показаний и заявил протест против незаконного ведения процесса. Это окончательно взбесило и без того огорченного короля, который незамедлительно отдал гроссмейстера палачу. На другой день, марта 18 дня 1314 года, Якова де Моле сожгли на медленном огне. Он геройски вынес мучительную смерть и, перед тем как предстать перед очами высшего судьи, громко призвал на суд Божий короля — чудовище и отступника — папу...

С той поры минуло больше четырех с половиной столетий, но орден Храма не умер. Антуан ле Карре знал это лучше, чем кто бы то ни было другой. Это днем он был лейтенантом серых мушкетеров, преданный королю, его величеству Людовику XV. По ночам же каждую субботу отправлялся он тайной дорогой к Тамплю, сохранившему остатки былых привилегий и вольностей... Он, потомок Феба ле Карре, не забудет, как его с черной повязкой на глазах провели в подземелье, как три острые шпаги уперлись в его обнаженную грудь и пламя свечи опалило лицо. И клятву свою он никогда не забудет, ибо она ввела его во внутренний круг тайного ордена тамплиеров...

— Готов ли ты? — услышал он голос из подземелья.

— Готов, — прошептал тогда ле Карре.

— Во имя Молоха, Астарота, Баал-Зебуба и Люцифера! — колоколом гудела тьма.

— Во имя вечного обновления природы, — смиренно ответил он.

— Откуда пришел ты? — спросили его.

— Из вечного пламени!

— Куда идешь?

— В вечное пламя!

— Тогда войди, брат.

И руки, державшие его, разжались, и он покатился по мокрым гранитным ступеням в огонь.

Но в последний момент чьи-то крепкие руки вновь подхватили и понесли его куда-то в сырую затхлость каменных коридоров. И хотя кругом обступала его все та же кромешная тьма, повязка была снята с глаз.

Далеко впереди засинел рассеянный свет, и сделалось легче дышать. Тут невидимые спутники покинули его, и он продолжал путь в одиночестве.

Каждый шаг отдавался протяжным вздохом, нехотя замиравшим в каменных сводах. Размытые тени бросались под ноги и уплывали во тьму. Но все светлело и светлело впереди. И тогда увидел ле Карре крылатого козла со страшной мордой и бычьими, гневно

раздутыми ноздрями. Между крутыми могучими рогами горел факел, и свет его собирался в серебряной пятилучевой звезде на лбу. Грудь у козла была человечья, женская, а живот, как у гада, чешуйчатый и зеленый. Правой рукой указывал он на висевший меж колонн белый рог месяца, левая, опущенная, уткнулась когтистым перстом в черный рог. Чресла чудовища были задрапированы огненной юбкой, спускавшейся до вывороченных колен. Твердо, уверенно стояли на земле козлиные ноги, попирали ее раздвоенными копытами. Черно-белые крылья почти целиком закрывали неф. Лишь между распущенных перьев проблескивали письмена какие-то, молнии и стрелы всевозможные, Нептунов трезубец и символы темного могущества.

Справа от козла стоял обвитый пифоном столб с золотым треугольником на вершине. От треугольника исходили колючие лучи, а внутри него словно застыло в вечном удивлении широкое, раскрытое, чернью по металлу изображение — око с зеленым зрачком. Слева же подымался на хвосте бронзовый змей. Как зачарованный глядел он на удивительного козла, и злой огонь переливался в его рубиновых глазах. А имя было его Баффомет.

— Озирис? — услышал ле Карре тихий вопрос и так же тихо дал условный ответ:

— Темный бог.

Послышалось печальное пение. И чей-то хриплый, надтреснутый голос провозгласил:

— Баал-Зебуб! Баал-Зебуб! Баал-Зебуб!

И то, что этот Баал-Зебуб не забытый демон халдейский, а попросту Вельзевул, означало, что тайные тамплиеры стали исповедовать ту самую веру, которую безуспешно пытались навязать их предкам палачи Филиппа Красивого...

— Ормузд? — услышал у себя за спиной ле Карре.

— Ариман, — не оборачиваясь, отозвался он.

— Тогда пойдемте со мной, сударь.

Ле Карре помедлил, убрал локти с парапета и, повернув голову, увидел незнакомого дворянина в черном камзоле и лиловых чулках.

— Прошу вас, — учтиво поклонился дворянин и жестом предложил проследовать за ним на другой конец моста, где виднелся дом под темной остроконечной крышей. — В трактире «Под старой шпорой» нашей беседе никто не помешает. Там в этот час мало посетителей.

Они прошли через мост и, нырнув под низкую притолоку, с которой свешивался заменявший вывеску драный ботфорт с ржавой шпорой, оказались в полутемной комнате.

— Добро пожаловать, сиятельные господа. — Неведомо откуда вынырнула бойкая служанка в чепце и переднике и принялась вытирать стол из струганых досок.

— Где хозяин, красотка? — осведомился дворянин, поправляя напудренный парик.

— Уехал в Отейль, сударь, за каплунами. Что угодно господам?

— Комнату, свечу и бутылку анжуйского. Живо! — Дворянин, поклонившись ле Карре, указал на винтовую лестницу в углу. — Проследуем наверх.

Служанка бросила тряпку и метнулась в кладовую:

— Сейчас, благородные господа, сейчас будет вам вино и свеча.

Она провела гостей в мансарду, окно которой было закрыто ставнями, зажгла свечу на колченогом столе и побежала в погреб за вином.

Дворянин в черном предложил ле Карре занять единственный стул, а сам без особых церемоний уселся на узкую кровать, под которой поблескивали таз и ночная ваза. Других предметов в комнате не было, если не считать, конечно, кипарисовый крестик на грубо побеленной стене.

— Шевалье ле Карре? — осведомился дворянин. — Я не ошибся?

— Да, сударь, — с достоинством наклонил голову лейтенант. — С кем имею честь?..

— Вы пришли вовремя, — словно не расслышав вопроса, выразил свое удовлетворение дворянии. — Признаться, мы ждали вас с нетерпением.

— Я жду, сударь, — напомнил ле Карре.

Но вместо ответа дворянин вскочил с кровати, которая скрипнула всеми своими рассохшимися досками, и, подскочив к стене, сорвал с нее распятие.

— Проклятие Адонаи! — воскликнул он и совершенно спокойно возвратился на место.

— Здравствуй, брат. — Ле Карре встал и поднял вверх левую руку, образовав указательным и большим пальцами кольцо.

— Здравствуй, брат во Люцифере, — торжественно ответствовал дворянин, повторяя тайное приветствие. — А теперь рассказывайте, ле Карре, время не терпит. Вы и так отсутствовали слишком долго.

— Задача была не из легких, сударь... Кстати, я до сих пор не знаю, как мне именовать вас.

— Меня зовут ла Моль, шевалье.

— Рад познакомиться с вами, граф! — привстал в полупоклоне ле Карре. — Много о вас наслышан!

— И я, шевалье, и я... Но не будем терять времени на пустые любезности! Что вам удалось узнать об этом авантюристе? Орден очень интересуется им. Вы это знаете, ле Карре.

— Да, граф. Знаю. Тем более, что вот уже скоро год, как я только этим и занимаюсь. Вчера я имел честь доложить командору...

— Забудем это, ле Карре, забудем, — с живостью перебил его ла Моль. — Было ли у меня время расспрашивать про ваш доклад в Тампле? Не лучше ли вам будет просто ответить на мои вопросы касательно самозваного графа? Если только вы ничего не имеете против?

— Спрашивайте, господин ла Моль, я весь к вашим услугам... Только Сен-Жермен вряд ли самозванец.

— Но помилуйте, сударь! — Ла Моль развел руками и засмеялся. — Я никогда не слышал о таком графстве!

— Это верно, — согласился ле Карре. — Такого графства нет. Но это не значит, что тот, кто носит это имя, не является человеком благородной крови. Напротив, граф, уверяю вас: это человек очень высокого происхождения.

— Вам удалось раскрыть его инкогнито? — удивленно воскликнул ла Моль. — Это же великолепно!

— Не совсем так, граф, — несколько охладил его порыв ле Карре.

— Но, по крайней мере, национальность?

— Одно тесно связано с другим.

— Тогда рассказывайте, как знаете! Я постараюсь не мешать вам своими вопросами. Но учтите, шевалье, я умираю от любопытства.

Граф совершенно отбросил ритуальную условность и говорил с ле Карре, как светский человек со светским человеком. Лейтенант воспринял это, как должное.

Служанка принесла вино в пыльной бутылке.

— Что ж, дорогой граф... — Ле Карре наполнил бокалы анжуйским и встал, приглашая ла Моля присоединиться. — Я менее всех расположен мучить вас... Не угодно ли?

Они, стоя, чокнулись и, пригубив вино, возвратились на свои места.

— Он действительно сказочно богат? — не выдержал ла Моль.

— Во всяком случае он не знает нужды в деньгах. — Ле Карре допил свой бокал и потянулся за бутылкой. — Поэтому не выгоды ищет он, когда прибегает ко всякого рода мистификациям. Да, дорогой ла Моль, дело обстоит именно так, что бы ни болтали в свете его завистники. И он, повторяю, не самозванец, а действительно принадлежит к знатному роду.

— Весь вопрос — к какому?!

— Да, — согласился ле Карре. — Это серьезный вопрос. Но, уверяю вас, у него есть веские причины скрывать свое происхождение.

— И национальность, шевалье!

— Я же сказал, что одно связано с другим. Впрочем, последнюю ему вовсе не надобно скрывать. Достаточно одного умолчания. Ведь он без всякого акцента говорит на многих языках. Он всюду выставляет себя, как иностранец, хотя в Париже его без труда можно принять за француза, во Флоренции или Риме — за итальянца, в Петербурге — за русского. Но он обожает, разъезжая по свету, менять имена. Чуть ли не на каждой почтовой станции... В Генуе и Ливорно он назвался русским графом Салтыковым, в Голштинии и Гессене выдал себя за испанского гранда.

— Вы настаиваете на этом слове — «выдал»? — подчеркнуто акцентировал ла Моль.

— Простите, граф? — не понял ле Карре.

— Суть в том, что многие полагали, будто бы он в действительности испанец: незаконный сын испанской королевы Марии и неведомого красавца простолюдина.

— Очередная легенда о Сен-Жермене! — отмахнулся ле Карре. — И менее всего претендующая на то, чтобы оказаться правдой.

— Вы полагаете, шевалье?

— Уверяю вас, граф.

— Где же тогда истина?

— В поисках ее я и убил столько времени и сил.

— Я весь внимание, шевалье!

— Мне удалось установить, милый ла Моль... — Лейтенант медленно выцедил вино. — Да, мне удалось установить, что он сын венгерского князя Ференца Ракоци, поднявшего народное восстание против австрийской ветви Габсбургов!.. Как вам это понравится, граф?

— Невероятно! — прошептал пораженный ла Моль. — Этого я меньше всего мог ожидать...

— И тем не менее именно это и есть истина. Если, конечно, она вообще возможна там, где прошел Сен-Жермен.

— Расскажите подробнее!

— Родился он 28 мая 1696 года и был наречен Леопольдом-Георгом, по-венгерски Липот-Дердь. Но через четыре года вдруг было объявлено о кончине малолетнего сына князя Ференца...

— И что?

— Это было ложное известие, сударь. Наследник Ракоци был жив и здоров. Его укрыли в надежном месте, отдали под надзор верных, испытанных друзей. Ференц Ракоци, которого самого чуть не отправили в детстве на тот свет, сделал все, чтобы обезопасить сына, оградить его от наемных убийц.

— Да, на это у него были основания, — прошептал ла Моль.

— Еще бы! Особенно если учесть, что год спустя после мнимой кончины сына князь и княгиня были арестованы.

— Все это выглядит достаточно убедительно. — Ла Моль потянулся к столу поставить бокал. — Вы, конечно, располагаете доказательствами?

— Несомненно. Если вы знаете, у Ракоци после Леопольда-Георга было еще трое детей — два сына и дочь?

Граф молча кивнул.

— Так вот, в его завещании были упомянуты четверо! Черным по белому князь Ференц написал, что поручил старшего сына заботам друзей.

— И сказано, каких именно?

— Герцога Бурбонского, герцога де Мейна, графа Шарлеруа и... — Ле Карре сделал небольшую паузу. — И... графа Тулузского.

— Что? Графа Тулузского? Чародея и ясновидца, который исчез при загадочных обстоятельствах?

— Именно так, милый ла Моль! Чародея и ясновидца... Добавьте к этому еще и наследника тулузских графов Раймундов...

— Замечательно, ле Карре! Это заставляет нас на многое взглянуть иными глазами... Недаром же сей загадочный Сен-Жермен особенно выделял из своих знакомых именно этих четырех!

— Обратите также внимание, ла Моль, что в числе многочисленных псевдонимов Сен-Жермена есть и такой... — Ле Карре вновь на мгновение замолк, как бы подчеркивая этим всю значимость своих дальнейших слов. — Граф Цароки!

— Граф Цароки? — нахмурился, словно что-то припоминая, ла Моль. — Это мне ничего не говорит.

— Анаграмма фамилии Ракоци, — подсказал ле Карре.

— Ах да! Действительно... Вы просто великолепны, ле Карре!

— Благодарю, граф.

— Кто еще, кроме вас, посвящен в тайну?

— Четверо наших аристократов, которых я имел честь вам назвать, если, конечно, граф Тулузский жив...

— И больше никто?

— Затрудняюсь вам сказать со всей определенностью.

— Ах, дорогой ле Карре, это же очень и очень важно для меня! Разве командор не сказал вам, что орден поручил именно мне вступить в контакт с этим загадочным Сен-Жерменом?

— Сказал, что такое поручение уже дано. Но имени не назвал.

— Так вот, это я, дорогой лейтенант.

— Сочувствую, граф. Не в обиду будет сказано, но вам предстоит неравное партнерство.

— Я знаю, — сокрушенно поник ла Моль. — А что делать?

— Делать нечего, — согласился ле Карре. — Но вернемся к тайне. Если вас интересует мое мнение, то в нее, по-моему, посвящен еще и сам король!

— Возможно... — задумчиво кивнул ла Моль. — Людовик действительно слишком благоволит ему...

— Более того. Он распорядился воздавать Сен-Жермену почести, как принцу крови.

— Да-да. Это очень странно.

— Вам все еще странно, ла Моль?

— Нет, дорогой ле Карре, теперь уже нет... После вашего рассказа я все вижу в ином совершенно свете. Раньше я полагал, что король выделяет Сен-Жермена в благодарность за услугу.

— Вы имеете в виду трещину в бриллианте?

— Да, ле Карре, король очень дорожил этим камнем и, когда Сен-Жермен уничтожил трещину, был совершенно счастлив. Кстати, как это возможно — устранить трещину?

— Есть много путей, — усмехнулся ле Карре. — Во-первых, просто подменить королевский камень, подсунуть вместо него очень похожий, только целый.

— А во-вторых?

— Во-вторых, можно так же хорошо изучить науки, как граф Сен-Жермен.

— Вы это серьезно, ле Карре?

— Вполне, граф... Но это не исключает, конечно, более простой версии с подменой. Сен-Жермен сказочно богат и располагает, конечно, обширным собранием бриллиантов. На балу в Версальском дворце его видели с такими бриллиантовыми пряжками на туфлях, что двор был потрясен... Говорят, что маркиза де Помпадур не сводила с них глаз.

— Но он-то сам уверяет, что действительно умеет лечить камни и научился этому в Индии.

— Он многое говорит... — протянул ле Карре. — Больше всего он любит, как бы случайно проговорившись, упомянуть о давно прошедших событиях, в которых якобы принимал участие.

— Да. Знаю, — согласился ла Моль. — Недавно в свете зашла речь о Франциске Первом, и Сен-Жермен привел всех в великое смущение, обмолвившись, что часто беседовал с покойным Франсуа.

— Ну это что! Франциск умер всего лишь двести лет назад. А что вы скажете про воспоминание Сен-Жермена о Христе?

— Он и на это решается?

— «Решается?!» Слишком слабо сказано, граф! Слишком слабо... «Мы были друзьями, — сказал он о Христе. — Это был лучший человек, какого я знал на Земле, но большой романтик и идеалист. Я всегда предсказывал ему, что он плохо кончит». Как вам понравится такое?

— Неслыханно!

— Отчего же? — усмехнулся ле Карре.

— Как свет терпит столь очевидную ложь?

— А разве Сен-Жермен хоть кому-нибудь пытался ее навязать? Такие вещи он роняет на ходу, с рассеянным видом, словно по забывчивости. Одни считают это чудачеством, другие относятся серьезнее. Тем более что загадочный граф действительно умеет творить чудеса. Он прославился как живописец, создавший светящиеся в темноте картины; его великолепные стихи полны недосказанностей и тревожат потаенным каким-то смыслом; сочиненные им сонаты и арии вызывают зависть профессиональных музыкантов. Разве вы не знаете, что очаровавший наше общество скрипач-виртуоз Джованнини был не кто иной как наш проказник граф?

— Я уже устал удивляться, ле Карре, — покачал головой бедный ла Моль. — Вы уничтожили меня. Теперь мне понятно, почему Джованнини выступал в маске.

— Это понять нетрудно, ла Моль. Труднее объяснить те чудеса, которые показывал Сен-Жермен королю в своей алхимической лаборатории в замке Шато де Шамбор.

— Я вижу, дорогой лейтенант, что вы всерьез прониклись верой в его сверхъестественные способности? Быть может, вы поверили и в его бессмертие? Простите меня, это несерьезно. Одно дело наши таинственные игры в подземельях Тампля. Это занимает ум, щекочет нервы. Но относиться ко всему этому всерьез? Нет уж, увольте.

— А легендарный красный алмаз, граф?

— Кто его видел, ле Карре?

— Мой пращур, который сгорел на костре, но так и не выдал тайны.

— Мой пращур тоже сгорел.

— Я знаю, что вы потомок гроссмейстера, — кивнул ле Карре.

— Дело не в том, — отмахнулся ла Моль. — Знаете, в чем главная беда наших предков? В том, что им нечего было выдавать. Иначе они спасли бы себя и от пытки, и от костра. Я не верю в красный алмаз.

— Признаться, я тоже, но, мой милый граф, Сен-Жермен заставил меня многое пересмотреть. Нет, я, конечно, не считаю его бессмертным. Хотя бы по той причине, что он сам не считает себя таковым...

— Парадокс?

— Отнюдь. Я слышал, как он сказал одному знакомому: «Эти глупые парижане воображают, что мне пятьсот лет. И я даже укреплял их в этой мысли, так как вижу, что им это безумно нравится. Но если говорить серьезно, то я на самом деле намного старше, чем выгляжу». Так-то, ла Моль... Сен-Жермен и вправду многому научился на Востоке. У него нет эликсира бессмертия, но он знает тайну целебных трав. «Чай Сен-Жермена», которым он пользует короля, действительно оказывает животворное действие. Это необыкновенный человек, граф, говорю вам открыто и честно. Не обижайтесь, но не вам тягаться с ним... И не мне.

— Вы бы лучше высказали все это командору!

— Я и высказал. Но он одержимый!

— Хорошо, ле Карре, вы все знаете лучше меня, скажите же, что вы думаете о Сен-Жермене? Кто он?

— Я все сказал, граф. Он сын Ференца Ракоци и великий человек. Всесторонне одаренный от природы и широко образованный!

— Откуда тогда у него деньги? Только не уверяйте меня, что он их делает из свинца.

— Ничуть не бывало. К его услугам все золото масонских лож. Он достиг высших степеней посвящения... Быть может, даже самой высшей, единственной.

— Вы полагаете, он руководит всеми ложами?

— Да, граф, полагаю. Его приезд в Санкт-Петербург летом 1762 года несомненно был продиктован далеко идущими целями масонов. Мне достоверно известно, что фаворит императрицы Екатерины — Григорий Орлов вручил ему очень крупную сумму.

— За какие заслуги?

— Не знаю. Возможно, наш подопечный содействовал воцарению императрицы. Это тайна, покрытая мраком. Известно только, что Орлов, обращаясь к Сен-Жермену, называл его caro padre — дорогой отец.

— Да, все это возможно, — задумчиво произнес ла Моль. — В конце концов, мы, тамплиеры восемнадцатого века, тоже своего рода тайное общество.

— Именно поэтому командор и стремится привлечь к нам такого блестящего человека, как Сен-Жермен.

— Уж лучше нам сразу идти под его начало, — усмехнулся ла Моль. — Так было бы правильнее...

Ле Карре сделал вид, что пропустил откровенное высказывание графа мимо ушей.

— Командор убежден, что Сен-Жермен располагает красным алмазом, — сказал он.

— С каких пор, хотелось бы знать? — скептически улыбнулся ла Моль.

— С тех самых, как он объявился внезапно в Париже под именем графа Сен-Жермен, — ответил ле Карре, и ни одна жилка не дрогнула на его лице.

Глава 14

СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

Когда Люсин следом за Львом Минеевичем раздвинул гремящую занавеску и вошел в комнату, им навстречу поднялась разгневанная сиделка:

— Что же это получается такое? А?

— Разве я опоздал? — забеспокоился Лев Минеевич. — Сейчас, по-моему, и шести еще нет. — Он вынул из кармана старый брегет и щелкнул крышкой. — Так и есть! Двадцать минут пятого.

— Да не про то я! — досадливо отмахнулась сиделка. — Тут же полно кошек! — Она похлопала себя по солидной груди. — Я их и так терпеть не люблю, а тут полюбуйтесь!.. — Она указала куда-то в противоположный угол. — Полюбуйтесь!

Лев Минеевич и Люсин последовали настоятельному приглашению и увидели на полу белую тощую кошку. Она лежала на боку, вытянув лапы, и, судя по откинутой голове, была мертва.

— Это же Саския! — всплеснул руками Лев Минеевич. — Что же с ним? Бедное животное! Бедная, бедная Верочка...

— Не знаю, кто здесь бедный... — сиделка энергично замахала рукой, будто ковер выбивала. — Только я здесь не останусь ни на минуту. Мало того, что делаешь людям одолжение, с работы ради них срываешься, так тут еще дохлые кошки! Как вам это понравится?! То-то, чую, запах какой-то вонючий. «Не может быть, думаю, чтоб это от кошек. Кошки так не пахнут, хотя и противные». Принюхалась, принюхалась и — нате вам! — нашла в углу: лежит себе, околела! Чтобы я после этого кого послушалась? Да ни в жисть! Сейчас же ухожу...

— Никуда вы не пойдете! — с неожиданной твердостью остановил ее Лев Минеевич. — Оставайтесь на своем посту! Этот товарищ — он небрежно кивнул на Люсина — из милиции.

— А мне плевать! — Она глубоко вдохнула воздух, словно и впрямь собиралась плюнуть как можно дальше. — Мне за это зарплату не прибавят, — добавила она, печально выдохнув. — У меня у самой, может, мальчик больной... — Она вдруг зашмыгала носом. — Ножки у него не ходят, так и то посидеть с ним некогда... Работаю, как медведь.

Лев Минеевич беспомощно развел руками и умоляюще посмотрел на Люсина.

— Не расстраивайтесь, мамаша. — Люсин осторожно погладил ее по спине. — Надо ведь подежурить, раз такой критический случай. А насчет денег не беспокойтесь — это мы сделаем!

— Так я их терпеть не могу, кошек этих! — сказала она, усаживаясь.

— Я тоже, — сказал Люсин, наклоняясь над Саскией.

Бедняга скончался, видимо, под утро, а может, и ночью. Глаза его помутнели, и внутренний свет их погас. Они казались огромными, эти расширенные внезапной смертью глаза.

Люсин уже знал от врача все подробности утреннего переполоха. Но сейчас, рассматривая Саскию, он усомнился в правильности диагноза.

«Старуха могла, в конце концов, отравиться и колбасой. Кошка доела остатки и околела. Так хоть концы с концами сходятся... А то чего вдруг, спрашивается, она подохла? Не от испуга же...»

— Где у нее холодильник? — спросил он.

— Вы хотите положить его в холодильник? — ужаснулся Лев Минеевич.

— Нет, — поморщился Люсин. — Я хочу узнать, нет ли в холодильнике остатков колбасы.

— У нее нет холодильника. — Он указал глазами на софу, где лежала неподвижная и безмолвная Вера Фабиановна. — Все остатки — на столе. Я знал, что они вам понадобятся... — Он гордо взглянул на сиделку. — И велел все сберечь, как есть.

— Боюсь, что эта колбаса слишком долго пролежала в тепле, — вздохнул Люсин. — Но анализ мы на всякий случай все же сделаем... А где остальные кошки? — Благодаря Льву Минеевичу он был уже прекрасно осведомлен о комнате и ее обитателях.

— Шляются туда-сюда! — встряла в разговор сиделка.

— Кис-кис-кис! — позвал Лев Минеевич, приманивая кого-то невидимого согнутым указательным пальцем.

На зов явилась только шелковистая черная кошка с янтарно-зелеными глазами. Она бесшумно спрыгнула откуда-то сверху и прогнулась вся, вытянув вперед лапы. Царапнула пол и, спрятав когти, потерлась вдруг мордой о ногу Люсина. Но тут же отпрыгнула в сторону, зашипела на мертвого Саскию и полезла под софу.

— Похоже на то, что разбежались кошечки, — заметил Люсин.

— Да, — согласился Лев Минеевич. — Я лично только Леонида сегодня видел.

— А вы, случайно, не знаете, как реагируют кошки на смерть своих товарищей?

«Фу ты, как глупо сказано! И все ведь знать надо, черт его дери!»

— Не знаю, — вздохнул Лев Минеевич. — Наверное, они печалятся.

«Держите меня, ребята, или я сейчас что-то над собой сделаю, как говорил мой кореш Жора Васильков... Что-то неладно с этой кошкой. Тут, пожалуй, не в колбасе дело. Вроде ее удушили. Жаль, неизвестно, кого принимала вчера старуха. Он и ее мог удушить. По пьянке... — Люсин покосился на бутылку. — Нет, мало слишком, капля одна... Хоть и есть такие, что кошек по пьяной лавочке душат или в собак стреляют, но им для этого побольше надо, что-то в районе кило...»

Он осторожно взялся двумя пальцами за кончик мохнатого уха и приподнял кошачью голову.

«Явно задушена кошка. Зверски задушена. Словно кто-то полотенце вокруг нее затянул».

Он разжал пальцы и брезгливо потер их, словно стирал прилипший к ним смертный холод.

«И чего это я сразу за кошку принялся? Ах да, сиделка подсуропила, хотя, конечно, спасибо ей: может пригодиться».

— Где этот ларец стоял? — спросил он, выпрямляясь.

— Вон там. — Лев Минеевич кивнул на свернутый гобелен. — Он был этим покрыт, а сверху обычно лежали кошки.

На полу явно различался темный и пыльный прямоугольник.

— Такой большой? — спросил Люсин.

Лев Минеевич кивнул.

— Разве это ларец? Это целый ларь! Сундук, можно сказать.

— Так он везде называется, — вздохнул Лев Минеевич. — Ларец Марии Медичи.

— Где же это везде?

— Во всех антикварных каталогах мира.

— Ух ты, как громко!

— Да, — просто ответил Лев Минеевич. — Ларец Марии Медичи.

— Я не про это, — усмехнулся Люсин. — Ларец — это не громко. Я про весь мир.

— Он и вправду всемирно известен. Ради Бога! — Лев Минеевич умоляюще сложил руки у подбородка. — Разыщите его, иначе она умрет. Никакие доктора ей не помогут, никакие лекарства! Без этого проклятого сундука она не станет жить.

«В том-то и дело, что сундук... За ним-то он и охотился. Только зачем он, скажите на милость, в мебельный полез? Не знал настоящего адреса? Надеялся на случайность? С трудом что-то верится... Нет, все он знал распрекрасно! И водка эта его! Это из его купленных на валюту московских запасов... Неужели этот гад, пока мы тут с ног сбиваемся в поисках, где-то бродит, обкрадывает старух и душит котов? Прямо чертовщина какая-то! Ведь это он, он —

поскольку некому больше! — был здесь вчера вечером! Ах, мразь какая! Ну и мразь! Но на что надеется? Как думает выбраться из страны? Нет, не такой он пентюх, чтоб надеяться на чудо. По лезвию ходит, знает, что по пятам за ним идут. В чем же здесь дело? Неужели и впрямь этот сундук оправдывает любой риск? Ничего, решительно ничего я в этом деле не понимаю...»

Люсин достал из портфеля пакет с гигроскопической ватой, разорвал его, осторожно собрал со стола и укутал в вату бутылку, рюмки, вилки и ложечки.

— Я знал, что это вам понадобится, — удовлетворенно заметил Лев Минеевич. — И велел, чтоб все осталось, как было.

— Спасибо, — сказал Люсин, приседая на корточки.

На полу хорошо были видны длинные полосы и царапины. «Не побоялся выволочь такую громадину! И как он только управился? В такси сундук явно не влезет. Значит, пришлось ему ловить левака... Грузовик, микроавтобус, по меньшей мере «пикап»... Неужели же никто этого не видел и не слышал? Или была у него наготове своя, договоренная, машина? Притом все произошло ночью, когда люди обычно спят... Все же надо будет хорошенько порасспросить соседей. Особенно эту Эльвиру Васильевну!»

— Какой высоты была эта штука? — спросил он, достав из кармана стальную рулетку.

Лев Минеевич подошел к прямоугольному отпечатку на полу и показал примерную высоту.

Люсин все вымерил и записал в блокнот. Потом приложил рулетку к притолоке и стал измерять дверь.

— Проходит? — осведомился Лев Минеевич.

— Проходит. С трудом, но проходит. — Люсин раздвинул занавес и вышел в коридор.

Сиделка, как завороженная, глядела ему вслед.

— Криминалистика! — приложив палец к губам, разъяснил Лев Минеевич. — Дедуктивный метод. Я это предвидел.

И милое, забытое детство открылось ему вдруг в пыльном солнечном луче. Он не помнил, а может быть, и вовсе никогда не знал, что представляет собой дедуктивный метод. Но разве это что-нибудь меняло? Слово утратило конкретный смысл, но отнюдь не умерло, напротив, оно расширилось и стало своего рода паролем. Он произнес его невзначай, а где-то, в уже несуществующем прошлом, кто-то откликнулся: Шерлок Холмс, Ник Картер, Этель Кинг, культ, мокасины, бизоны, пещеры; словно пылинки в косом столбе света, танцевали и вспыхивали в памяти имена и названия, и были они столь же хаотичны, как пылинки. Но на душе стало грустно и хорошо.

Солнечный луч высветил на пыльном полу яркое мастичное пятно. Оно показалось Льву Минеевичу таким теплым и милым, что захотелось погладить рукой. Он и в самом деле нагнулся и потрогал нагретый солнцем паркет.

— Что это вы делаете, Лев Минеевич? — спросил, возвратившись, Люсин.

— Я? — испуганно обернулся застигнутый врасплох старик. — Я, видите ли, осматриваю место... Может, злоумышленник что-нибудь случайно обронил. Или следы какие оставил.

— Ах вон оно что... Ну-ну... Простите, можно вас на минутку? — Он наклонился к сиделке и поманил ее в коридор.

Тщательно прикрыв за собой дверь, чтоб ненароком не услышала больная, он тихо спросил:

— Ну, как вы ее находите?

— Плоха она! — решительно заявила сиделка. — Нипочем не выживет.

— Почему вы так думаете?

— Полный паралич. Не пьет, не ест. В больницу ее надо, на искусственное питание. Только переезда она не перенесет.

— Значит, полагаете, спрашивать ее о чем-нибудь бесполезно?

— Мертвое дело. Ничего не соображает. Ее бы в хорошую больницу пристроить, может, и выходят... А так помрет ни за грош одинокая старуха...

— Так, значит... Ну что ж, в больницу, думаю, мы ее устроим. Ладно. Спасибо вам.

— За что спасибо? Мне-то что? — Она махнула рукой и ушла в комнату.

Люсин немного походил в одиночестве по коридору, посасывая занзибарский мундштучок и прислушиваясь к тихому жужжанию счетчика. «Грабитель — будем пока именовать так, хотя не исключено, что сундуком он мог завладеть и путем шантажа, — тащил добычу до самой подворотни. Там он, очевидно, погрузил сундук на машину. Далее следы, естественно, теряются. И напрасно Лев Минеевич все уши прожужжал про умную собаку-ищейку. Дальше подворотни она не поведет...»

Возвратившись в комнату, он решительно пододвинул стул к изголовью Веры Фабиановны, но сел весьма робко, на самый кончик.

— Вы видите меня? — спросил он, поймав ее напряженный и неподвижный взгляд. — Вы видите меня, Вера Фабиановна? — чуть громче повторил он.

Но ничто не шевельнулось в ее лице. По-прежнему она смотрела прямо в его глаза, но вроде не видела, а как бы проницала насквозь, будто был он для нее прозрачным духом.

— Вы можете закрыть глаза?

Старуха тут же сомкнула веки, но минуту спустя вновь уставилась на него трудным, проницающим взором.

Контакт все же оказался возможным, и Люсин облегченно вздохнул. Чтобы подбодрить для начала Веру Фабиановну, он решил внушить ей, что обязательно отыщет исчезнувшее сокровище.

— Я найду ваш ларец... — Он говорил медленно и настойчиво, как гипнотизер на сцене. — Я обязательно найду его! Вы понимаете?

Старуха с готовностью моргнула. Дело явно шло на лад.

— Вера Фабиановна! — Незаметно входя в роль, Люсин даже прижал ладонь к сердцу. — Я стану называть вам буквы в порядке

алфавита, и, как только дойду до нужной, вы мне просигнальте. Так вы поможете мне узнать имя похитителя. Хорошо?

Сморщенные, пронизанные извилистыми малиновыми жилками веки чуть заметно дрогнули. Лев Минеевич, который, понятно, знал старуху куда лучше, чем Люсин, от удивления даже подался вперед. Сомнений быть не могло: Вера Фабиановна явно кокетничала. Даже на смертном одре она хотела остаться женщиной, которая нравится, чьи «нет» или «да» — это чет и нечет судьбы. Не более и не менее!

Да и что изменилось за эти тридцать или там сорок лет? Разве этот молодой человек с приятным, хотя и простоватым лицом не ждет от нее ответа с тем же напряжением, что и те, другие, чьих лиц и имен она уже не помнит? Что же изменилось тогда? Что?

О, если бы Люсин знал Веру Фабиановну так же хорошо, как Лев Минеевич... Он бы вскочил со стула и встал перед ней, как раньше говорилось, во фронт. Но нет, пожалуй, лучше бы он опустился на одно колено и склонил голову на грудь. А то и вовсе поклонился старухе в пояс...

Но он не знал ее и ничего не понял. Эти старческие сухие веки и беспощадные гусиные лапки у ее глаз ничего не значили для него, ни о чем ему не говорили. Дрогнув, опали и поднялись эти веки. Он увидел в том только согласие, не более. Да так оно, собственно, и было. Вера Фабиановна прекрасно поняла, чего он хочет, и была готова ему помочь. Вот и все. Остальное — только неосознанная дань привычке, инстинктивная, автоматическая, как застарелый условный рефлекс.

— А! — как на первом школьном уроке, произнес Люсин, широко раскрыв рот.

Веки не шелохнулись.

— Бе-е! — Он подумал, что ему здорово пригодилась бы сейчас школьная касса с буквами. — Ве-е!.. Ге-е!.. Дэ-э!..

Вера Фабиановна моргнула.

— Значит, «дэ»? — с надеждой оживился Люсин.

Она молча подтвердила.

Через три минуты он уже точно знал имя, и было оно: Д-И-А-В-О-Л.

— Вы хотите сказать, что ларец украл дьявол? — переспросил на всякий случай Люсин.

Старуха просигналила, что он понял ее совершенно правильно. Именно это она и хотела сказать.

— Так... — Он облизал пересохшие губы. — На сегодня хватит. Не буду вас больше утомлять. Отдохните хорошенько... Мы еще побеседуем.

И, стараясь не замечать пристального, требовательного взгляда старухи, которой необходимо было столько еще рассказать, он полез в свой портфель.

Великое благо грамотность! Особенно знание иностранных языков. Что бы делал без этого Люсин сейчас, в такую трудную для

него минуту? Но внимательно следящий за международной прессой товарищ Люсин был на высоте. Достав из портфеля несколько заграничных газет, он аккуратно подсунул одну из них под Саскию, а другой накрыл его, как фараона в саркофаге, и быстро сварганил вполне приличный сверток.

— На предмет яда будут исследовать! — шепотом прокомментировал Лев Минеевич. Он весь так и лучился сопричастностью к высоким задачам и, само собой, пониманием величия этих задач.

Люсин взял портфель, сунул под мышку сверток и кивком вызвал Льва Минеевича из комнаты.

— Как вы думаете, она не тронулась рассудком? — Люсин покрутил рукой на уровне виска.

— Кто? Вера Фабиановна?! Ну что вы! Как можно! Она в здравом уме. Теперь я в этом не сомневаюсь.

— Тогда как это понимать?

— Насчет диавола, что ли?

— Именно?

— Вы же не дали ей договорить! То есть я понимаю, что так разговаривать очень трудно — по отдельным буквам, но все-таки надо иметь терпение. Притом у нее весьма своеобразный склад ума. Она гадалка как-никак, верит во всякие гороскопы и заговоры. И изъясняется она не всегда, как другие. Для нее все эти суккубы, инкубы и прочая нечисть вроде... близких, что ли... Уж не знаю, как вам сказать...

— А дьявол?

— Ну, не знаю... Это могло быть сказано фигурально...

— Хорошо. Я приду завтра с разрезной азбукой... Вы пока побудьте с ней, а я пришлю врача и сиделку.

«Утоплюсь. Вот пойду отсюда прямо к реке и прыгну с моста. Негоже, конечно, моряку тонуть в пресной воде... Только это и останавливает...»

Плотнее прижав локтем сверток с дохлой кошкой, Люсин пощупал свободной рукой глубокую, явно свежую борозду на стене лестничной клетки. Наверняка она была оставлена углом проклятого сундука.

Драгоценные трофеи этого нескончаемого душного дня он отвез в лабораторию. Пока объяснял, что и как, пока спорил и выслушивал мнения специалистов, подкралась гроза. За окнами потемнело, где-то вдали беззвучно вспыхивали розовые зарницы. Но ветра не было. Это предвещало длительный ливень.

Люсин не требовал от аналитиков невозможного, но расслабляющий зной и распространившаяся по территории Прибалтики и центральных районов европейской части Союза область депрессии делали свое дело. Рабочий день уже кончился, и никто не хотел брать новых заказов на завтра. Послезавтра — другой разговор. А тут еще электрический привкус летящей грозы... Тончайшие антенны человеческих нервов уже ловили сигналы ее далеких молний, а это, как известно, влияет на настроение.

И все же Люсину удалось, пользуясь привилегией особой срочности, оставить почти все свои сокровища в лаборатории. Почти! Потому что осложнения возникли из-за Саскии, которому не было покоя даже после смерти.

В Древнем Египте кошка считалась священным животным. Даже непредумышленное убийство ее каралось смертной казнью. Бальзамировщики-парасхиты проделывали с мертвой кошкой те же манипуляции, что и с почившим в бозе фараоном. Недаром современные археологи так часто находят саркофаги с кошачьими мумиями. Во всем этом был глубокий смысл. Ведь даже сейчас находятся люди, впадающие в дурное настроение при виде переходящей дорогу кошки. Поэтому можно только догадываться о той неистовой буре чувств, которую вызывала в душе древнего человека кошка мертвая. По широко распространенному в те далекие времена убеждению, она, не будучи похороненной согласно обряду, могла навлечь несчастье.

Люсин, понятно, не знал тайн парасхитов и, откровенно говоря, не собирался мумифицировать Саскию. Более того, он красноречиво убеждал людей в белых халатах подвергнуть труп священного животного немыслимому поруганию! Конечно, такое святотатство не могло пройти бесследно, и древнее проклятие сбылось.

Взять кошку на исследование отказались наотрез. Впрочем, надо сознаться, что в этом случае Люсин хотел от аналитиков почти невозможного. Увы, ему мало было обычных анализов: авторитетную экспертизу о причине преждевременной смерти Саскии он соглашался принять только в качестве программы-минимум.

Этот ослепленный гордыней человек требовал... Он даже осмелился подкрепить свои неслыханные домогательства телефонным звонком высокому начальству. И только тем обстоятельством, что начальство тоже устало и было ему, возможно, некогда, сотрудники лаборатории объяснили ту решительную поддержку, которую получил окончательно зарвавшийся Люсин. Но даже и в этом случае Саскию согласились принять только условно. Люсин не возражал. Он знал, что необходимый ему анализ удается довольно редко, в лучшем случае в отношении 1:35. Но таковы же примерно шансы сорвать ставку на номер в рулетке! А тысячи людей — Люсин знал об этом из газет — бросают свои фишки на волю куда менее вероятных событий. Те же, кто играют только на цвет, даже при большом везении получают слишком мало.

Расширенные, оледеневшие от ужаса глаза Саскии внушали ему оптимистическую веру. Сбыв его наконец с рук («Аллах с ними, пусть хотя бы условно!»), он поднялся к себе за плащом. Первые напитанные электричеством капли уже обрушились на кусты сирени. Пыльная листва стала блестящей, а умопомрачительный запах проник сквозь двойные рамы и распространился по всей лаборатории. Его чувствовали даже в боксах качественного микроанализа, несмотря на аммиак и сероводород.

На своем столе Люсин нашел записку от секретарши, которая уже ушла домой:

«Звонили но поручению мадам Локар. Она досрочно возвратилась из поездки, потому что ей необходимо сообщить вам какие-то очень важные сведения. Просила принять ее. Я назначила на 13 часов. Если вас это не устраивает, позвоните ей». Далее следовал номер телефона.

«Устраивает. Очень даже устраивает!» — повеселел Люсин и раскрыл досье с вырезками, присланное от генерала. К нему была подколота бумажка, рекомендовавшая (две размашистые строчки наискосок красным карандашом) в первую очередь познакомиться со статьей из коммунистической газеты «Комментарии к делу Андре Савиньи». Газета дала и снимок, на котором мосье Свиньин был запечатлен в черной форме СС.

Сенсация с похищением туриста лопалась, как мыльный пузырь. Но тем важнее было его найти.

Гроза за окнами бушевала во всю мочь. Для личных дел Люсину машины по штату не полагалось. Хочешь не хочешь, а приходилось пережидать. Он пошел в буфет.

Глава 15

МАДАМ ЛОКАР

— Мой муж был моложе меня на четыре года. К тому же он, как принято говорить, «из семьи» — это значит из аристократической семьи. Их род восходит еще к Капетингам. Они особенно гордились своим древним, почти забытым теперь феодальным титулом — видам. Кто-то из них спас Людовика Святого, кто-то привез из Италии жену для Генриха Четвертого. Одним словом, очень древний и славный род. Где-то в шестнадцатом веке они вступили в династический брак с Роганами. Один из Роганов говаривал: «Королем я быть не могу, герцогом не желаю. Я — Роган!»

Мои же родители мелкие рантье. Наша семья могла похвастаться только генералом, вознесенным революцией, да и тот кончил жизнь на эшафоте во время якобинского террора.

Таким образом, все противилось нашему браку. Я даже не могла принести мужу то, что получают обычно обедневшие аристократы взамен громкого титула, — деньги. Мой отец едва сводил концы с концами. Только любовь была на нашей стороне. Это звучит громко, смешно и чуточку старомодно. Я понимаю, но это так! И ничего тут не поделаешь...

Странное предвоенное время. Больное, лихорадочное, но такое прекрасное! Горьковатый привкус был у нашей молодости, неповторимый и пленительный. Я так помню свет ночных фонарей и жужжание майских жуков вокруг праздничных свечек каштана! Древние сиреневые камни и длинные тени фланирующих прохожих на них, — мы шли тогда, взявшись за руки, как школьники, и почему-то смотрели себе под ноги, поэтому и видели одни тени. Это

было смешно... Нарядные, надушенные дамы и господа превращались в длинные плоские тени... Но чей-то смех в вечереющих улицах, шарканье ног и волны, невидимые волны духов... Все казалось немного таинственным, пронизанным ожиданием чего-то... Словно в преддверии сказки.

Потом мне почему-то вспоминается шале в далекой провинции. Остроконечная крыша, окошко мансарды, увитая плющом белая растрескавшаяся стена. Хозяйка в накрахмаленном чепце. Холодное, неприютное море, серые волны в пене и выброшенные на мокрый песок устрицы. Мы собирали их по утрам. Шли дожди. Мокли капуста, салат и артишоки на грядках. Я собирала виноградных улиток и почти каждый вечер готовила эскарго — его любимое блюдо. Уныло скрипела мельница, крытая позеленевшей черепицей; по утрам с земли поднимался холодный туман, снаружи запотевали стекла, а дождинки потом оставались на них хрустальной клинописью. Где-то кричали петухи, безуспешно пророча перемену погоды, и удивительно пахла дождевая резеда. Этот запах до сих пор преследует меня. Невольно навертываются слезы. Ах, какое неудачное — я говорю о погоде — было оно, лучшее наше лето! По воскресеньям я ездила на велосипеде к рыбакам и привозила к завтраку скумбрию, а то и живого омара. Какой ликующий красный цвет был у его опустошенных клешней!.. Теперь мне все вспоминается, как один день...

Потом началась война. Филиппа призвали в армию, но каждое воскресенье он приезжал домой. Это была странная война, и мой лейтенант не принимал ее всерьез. Но вдруг все кончилось... Выброшенная взрывом черная неистовая земля, запруженные толпами беженцев дороги, брошенные на шоссе автомобили. Где-то жгли нефть, и жирными хлопьями медленно оседал черный снег.

Отец Филиппа приехал и забрал меня с собой. На какой-то миг у меня появилось вдруг все то, о чем я раньше только читала: драгоценности от Картье, лучшие герленовские духи, туалеты от Балансиаго, пармские фиалки на туалетном столике... Не знаю, долго ли длилось это время... Я не ощущала его реальности. Знаете, как во сне, когда видишь какую-то вещь и начинаешь в нее всматриваться, а она вдруг меняет свои очертания. Все становится таким текучим, зыбким, проскальзывает сквозь пальцы, как ртутный шарик, который хочешь поднять с пола.

Сон кончился, когда пришла оккупация. Приказы, которые всегда кончались одним лишь словом «расстрел», списки заложников, бесконечные очереди. Помню печальный обед — мы только что узнали, что Филипп в плену, — в большой сумрачной столовой, обшитой темным арденнским дубом. Нас только двое по краям колоссального стола, сервированного фамильным серебром с гербами и сумрачным богемским хрусталем. Старик видам ножом и вилкой берет какую-то корочку с литого серебряного блюда и аккуратно переносит к себе на тарелку, я делаю то же, и мы молчаливо ждем, когда дряхлый дворецкий торжественно внесет главное блюдо, под-

ымет сверкающую крышку и водрузит перед нами тарелку с двумя исходящими паром желтоватыми картофелинами. Pommes de terre des gourmets — картофель гурме времен оккупации...

Но суть, конечно, не в нем. Все нехватки и тяготы мы сносили довольно легко. Особенно я. Чуть лучше, чуть хуже — разве от этого что-то менялось? Филипп был жив. И я не хотела большего. Боялась прогневить судьбу.

Но чужие солдаты на улицах и площадях, но седой булыжник под сапогами трубачей в черных касках... Их ненавистные знамена, облавы, грозные слухи о зверствах в гестапо, расстрелы...

Однажды ночью вернулся Филипп. Небритый, с кровоточащей царапиной на лбу, в прожженной солдатской шинели. Как он был прекрасен и как я была счастлива! У меня нет слов, чтобы это рассказать. Просто нет слов, как не нашлось их тогда, когда я помогала ему раздеться, готовила ванну. О, я целый час простояла, прижавшись ухом к двери! Слушала, как он плещется, и плакала. Это почему-то запомнилось особенно ярко. На мне был еще передник в разноцветный горошек. Пустяки врезаются. Почему?..

Филипп быстро наладил связь с Сопротивлением. Я стала ему помогать, все глубже втягиваясь в эту опасную, но такую необходимую работу. Все как-то преобразилось. Безысходный, тупой страх, который душил меня по ночам, не давал жить, смеяться, — этот страх исчез. Понимаете? Совсем исчез. Я, конечно, боялась, попав вдруг в облаву, когда у меня в сумочке лежал вальтер; боялась, когда нужно было стать лицом к стене вместе с другими задержанными, а какой-то солдафон обходил нас сзади и обшаривал с головы до ног. Даже простой проверки документов в вагоне я тоже боялась, хотя бумаги у меня находились в полном порядке. Но это был уже совсем другой страх! Он исчезал, как только проходила непосредственная опасность... И возвращалась жизнь. Тот же нестерпимый, даже во сне не оставлявший меня тошнотворный гнет больше не возвращался. Раньше я просыпалась с мыслью, что у меня страшное, непоправимое несчастье. Хаотичные проблески пробуждения обрушивались на мою бедную голову; я пыталась вспомнить, кто я и что со мной произошло, и тут же ощущала комок в груди. Дневной кошмар обступал меня, и выхода из него не было. Теперь же я вставала сразу, с нетерпеливым предчувствием, как когда-то в детстве, утром долгожданного праздничного дня.

У меня была очень скромная роль, но я делала настоящее дело, и Филипп был рядом со мной. Я могла радоваться, что живу, — раньше я себя за это ненавидела. Свекор видел и понимал. Он, безусловно, полностью сочувствовал нам, но делал вид, что ни о чем не догадывается. Почему? Не знаю... Может быть, не хотел мешать или чувствовал себя слишком старым. Но я никогда не забуду, как он пытался стрелять из дамского пистолетика с перламутровой ручкой в гестаповцев, которые пришли за мной. Их было двое, в плащах и шляпах, но с кавалерийскими шпорами на сапогах. Я инстинктивно рванулась к туалетному столику, где стояла

фотография Филиппа (уголок картонки был пропитан ядом), но они истолковали это по-своему. Один из них стал выкручивать мне руки. Тогда-то старый видам и навел на него дрожащей рукой пистолетик. Второй гестаповец выхватил парабеллум и выстрелил старику в голову. Когда тот ничком упал на ковер, немец еще раз выстрелил ему в спину. Старик дернулся и затих, а ковер под ним потемнел. Кровь впитывалась плохо, и медленно ширилось страшное густое пятно... Так и стоит перед глазами... Знаю, что вспомню это во всех подробностях, когда буду умирать...

Но пора сказать о главном, а то я слишком увлеклась воспоминаниями. Право, в моей довольно-таки обычной судьбе мало интересного для других. И то, что бесконечно важно и значимо для меня, не имеет особого смысла в чужих глазах. Я понимаю это. Но ведь редко бывает иначе.

У Филиппа был приятель — я не хочу говорить «друг», — с которым он вместе учился в университете. Это и есть тот самый Андрей Свиньин, или Андре Савиньи, как он называл себя. Вчера я случайно прочла в газете, что мой пропавший коллега и есть тот самый — будь навеки проклято его имя! — Савиньи. Я видела его раза два или три, да и то мельком... Притом прошло столько лет... И эти усы. Они совершенно изменили его... Кстати, на верхней губе у него должен быть шрам в форме подковы. Однажды — тогда уже все знали, что он собой представляет, — Савиньи неосторожно зашел в бистро. Один парень схватил бутылку, отбил дно о край столика и рваным горлышком ударил эту собаку в лицо. Видимо, он целился в глаз или в висок... Жаль, что промахнулся... Его потом расстреляли... Шрам должен остаться, потому что рана, рассказывали, была страшная, сквозная. У Савиньи оказалась сломанной верхняя челюсть... Хороший молодой парень отдал за это жизнь. В причудах судьбы мало смысла. Не правда ли? Как и Филипп, Савиньи увлекался ориенталистикой[1]. Муж рассказывал, что они часами могли обсуждать назначение каких-нибудь тибетских ритуальных труб, сделанных из берцовых костей. Древность и темные предания нашего рода — я говорю «нашего», потому что как-никак была законной женой Филиппа, нас даже венчал епископ Льежский, уж так получилось, — тоже, очевидно, как-то привлекали Савиньи. Хотя после университета они встречались значительно реже, после нашей женитьбы совсем редко: я видела его у нас два или три раза, Филипп часто вспоминал о нем, высоко отзывался о его познаниях по части истории. Если бы он только знал...

На общую нашу беду, Филипп привлек его к работе в Сопротивлении. Не особенно активно и без большого риска для себя он помогал нам. Через него, например, мы установили связь с русскими военнопленными. Но организовать побег не удалось. Нам это стоило многих жертв, а тех русских, на которых пало подозрение,

[1] Ориенталистика — востоковедение.

расстреляли. Савиньи открыл нам доступ и в эмигрантские круги. Надо сказать, что мы нашли там несколько прекрасных товарищей. В живых никого из них не осталось...

В общем, как говорится, в одно прекрасное утро гестаповцы задержали Савиньи при попытке нелегально пробраться в неоккупированную зону. При нем нашли компрометирующие письма. Конечно, этого было более чем достаточно...

Не знаю, пытали они его или нет, но он выдал всех... Я понимаю, что тут не может быть никаких оправданий. Когда люди знают, на что идут, они должны быть готовы ко всему. Надо либо не попадаться вообще — легко, конечно, сказать, — либо ухитриться вовремя умереть, хотя и это очень непросто, я знаю по себе. Все же чисто по-человечески я сознаю, что очень трудно выдержать все и не выдать товарищей под пыткой. Многие не выдерживали. Есть предел и для мук. Его не перейти. Просто для каждого он разный, и не всегда палачи добираются до этих жутких глубин. Кроме того, некоторым людям свойственна спасительная способность терять сознание... Да, так вот, признание под пыткой я еще могла бы... нет, не простить, но хотя бы понять. Нас предупреждали о пытках. Наш командир прямо так и говорил: «Лучше не попадайтесь живыми — есть пытки, которых не выдерживает никто. И не надейтесь удовлетворить их частичным признанием. Стоит вам раскрыть рот, и они вытянут из вас все. Так даже хуже. Они будут продолжать мучить, когда вам уже нечего станет выдавать». Я крепко запомнила эти слова. Мы не шутили, знали, на что идем. Всегда при мне был цианистый калий. Но они захватили меня врасплох, дома, в пеньюаре, и не дали взять в тюрьму спасительную фотографию мужа. Враг часто оказывается хитрей, чем мы думаем... Но я опять отвлекаюсь.

Савиньи выдал всех. Повторяю: у меня нет сведений о том, как это было. Может быть, его и пытали. Но потом, потом, когда были казнены преданные им друзья, он не пустил себе пулю в лоб и не выбросился из окна на мостовую, но продолжал служить гитлеровцам уже не за страх, а за совесть, если, конечно, можно назвать рвение палача и доносчика совестью...

Он стал работать в их контрразведке. Сам обходил явки, врывался в квартиры, арестовывал. Не знаю только, избивал ли он заключенных у себя в кабинете. Наверное, избивал...

Он быстро продвигался по службе и стал вскоре гауптштурмфюрером СС. Тогда из отдела по борьбе с саботажем его перебросили на работу с русскими военнопленными, благо он был русским и хорошо знал язык. Он выискивал потенциальных изменников, вербовал в школы диверсантов, в «Русскую освободительную армию», в украинские отряды СС.

Ему помогал в этом некий Ванашный — настоящее исчадие ада, садист с белыми глазами. Когда Савиньи получил у немцев повышение, он забрал его с собой. А познакомились они в тюрьме. Сразу нашли друг друга.

Я хорошо смогла рассмотреть Ванашного в перерывах между обмороками. Он меня обрабатывал — так это у них называлось, — потом отливал водой...

Что я еще могу сказать о Савиньи? Очень мало и очень много. В камерах гестапо мы встречались не чаще, чем в той, другой жизни, которая исчезла, когда арестовали Филиппа.

Было это ночью, шел страшный дождь. Мостовые блестели, как антрацит. Мутные ручьи, шумя, стекали в сточные решетки. Из гудящих жестяных труб лились пенные потоки. Я случайно выглянула в окно и увидела, как по улице плывет чей-то свадебный венок. Смешно, правда? Или это было предзнаменование? Блеск камней и воды, ночной мелькающий свет, холодный, страшный огонь... и этот венок... Очень странно. Будто символ какой-то, будто чья-то унесенная мутными водами жизнь, чье-то давным-давно прошедшее счастье.

Внезапно громко застучали в дверь. Мы с Филиппом подумали, что это гестапо, но беспорядочный грохот тут же сменился условным стуком. Видно, стучавший сначала был очень взволнован, но быстро опомнился. Филипп надел халат и пошел открывать.

Вошел Люк — какой это был чудесный парень! — вода сбегала с него тонкими непрерывными струйками. Вскоре он оказался в окружении луж. Грудь его ходила, как кузнечные мехи, он задыхался; наверное, долго бежал.

Я налила ему немного арманьяка и принесла полотенце. Он опрокинул рюмку, но поперхнулся. Долго кашлял, тряся головой и рассыпая мелкие брызги.

— Савиньи арестован! — сказал он наконец. — Люсьена случайно была на вокзале и видела, как его вывели из вагона в наручниках.

— Когда? — спросил Филипп.

— В девять вечера.

Нам не надо было объяснять, что это значит. На всякий случай следовало предупредить товарищей, сменить квартиры и явки. Когда-то это должно было случиться, мы знали; теперь оно случилось. До сих пор мы теряли людей только при выполнении боевых операций. Теперь один из нас оказался в руках гестапо. Это могло закончиться провалом всей организации. И не потому, что арестовали именно Савиньи. Окажись на его месте тот же Люк или Филипп — я уж не говорю про себя, — организация поступила бы точно так же.

Филипп быстро оделся и сунул в карман револьвер.

— Надеюсь, у нас еще есть время, — сказал он. — Мы с Люком пройдем по цепочкам, а ты собери вещи. Утром мы переедем.

Почему мы не ушли тогда вместе? Я все еще спрашиваю себя об этом. Мне все еще кажется, что мы допустили страшную ошибку, которую можно исправить. Думаю, думаю об этом, вспоминаю каждое слово, каждое движение, как будто и в самом деле могу переиначить ставшее далеким уже прошлое. Но нет, прошлое неизменно. Это неумолимый закон смерти. И жизни, наверное...

Конечно, Филипп рассудил тогда правильно. Он не мог знать, что ожидает его через минуту. Будущее изменить можно, но его нельзя знать заранее. Это тоже закон. Я, как видите, создала свою — наивную, наверное, — философскую систему. Но, открывая для себя что-то, пусть давным-давно известное, человек все же совершает открытие, и оно ему дорого — свое, личное, выстраданное.

Была ночь и комендантский час. Поодиночке Люк и Филипп могли проскочить незамеченными. Я бы только ему помешала. И еще у нас были вещи, снаряжение, изрядный запас оружия, наконец... Нет, все правильно, следовало подождать до утра. Не могли же мы знать, что он все, решительно все расскажет им в первую же ночь. О мы сурово предусмотрели человеческую слабость! Слабость страдающего, истерзанного тела... Поэтому и были готовы к тому, что Савиньи не выдержит. Но не в первую же ночь! Вы понимаете?! Не в первую же ночь! Допрос же не начинают с пыток! Сначала спрашивают, потом угрожают, бьют, наконец, и лишь после всего этого отдают в руки специалистов. Вот на чем мы споткнулись... Мы как-то совсем не ожидали, что Савиньи выдаст нас в первую же ночь. Конечно, они могли начать допрос и с избиения. Но избиение — это не пытка. Выбитых зубов недостаточно, чтобы убить в человеке бессмертную душу. Я это знаю. У меня у самой все зубы искусственные. Это особый американский пластик. Совсем незаметно, правда?

Филипп и Люк ушли. Я же первым делом сожгла в камине кое-какие бумаги, уложила в картонные ящики жестянки со спаржей — в них были запаяны «лимонки» — и загримированный под хозяйственное мыло тол. В ту ночь у нас в доме находился целый арсенал, который мы собирались постепенно перетащить на загородную базу. Покончив с неотложными делами, я прошла к себе в спальню, чтобы собрать необходимое. В этот момент и явилось гестапо. Они постучались условным стуком. Савиньи рассказал им и это... Потом, уже в тюрьме, я узнала, что Филиппа арестовали в ту же ночь. На квартире, куда он должен был прийти, его уже ожидала засада. Та же участь постигла и Люка. Просто ему чуточку больше повезло: он был убит в завязавшейся перестрелке.

Савиньи знал очень много. Гестапо послало сразу несколько машин, чтобы взять нас всех одновременно. Так оно на самом деле и вышло. Организация была уничтожена почти целиком, мало кому удалось спастись.

Мужа я больше никогда не видела. Его расстреляли вскоре после ареста вместе с остальными.

...Почему они не убили меня? Это еще одна неразрешимая загадка, которая и теперь мучает меня. Конечно, кое-какие догадки у меня есть... Но они многого не объясняют. Тут какая-то тайна. И то, что Савиньи — под чужим именем! — опять оказался возле меня, только лишний раз убеждает, что тайна действительно есть. Но ключ к ней только у него. Вы знаете: его необходимо как можно скорее найти и арестовать! Простите, я говорю глупости, вы все знаете лучше меня...

После освобождения Савиньи куда-то исчез. И только поэтому его не повесили. Когда же его опознали и арестовали, были уже иные времена. Политика беспринципна по своей сути. Давность лет, перерождение души, иной человек, снисходительность победителей — боже, чего только не говорили! Даже об уникальности каждого человеческого существа! Слова, слова, слова... Тысячи были расстреляны и миллионы отравлены газом. И каждый из них был уникален, каждый неповторим. И руки у них были чистыми от чужой крови...

Савиньи получил двадцать лет. Потом по какой-то амнистии, что ли, его досрочно освободили. Он переменил имя и куда-то уехал, иначе его бы все равно убили. Без суда. Точнее, по приговору нашей расстрелянной организации.

Хорошо, что я время от времени читаю коммунистические газеты, иначе бы я и не узнала про Савиньи! Мне и в голову не могло прийти, что это он! Как он только решился поехать сюда в одной группе со мной? Сидеть за одним столом! Разговаривать! Открывать дверь в отеле! Подавать руку при выходе из автобуса!.. Нет, это совершенно непостижимо! Пусть он изменил свою внешность, пусть даже надеялся, что я забыла его... Но ведь он убил моего мужа и старого свекра! Он истязал — пусть тоже чужими руками — меня в камере! Как же можно?! Ну как?!

Очевидно, что-то ему было нужно, причем так нужно, что все отступило перед этим на задний план. В том числе и соображения личной безопасности. Ведь он рисковал, очень рисковал... Но как я не распознала его?! Интуитивно, шестым чувством... После этого говорите, что есть телепатия. Вздор! Этот выродок казался мне даже симпатичным. Я ничего не почувствовала. Абсолютно ничего.

Не попадись мне случайно эта статья... Нет, я, конечно, не коммунистка. Я слишком погружена в себя, чтобы... Не знаю, как вам это объяснить... Одним словом, я не состою в партии. Хотя голосую всегда за коммунистов и читаю их прессу. Это как бы дань молодости. Отголоски Сопротивления. Среди нас было много коммунистов. И я счастлива, что была тогда вместе с ними... Знаете, я до сих пор с гордостью вспоминаю, что и у меня была своя подпольная кличка. Значит, ко мне относились всерьез. Меня звали мадам Герлен. Почему? Ну, во-первых, я душилась именно... впрочем, дело, конечно, не в этом... Просто однажды я предложила замаскировать капсюль-детонатор под герленовскую помаду. Забавно, верно? Почему я теперь мадам Локар? Очень просто. Это была кличка Филиппа. Война закончилась, я перестала быть мадам Герлен, но осталась женой Локара. Дениза Локар — это как-то больше, согласитесь, идет мне, чем видамесса Мадлен-Дениза де Монсегюр графиня де Ту. Разве не так? Волей судьбы я стала единственной наследницей громкого имени. Но это чистейшая формальность. У меня нет никаких прав на него. Я совершенно не знаю генеалогии и геральдики и, кроме нескольких семейных преданий, ничего не могу рассказать о прошлом видамов де Монсегюр. И вообще это смешной анахронизм. Все в прошлом...

Подумаем лучше о будущем. Очень важно понять все же, чего он хотел от меня. Я говорю о Савиньи.

Тогда, в тюрьме, он ясно дал понять мне, что я целиком нахожусь в его власти. «Вы моя военная добыча, — сказал он. — А если хотите, плата за измену». Да, он был очень откровенен! Можно было кричать, биться в истерике, осыпать его самыми страшными оскорблениями — на него ничего не действовало. Он молча выжидал, потом как ни в чем не бывало продолжал разговор.

Он приходил в темный каменный коридор — гулкий, в нем всегда вздыхало и шелестело эхо, — останавливался у нашей камеры, у решетчатой двери в зарешеченной стене, и подзывал меня. Я, конечно, не шла и, как загнанная крыса, забивалась в дальний угол. Тогда появлялся Ванашный с большим железным крюком и начинал охотиться за мной сквозь решетку. Сначала он забавлялся, но быстро бледнел от бешенства и начинал полосовать меня этим самым крюком. Когда я падала, он подтаскивал меня к решетке, как смотритель зоопарка несъеденное львом мясо... Говорили, что он и работал до войны не то в зоопарке, не то в цирке. После второй такой охоты я уже шла к двери по первому зову.

Чего хотел от меня Савиньи? Я и знаю это, и не знаю, вернее, не совсем понимаю. Его почему-то очень интересовали старинные реликвии нашей семьи — семьи Филиппа. Он требовал от меня какие-то четки, какой-то флорентийский орден и, главное, подвязку Генриха Четвертого. Все добивался, где они спрятаны. Уговаривал, грозил, потом отдавал меня в руки Ванашного. Нет, ко мне не применяли изощренных пыток, но меня так зверски избивали, что я неделю не могла прийти в себя. Потом все повторялось. Уговоры, угрозы и, конечно, обработка. Но я ничего не знала об этих вещах. Наверное, если бы я и знала о них, то все равно не сказала. Пусть были бы они даже пустыми безделушками, все равно я бы не сказала о них Савиньи, несмотря на то что мне было больно, очень больно. Сказать — означало бы предать память Филиппа. Но все это досужие разговоры. Тогда я не знала об этих вещах и поэтому не могла ничего выдать. Сейчас, конечно, легко говорить, но тогда... Я могу только благодарить Бога, что тогда мне нечего было выдавать. Все мои товарищи были арестованы, да меня о них и не спрашивали, а о реликвиях я не знала.

Савиньи перерыл весь наш дом, но ничего не нашел, от меня же он ничего не добился. Возможно, поэтому они и выпустили меня, чтобы следить. Они, вероятно, надеялись, что я сама наведу их на след. Но ведь я действительно ничего не знала! О подвязке я хоть слышала от Филиппа, но понятия не имела, где она находится. Меня тогда это совершенно не интересовало. О четках же и флорентийском ордене никто мне ничего не рассказывал. Скорее всего, этот орден был такой же королевской наградой одному из Монсегюров за верную службу, какой был удостоен Жиль де Монсегюр — конюший великого Генриха Четвертого. Я имею в виду королевскую подвязку. Это длинная история, и мы к ней еще вер-

немся. Мысли скачут, и я чувствую, что совсем не могу рассказывать последовательно, как-то одно само собой набегает на другое...

Значит, выпустили они меня из тюрьмы. Было это в ноябре сорок третьего года. Слежку я обнаружила довольно скоро. Пригодились уроки Люка. Несколько дней я потратила на изучение их «расписания». Потом, обнаружив в нем слабое место, сумела перехитрить шпиков — одним из них был, кстати, насильно навязанный мне дворецкий — и как-то ночью выбралась из дома. Я бежала из города и ценой неимоверных усилий добралась до отдаленного приморского городка, где жила моя старая крестная. У нее я и прожила до конца войны.

После освобождения я вернулась в наш опустевший и совершенно разоренный особняк. Это был мой нравственный долг. Да и куда еще я могла пойти?! Мои родители погибли в бомбежку при освобождении... Правда, можно было остаться у крестной, но меня так тянуло туда, где хоть стены помнят о Филиппе. Первым делом я занавесила зеркала. Они видели его в последний раз. Пусть же никто больше не смотрится в них, чтоб не стереть его невидимую тень...

А через несколько лет — Савиньи тогда уже сидел в тюрьме — ко мне явился незнакомый молодой человек. Оказалось, что это внук нашего Уго, старика дворецкого. На другой день после моего ареста Уго уехал в провинцию. Потом я поняла, что на это у него были причины... Внук Уго передал мне конверт и рассказал, что перед смертью дед поручил ему обязательно разыскать молодую видамессу или, если ее не окажется в живых, старую графиню де Фуа — очевидно, дальнюю родственницу.

На конверте четким, очень характерным почерком свекра — он писал рондо без всякого нажима — было написано: «Филиппу-Анжеррану-Августу графу де Ту, наследному видаму де Монсегюр, или супруге его Мадлене-Денизе де Ту, урожденной Одасе. В случае, если не окажется возможным никому из них вручить этот пакет, просьба передать его Мари-Клер графине де Фуа, урожденной де Роган. Ежели никого из поименованных лиц не удастся разыскать в течение двадцати лет, пакет сжечь. В случае полной уверенности в смерти всех указанных лиц сжечь незамедлительно».

Нет, нет, пакет ничего не разъяснил. Разве что я со всеми подробностями узнала историю королевской подвязки и еще несколько подобных же старинных преданий... Впрочем, и это произошло некоторое время спустя. В пакете был только номер счета, депонированного в одном из швейцарских банков. Впоследствии я получила оттуда эти самые документы, драгоценную подвязку и небольшую сумму денег, от которых после всевозможных девальваций почти ничего не осталось. Вот, собственно, и вся история. И я по-прежнему не знаю, за чем столь упорно охотился Савиньи. Подвязка действительно существует, она находится у меня, вернее, следуя примеру свекра, я храню ее в банковском сейфе, хотя ничего замечательного, а тем более ценного в ней нет. Историческая реликвия — всего лишь...

На что я живу? А почти ни на что. Немного осталось от свекра, сколько-то я получила от продажи земли, на которой стоял домик моих родителей, а несколько лет назад я неожиданно получила наследство. Та самая графиня де Фуа оставила мне все свое движимое и недвижимое имущество. В итоге у меня достаточно денег, чтобы скромно прожить до конца дней. Иногда я, как видите, даже позволяю себе попутешествовать. Европа, конечно, не в счет. Но была я и в Индии, и в Канаде, и даже на острове Мадагаскар. Небольшую сумму я вношу ежегодно в фонд компартии и столько же — вам это покажется смешным — жертвую союзу титулованных монархистов. Что поделаешь? Свекор был убежденным монархистом! Можно лишь удивляться, что он позволил Филиппу открыто придерживаться левых убеждений. Но такой уж он был человек... Так что, видите, я действительно вся в прошлом. И в прямом, и в переносном смысле слова. Ничего не поделаешь — судьба.

Сейчас я хочу только одного. Пусть это глупо, может быть, жестоко, но я этого очень хочу! Избави Бог, чтобы этот Савиньи причинил вашей стране какой-то вред, нет, я не могу этого желать, но пусть он нарушит самые важные ваши законы, какие угодно, только чтобы его могли здесь повесить! По-ве-сить! Конечно, конечно, я все понимаю, но хотеть-то я могу?! Вот я и хочу...

Хорошо, обещаю вам, если вы поймаете его, я пришлю вам копии всех наших семейных архивов и самое детальное описание подвязки. И снимок, конечно, тоже. Только поймайте его и хотя бы засадите в вашей Сибири. Я не верю, что он не даст вам на то оснований. Не такой это человек. Ведь он приехал сюда не только из-за меня. Это очевидно. А раз уж он приехал...

Кровь и мерзость — вот его следы. По ним и ищите его — не ошибетесь.

Глава 16

ОБЕД НА ВЕРАНДЕ

Березовский зазвал Люсина пообедать в Дом литераторов. Они приехали довольно рано и сумели захватить столик на летней веранде. Под полосатым тентом, сквозь который просвечивали листья, было свежо и приятно. Дикий виноград декорировал сумрачную кирпичную стену, за которой находился посольский сад. Оттуда изредка доносились короткие выкрики и глухие удары теннисных ракеток.

Опытный Березовский подвинул столик в самый угол и оттащил подальше лишнее креслице из голубого пластика и дюралевых трубок. Теперь желающему подсесть к ним пришлось бы прийти вместе со стулом, а это, как известно, довольно затруднительно. Операция была проведена быстро и своевременно. Ресторан наполнялся с катастрофической быстротой.

Они заказали салаты из редиски и помидоров, окрошку и фирменную вырезку с грибами. Густая замороженная сметана сама ложилась на тоненький, влажный от свежести ломтик ржаного хлеба. Ели быстро и молча, можно сказать — уплетали молниеносно. И немудрено. Вчера вечером за деловой и важной беседой они немножко «перебрали». Легли в третьем часу — Люсин остался ночевать, — а утром в рот ничего не лезло, разве что горячий чай, крепкий и без сахара.

Когда немолодая, но очень милая официантка принесла окрошку, острый приступ голода уже малость поутих.

— Может, холодного пивка взять? — не очень уверенно, как бы прислушиваясь к себе, предложил Березовский.

— Хватит. Хорошенького понемножку. — Люсин тронул ложкой темный айсберг льда посреди зеленой, как лесное озеро, тарелки. — Мне еще работать надо. К вечеру должны быть готовы анализы.

— Да? — вяло удивился Березовский и тоже взялся за ложку. Запотевший мельхиор приятно позвякивал о лед. — Отменнейшая окрошка, старик! Очень-очень пользительно... Что скажешь?

— Не нахожу слов! В самый раз. Особенно в такую жару... А здесь вообще хорошо, прохладно.

И тут словно какая завеса спала с него. Он увидел в голубом небе резкие очертания веток и каждую жилку на пронизанных солнцем листьях, услышал оглушительное щебетание, без которого не может быть настоящей тишины. Воробьи перепрыгивали с ветки на ветку, с дерзостью штурмовых самолетов хватали со столиков хлебные крошки.

— А здорово мы вчера с тобой... — то ли укоризненно, то ли, напротив, одобрительно заметил Люсин. Ему было хорошо и покойно, чуточку даже клонило ко сну.

Студеная окрошка оказала свое целительное действие и на Березовского.

— Пожалуй, и впрямь пива не надо. — Он удовлетворенно вздохнул и вытер губы бумажной салфеточкой. — А все же мы с тобой и поработали неплохо. Кое-что ведь проясняется. Согласись...

— Нет, еще не проясняется, но уже брезжит. И это можно считать колоссальным успехом.

— Вот именно, старик! Мы теперь идем друг другу навстречу, как строители Симплонского туннеля.

— Ми, канешна, нэ знаем, что такой Симплонский туннель, — дурашливо выпятил губы Люсин. — Но твоя история явно начинает проявлять благосклонность. Она идет на сближение... Да, повтори, пожалуйста, что ты говорил вчера насчет мальтийских рыцарей?

— А мне казалось, что ты все так хорошо понял... — удивился Березовский.

— Может, я и понял тогда, но теперь все подчистую забыл. Ты вроде говорил, будто что-то такое напутал?

— Напутал, голуба. — Березовский изобразил глубочайшее раскаяние. — Прости мя, грешного. Напутал... Помнишь, когда мы

расшифровывали стихотворение, я сказал тебе, что гроссмейстером Мальтийского ордена был Александр?

— Ну конечно. Мы потом даже запрос в Эрмитаж дали.

— Так вот... — Березовский уронил голову на грудь. — Ничего такого не было. И запрос наш безграмотный.

— Что?! — Люсин так резко подался вперед, что звякнули тарелки. — Ты это серьезно?

Березовский только глаза прикрыл и тяжело вздохнул.

— Выходит, что и жезл мальтийский...

— Нет, нет, нет! — Березовский задрал подбородок и нацелил на обескураженного Люсина указующий перст. — Все остается в силе! — И вдруг засмеявшись: — Просто я кое-что перепутал. Но ты не волнуйся, наша схема от этого не пострадает.

— Рассказывай, — буркнул Люсин, не выносивший подобных сюрпризов.

Он готов был терпеливо строить, сотни раз переделывать и совершенствовать конструкцию, доводить ее до блеска. Но если возведенное сооружение вдруг обрушивалось... Нет, даже думать о таком он не мог спокойно. Начинал волноваться, беспокоиться, с трудом сдерживал раздражение. Поэтому и любил он больше работать в одиночку, инстинктивно избегая поручать другим важные участки. Этим он существенно ограничивал приток информации и замедлял ход дела, зато и вероятность неприятных неожиданностей становилась меньше. Но работать один он, естественно, долго не мог, и приходилось балансировать между двумя крайностями, о которых нельзя было сказать четко: это вот достоинство, а это — недостаток.

— Рассказывай! — Люсин покосился на Березовского и мысленно обратился к нему с горячей молитвой: «Конечно, братец, мне без тебя не обойтись. Это было ясно с самого начала. Но и другое было ясно!.. Ты же не терпишь спокойной жизни! Последовательное течение сюжета не для тебя. Ты все готов сломать и перекорежить ради эффектного и неожиданного конца. Юрочка! Умоляю! Не надо неожиданностей! Семь раз отмерь... Но не говори вдруг, когда все уже почти ясно, что ты перепутал!»

— Я перепутал Александра с Павлом, отец...

— То есть? — еще не осознав, чем грозит эта историческая ошибка, Люсин инстинктивно понял, что ничего страшного не произошло.

— Понимаешь, гроссмейстером мальтийцев был не Александр, а его отец, Павел.

— И только-то? Значит, жезл все же должен где-то быть?

— Несомненно. Насчет жезла не волнуйся: если он только уцелел, то уже никуда не денется, — успокоил Березовский. — Но я не только это перепутал.

— Что еще? — вновь обеспокоился Люсин.

— Я сказал тогда, что Александра сделали гроссмейстером в честь победы над Наполеоном, а на самом деле гроссмейстерский жезл подарил Павлу сам Наполеон! Все я перепутал.

— Ну это одно к одному, — утешил его повеселевший Люсин. — Мелочи жизни. Был бы сам жезл, а кому он там принадлежал — это нам без разницы.

— Не говори! Это далеко не безразлично. У каждой эпохи свои нравы. А Павел и Александр — это две разные эпохи в жизни России. Ведь достоверная реконструкция имевших место когда-то событий возможна лишь тогда, когда она не противоречит духу эпохи. Понимаешь? Стоит нам ошибиться, и все пойдет кувырком! Это очень тонкое дело. Ты же сам говорил, что в криминалистике не бывает мелочей. Исторический же анахронизм тем паче не мелочь. Перефразируя Талейрана, скажу, что это даже больше чем преступление, — это ошибка. Это, если хочешь, криминалистическая ошибка! А ты лучше меня знаешь, что за ней следует.

— Но теперь-то у тебя все правильно? — Люсин опять ощутил легкое беспокойство.

— По части мальтийцев — да. С этим теперь все. Ошибка, старик, своевременно ликвидирована. Можешь быть спокоен. Березовский дал маху, но вовремя спохватился, и вот он снова стоит на стреме твоих интересов.

— Ладно! Рассказывай...

— Рассказывать, собственно, почти нечего. Голые факты. Обнаженный костяк истории. Но зато на этот раз все абсолютно достоверно. Впредь тоже буду все проверять, не полагаясь более на дырявую и — чего греха таить? — он безнадежно развел руками, — стареющую память.

— Хватит паясничать! — раздраженно прервал его Люсин.

— Прости, кормилец. Это я так... Одним словом, выдаю тебе историческую справку... Мальтийский орден[1] — не знаю, надо ли это нам, — основан в 1530 году. До этого мальтийских рыцарей называли госпитальерами, иоаннитами, родосскими братьями. Так что, как видишь, это древнейший феодально-мистический институт. Мальтийцами они сделались, повторяю, в 1530 году, когда император Священной Римской империи Карл V даровал ордену остров Мальту. Рыцари обязались за это защищать Европу от турок и берберийских пиратов. В 1797 году Павел Первый заключил с мальтийцами конвенцию, направленную против французов и турок, и учредил в России великое приорство Мальтийского ордена... Чувствуешь, чем это пахнет?

— Прямая связь?..

— Ну конечно! Вся эта древняя чертовщина с ларцом и его слугами могла свободно перекочевать к нам в Россию! Это же мост! Правда, роль подобного же моста могли сыграть и отцы-иезуиты или, скажем, идейные их противники масоны — вольные каменщи-

[1] Орден существует по сей день Недавно, будучи в Риме, автор разыскал на улице Кандотти дом, отмеченный белым мальтийским крестом на красном поле щита, пользующийся, как о том возвещала бронзовая табличка, правом экстерриториальности Дом — государство! Это было все, что осталось от старейшего, некогда могущественного военно-монашеского ордена

ки. Но не будем ломать над этим голову. Пока достаточно и того, что начало связи рыцарской чертовщины со специфическим расейским колоритом могло быть положено деятельностью приорства... Это логично?

— Вполне.

— И я так думаю! А на данном этапе нам большего и не требуется. Логичность и непротиворечивость гипотезы дает нам право идти дальше.

— Но ведь историческая логика не чета нашей, сиюминутной! — спохватился Люсин. — Одно дело, когда криминалист развивает версию событий, имевших место неделю или даже год назад, другое — когда поиск направлен во тьму столетий. Ведь так? Вот ты говоришь, что перепутал Павла с Александром, но и что с того? Сейчас вот все вроде хорошо и логично, но ведь и версия с Александром казалась нам такой же? Можно ли надеяться на историческую логику?

— Ну, старик, ты смешиваешь совершенно разные вещи! Версии с Александром не было. Была просто историческая ошибка. Теперь она устранена, и осталась только одна-единственная верная версия. Это ты можешь сомневаться, кто совершил то или иное деяние: Павел Иванов или Александр Сидоров. История дает нам куда большую определенность. Магистром Мальтийского ордена был не какой-то Павел Иванов, а император Павел, но если так, то его сын, император Александр, тут ни при чем. Вот что говорит история. Тут все определенно... А то, что у тебя такой плохой помощник, который все путает, тут, извини, история не виновата!

— Ладно! Убедил, — подумав, согласился Люсин. — Значит, тот самый, как ты говорил, дух эпохи в том и заключается, что, допустим, Павел кем-то там был, а Александр не был... И это все?

— Ой, кореш! — Березовский погрозил ему пальцем. — Ты вульгаризируешь. Нельзя быть таким злым... Я ошибся, каюсь, но ведь ошибка исправлена! Чего же ты придираешься?

— Не придираюсь, Юра. Понять хочу.

— Правда? — Березовский подозрительно посмотрел на него. Но, видимо, простодушный взгляд, которым встретил его Люсин, рассеял подозрения. — Тогда прости, тогда все в порядке...

Официантка подала вырезку. Великолепный кусок мяса, блестяще-каштановый снаружи и сочно-розовый внутри, был проложен жирными грибками, от которых подымался духовитый парок; румяная картофельная соломка еще лениво пузырилась кипящим маслом.

«Это настоящее искусство — так приготовить, — подумал Люсин, вспомнив вдруг объяснения Березовского по поводу гурмэ и гурманов, а потом, по ассоциации, и рассказ мадам Локар о картошке времен войны. — Это пустяк. Конечно, пустяк. Но через него я вижу, как отдаленное замыкается в близком, как история пронизывает сегодняшний день и... Но есть ли слова, чтобы передать это ощущение? И есть ли четкие грани между случаем и обусловленностью. В чем же здесь дело?»

Но что есть туманные философские рассуждения перед реалиями жизни, особенно если последние предстают во всей своей пленительной, так сказать, красоте? А блюдо было действительно красивым. И когда Люсин, отрезав кусочек, увидел, как брызнул розовый сок и смешался с коричневой подливкой, он уже не только потерял логическую нить, но даже не пытался ее найти. Березовский же как истый литератор в тех же реалиях видел прежде всего толчок для метафор. Подсознательная работа сочинителя никогда не прекращалась в его голове. Даже во сне она потаенно раскручивала деревянные колеса своих удивительных прялок. Поэтому он иногда просыпался с готовым решением какой-то мучившей его проблемы. Здесь нет преувеличения или тем более шаржа. Березовский настолько свыкся с этой постоянной раздвоенностью, что перестал ее замечать. Но когда его спрашивали, много ли он работает, он отвечал, что много, по сути всегда. И говорил при этом чистую правду. Поэтому, когда он вслед за Люсиным взялся за вилку и нож, речь его не прервалась, а привычная отточенность мысли приобрела даже некоторый блеск.

— Дух эпохи трудно передать словами. Его надо чувствовать. — Отрезав кусочек, он мимолетно подумал вдруг о феодальных баронах, разрывающих зажаренного целиком быка под закопченными сводами каменного замка. Но, повторяем, столь мимолетной была эта мысль, что он не задержался на ней, напротив, она как бы помогла подыскать новые, более убедительные слова. — Каждый раз, старик, приходится перевоплощаться! Как актер становится на время Гамлетом или, допустим, Тузенбахом, так и настоящий историк, словно при помощи машины времени, переносится в другие эпохи. Он ходит на работу, ездит в метро и троллейбусах, заправляется в столовке, но все это только видимость. Он не с нами, старик, нет! В нем незримо бушует прошлое. Иные языки, иные страсти, шум и веселье неведомых нам пиров! Это... — Он потряс ножом и вилкой.

— Это все философия. — Люсин прервал его. — Ты говорил о духе эпохи. Так?

— Но разве сейчас я говорю не о том же?! — искренне удивился Березовский.

— Нет! — жестко отрезал Люсин. — Это философия и, если угодно, лирика. Все это я и без тебя знаю. Скажи-ка мне, конечно, применительно к нашему делу, в чем ты видишь конкретное — понимаешь? — конкретное отличие эпохи Павла от эпохи Александра?

— Ну, старик! — словно стыдя его, протянул Березовский и даже сделал отстраняющий жест. — Неужели надо объяснять? Во-первых, война 1812 года, она как бы...

— Стоп-стоп! — опять остановил его Люсин. — Это все ясно! Ты давай о духе, притом применительно к нашему делу.

— Значит, сугубо утилитарный подход? — Березовский был ленив и благодушен, и ему хотелось легко и изящно порассуждать.

— Сугубо. — Люсин, который, напротив, обрел после еды полную ясность мысли и был преисполнен энергии, упорно загонял его в угол.

— Хорошо. — Березовский легонько припечатал ладонь к столу. — Я постараюсь объяснить тебе. Но давай уговоримся, что ты не будешь пока вытягивать из меня больше, чем я хочу сегодня сказать. У меня, понимаешь, есть уже какие-то наметки, определенные даже подозрения. Но — ты должен понять это, ибо творчество есть творчество, — мне нельзя выбалтывать раньше срока. Понимаешь? Иначе моя версия увянет, она самому мне может разонравиться, и тогда я не смогу идти дальше. Я не ясно сказал?

— Ясно, — кивнул Люсин, хотя не понял, почему версия может ни с того ни с сего увянуть.

«Правильная версия не увянет. Напротив, совместное критическое обсуждение только отточит ее! Но Юрка знает, что говорит... Очевидно, он мыслит иначе... Ну да я же прекрасно знаю, что он интуитивист. Даже среди следователей есть такие. Вся черновая мучительная работа проделывается у них внутри, подсознательно, они выдают уже готовые результаты. Причем зачастую великолепные, которых не достигнешь кропотливым копанием. Зато если они ошибутся, то словно крушение терпят... Идут на дно, даже не пытаясь схватиться за круг или случайно уцелевшую мачту. Как правило, повторно сотворить они уже не могут... И кому-то другому приходится браться за гиблое дело, когда и время упущено, и следы успели остыть... Тут либо пан, либо пропал. Ох, чует мое сердце, устроит мне он сабантуй...»

Березовский молчал, сосредоточенно катая хлебные шарики.

— Хорошо пообедали, старик? — неожиданно спросил он.

— Отменно... Интересно, как нас сюда пустили, — ты же вроде еще не член?

— Просто физиономия моя примелькалась... Но я вроде мальтийскую историю не досказал?

— Разве? А приорство?

— Тогда, значит, осталось только закончить. Да... Год спустя Наполеон, чтобы вбить клин между Россией и Англией, подарил Павлу недавно отнятую у англичан Мальту. Так великий магистр Мальтийского ордена стал еще полноправным сюзереном средиземноморского острова... А в 1817 году мальтийское приорство в Санкт-Петербурге было закрыто. Вот тебе и дух новой эпохи! Крохотная брызга грозных мировых бурь. Но в капле отражается, как известно, мир... Это, старик, раз... Ты, кажется, меня сам и нацеливал на масонство?

— Нацеливал? Нет, я тебя не нацеливал. Просто изложил все обстоятельства дела и предоставил тебе самому делать выводы. Ведь эксперт-то ты...

— Ну ладно, неважно... Суть в том, что при Павле русские масоны не скучали: он сам был первым масоном и великим мастером главной ложи, оставаясь при этом магистром католического ордена.

— Царю все дозволено?

— Нет. Масоны терпимо относились к различным религиям. Свобода совести, так сказать. Но, конечно, ты тоже прав. Царям все

дозволено, особенно самодержцам и самодурам, как Павел... Но я, собственно, о другом. В 1823 году масонские ложи в России были надолго закрыты. Другая эпоха, приятель. Совсем другая... При Павле русская аристократия просто играла в страшные тайны и гробовые клятвы, как играют дети; при Александре же секретный ритуал масонства стал прикрытием для собраний декабристов. Улавливаешь дух эпохи?

— Да, — кивнул Люсин. — Улавливаю. «Ни эшафотом, ни острогом...»

— «...нельзя прервать игру судеб», — подхватил Березовский. — Вот именно, в самую точку! Это уже начиналась новая эпоха — эпоха Николая Палкина... Ну пойдем, что ли? — Он положил деньги на оставленный официанткой счет, и они поднялись. — Между прочим, здесь помещалась ложа московских масонов, — сказал Березовский, когда они проходили через внутренний зал, и обвел рукой массивные деревянные балки готического потолочного свода, стрельчатые витражные окна, уютный камин и узорную, ведущую на хоры лестницу.

— Да ну! — удивился Люсин. Колесо кармы[1] продолжало безостановочно раскручивать нить причин и следствий, а он не уставал поражаться их неожиданным соответствиям.

— Вот тебе и «ну»! — передразнил Березовский. — А это последние масоны, уцелевшие, так сказать, розенкрейцеры или тамплиеры, — давясь от смеха, шепнул он другу на ухо и украдкой кивнул на двух молодых поэтов, приютившихся у столика под окном.

Они находились, что называется, подшофе, разноцветный рассеянный свет сообщал их лицам какую-то диковатую жуть.

Глава 17

ЛЮЦИФЕР СВЕТОЗАРНЫЙ

На улице Воровского Люсина подкарауливала неожиданность. Проходя мимо серого посольского особняка, он увидел за оградой знакомое улыбающееся лицо. Очевидно, консульский чиновник первым заметил Люсина, и встреча была неминуемой.

«Что он делает в чужом посольстве? — не слишком удивился Люсин. — Поистине мир тесен и полон неожиданностей».

— Какая встреча! — Дипломат приветственно помахал рукой и отворил калитку.

Кивнув козырнувшему милиционеру, он подошел к Люсину.

«Наверное, это он и играл», — догадался Люсин, увидев спортивную сумку и торчащие из нее ручки ракеток.

— Вот уж приятная неожиданность! — Рукопожатие дипломата было крепким и дружеским. — Я, знаете ли, только что закончил партию в лаун-теннис. Вы играете?

[1] Карма — в данном случае судьба

— Нет, — вздохнул Люсин. — Не умею.

— Если хотите, могу дать вам несколько уроков.

— Очень признателен, но, боюсь, мне сейчас не до тенниса... — Он рассмеялся. — Да и погода больше располагает к бассейну.

— Понимаю, — сочувственно кивнул дипломат. — У вас, конечно, сейчас самые жаркие дни. Туго идут розыски?

— Нет. Я бы этого не сказал... Надеюсь в самое ближайшее время сообщить вам более конкретные сведения.

— Лично меня после всего, что стало известно, совершенно не трогает судьба этого негодяя, но...

— Я понимаю, — кивнул Люсин. — Дела есть дела. Не мы их выбираем.

— Вот именно! Скорее, напротив, они выбирают нас, и, должен признаться, что в отношении меня этот выбор часто бывает неудачным... Вам в какую сторону? Может быть, нам по пути? — Он кивнул на притулившийся у бортика красный «ситроен».

— Благодарю, но мне хотелось бы немного пройтись... Подышать воздухом.

— Очень жаль, — вздохнул дипломат. — А я-то надеялся воспользоваться случайной встречей... Да, мосье Люсин! — Он как будто только что вспомнил. — Ведь вы обещали рассказать о фотографиях! Помните?

— Конечно, помню, и в свое время...

— Оно еще не настало?

— Надеюсь, вам не придется долго ожидать. Впрочем, вы наверняка разочаруетесь. Эти фотографии малоинтересны... неспециалисту. Ведь для криминалиста любой пустяк — это по меньшей мере потенциальный след. В девяноста случаях из ста он так и остается потенциальным.

— Вы даже не представляете себе, как меня волнуют подобные вещи! Не помню, говорил ли вам, но я обожаю детективы! Особенно, если в них есть элемент странности. А тут и перстень епископа римско-католической церкви, и масонское кольцо с Адамовой головой, и эти таинственные фотографии...

— Таинственные? Вы преувеличиваете...

— Но ведь связь между ними и аметистом есть?! — Дипломат словно одновременно и спрашивал, и утверждал.

— Возможно, — равнодушно усмехнулся Люсин. — Очень даже возможно. Но это пока секрет. — И, доверительно наклонившись к собеседнику, многозначительно акцентировал: — Секрет! — и замолчал.

Он по-прежнему не знал, какой особый интерес преследует очаровательный сотрудник консульского отдела. Поэтому и решил дать ему хоть видимость ниточки. Авось ухватится, начнет действовать и проявит тем самым тайные намерения. Особенно озадачивала настырность. Дипломат с бесхитростностью мальчишки пытался выспрашивать, что называется, в лоб. Мягко говоря, это было наивно.

Люсин хорошо помнил наблюдательность и цепкость памяти, которые проявил этот не очень понятный человек при осмотре гостиничного номера.

«Может, вправду на ловца и зверь бежит? Стоит ли тогда закрывать глаза? Не лучше ли метнуть приманку? Но такой вряд ли даст себя подсечь! Перекусит поводок и уйдет... И пусть! Одно то, какую именно приманку он возьмет, уже многое объяснит. Да и как иначе его раскроешь? Надо заставить его действовать, а мы пока устранимся и подождем...»

— Следы, видите ли, ведут в глубь истории... — после продолжительной паузы счел нужным добавить Люсин.

— Чьей? — мгновенно отреагировал дипломат. — Вашей или нашей?

— И вашей, и нашей. — Люсин улыбнулся уже доверчиво и простодушно, и мало-мальски проницательному человеку должно было стать ясно, что больше ничего из этого парня не вытянешь.

— Ничего не поделаешь, — сокрушенно вздохнул дипломат. — Придется ждать!

— Да, придется ждать, — подтвердил Люсин.

«Взял или не взял? — подумал он, внимательно вглядываясь в лицо собеседника и маскируя это сочувственной и как бы полуобещающей улыбкой. — Действительно, придется обождать».

Они простились, договорившись созвониться при случае — это был лишь минимум, к которому обязывало приличие, — и разошлись.

Консульский чиновник направился к своей машине, а Люсин, войдя в пятнистую тень лип, зашагал, позвякивая подкованными каблуками, по железным узорам решеток, защищающих древесные корни.

Он решил пешком дойти до самой Арбатской площади, а уж там сесть на троллейбус. Но на Тверском бульваре дорогу ему неторопливо перешла очень похожая на покойного Саскию кошка. Поэтому Люсин не очень удивился, когда узнал, что анализы еще не готовы и вряд ли будут сегодня вообще.

Повинуясь свойственному некоторым морякам несколько скептическому фатализму, он решил использовать оставшееся время для беседы с Верой Фабиановной. Впрочем, слово «фатализм» здесь как-то не совсем уместно. Скорее можно говорить об известной ассоциации. Действительно, кошка на бульваре напомнила Люсину Саскию, и он решил навестить осиротевшую хозяйку. Конечно, это больше соответствует истинному положению вещей, чем какой-то там фатализм. Но... Недаром говорят, что мысль изреченная есть ложь. В том-то и закавыка. Не так прост Люсин и вообще человек не так прост, чтобы его поведение можно было объяснить простейшей ассоциацией. В самом деле, разве нельзя здесь применить совсем иную схему? Хотя бы такую, например: Люсин шел на работу, подсознательно или даже пусть сознательно размышляя о всяких анализах, и о Саскии в частности. Именно поэтому совершенно случайная бродячая кошка и по-

казалась ему похожей на Саскию. Не кошка напомнила о Саскии, а Саския заставил обратить внимание на кошку! Произошла своего рода сублимация. Подсознательная мысль конкретизировалась, и Люсин совершенно правильно решил, что раз анализов все равно пока нет, он может побеседовать со старухой. Он же придавал этой беседе большое значение! Она была просто необходима для дальнейшего продвижения следствия. Люсин даже купил накануне в «Детском мире» азбучную кассу. Стоит ли удивляться поэтому, что он поехал на улицу Алексея Толстого? Удивление, конечно, тут тоже ни при чем. Ведь речь идет о том, чтобы разобраться в мотивировке тех или иных поступков инспектора. Для того, собственно, и затеян весь этот вроде бы совершенно пустой разговор... Мы располагаем тремя вариантами, как говорят психологи, установок, один из которых, очевидно, и обусловил принятое Люсиным решение. Но возможен и четвертый, если не пятый и шестой, вариант. Люсин не думал об анализах и не обратил внимания на ту совершенно не относящуюся к делу драную кошку. Он просто пришел на работу и, узнав, что экспертиза еще не готова, поехал к Вере Фабиановне. Этот простейший, почти на уровне рефлексов, вариант можно подкрепить, как и предыдущие, двумя соображениями: а) визит к старухе стоял первым в списке неотложных дел и б) на работе делать все равно нечего, а сидеть в духоте не хотелось.

Теперь, после кропотливого анализа сознания и подсознания главного героя — поступок, надо прямо сказать, не очень корректный с чисто литературной точки зрения, — позволительно произвести некоторый синтез. Он предполагает слияние всех вариантов в немыслимую мешанину, в которой изредка вспыхивают и гаснут мгновенно разноцветные лампочки, лишь отдаленно напоминающие ясность и логику наших простейших вариантов. Сюда же придется добавить и ту ужасную историческую кашу, которая образовалась в голове Люсина после приятной беседы с Березовским; свежие воспоминания, отягченные неясными опасениями и всяческими предположениями о встрече, так сказать, на дипломатическом уровне, а дальше сплошной поток: Лев Минеевич, иконщик, Женевьева, неизвестная пока какая-то соседка Эльвира Васильевна, ватутинский парикмахер, горьковатые, тревожные духи мадам Локар, ее расстрелянный муж, подвязка Генриха Четвертого, почему-то тугие, блестящие чулки Марии (Люсин твердо решил, что не станет проверять последнее алиби Михайлова) и, конечно, картинки природы в лунном и солнечном освещении — ольшаник, дорога в колдобинах, лужи, глина, цемент... все тот же, как говорится, сон.

Перечислять, конечно, легко... Но Люсин-то жил всем этим. Для него здесь не было второстепенных и малозначительных эпизодов. Каждый ведь мог в конце-то концов привести к раскрытию. Перечисление последовательно по природе и статично по естеству! Мышление же процесс активный, высокоскоростной и непостижимый.

Вот почему нам лучше всего принять поступок Люсина как нечто данное извне и не подлежащее обсуждению. Для нас ясно теперь,

что его решение возникло не случайно и, уж конечно, не по капризу автора. Была проделана колоссальная, но недоступная пока для аналитического ока науки мыслительная работа, и она дала результат. Пусть он кажется нам тривиальным, необязательным или даже вовсе не достоверным. Не нам судить. Все нити, все тонкие, неизвестные нам обстоятельства дела хранятся пока только в голове одного человека. И этот человек — Люсин. Точно смоделировать его мышление, как уже отмечалось, нельзя. Более того, оказывается, мы и права-то не имели задаваться такой задачей, поскольку не были посвящены во все тонкости.

Это, как говорят математики, граничные условия. Они необходимы для того, чтобы создать модель той сложной ситуации, в центре которой оказался Люсин. Всего лишь модель... Ибо книга — не более чем модель реальной жизни, как, скажем, знаменитая теория относительности тоже только модель нашей очень сложной Вселенной, которая хотя и конечна, но безгранична.

Итак, это несколько затянувшееся отступление подводит нас к тому моменту, когда Люсин, сидя у изголовья бессловесной Веры Фабиановны, развернул кассу, кармашки которой были туго набиты картонными буквами.

Беседа протекала по выработанному в прошлый раз методу: Вера Фабиановна подтверждала правильность названной буквы опусканием век. Собственно, Люсин даже не называл теперь буквы вслух. Он просто водил пальцем по рядам с кармашками, пока Вера Фабиановна не закрывала глаза. «Эта?» — спрашивал для контроля Люсин, если ошибки не было, вынимал картонную буковку. Составив слово, он — опять-таки для контроля! — показывал его больной, которой оставалось только молча зажмуриться. Ошибок не было...

Поэтому мы можем представить эту несколько необычную беседу в виде самого элементарного диалога.

— Вы знаете этого человека? — спросил Люсин, раскладывая перед больной фотокарточки разыскиваемого Свиньина, на которых во всех вариантах был изображен волосяной покров. — Не знаете? — повторил он вопрос, потому что старуха, к его удивлению, не подала утвердительного знака.

Но она все смотрела ему в глаза зорко и отрешенно. Словно тесна была ей беседа по методу старика Нуартье.

— Значит, это не он был у вас в тот вечер? — еще раз спросил Люсин и скользнул пальцами по кассе, словно слепой по своей книге.

— Нет, — просигналила старуха.

— Кто же?

— Слуга.

— Какой слуга?

— Слуга диавола.

— Ах «слуга диавола»! Ну конечно... В прошлый раз вы, правда, говорили, что сам дьявол.

— И диавол.

— Значит, у вас были и слуга дьявола, и сам дьявол?

— Да.
— Как они выглядели? Как выглядел слуга?
— Хромой.
— Еще как?
— Здоровый битюг.
— Отлично. Цвет волос?
— Темно-рыжий.
— Рыжий как от хны или как медная проволока? Старая медная проволока?
— Проволока.
— Отлично! На какую ногу хромал?
— Левую.
— Особые приметы есть? Шрамы, бородавки, наколки, может быть.
— Бельмо в глазу.
— В каком?
— Левом.
— Не иначе, это слуга дьявола с левым уклоном. А сам дьявол каков?
— Змей.
— Какой еще змей?
— Огненный.
— Так... понятно. Вы знаете, кто я?
— Следователь.
— А это? — Люсин показал на сидящую в углу женщину в белом халате.
— Санитарка.
— А до нее, кто за вами ухаживал?
— Сиделка.
— Как зовут вашу соседку?
— Эльвира Васильевна.
— Где она сейчас?
— На работе.

Старуха явно была в полном порядке. Но если дьявола Люсин еще хоть как-то мог принять, то со змеем огненным мириться решительно не хотел.

— У вас что-нибудь похитили?
— Ларец.
— Какой?
— Марии Медичи, старинный.
— Кто похитил?
— Они.
— Дьявол со своим слугой?
— Да.
— Они что, вместе к вам пришли?
— Да.
— И как это выглядело? Кого вы увидели, раскрыв дверь?
— Слугу.

— Одного слугу?
— Да.
— А где же был дьявол?
— В мешке.
«Хорош дьявол! Впрочем, кузнец Вакула тоже, по-моему, таскал чертей в мешках».
— Значит, вы открыли дверь и увидели здорового мужика, хромого, рыжего, как потемневшая медная проволока, и с бельмом на левом глазу. Так?
— Да.
— В руках он держал мешок?
— Да.
— А в мешке сидел дьявол?
— Да.
— Откуда вы об этом узнали? Кто вам сказал, что в мешке дьявол?
— Никто.
— Тогда почему вы говорите, что дьявол был в мешке?
— Он достал его из мешка.
— Кто — он? Слуга?
— Да.
— Сразу взял и достал?
— Не сразу. Потом.
— Значит, в тот момент, когда вы открыли дверь, вам не было точно известно, кто сидит в мешке?
— Я догадывалась.
— Догадывались? Почему же?
— Он обещал показать мне диавола.
— Слуга?
— Да.
— Ладно. Значит, вы были знакомы с этим слугой ранее?
— Да.
— Давно?
— Нет.
— Сколько раз вы его видели до того вечера?
— Один.
— Когда?
— На той неделе.
— При каких обстоятельствах?
— Пришел ко мне.
— В гости?
— Да.
— Выходит, что вы знали его еще раньше, раз пригласили в гости?
— Не приглашала, сам пришел.
— Ага, понятно. Слуга дьявола пришел незванным. И как же он вам отрекомендовался?
— Посланец.

— Какой такой посланец?
— Посланец хозяина ларца.
— Он сказал вам, что послан владельцем того самого ларца Марии Медичи, который у вас похитили?
— Да.
— Разве не вы хозяйка ларца?
— Я — хранительница.
— Кто же завещал вам хранить его?
— Отец.
— И до каких пор?
— До посланца.
— Посланцем должен был быть именно тот хромой и рыжий?
— Нет. Прийти мог любой.
— Как же вы узнали, что именно он и есть посланец? Поверили на слово?
— Знак был.
— Какой еще знак?
— Фигурка с ожерелья.
— С какого ожерелья?
— Египетского. В шкатулке, у зеркала.

Люсин подошел к трюмо, раскрыл шкатулку и, порывшись там, вытащил знаменитое ожерелье из фигурок синего фаянса, в точности похожих на ту, что лежала тогда в чемодане у пропавшего иностранца.

— Отсюда фигурка? — спросил Люсин, возвратившись с ожерельем.
— Да.
— Где же она?
— У него осталась.
— Сколько же их существует, этих недостающих фигурок?
— Одна.

«Странно... Уже получается, как минимум, две: одна у этого посланца, другая у меня».

— Вы хорошо это знаете?
— Да.
— Ладно, допустим... Вы что же, должны были отдать этот ларец посланцу?
— Нет. Не знаю.
— Отец вам не говорил?
— Жди, говорил, посланца. Он скажет.
— И что сказал посланец?
— Отдай сундук.
— Это было в первое его посещение?
— Да.
— И что же вы?
— Не отдала.
— Почему?
— Жалко было.

«Весьма резонно! Очень даже убедительно».
— Как же прореагировал посланец?
— Велел отдать.
— В каких выражениях?
— Смертью грозил от имени самого Князя Тьмы.
— Дьявола то есть?
— Да.
— И вы что?
— Сказала, что только диаволу и отдам.
— Но вам же велено было слушаться посланца?
— То было давно.
— Это не аргумент.
— А если посланец поддельный? Вдруг он украл тайну?
— Понятно... Ну и как он прореагировал на ваш отказ?
— Опять пригрозил. Придет через неделю, сказал, с ним.
— С дьяволом, значит?
— Да.
— И когда он пришел, вы сразу догадались, что в мешке дьявол?
— Да.
— Теперь все понятно, Вера Фабиановна, все понятно. Вы верующая?
— Не знаю.
— В Бога-то верите?
— Не знаю.
— А в дьявола?
— Верю
— Почему?
— Видела.
— Вы это про змея огненного?
— Да.
— А гадание ваше, Вера Фабиановна, оно от кого? От дьявола или же от Бога?
— От мудрости.
— От какой же это мудрости?
— Цыганской, египетской...
— Вы, случайно, на тароте не гадаете?
— Нет тарота.
— Если бы был, гадали?
— Да. Книга у меня есть.
— О гадании на тароте?
— Да.
— Вам никто не обещал достать тарот?
— Нет.

«Очевидно, исподволь готовился. Все, все про старуху знал, до самых мелочей... Не надеялся, что так просто отдаст она свое сокровище. Только зачем же он с угроз начал? Почему сразу смертью стал грозить? Или это уже самодеятельность пособника, слуги этого хромого, с бельмом?.. Почему тарот под конец приберег опять же?..

Так вроде бы хорошо подготовился и так неуклюже себя повел. Одно с другим как-то не вяжется. Или они работают параллельно? Нет, черт возьми, в такое совпадение я никогда не поверю».

— Как же назвался ваш посланец? Имя-отчество у него есть?

— Не сказал.

— Ладно, вернемся к дьяволу. Значит, на ваш отказ отдать ларец посланец ответил угрозами и пообещал вернуться вместе с дьяволом?

— Да.

— Ну а уговаривать он вас не пытался? Денег, к примеру, не предлагал?

— Предлагал.

— И много?

— Десять тысяч долларов.

— Ого! Почему же вы не согласились?

— А на кой они мне, эти доллары? В тюрьму из-за них сесть?

«Ей-богу, молодец старуха! Уж такой молодец!.. Очень понятное у нее мышление. Одно слово — гадалка».

— Он, случайно, не иностранец, ваш гость?

— Нет. Наш. Из малороссов.

— Почему вы так думаете?

— «Г» глухо выговаривает.

— Вместо долларов рубли спросить не догадались?

— Девять тысяч по курсу.

— Да, девять тысяч... Значит, спрашивали?

— Нет.

— Почему?

— Сам предлагал.

— Девять тысяч?

— Тридцать.

— Но по курсу-то девять? Откуда же тридцать?

— Сама сообразила. Мне так выгоднее.

— Вы сообразили, что выгоднее взять тридцать тысяч рублей вместо десяти тысяч долларов, которые по курсу составят только девять тысяч? — догадался Люсин.

— Да. И рублями спокойнее...

«Ну и старуха! Просто клад, а не женщина...»

— Значит, вы согласились все же продать ларец?

— Нет.

— Почему?

— Он дороже стоит... Я диавола поглядеть хотела.

— Давайте разберемся, Вера Фабиановна... Выходит, вы отклонили предложенную сумму в надежде, что сумеете в следующий раз получить больше? Так?

— Да.

— Кроме того, хотели полюбоваться на дьявола?

— Да.

— И не страшно вам было?

— Страшно.
— И все же хотелось?
— Да.
— Так, понятно... Значит, в глубине души вы все же решили так или иначе расстаться с ларцом?
— Не знаю.
— То есть как это не знаете?
— Я ничего не решила. Пусть приходит, подумала, а там как будет, так будет... — Старуха быстро приноровилась к буквенному разговору, и, сперва односложные, ответы ее становились все более обстоятельными. — Может, он и деньги отдаст, и сундук потом оставит. Диавол все ж как-никак... Вдруг, думаю, это он испытывает меня?
Люсину все стало ясно.
— Как же протекала ваша вторая встреча? Водку он принес?
— Да.
— А закуска ваша?
— Да. Он еще колбасу принес.
«Вот уж никак не вяжется. Экспортная водка и любительская колбаса. Водка, конечно, от Свиньина, а колбаса — это уже местный колорит. Значит, посланец этот, к сожалению, соотечественник. И не очень высокого пошиба. Из тех, кто соображает на троих...»
— Он много пил?
— Все он и выпил. Я только две рюмочки.
— И о чем же вы беседовали за ужином?
— О всяком.
— А о деле?
— И о деле.
— Он набавлял сумму?
— Нет.
— Почему?
— О деньгах разговора не было.
— Значит, ни он, ни вы в этот вечер о деньгах даже не заикались?
— Да. Я, правда, сказала что-то.
— Может, припомните?
— Сказала, что мало мне и пятидесяти.
— Ответил, что диавол платить не велел.
«Это уже совсем интересно».
— Почему?
— Не велел, и все.
— Что же тогда велел дьявол?
— Забрать сундук так.
— Вы говорите то «ларец», то «сундук» — это что, одно и то же?
— Да. Я так называю.
— Хорошо. Вы попросили, вернее, намекнули, что пятидесяти тысяч мало... Кстати, почему? Это же колоссальная сумма!
— Да. Но если можно взять больше, то почему бы не взять?

«Очень даже логично с чисто формальной, конечно, стороны. А так на кой тебе ляд больше? И этого бы за глаза хватило до конца жизни...»

— Понятно. Как же прореагировал на это посланец? Сказал, что дьявол не разрешает?

— Да.

— А вы что ответили?

— Сказала, что не верю. Пусть диавол сам подтвердит, сказала.

— И он подтвердил?

— Не знаю.

— Что же было дальше? После того как посланец допил почти всю водку, а вы сказали, что ждете... авторитетного подтверждения?

— Развязал мешок.

— Посланец? Он же слуга?

— Да. Задернул штору, погасил свет и развязал мешок.

— И что потом?

— Змей огненный. На хвосте плясал. Извивался. Вышины неимоверной.

— И это был дьявол?

— Кто же еще?

— Так. Чем же кончилась эта пляска? Змей заговорил?

— Нет. Дальше не помню ничего. Очнулась только ночью, парализованная.

— Вы хорошо разглядели огненного змея?

— Да.

— Он что же, дышал огнем?

— Да. И весь был огненный.

— Почему же ничего у вас в комнате не загорелось?

— Холодный огонь, люциферский.

— Понятно, Вера Фабиановна, от холодного огня ничего, конечно, не воспламенится. И какого же цвета был огонь?

— Желтый с зеленью. Самый змеиный такой, люциферский.

— И свет от этого огня был?

— Да. Только несильный.

— Ровный или же мигающий?

— Ровный, скорее.

— Попробуем восстановить, как все это произошло. Вы сказали, что хотите подтверждения, а он задернул шторы, погасил свет и в темноте — подчеркиваю: в темноте! — стал развязывать мешок. Так?

— Нет.

— Как же тогда?

— Задернул шторы сперва, потом зажег лампу настольную.

— Эту? — Люсин указал на небольшую лампу в виде гриба-мухомора.

— Да.

— Прекрасно... Итак, он задернул шторы, включил вот эту лампу и погасил люстру. Так?

— Да.

— Что было дальше?

— Взял лампу и полез под стол, где лежал мешок.

— Ага, мешок лежал под столом... Что же делал там этот ваш посланец с лампой?

— Точно не скажу. Вроде сначала мешок развязал, потом лампу туда сунул.

— Лампу? В мешок? Зачем же это, как вы думаете?

— Может, искал что в мешке? — выдвинула предположение Вера Фабиановна.

— Дьявола искал... — развил ее мысль Люсин. — Боялся, что не найдет, что тот в мешке затеряется. Он ведь малюсенький, этот ваш дьявол?

— Нет. Большой мешок был. Тяжелый и полный.

— Значит, дьявол облика своего не менял и в мешке находился в той же змеиной ипостаси? Так вас следует понимать?

— Так, наверное.

— Зачем же посланец засунул в мешок лампу?

— Не ведаю.

— Что же было потом?

— Подержал он лампу в мешке, повозился там минут с пяток, и лампа вдруг погасла.

— Погасла или ее выключили?

— Не знаю. Темно, одним словом, стало. Тут вдруг что-то зашипело, застучало так, что мои коты вой подняли.

— Интересно. Что же дальше?

— Выпрыгнул он и заплясал на хвосте посреди комнаты.

— А вы не думаете, что все это было только ловким фокусом?

— Нет.

— Почему?

— Змей настоящий был. Каждая чешуйка его огнем горела... Пасть натуральная опять же, зубы и жало раздвоенное... И шипел он страшенно.

— Может, гипноз?

— Я к гипнозу нечувствительна. Сам Мессинг пробовал — отказался.

— Не гипноз, значит...

— Нет. Он же Олечку мою проглотил.

— Кто это — Олечка?

— Кошка сиамская. Светлая вся, ушки черненькие, глаза голубые...

— А Саскию кто задушил?

— Саскии нет в живых?

— Да.

— Бедное животное... Зачем только я его на воспитание брала? Жил бы себе на лестнице...

— Так вы не видели, как был задушен Саския?

— Нет.

— Хорошо. Большое спасибо вам, Вера Фабиановна. А теперь расскажите мне, чем, собственно, замечателен ваш ларец? Почему даже сам дьявол проявляет к нему такой интерес?

— Это долгая история. Ее по буквам не расскажешь.

— Ладно. Подождем, когда к вам вернется речь. Но, может быть, вы все же сумеете объяснить, почему за этот сундук вам готовы были заплатить столь много?

— Древний он очень.

— И это все?

— Он еще у Марии Медичи был. Это ее приданое.

— А у кого он находился до этого?

— Не знаю... Может, забыла.

— Как же он здесь, в России, очутился?

— Не то его Калиостро сюда привез, не то царь. Не помню точно...

— Какой царь?

— Русский.

— Это я понимаю, что русский. Но кто именно?

— По-разному говорили.

— А отец ваш, как рассказывал?

— Он и сам не знал. Ларец-то хозяину принадлежал, у которого батюшка в управляющих служил. Хозяин же вроде по-разному объяснял. То ли Павлу его подарили масоны, то ли Александр его масонам подарил.

— Допустим, верно первое предположение. Но тогда вновь возникает вопрос: как ларец попал к государю императору Павлу?

— Не знаю. Про Павла ничего не знаю. Может, Калиостро еще до Павла его сюда привез. Он же бывал в России... А вот про Александра говорили, будто бы ему этот ларец преподнесли французские дворяне.

— В честь победы над Наполеоном?

— Может, и так.

— Как же эта историческая реликвия очутилась вдруг у хозяина вашего отца? Он кто был?

— Действительный статский советник Всеволод Юрьевич Свиньин, помещик и бывший тверской губернатор.

— Он, конечно, был важной шишкой. Это я понимаю. Но ведь не настолько же, чтобы прямо от царя получить сундук французской королевы?

— Нет. Ларец у них в семье хранился. Прадед Всеволода Юрьевича был большим масонским начальником. Ему-то царь и передал этот ларец.

— За особые заслуги? Или просто в дар?

— Чего не знаю, того не знаю. Батюшка покойный рассказывал, что это масонская тайна.

— А он, случайно, не был масоном?

— Был, и еще каким! Казначеем ложи «Белый лотос» в губернском городе Твери он был. А Всеволод Юрьевич — мастером ложи, предводителем, значит.

— Выходит, Свиньины все масоны? Это что же, наследственное у них?

— Я только про Всеволода Юрьевича знаю и про ихнего прадедушку, который от государя сундук получил. Потом он пострадал за декабристов.

— Ну что ж, в истории сундука мы с вами немного разобрались... И все же, Вера Фабиановна, мне не совсем понятна непомерная его ценность. Он очень древний, побывал у французских королей и русских царей, у графа Калиостро и тверских масонов — все это так. Но согласитесь, что одного этого мало. Почему за этот ларец буквально с ходу готовы были заплатить вам десять тысяч долларов? Более того, вы сами мне сказали, что он стоит гораздо дороже. Откуда вы это взяли?

— Так батюшка завещал. Он говорил, что в нем все наше состояние.

— Может, здесь какая-то масонская тайна?

— И тайна. Но суть-то не в ней. У ларца секрет есть.

— Какой же?

— Этого никто не знает. Сам Всеволод Юрьевич не знал.

— У вас есть какие-нибудь догадки на этот счет?

— Догадок никаких нет. Только знаю, что ларец этот волшебный.

— В чем же выражалось его волшебство?

— Всякое волшебство к одному сводится.

— Любопытно узнать.

— Власть, деньги да любовь — ведь этого от волшебства ждут. Оно и дает.

— Дает?

— А как же! Если знать, как спросить, то все получить можно... Только недобрая эта сила. За нее потом расплачиваться приходится. Оттого все волшебники и ворожеи такие несчастные. Плохо они кончают. Со мной тоже плохо будет... Сбылось уже.

— Э нет, Вера Фабиановна, вас мы в обиду не дадим! Мы вас подымем... Скажите-ка мне лучше, откуда вы знаете, что сундук был волшебным?

— Об этом все знали.

— Кто же именно?

— Всеволод Юрьевич, батюшка-покойник, люди — все.

— Люди — это значит слуги?

— Да, все говорили, что сундук волшебный. Только секрет к нему утерян. Его, говорили, Калиостро с собой унес. Он с этим сундуком большие чудеса выделывал.

— И неужели никто ни разу не пытался отыскать этот секрет?

— Многие пытались. Всеволод Юрьевич из-за этого в отставку ушел и большие деньги потратил.

— На что именно?

— Этого не знаю.

— Что случилось с Всеволодом Юрьевичем после революции?

— За границу уехал. Боялся, что его, как губернатора, в ЧК расстреляют. Только он хороший человек был, никому зла не делал.

— Он с семьей уехал? С женой, детьми?

— Вдовый он был. Жена рано умерла от скоротечной чахотки, чуть больше года вместе прожили. Кажется, сын у нее был маленький.

— Братья, сестры у него были?

— Только кузены да кузины. По прямой линии он последний был.

— А из-за границы он вестей о себе не подавал?

— Не знаю. Лично я никаких связей с заграницей не поддерживаю.

— Выходит, что хозяева сундука перемерли, а секрет его утерян... Зачем же тогда явился этот ваш посланец? И от чьего имени?

— Имени этого знать нельзя.

— Почему же?

— Человеку не дано знать настоящего имени Князя тьмы, как не дано ему знать настоящего имени Бога.

— Это ваш батюшка-масон говорил?

— Я и сама знаю.

— Значит, вы все еще уверены, что сундук похитил дьявол?

— Кто же еще? Значит, так надо, значит, сомкнулся круг и пришло время. Через этот сундук много душ было погублено, видать, кончился его срок на Земле.

— Плохи тогда дела. Где уж нам тягаться с самим сатаной! Выходит, что и искать ларец ваш нам теперь не надо? Как вы полагаете, Вера Фабиановна?

— Это почему же не надо? — Впервые после постигшего Веру Фабиановну несчастья глаза ее вдруг утратили свою сквозящую рентгеновскую напряженность. — Вы обязаны найти мою вещь!

— Даже если ее украл дьявол? — Люсин с удовлетворением отметил этот робкий признак начинающегося улучшения. Значит, посланный им врач не ошибся, когда после осмотра больной опроверг первоначальный диагноз. По его мнению, никакого инсульта у Веры Фабиановны не было, а всего лишь вызванное испугом и сильным волнением застойное шоковое состояние. Но и оно само по себе внушало серьезные опасения.

— Я ведь только предполагаю так... — Больная заморгала заметно живей, словно подгоняла этим возившегося с буквами Люсина. — Вы-то ведь в диавола не верите? Вещь украдена, потому вы обязаны найти ее и возвратить владельцу.

— Хорошо, хорошо! Не волнуйтесь. Я только пошутил. Мы обязательно отыщем ваш ларец... Вдруг дьявол здесь не виноват? А, Вера Фабиановна?

— Это уж как хотите. Раз вам про диавола и думать не положено, вы, может, и отыщете ларец. А то как потом перед начальством оправдаетесь? Не на диавола же сошлетесь? — просигналила неугомонная старуха. — Я жалобу напишу, если не отыщете.

Люсин только подивился тому, как мирно уживаются в ней темные, мистические суеверия с дотошным житейским прагматизмом.

— Ладно, Вера Фабиановна. — Люсин стал собирать свою азбуку. — На том с вами и договоримся. Мы будем искать, а вы нам в этом поможете. Первым делом слушайтесь врачей и поправляйтесь. Это первейшая ваша обязанность. На досуге же постарайтесь припомнить всякие мелкие подробности, связанные с вашим сокровищем. Кто чего говорил, о чем, возможно, вы сами догадываетесь. Все это может существенно облегчить нашу работу... Ну как, подходит вам такая программа?

Старуха с готовностью моргнула.

— Вот и прекрасно! Большое спасибо, и простите, что утомил. Отдыхайте спокойно и поправляйтесь, а я к вам еще забегу.

На том они бы и расстались, если бы не одно маленькое обстоятельство... Люсин страшно устал. Непривычные к раскладыванию букв руки даже слегка дрожали. И хотя под конец разговора он мог бы уже соревноваться с наборщиком средней квалификации, на всю беседу ушла бездна времени. Клочок неба за кружевной занавеской заметно потемнел. Поэтому, когда Люсин пожелал Вере Фабиановне спокойного отдохновения и встал со стула, молчаливая санитарка с готовностью задвинула плотные шторы, и в комнате стало сумеречно. В этом, собственно, и заключалось то самое маленькое обстоятельство. Оно позволило Люсину обратить внимание на то, чего он по причине, которая сейчас станет понятной, не увидел в прошлый раз.

Как только санитарка задвинула шторы, на полу ровным желто-зеленым светом зажглись какие-то бесформенные пятна и неровные, прерывающиеся полосы. Отдаленно они напоминали Млечный Путь. Эксплуатируя и далее тесно связанные с астрономией изобразительные средства, можно сказать, что пыльный, давно не метенный угол превратился в шаровое скопление, а на шторах в трех-четырех местах слабо засветились волокна диффузных туманностей.

Очевидно, это были следы той сумасшедшей пляски, которую учинил посреди комнаты огненный змей. Сам же он, видимо, находился в состоянии линьки.

Люсин сразу же полез в портфель и достал оттуда неизменные баночки и бритвенное лезвие. Аккуратно в нескольких местах он собрал образцы «змеиной кожи», которая почему-то уже превратилась в порошок.

Кроме чисто профессионального удовлетворения, он испытал в тот момент весьма сложное, близкое к злорадству чувство, ибо знал, что все это пойдет в перегруженную лабораторию, которая и без того не выдерживает назначенных сроков.

Так закончилась совершенно фантастическая история, которая началась с бродячей кошки, перебежавшей дорогу на Тверском буль-

варе. Собственно, история не закончилась, более того — конца ее не было даже видно.

Люсин вышел от Веры Фабиановны с легкой головной болью и полной неразберихой в мозгу. Что-то у него составлялось, что-то безвозвратно рушилось. Все время появлялись какие-то концы, но они исчезли, едва он пытался связать их между собой. Одним словом, только сейчас это было единственное, что он ясно понял: расследование вступило в решающую фазу. Симплонский туннель еще не был прорыт, но где-то за скальной толщей уже различались глухие удары. Это работала встречная бригада. Сквозь глухую стену, разделяющую сегодняшний день от вчерашнего, прорывалась история.

Если уподобить человеческое сознание, скажем, радиолампе, то вольт-амперная характеристика Люсина вышла на плато. Он достиг насыщения информацией из высшего накала умственного напряжения. Он лютой ненавистью ненавидел дьявола и все его племя.

Глава 18

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ

(Донесение генералу иезуитского ордена[1]. Часть 1)

«Монсеньор!

Согласно Вашему высокому повелению, направляю Вам законченный отчет о нашумевшем деле с бриллиантовым ожерельем и роли, которую сыграл в нем вверенный моему наблюдению Джузеппе Бальзамо (он же граф Калиостро, граф Феникс, Ахарат и Пеллегрини). Состоя ранее провинциалом ордена в российских землях, я уже докладывал об этом опасном, меняющем имена с переменой стран своего пребывания человеке, который колесит по Европе, везде оставляя за собой след в виде всевозможных слухов. Ныне можно с уверенностью сказать, что зародившиеся ранее подозрения насчет его особы полностью подтвердились.

В характере Джузеппе Бальзамо непостижимым образом сочетаются достоинство и коварство, образованность и невежество. Этот человек, впрочем, великодушный и одаренный увлекательным, хотя несколько варварским красноречием, представляет собой странную помесь миссионера и авантюриста, что делает его особо опасным. К тому же он обладает талантом привлекать к себе людские души.

Приехав в Митаву, он не замедлил очаровать тамошнее высшее общество. Двух часов ему оказалось вполне достаточно, чтобы совершенно покорить таких знатных и ученых вельмож, как граф

[1] Иезуиты (общество Иисуса) — католический монашеский орден, основан в 1534 году Игнатием Лойолой. Главные задачи ордена: борьба за чистоту католицизма и его повсеместное распространение, борьба за укрепление неограниченной власти папы. Мораль иезуитов: все средства хороши для достижения цели. Орден возглавляется пожизненно избираемым генералом.

Медем, граф Ховен и майор фон Корф. Влияние же его на особ женского пола не поддается никакому описанию.

Алхимик, врач розенкрейцерской школы, астролог, физиономист и жрец тайны, Бальзамо должен был казаться лакомой приманкой для всех богопротивных секретных обществ. Так оно, собственно, и случилось. Как я уже писал в свое время, иллюминаты[1] завербовали его в свою среду, когда самозваный граф приехал во Франкфурт-на-Майне.

Посвящение его происходило недалеко от города, в подземной пещере. Глава местных иллюминатов (есть основания утверждать, невзирая на маску, которая скрывала его лицо, что это был небезызвестный монсеньору барон Вейсгаупт) раскрыл железный ящик, наполненный бумагами, и вынул оттуда рукописную книгу, начинавшуюся словами: «Мы, гроссмейстеры ордена тамплиеров...» Далее следовала формула присяги, начертанная кровью, и одиннадцать (позволю вновь обратить внимание монсеньора на это число!) подписей.

В этой написанной на французском языке книге прямо говорилось, что иллюминизм есть заговор против тронов. Мне удалось узнать, монсеньор, что первый удар постигнет Францию, а после падения христианнейшего короля настанет очередь Рима. Иллюминаты, таким образом, выступают как идейные наследники тамплиеров — злейших врагов папской и королевской власти. Остается только сожалеть, что ордену не удалось подавить это движение в зародыше. После церемонии посвящения Бальзамо уведомили, что общество, в которое он вступил, уже пустило глубокие корни и располагает крупными суммами в банках Амстердама, Роттердама, Лондона, Генуи и Венеции.

В иллюминатских верхах утверждают, будто все средства общества составляются только из ежегодных членских взносов, что не представляется убедительным. Нельзя верить и широко распространенной легенде, согласно которой иллюминаты обратили в деньги тайное наследие тамплиеров — огромную статую Люцифера, отлитую из чистого золота. Денежный источник, питающий это движение, остается, таким образом, невыясненным.

Пройдя полную церемонию и получив крупную сумму на расходы, а также секретные инструкции, Бальзамо сразу выехал в Страсбург.

Там он прожил некоторое время богатым и щедрым барином, давая много, но ничего и ни от кого не принимая. Людей состоятельных он дарил своими советами, а бедняков — советами и деньгами, что вскоре превратило его в предмет народного обожания.

В то же самое время по соседству, в Саверне, проживал некий прелат, чья любовь к тайнам и смелые амурные похождения привели наконец к нынешнему скандалу. Смею, таким образом, обратить высокое внимание монсеньора на то, что знакомство Бальзамо

[1] Иллюминаты — разновидность масонства

(тогда он выступал под именем Калиостро) с кардиналом де Роганом произошло именно в Страсбурге, и в указанное время, а не теперь, в Париже.

Узнав, что поблизости поселился чародей и философ, принц-кардинал Роган поспешил завязать с ним знакомство и направил своего егермейстера Миллиненса испросить у Калиостро аудиенцию.

Но насколько самозваный граф был ласков и любезен с беднякими, настолько же любил он посмеяться над знатными особами. Однако таковы люди. Именно это свойство заставляло аристократов еще сильнее заискивать перед Калиостро. Посланца кардинала он встретил весьма надменно. «Если это у князя пустое любопытство, — резко ответил он, — то я отказываюсь его видеть; если же он имеет надобность во мне, то пусть скажет». Нечего говорить, что этот высокомерный ответ не только не рассердил кардинала, но, напротив, очень ему понравился.

Неотступные униженные просьбы этого блестящего кавалера, более знатного, чем сам король, победили наконец непонятное упорство таинственного иностранца, и он, как, впрочем, следовало ожидать, согласился дать князю церкви, пэру и великому милостынераздавателю Франции аудиенцию. С того момента Роган сделался нежным другом и восторженным почитателем графа Калиостро. Ловец душ, как всегда, не промахнулся.

Вот, собственно, все, что знали о Калиостро до того, как он решил поселиться в Париже на постоянное жительство. Ходили, правда, смутные слухи, что таинственный граф обладает даром ясновидения и, кроме того, открыл эликсир бессмертия. Как утверждали некоторые, Роган сумел выпросить малую толику этого эликсира для себя и проживет теперь лет четыреста, оставаясь молодым и неутомимым... Возможно, что именно благодаря этим слухам Калиостро заинтересовался сам король. Nomina sunt odiosa[1], я уже докладывал монсеньору о тех затруднениях, которые испытывал Людовик XVI, вступив в брак с юной австрийской принцессой. По всей видимости, оные трудности, невзирая на рождение дофина и мадам[2], не преодолены и по сей день, ибо только этим можно объяснить беспрецедентную поддержку, которую оказывает король всем начинаниям сомнительного авантюриста. Объявление двора, что всякая критика по адресу Калиостро будет рассматриваться как антигосударственное деяние, неслыханно! Бедная Франция! Она поистине на краю пропасти. Узда правления находится в слабых руках, а церковь после изгнания ордена бессильна предотвратить разложение общества и падение нравов.

Благородные манеры, огромное влияние при дворе, апокалипсическое красноречие и сказочное богатство — все это быстро сделало Калиостро кумиром парижан. Неувядающая красота его жены Лоренцы Феличиани вновь возбудила толки об эликсире бессмертия.

[1] Не будем называть имена, не называя имен

[2] Титулы королевских сына и дочери

Поговаривали, будто итальянская красавица была когда-то вавилонской царицей Семирамидой, а сам Калиостро якобы хорошо знал Христа и частенько беседовал за чашей фалернского с Юлием Цезарем, Суллой и Понтием Пилатом. Даже сомнительность богатств и добродетелей графа служили его популярности. Парижане буквально толпами осаждали его дом.

Поселился Калиостро на улице Сен-Клод в самом красивом особняке квартала. Причудливость и сказочная роскошь обстановки только укрепили за ним славу алхимика и некроманта[1]. В салоне, убранном с восточной пышностью и погруженном в полумрак, если только его не заливали светом сотни канделябров, можно было угадать характер хозяина — философа, заговорщика и чудотворца. В центре этого салона стоит бюст Гиппократа, а на восточной стене висит в черной раме мраморная доска, на которой золотыми буквами начертан параграф всеобщей молитвы богоотступника Попа: «Отче Вселенной, Ты, Которому все народы поклоняются под именами Иеговы, Юпитера и Господа! Верховная и первая причина, скрывающая твою божественную сущность от моих глаз и показывающая только мое неведение и Твою благость, дай мне в этом состоянии слепоты... различить добро от зла и оставлять человеческой природе ее права, не посягая на Твои святые заповеди. Научи меня бояться пуще ада того, что мне запрещает моя совесть, и предпочитать самому небу то, что она мне велит!»

Из одной этой надписи, которую я видел собственными глазами, следует, что указанный Калиостро — розенкрейцер, иллюминат и вольный каменщик. И в самом деле, секта, которую представляет этот самозваный граф, не признает никакой религии, кроме деизма, и проповедует служение не истинному христианскому Богу, а нечестивому Верховному Существу. В самом этом слове «Существо» кроется мерзкое оскорбление божественной сущности. Однако число приверженцев «Существа», особенно в среде парижских аристократов, неуклонно множится. И в этом немалая заслуга Калиостро, который основывает здесь, как делал это в Митаве, Петербурге и Варшаве, египетские ложи, в которых подвергаются поношению и расшатываются основы религии и государства. Но было бы неправильно видеть в этом человеке последовательного заговорщика, ибо он постоянно переходит роковую черту, отделяющую заговор от обыкновенного обмана. У него происходят какие-то сборища, на которых занимаются не столько политикой, сколько фокусами и некромантикой. Постоянно можно слышать, что Калиостро то вызвал какого-то именитого покойника, то уничтожил трещинку или пузырек воздуха в чьем-то фамильном камне, и тому подобное.

Более того, мне удалось установить, что даже его занятия алхимическим искусством тоже не более чем обман. Чтобы замаскировать источник своих богатств, которыми его, конечно, снабжают рассеянные по всему свету члены секты, он в конце каждого месяца

[1] Некромант — волшебник, имеющий власть над мертвыми.

притворно запирается у себя в кабинете, где якобы изготовляет алхимическое золото.

Многозначительными намеками и как бы случайными оговорками он дает понять, что после каждого такого уединения его слуга относит ювелиру слиток, проба которого почти всегда выше луидоров.

Еще дает он понять, что его внезапные отлучки связаны с процессом омоложения, который постоянно приходится поддерживать. Этот шарлатан воображает, будто состоит в общении с семью ангелами, коим, согласно обряду египетских лож, поручено управление семью планетами (обращаю высокое внимание монсеньора на это число семь!); приписывает себе власть временно материализовать духов через посредство молодых девушек, которых называл голубицами или питомицами. Приобщая невинные души к чародейству, он, возможно, способствовал и растлению телесных оболочек, хотя достоверных сведений на сей счет не имеется.

Если и можно хоть что-нибудь сказать в защиту этого человека, то это будет лишь одно: он постоянно пятнал низким обманом «возвышенную» цель своего общества, состоящую в ниспровержении тронов. Но одновременно он привлекал к себе этим все новые и новые толпы черни. Поэтому неизвестно, какой мятеж более опасен: тот ли, что свершается руками возвышенных идеалистов, или же тот, который несет на своих знаменах пятна разнузданной низости. Во всяком случае оба они одинаково нежелательны. Поэтому граф Калиостро должен быть устранен наряду с известными монсеньору лицами, которые открыто проповедуют свои философские взгляды и тайно плетут заговоры против церкви и королевской власти.

Заканчивая характеристику Калиостро, упомяну, что в числе его ярых приверженцев можно найти представителей всех сословий. Здесь князья, прелаты, ученые, военная и гражданская знать, ремесленники, простолюдины. Даже такая высокая особа, как, например, герцог Люксембургский, не устоял перед его чарами. Все эти люди называют своего учителя не иначе как обожаемый отец и с готовностью повинуются ему. Они повсюду носят с собой его портреты: на медальонах, часах, веерах. Бюсты с надписью «Божественный Калиостро», изваянные из мрамора и отлитые из бронзы, украшают аристократические дворцы. Сам король оказывает ему свое покровительство.

И вот теперь, монсеньор, этот самозваный граф, этот авантюрист, являющийся на самом деле, как установила тайная служба ордена, сыном палермского купца, оказался замешанным в скандальном деле, и его имя стоит рядом с именем кардинала Рогана и королевы Франции!

Возможен ли еще больший позор, еще более глубокое падение?! Поистине Господь прежде ослепляет того, кого решает наказать. Королевская власть, монсеньор, находится в преддверии краха. Вместе с ней окончательно падет и влияние Матери Нашей Апостольской Католической церкви.

О глубоком кризисе, охватившем общество, можно судить хотя бы по слухам, которые распространяются сейчас по поводу предсказания Казота. В последнем донесении я уже имел честь указать высокому вниманию монсеньора этого опасного вольнодумца. Присовокуплю лишь следующее: ныне стало достоверно известно, что Жак Казот является видным иллюминатом-мартинистом. Оный господин был приглашен в числе многих придворных на обед, который давал один известный академик. Среди приглашенных находилось также лицо, всецело преданное интересам ордена, чье свидетельство поэтому внушает полное доверие. По словам указанного лица, обед проходил чрезвычайно весело. Говорили об успехах человеческого ума и о грядущих событиях, в которых присутствующие заранее приветствовали «освобожденный разум». Один только Казот казался грустным и хранил глубокое молчание. Когда его спросили о причине столь странного поведения, он ответил, что провидит в будущем страшные вещи. В ответ на это господин Кондорсе стал с присущим ему остроумием вышучивать Казота, всячески вызывая его на откровенность. В конце концов Казот, грустно улыбнувшись, сказал ему: «Вы, господин Кондорсе, отравитесь, чтобы избегнуть смерти от руки палача». Грянул дружный смех. Тогда Казот поднялся и, отодвинув бокал с вином, обвел присутствующих взглядом. «Вас, мой бедный Шамфор, — тихо сказал он, — заставят перерезать себе жилы. Вы же, Бальи, Мальзерб и Рушер, умрете на эшафоте, посреди заполненной народом площади».

Он хотел еще продолжить свое мрачное пророчество, но герцогиня де Грамон, смеясь, перебила его: «Но наш пол по крайней мере будет пощажен?» — «Ваш пол? — переспросил Казот. — Вы, сударыня, и много других дам вместе с вами, вы будете отвезены на телеге на ту же площадь со связанными назад руками». Сказав это, Казот изменился в лице; его голубые глаза, казалось, вот-вот наполнятся слезами. И этот шестидесятивосьмилетний человек, с убеленной сединой головой патриарха, был так величествен в своей безысходной печали, что смех гостей внезапно умолк. Только госпожа Грамон сохраняла еще шутливое настроение. «Вы сейчас увидите, — воскликнула она, — что он даже не позволит мне исповедаться перед казнью». — «Нет, сударыня, — покачал головой Казот, — последний казнимый, которому сделают такое снисхождение, будет... — Он запнулся на мгновение: — Это будет... король Франции...»

Взволнованные гости стали подниматься из-за стола. Казот молча поклонился хозяину, извинился и собрался уходить. Но герцогиня Грамон преградила ему дорогу. Принужденно улыбаясь и досадуя на себя за то, что вызвала своими вопросами столь мрачные пророчества, она, как бы призывая Казота закончить все шуткой, спросила: «А вы, господин пророк, какая участь ожидает вас самого?» Он ничего не ответил ей, но и не трогался с места, уставясь глазами в пол. Потом вдруг поднял голову и равнодушно, ни к кому особенно не обращаясь, сказал: «Во время осады священного города один человек семь дней подряд ходил вокруг его стен, взы-

вая к согражданам: «Горе вам! Горе!» На седьмой день он вскрикнул: «Горе мне!» В этот момент огромный камень, пущенный неприятельскими осадными машинами, попал в него и убил наповал». С этими словами Казот вновь поклонился и вышел.

Таково, монсеньор, умонастроение французской вольнодумной аристократии. Жизнь монарха более не является священной в ее глазах.

Еретик Вольтер обрушивался на церковь, преследовал едкой клеветой наш орден, а Руссо проповедовал равенство и единство всех человеческих душ... Посеянные ими плевелы дали теперь страшные всходы. Но какова будет жатва? Не такова ли, как предсказывает господин Казот? Не раскрывает ли нам его «предсказание» планов, которые лелеют заговорщики в своих подземных капищах?

Можно лишь посетовать, что орден слишком снисходительно отнесся к первым росткам вольнодумства в этой стране. Генрих Наваррский погиб слишком поздно. Он вообще не должен был царствовать. Теперь, когда заговор охватил все слои общества, а гонители Христовы добились запрещения ордена, справиться с положением едва ли удастся. И менее всего способно на это королевское семейство.

На парижской сцене только что была представлена «Женитьба Фигаро», и вызванное этой комедией брожение умов все продолжается. Возможно, по той лишь причине, что общественным мнением владеет иная комедия, более глубокая и, увы, реальная. Вот ее герои: королева Франции, могущественный прелат, авантюристка королевской крови, куртизанка, сомнительный дворянин, жандарм и таинственный иностранец — помесь шарлатана с заговорщиком. Действие происходит в зале суда. Публика — вся Европа».

Глава 19

ПЕРВОЕ УБИЙСТВО

Придя на работу, Люсин, как обычно, позвонил в лабораторию.

— Доброе утро! — сказал он, хотя утро было паршивое: брызгал надоедливый мелкий дождь.

— Можете приходить, — сразу узнал его голос начальник лаборатории. — Только что получили экспертизу из Института криминалистики... Так что приходите.

— Это по поводу Саскии? — не утерпел Люсин.

— Что еще за Саския? Вы же нам только кота сдавали!

— Это он и есть, — рассмеялся Люсин. — Бегу!

В аналитичке Люсин надел белый халат и мельком глянул на своего двойника, опрокинутого в голубом кафеле пола. В расплывчатой глубине, где угадывалась голова двойника, мутными пузырями горели лампы.

Пройдя вдоль стеллажей со всевозможным стеклом и нелетучими реактивами, Люсин на секунду задержался у вытяжного шкафа, где хлопотала смуглая чернявочка.

— Сколько бутылок у вас, Наташа! — восхитился Люсин, схватившись за голову. — Как вы только их различаете? — Он провел пальцем вдоль длинного ряда пузатых, с притертыми пробками бутылей и всевозможных пузырьков, словно всю клавиатуру на рояле пробежал.

— По этикеткам, — сухо ответила девушка.

— И никогда не ошибаетесь? — настырничал Люсин. — Они же такие незаметные да и почернели все от этой отравы!

Он отлично видел, что кроме этикеток бутыли с кислотами и щелочами были помечены соответствующими химическими символами, крупно написанными восковым карандашом. Надписи же на сосудах со спиртобензолом, эфиром или четыреххлористым углеродом можно было прочесть еще в дверях, а хранившаяся под слоем мутноватой водицы ртуть вообще ни в каких этикетках не нуждалась.

Поэтому лаборантка имела полное право игнорировать столь неуклюжие попытки завязать профессиональный разговор, что она, собственно, и сделала.

Конечно, она могла бы сказать Люсину, что его анализ готов и находится сейчас у начальства, но стоило ли? Пусть себе юлит и бьет хвостом, — она с удовольствием поглядит, как это у него выходит, хотя наперед известно, что выходит плохо. И вот когда он, ничего не добившись, в конце концов прямо спросит о своих листиках, она, так и быть, обрадует его. А может, и не обрадует. Поведет равнодушно плечами и включит электрические микровесы.

Люсин все это прекрасно видел. Он-то ведь знал, что заказ уже выполнен. Не для него бежала вода в зеркальных шариках холодильника, не для него кипели на плитках с закрытой спиралью экстракторы. Слывший среди сослуживцев простодушным, Люсин был очень себе на уме! И с Наташей он заигрывал, как говорится, на будущее... Это был всего лишь беглый штрих в его гениальной системе, с помощью которой он заставлял людей, неведомо для них самих, работать на себя. Вообще-то систему он перенял у Березовского, когда тот дублерил на БМРТ. Но до какого блеска она теперь доведена! Заказы Люсина всегда выполнялись в первую очередь. И для этого совсем не нужно было указаний сверху. Никакое начальство ни кнутом и ни пряником не смогло бы свершить тех чудес, которые тихой сапой творила его система. Другие сотрудники только сдавали анализы и приходили потом за готовой экспертизой. Конечно, они еще и звонили, напоминали, порой жаловались. Люсин же приходил в лабораторию, как к себе в кабинет. Этой великой привилегии он тоже добился весьма нехитрым приемом. Просто пришел и сказал, что хочет научиться делать такой-то анализ. Постепенно он прошел выучку у спектроскопистов, аналитиков и радиохимиков, потоптался у электронного микроскопа. Конечно, он

не бог весть чему научился. Нахватался верхушек, получил, что само по себе весьма полезно, общее представление о возможностях того или иного метода. Зато он так искренне восхищался всем и так наивно удивлялся, что стал здесь своим человеком. А ведь он даже не старался запомнить, чем, скажем, склянка Тищенко или дрексель отличаются от сокслета[1], а спектр поглощения в инфракрасной области от ультрафиолета. Все это было ему совершенно ни к чему, а он берег свою память, так как прочел где-то, что за всю жизнь человеческий мозг способен переработать только 10^9 единиц информации. Вот, собственно, чем отличалась его усовершенствованная система от примитивной схемы журналиста Березовского. Зато он прекрасно ориентировался в общих проблемах и, собирая так называемые вещественные доказательства, уже заранее мог знать, что сумеет вытащить из них физхимия. Наконец, зайдя в нужный момент в лабораторию, он мог и малость поработать на подхвате, продвигая тем самым свой анализ. Конечно, столь примитивная хитрость не могла пройти незамеченной. Аналитики за глаза потешались над тем, как хлопочет и восторгается Люсин, когда помогает кому-нибудь работать на себя. Но ведь и такая помощь уже благо. Другие-то так не делают. Кроме того, Люсин время от времени заходил в лабораторию и совершенно как будто бы бескорыстно, когда никаких анализов ему не требовалось. Другое дело, что наблюдательный человек мог бы подметить любопытную закономерность «Бескорыстные» визиты, как правило, предшествовали особенно большим и кропотливым заказам. Но кому, собственно, надо было это подмечать? Да и Люсин слыл человеком простодушным, которого с головой выдает неуклюжая хитрость.

— Не расползется, Наташенька? — Люсин указал на колбу, где был подвешен патрон из фильтровальной бумаги, в котором кипело в парах спиртобензола какое-то экстрагируемое вещество.

— Не расползется, — не слишком дружелюбно ответила чернявая лаборантка, но вдруг не выдержала: — Готов, готов ваш анализ, Люсин! Идите уж в кабинет...

И Люсин, как и полагалось ему по неписаной роли, радостно удивился, сделал попытку поцеловать Наташу в щечку и побежал в кабинет, куда нетерпеливо стремился с самого начала.

— Ох, до чего он мне надоел! — сказала Наташа подруге, конечно, так, чтобы слышал и Люсин. — Ходит и ходит...

— Сама виновата, — ответила подруга, освещенная заревом муфельной печи, где прокаливались фарфоровые тигли. — Правила для всех одинаковые. А этому, видите ли, всегда срочно!

Она захлопнула муфель, и миловидное личико ее мигом утратило дьявольскую и, увы, никем не замеченную красоту.

Люсин обернулся и погрозил им пальцем. Он знал, что, когда будет нужно, обе девицы, пусть ворча и негодуя (притворно!), первым делом сделают именно его анализы.

---

[1] Сокслет, дрексель — стеклянные химические сосуды.

Так же поступят и за этой черной занавесью, откуда пахнет озоном и нагретой резиной, где пробиваются голубоватые вспышки и что-то тихо и ровно гудит.

Система работала безотказно. С мыслью о системе Люсин отворил дверь кабинета, в котором сидел единственный человек, на которого люсинские чары совершенно не действовали. К сожалению, человек этот был начальником лаборатории. Он никогда, даже с санкции руководства, не брал сверхочередных анализов. Люсин знал это по себе. Поэтому трижды гениальна была система, которая могла успешно этому противоборствовать.

— Ну и везунок вы, Люсин! — встретил его хозяин кабинета и протянул фотоснимок.

— Что значит везунок, Аркадий Васильевич?

— А то, что везет вам!.. Вы в карты, случайно, не играете?

— В карты? Хотите сыграть? Так я могу! Бридж-белот, преферанс, покер, шестьдесят шесть — все, что угодно. — Люсин взял снимок.

— Э, нет! С вами бы я не рискнул... Вы типичный везунок. Взгляните-ка на это.

Люсина не надо было приглашать. Он так и впился глазами в снимок, где на черном, засвеченном поле белели два круга. Они были совершенно удивительны. Аналитик не ошибся: Люсину чертовски везло. И что там карты? Бридж-белот или шестьдесят шесть? Это был куш, сорванный на номер в рулетку. В обоих кругах четко запечатлелась приготовившаяся к прыжку змея. Даже раздвоенный узкий язык можно было разглядеть в ее разъяренно распахнутой пасти. Она стояла на хвосте, чуть откинувшись назад, перед смертельным броском. На заднем плане смутно угадывались знакомые Люсину детали интерьера. Так что сомнений быть не могло. Фотоснимок был сделан не в амазонской сельве и не во влажной римбе острова Борнео, а, как это ни удивительно, в комнате Веры Фабиановны Чарской. Но стоит ли удивляться этому, если змею засняли не автоматическим аппаратом «Киев-10» и не шедевром японской оптики — камерой «Канон»?

Это бедный Саския сфотографировал обоими глазами последнее видение своей безвременно оборвавшейся жизни. Люсин держал в руках увеличенные снимки с мертвой сетчатки. Пурпур или как он там еще называется глаз Саскии не успел разрушиться и сохранил свой страшный отпечаток. Кошки не обладают цветным зрением, и снимок вышел черно-белым. Но и на нем было хорошо видно, что изготовившаяся к броску змея светится. Она горела, как струя расплавленного металла, и даже освещала ближайшие к ней предметы. То же обстоятельство, что на снимке, несмотря на темноту в комнате, оказался еще, хоть и смутный, задний план, можно объяснить лишь совершенством кошачьего ночного зрения.

Итак, огненный змей Веры Фабиановны оказался не видением больного мозга и не гипнотическим наваждением. Об этом с бесстрастной объективностью свидетельствовали глаза мертвого живо-

тного. Саскии очень не везло в жизни. Во-первых, у его хозяев родился ребенок, и бедный кот остался, подобно чеховскому чиновнику, «без места», во-вторых, новая хозяйка не только отняла у него прежнее имя Барсик, но и превратила на первых порах в кошку. И все же это были обычные превратности, с которыми еще можно мириться. Но быть задушенным в собственном доме тропической змеей — это, знаете ли, слишком! Это уж невезение так невезение... Мудрено ли, что глаза Саскии и после смерти взывали к отмщению?

— Ну как? — спросил начальник лаборатории.

— Класс! — восхищенно прошептал Люсин, держа снимок обеими руками. — Как это только им удалось? Это же... — он даже задохнулся, не находя слов, — войдет во все учебники!

— А то нет! — довольно откинулся на стуле начальник. — Ювелирная работа! Ну что, доволен?

— Еще бы!.. А змею они не определили?

— Ох и нахал же ты, братец! — Начальник лаборатории от избытка чувств перешел на «ты». — Тебе и этого мало! Еще хочешь змею знать?!

— Отчего бы и нет? — С олимпийским спокойствием Люсин положил снимок на стол.

— То есть как это? — Аркадий Васильевич даже покраснел. — Это же такой дикий шанс! Вы же сами должны знать, как редко оно удается! И после этого вы еще хотите...

— Конечно, хочу! — перебил его Люсин и вдруг рассмеялся. — Я ведь все понимаю и ценю, Аркадий Васильевич. Более того, я просто преклоняюсь... Но раз уж снимок получился, почему бы не вытянуть из него максимум возможного? Одно к другому-то не касается?

— Теперь я понима-аю! — протянул Аркадий Васильевич. — Наконец-то я вас, Люсин, раскусил. Вы ведь не просто везунок! С этим еще примириться можно. Не надо только за карты с вами садиться... Везунков порядочные люди обычно недолюбливают...

— Из зависти.

— Понимаю, понима-аю! Из зависти! Согласен... Но вы-то ведь хуже, чем простой везунок... Хотите знать, кто вы?

— Конечно.

— Вы привыкший к везению и потому совершенно заевшийся и обнаглевший везунок! Нравится?

— Вполне, — кивнул Люсин.

— Хоть самокритичен, — вздохнул начальник лаборатории. — Мне даже противно, — он дружески подмигнул, — сообщать вам результаты экспертизы. Ведь вы их воспримете как должное. Не как чудо, а как воспринимает закормленный карапуз очередную порцию манной каши! Вы же не удивитесь, вас не проберет благоговейная дрожь перед мощью человеческого гения... Не проберет ведь?

— А чего ей меня пробирать? Я же и сам вижу, что эта змея питон, не знаю только, как она там по-латыни... — Он равнодушно

пожал плечами, но краешком глаза все же глянул на собеседника — хотел насладиться произведенным впечатлением.

— Что? — Аркадий Васильевич был ошарашен. — Откуда вы знаете, что это питон?

— Ежу и то ясно! Вы что, питона никогда не видели?

— Видел! Видел, черт его дери! Но почему именно питон, а не анаконда или этот боа — как там его? — констриктор? Как вы могли это различить?

— Различить? Очень просто... Только мне и различать-то не надо. Я ведь многое наперед знаю. Не верите? Разве принес бы я вам дохлую кошку, если бы не знал заранее, что запечатлелось в ее глазах?

— Да? — Аркадий Васильевич уже не шутил, он и впрямь был слегка озадачен. — Вы что же, ясновидящий?

— Вроде... Про телепатию слыхали?

— Разумеется. Будете выступать в цирке пришлите контрамарочку.

— Ладно.

— Все же, Люсин, скажите правду — я ведь терпеть не могу загадок! — как вы узнали, что это питон?

— Значит, питон? — поймал на слове Люсин.

— Да, питон.

— Это секрет.

— Вы считаете, что у нас к вам недостаточно внимательно относятся?

— Ну, Аркадий Васильевич, это запрещенный прием! Это шантаж и скрытая угроза. Нельзя смешивать личные отношения с чисто деловыми... — Он рассмеялся. — Три внеочередных анализа — и секрет ваш!

— Если я шантажист, то вы бессовестный и неблагодарный вымогатель... Три анализа?

— Три серии, — поправился Люсин. — Три заказа.

— Один.

— Ладно. Не ваша, не моя... Два!

— Идет.

— Хотите, значит, узнать, как я определил питона?

— Хочу.

— Мне об этом дежурный по городу еще на той неделе звонил. Уж кто-кто, а он все наперед видит!.. Только я, дурак, тогда внимания не обратил...

— Что именно сказал дежурный по городу?

— Питона, понимаете, в цирке украли, а дежурный мне тут же и позвонил... Как в воду глядел!

— Так-таки ни с того ни с сего и позвонил? Ой, Люсин, хитришь!

— Какой там «хитришь»! Я сам напросился, — неохотно объяснил Люсин. — Хотел быть в курсе всех необычных происшествий. Следов-то ведь не было, а дело необычное...

— А, понимаю! — догадался начальник лаборатории. — Вы увидели снимок и сообразили, что это мог быть тот самый украденный питон! Верно?

— В общих чертах.

— На сообщение же дежурного вы сперва не прореагировали? Решили, что не по вашей части? — Аркадий Васильевич даже руки потер от удовольствия.

— Угу, — буркнул Люсин.

— Кража питона не показалась вам необычным происшествием! Ведь питонов-то, поди, каждый день воруют? — Аркадий Васильевич вот-вот готов был расхохотаться.

— Вот именно! — улыбнулся и Люсин. — Теперь вы все знаете. Давайте мои экспертизы, и я пошел... За вами два заказа! — Он взял бумаги и фотоснимки, благодарно пожал руку Аркадию Васильевичу и вышел из лаборатории.

Чего он добился откровенным признанием? Права на два экстренных заказа? Завоевал сердце начальника лаборатории и тем самым сделал свою систему абсолютной? В известной мере все это так, но — как бы это объяснить? — Люсин достиг, если только он и впрямь к этому стремился, еще одного. Он разрушил впечатление, которое неизбежно должно было сложиться о нем...

Это и впрямь тонкий вопрос! Одно дело, если Люсин поступил так бессознательно, другое — если был у него здесь холодный расчет. Действительно, Люсин взялся за очень сложное и запутанное дело, которое сделало бы честь любому книжному детективу. Более того, он с блеском, надо сказать об этом прямо, принялся его распутывать. Про ошибки, которые он допускал по ходу розысков — живой человек всегда допускает ошибки ведь ложные ходы — одно из непреложнейших свойств нашего познания, — про эти ошибки знал только он один. Тем паче, они не раз служили, как говорится, к вящей славе Господней, иными словами, их можно было представить в преображенном ореоле феноменальных успехов. Не расскажи Люсин, к примеру, о том же питоне, Аркадий Васильевич остался бы в совершенном потрясении. Два-три подобных примера могли бы создать Люсину репутацию гениального детектива. И, самое смешное, она была бы вполне заслуженной!

Почему же Люсин разрушил готовый родиться образ, как разрушал его постоянно? Почему? Здесь, конечно, и лежит ключ — избитая, конечно, метафора — к его характеру. Но нет ни ясных доказательств, что он поступил так намеренно, ни особых оснований для мнения диаметрально противоположного. Одно только известно совершенно точно. Успехам Люсина не удивлялись, их воспринимали как должное. Свой парень в доску, дотошный, старательный, но малость простодушный, — у такого все и должно быть в полном порядке! Разумеется, при обязательном условии некоторого везения. О том же, что Люсин необыкновенно везуч, ни у кого не было двух мнений. Постоянному же везению — но не фатальному, а, напротив, до смешного глупому, которое даже са-

мого счастливца часто оставляет в дураках, — такому везению быстро перестают удивляться и, как правило, не завидуют. Оно становится нормой, а над нормой долго не рассуждают. Что есть, то есть. Потому и глупым промахам Люсина тоже не удивлялись. Над ним просто беззлобно шутили и легко смеялись, когда эти промахи, выяснившиеся, конечно, задним числом, лили воду на колеса удачливой люсинской мельницы.

Конечно, нельзя было пройти мимо кражи питона! Это же очень странное происшествие и, как выясняется, связано, очевидно, с делом. Аркадий Васильевич это быстро сообразил и, конечно, подивился тому, сколь милостива судьба к добродушному работяге и простаку Люсину. И то правда! Не обратил внимание на кражу, так на тебе снимок со змеей! Тут уж кто угодно выйдет на след. Дважды такими сигналами не пренебрегают!

Тут все правильно, кроме одного. Аркадий Васильевич или любой другой должен был поставить себя на место того, раннего Люсина, который не только не имел снимков кошачьей сетчатки, но даже не подозревал о существовании той же Веры Фабиановны — счастливой владелицы сундука Марии Медичи и полудюжины кошек.

Но людям не очень-то свойственно ставить себя на чужое место, тем более когда место это уже навсегда стало уделом прошлого. К тому же Люсин так откровенно подосадовал на свою несообразительность...

Конечно, прекрасный работник этот Люсин, туго без него пришлось бы. Пусть он не хватает звезд с неба, зато уж такой везучий, что любого за пояс заткнет!

Поднявшись к себе, Люсин первым делом взялся за экспертизу, которую Институт криминалистики приложил к снимку. Она была предельно конкретной и краткой: питон Pythoninae reticulatus — сетчатый питон. Оставалось узнать, тот ли это питон, что был похищен из цирка.

Люсин позвонил дежурному по городу. Волей неизменно благосклонных звезд сегодня дежурил тот самый подполковник. Он сразу узнал инспектора, интересовавшегося всем странным.

— А, товарищ Люсин! Пригодился, значит, питончик?

— Вроде бы что-то есть... Его еще не нашли?

— Позвоните в девяносто третье отделение. Они должны были этим заниматься.

Люсин поблагодарил и тут же связался с указанным отделением. Как и можно было предполагать, питона — латинского названия в милиции не знали, и вопрос идентификации пришлось временно отложить — не нашли, а дело как явно безнадежное прекратили.

Вообще дежурный по отделению придерживался мнения, что змея уползла сама.

— Недоглядели за ним, а теперь на кражу все взваливают, а никакой кражи и не было! Ну сами посудите, кому нужна эта страхолюдина?! Ее и с приплатой-то никто не возьмет!.. Подойти-то

к этому питону и то страшно, не то что в руки его брать... Укротитель, Минаев его фамилия, конечно, убивается. «Володька, говорит, мне как родной (он это питона Володькой кличет). Номер, говорит, пропадает. Куда я без питона теперь?» — говорит. Его, конечно, понять можно. Какой ему без питона репертуар? Но только кража тут ни при чем. Сам уполз!

Дежурный рассуждал довольно логично. Люсин отдал ему должное. Но сам-то он, во-первых, знал, что жизнь часто вдребезги разносит любые логические конструкции, а кроме того, питона Володьку, если только это именно он побывал тогда на квартире Веры Фабиановны, действительно украли, и милицейская логика была перед этим фактом совершенно бессильна.

— Где это произошло? — спросил дежурного Люсин. — В самом цирке?

— Какой там в цирке! Если бы он в цирке исчез, тогда бы еще можно было о краже говорить... С концертом они выезжали в дом отдыха.

— Куда именно?

— В дом отдыха Министерства тяжелого машиностроения, в Красную Пахру.

— Тридцать шестой километр?

— Он самый. Там поворот на Ватутинки.

— Тогда, товарищ дежурный, можете не сомневаться. Змею действительно украли.

«Вот и все. Круг замкнулся. Все сошлось на Ватутинках. Очень даже распрекрасно! Остается только найти там этого рыжего хромца с бельмом на глазу, который пугает старушек и ворует цирковых змей, а там уж и на господина Свиньина, на этого самого гада, выйдем. Никуда он не денется».

Люсин попросил милицию держать его в курсе всех дел, связанных с пропажей Володьки. Ему, конечно, хотя и не слишком уверенно, пообещали. Но он и сам понимал, что никаких новых дел ожидать от девяносто третьего отделения не приходится. Что ж, по-своему, они были правы. Откуда же им было знать, что Володька был не просто сбежавшим питоном, а важнейшим звеном в цепи еще не выясненных преступлений. Оставалось только досадовать на себя, что недооценил в свое время сообщения дежурного по городу. Тогда бы и в отделении иначе к этому отнеслись, и сам бы кое-что сделать успел. Пустили бы собаку по следу, глядишь, и привела бы она, куда надо. А теперь след, конечно, остыл.

Записав на календаре фамилию дрессировщика, Люсин взялся за очередную экспертизу. И она его весьма озадачила. Железное, как ему казалось, подтверждение пребывания иностранца на квартире Михайлова лопнуло, как мыльный пузырь. То есть иностранец — по инерции Люсин продолжал так называть Свиньина, впрочем, оный и был иностранец — у художника, видимо, все-таки был. За это говорила идентичность спектров, полученных при сжигании пыли из брючных манжетов и взятой с большой реставриру-

емой иконы пробы красок. Так что тут все было в порядке. Но ольха, скромное дерево подмосковных лесов, преподнесла Люсину сюрприз. И он не знал, как его расценить: то ли радоваться, то ли недоуменно чесать в затылке. Особых оснований для радости, впрочем, не предвиделось.

Ольховый листик, обнаруженный в манжете, оказался неидентичным с сухими листьями, найденными за иконой. Отсюда совершенно однозначно вытекало, что, когда иностранец лез на стремянку, листик к нему в манжету попасть не мог. Это был совсем другой листик.

Он принадлежал обычной в наших лесах ольхе серой (Alnus insana), тогда как спрятанные за иконой ветки были довольно редкой в Подмосковье ольхой черной (Alnus glutinosa). Оставалось только удивляться, где гражданин Михайлов эту редкую ольху отыскал. Экспертиза, понятно, была сугубо достоверной. Опытный ботаник не мог перепутать туповатые листики ольхи черной с остренькими, в мелких зубчиках листьями ольхи серой.

И все же Люсин обрадовался. Ведь первая интуитивная его схема, вернее, даже и не схема, а внутреннее видение оказалось как бы восстановленным в правах. Недаром же столь упорно не хотело оно исчезать да и не исчезло, а лишь утратило одну-единственную подробность — ольху. Теперь же вечерний (вечерний все же!) ольшаник необычайно четко предстал перед внутренним оком.

Вечереющее небо, последний отблеск заката в грустном стекле глинистых луж, засохшие колеи и четкие, в мелких зазубринках листья серой ольхи. Словно вырезанные ножничками из черной бумаги. А рядом поляна, погнутая ржавая штанга ворот, мелкий клевер и куча цемента у недостроенного дома. И было ясно теперь, что уточненный этот пейзаж следовало искать где-то в районе Ватутинок. Участок в сто квадратных километров сузился до пятачка.

На такие шансы можно было уже играть. Эхолот явно писал рыбий косяк. Неясно было еще, когда делать замет, но район лова уже определился.

Вспомнив, что он все еще халиф на час, Люсин решил использовать своих временных подданных. В цирк для переговоров с товарищем Минаевым лучше всего было направить Данелию, а в Ватутинки — осторожного и молчаливого Светловидова. Почему он распорядился именно так, а не иначе, он и сам бы не мог, наверное, объяснить. Впоследствии он много думал об этом, но ответа так и не нашел.

Третье экспертное заключение касалось светящегося состава, собранного Люсиным с пола, где танцевал огненный змей. Как и следовало ожидать, это была флуоресцентная краска. Люсин понял это еще тогда, когда Вера Фабиановна безмолвно поведала ему совершенно фантастическую историю о том, как хромой слуга дьявола полез с лампой в мешок. Это было, очевидно, необходимо, чтобы подвергнуть входящие в краску сульфиды металлов предварительному облучению, что и вызвало их короткое свечение — флуоресценцию.

Экспертиза полностью подтвердила догадку. В состав краски, кроме обычной масляной основы, входил сульфид цинка, активированный атомами меди. Именно эта нехитрая комбинация ZnS-Cu и давала, как говорилось в заключении, наиболее яркое послесвечение в желто-зеленой области спектра.

Мистическая тайна огненного змея полностью теряла, таким образом, жуткую трансцендентальную подоплеку. Впрочем, она-то меньше всего занимала Люсина. Он вдруг подумал о том, как отзовется покраска светящимся составом на здоровье и психике и без того травмированного питона Володьки.

Питону не повезло почти так же, как и Саскии. Мало того, что в один черный день его поймали где-нибудь в Африке или на острове Борнео, втиснули в тесный ящик и повезли куда-то за тридевять земель. Этим, увы, не исчерпывались превратности злой судьбы. Другие, более счастливые питоны попадали, например, в зоопарки. Пусть не в столь знаменитые и благоустроенные, как лондонский или берлинский. Даже тесная клетка в небольшом и разрезанном надвое трамвайными рельсами московском зверинце показалась бы бедному Володьке раем по сравнению с цирком. Разве это дело для гордой и сильной змеи — плясать на хвосте перед восхищенной и чуть-чуть напуганной публикой? Лучше уж уложить тугие, лоснящиеся кольца под электрообогреватель и тихо дремать себе за толстым плексигласом. Потом, когда уйдут последние посетители и сторожа закроют террариум, можно обвить искусственный ствол посередине клетки и лениво проглотить мягкого, дрожащего кролика.

«Господи! Что только не лезет человеку в голову?! Кролик, видите ли... Какая ерунда!.. Но ерунда ли?»

Люсин подвинул к себе перекидной календарь и сделал на субботнем листке пометку: кролик. Потом аккуратно переписал в свой блокнот заключительные строки экспертизы:

«По характеру спектра и химсоставу основы исследованное флуоресцентное вещество оказалось идентичным светящейся краске «Огни св. Эльма», импортируемой из ГДР».

Люсин вновь взялся за календарь и возвратил время из несколько преждевременной субботы в четверг.

«Огни св. Эльма», — записал он. — Шуляк».

Любительская колбаса ботулизмов не содержала. Экспертное заключение по этому поводу не противоречило, таким образом, мнению коллег из Института криминалистики, полагавших, с полным на то основанием, что кот по кличке Саския был задушен питоном по кличке Володька. Впрочем, последнее обстоятельство выяснилось несколько позже. Но дело, конечно, не в нем. Окажись колбаса ядовитой, следствие было бы поставлено в более трудное положение. Пришлось бы проверять сразу две, сплетенные к тому же друг с другом, линии: питон и ботулизм. А так все выглядело куда веселее. Питон задушил кошку и до смерти перепугал старуху, которая даже речи от этого лишилась. Поэтому Люсин мог искрен-

не порадоваться, что колбаса здесь совершенно ни при чем... Как, впрочем, и водка, которая тоже оказалась полностью доброкачественной и не содержащей никаких токсинов, кроме, конечно, вульгарного этилового спирта C_2H_5OH. Но на него люди вот уже пятьдесят веков смотрят сквозь пальцы. Поэтому и Люсин безоговорочно и полностью согласился с мнением аналитиков, что водка была совершенно не ядовита.

И все же радость его оказалась несколько преждевременной. Она как бы сглазила его удачу. Последняя экспертиза без преувеличения ошеломила его. Такого он явно не ожидал. Обнаруженные на бутылке отпечатки пальцев принадлежали самому Свиньину.

Выходило, что все эти поначалу столь радовавшие его приметы — хромота, бельмо на глазу, темные, с медным отливом волосы — оказались такой же бутафорией, как и фальшивые усы. Значит, иностранец по-прежнему действовал в одиночку. Это было непостижимо.

«Что он на самом-то деле себе думает? Как надеется вернуться назад? Ведь не со своей же группой? Непонятно, совершенно непонятно... Слишком бурная деятельность... А что, если он сумасшедший? Это многое объясняет. Ведь абсолютно шизофренический почерк. Бельмо, парики, питон этот. Тут и самому-то рехнуться впору... И наряду с этим оставляет отпечатки пальцев на бутылке. Интересно, Володьку он сам украл или кому поручил? Нет, слишком уж одно с другим не вяжется. Разный стиль, абсолютно разный стиль. Такой, как Свиньин, не станет красить питона «Огнями св. Эльма» из ГДР, чтобы шарить потом зажженной лампой в мешке. Разве не мог он привезти с собой краску с долгим свечением? Фосфоресцентную? Получается, что «Огни св. Эльма» взяты только по той причине, что другой светящейся краски в Москве в это время не было. А это уже, так сказать, местный колорит.

Отсюда и лампа в мешке... Опять же Володька! Почему его выкрали именно в Ватутинках? Знали, что там будет концерт? Ой как тут ничего не получается! Похоже на то, что питон подвернулся совершенно случайно. Так и надо считать, а то выходит слишком сложно и малоправдоподобно. Володька — это случайный набросок, незапланированный, так сказать, вариант. В Ватутинках у Свиньина явно был какой-то интерес... А тут совершенно случайно по соседству концерт со змеей. Вот он и украл Володьку, мгновенно сообразив, что на прижимистую старуху дьявол во плоти подействует куда больше, чем условленный пароль — синий божок с ожерелья. Тогда и краска смысл обретает. Здесь уже обстоятельства вынуждают к нашему местному колориту приспособиться. И здесь мы неизбежно приходим к тому, что в Ватутинках у него есть доверенное лицо. Съездить-то он мог к кому угодно, конечно... К очередному коллекционеру-краснодеревщику, скажем, или к бабке какой-нибудь за иконой... Тут все может быть. Но вот откуда он про дом отдыха узнал да про концерт этот самый?.. Задача! А может, он прямо в тот дом и ездил? К директору, культурнику или, скажем, врачу? Расплывается, одначе, схемка-то. Многовариантной

делается. Ну да ладно! Порешим на том, что он мог работать как с помощником, так и без него. Первая версия выглядит более убедительно... Вторая же явно сопряжена с трудностями, которые очень не просто будет обойти. Но, независимо от обеих версий, маскарад этот в сочетании с отпечатками пальцев на бутылке выглядит шизофренически. Двух мнений тут нет. В чем же дело?»

Люсин щелчком отбросил снимок на середину стола. От папиллярных узоров рябило в глазах.

«Где он сейчас? Вот отпечатки его пальцев. Еще недавно сидел он за столом в захламленной старушечьей комнате и пил водку. Он брал бутылку и наливал рюмку, выпивал и закусывал скверной колбасой, прихлебывал чай и, роняя крошки, слизывал абрикосовое варенье с фруктового торта. Потом снова наполнял рюмки... Вся бутылка захватана. Она была сальной от выделения его кожных желез. В научно-техническом отделе ее обрызгали из пульверизатора нигидрином. и жирные следы окрасились в красно-фиолетовый цвет. Потом их сфотографировали и разметили цифрами все частные признаки неповторимого папиллярного узора, чтобы электронно-счетная машина могла в любой момент найти их среди сотен тысяч других отпечатков. Какой долгий путь, какие сложные превращения! И все зачем? Чтобы сказать, что данный субъект был там-то и там-то. Но кто ответит, где он сейчас? Сколько времени прошло, а я все спрашиваю: где он? Надо признать, однако, что сейчас этот вопрос приобрел несколько иной оттенок. Возникло новое качество. Раньше мы должны были отыскать пропавшего иностранца, теперь мы ищем иностранного гражданина, нарушившего наши законы».

Еще третьего дня Данелия ради смеха принес из научно-технического отдела электрическую схему классификации преступления. Тогда она относилась к неизвестному лицу с определенным перечнем примет, проходящему под кличкой «Слуга дьявола». Но дактилоскопическая экспертиза переменила обстоятельства. Теперь программа квалификации кражи, грабежа или разбоя подразумевала только одного человека — настоящее имя Андрей Всеволодович Свиньин — гражданина иностранного государства.

Люсин запустил пальцы в волосы и с тоской уставился на дюралевую панель с какими-то лампочками, разноцветными жилками и наспех приваренными сопротивлениями. У каждой из шести позиций была наклейка с надписью и переключатель. Поворот переключателя направо — «Да», налево — «Нет» или 1 и 0 по двоичной системе.

Люсин вздохнул и взялся за первый переключатель. «Было ли у потерпевшего похищено имущество?» Конечно, было, иначе вся последующая работа, со схемой окажется бессмысленной. Итак, у потерпевшего похитили ларец Марии Медичи. Люсин повернул переключатель направо.

Зажглась лампочка №2.

«Тайно или открыто похищено имущество?»

«Совершенно открыто». Он повернул направо и переключатель №2.

«С насилием или без насилия было изъято имущество?»

«Это уж как посмотреть. Явного насилия не было. Но огненный питон, проглоченная кошка... Хорошо, пусть будет без насилия». Третий переключатель он повернул налево.

«Было ли похищение совершено с угрозой для жизни или здоровья?» — спросила лампочка №4.

«Было. Определенно было. Если не для жизни, то для здоровья. Коты, конечно, не в счет». Он повернул переключатель направо, и зеленая лампочка тут же с веселым подмигиванием просигналила: «Разбой. Ст. 146».

«Итак, налицо преступление, предусмотренное статьей 146 УК РСФСР. Есть даже его алгоритм: 1101, который вместе с дактилоскопическим кодом отправится в электронную память... Но что с того? Забавная игрушка, не более. Опытный юрист квалифицирует такое преступление без всяких лампочек. Вся беда, что кража сундука — это только эпизод сложного, неимоверно сложного дела. И не помогут тут никакие электронные схемки... Недаром Данелия сказал тогда: «Погляди, дорогой, какую штуку принес! Скоро мы с тобой совсем не нужны будем. Все машина за нас сделает. И статью подберет, и бандита выследит. Понимаешь? На, поиграй себе ради смеха...» Что верно, то верно: ради смеха... И все же небесполезно знать, что этого Свиньина можно привлечь за разбой по статье 146. Очень небесполезно! В столь щекотливом деле это может здорово пригодиться. Кое-каким горячим головам очень даже нужен холодный душ! Вот он, господа, пропавший ваш интурист! Разбой-с! По статье 146 Уголовного кодекса... Меняет внешность и пугает старушек, между прочим, с угрозой для их здоровья этот ваш похищенный джентльмен. Вот как... И котов душит. Да, господа! Но позвольте-с! Я совсем забыл! Похищение питона Володьки! Это ведь тоже уголовщина!

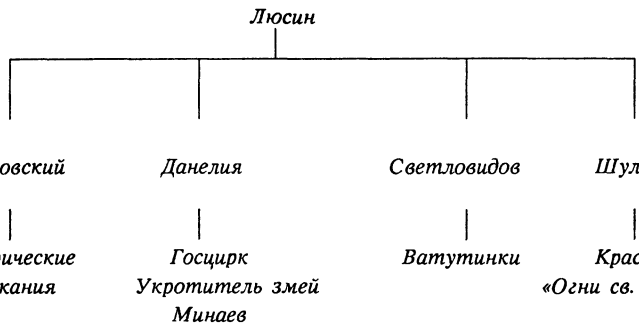
Люсин тихо засмеялся и даже руки потер от удовольствия. Игрушка явно поднимала настроение. Он поставил все переключатели в нейтральное положение и принялся квалифицировать кражу питона. Это оказалось совсем просто. Уже во второй позиции он, предположив, что Володька был похищен тайно, иначе ведь и быть не могло, поставил переключатель на ноль и получил ответ: «Кража. Ст. 144».

«Великолепно! Разбой и кража! Очень убедительно. Очень! Это хоть кого проймет. Жаль, что мы не можем пока сообщить в газеты... Нет, игрушечка-то ничаво, право слово, ничаво...»

Позвонил Березовский и, захлебываясь от восторга, проорал в трубку:

— Жезл нашелся! Ты слышишь, старик? Жезл мальтийский обнаружился! Где мы и думали — в «золотой кладовой»! Это же триумф, дружище!

Итак, к настоящему моменту на Люсина работали четверо:



Замет был сделан. Но, только выбрав сети, можно было определить качество улова. Море есть море. Человек на палубе никогда не знает, что делается под водой. Пусть самописцы эхолотов рисуют сложный профиль дна, туманный слой планктона или рыбий косяк. Это еще ничего не значит. Дно может внезапно взметнуться кверху, и в жутком треске, под ногами, в грохоте обрушившейся антенны и скачущих и раскалывающихся бочек вы поймете, что... Но вы уже ничего не измените, даже если поймете... Подводные течения рассеют дымку планктона, безоблачное небо крупной, обжигающей солью метнет в лицо вам снежный заряд, а полный, тяжеленный трал, от которого надсадно стонут лебедки и потрескивает крепчайший стальной трос, поднявшись над серо-зеленой водой, этот трал вдруг раззявит страшные рваные дыры, из которых тяжело прольется обратно в море драгоценная рыбья ртуть — весь ваш богатый и трудный улов.

Может, это кашалот постарался, а может, касатки. Этого и знать не дано, и не к чему знать. Пусть хоть гигантский кальмар располосовал сети или задел их острым гребнем сам морской змей. Что с того? Потерянный улов не вернуть, и, пока залатают все дыры, уйдет косяк. А там... кто знает, что будет потом? То ли погода не заладится, то ли рыба не заловится, и пойдет эхолот выписывать пустой донный профиль.

Вот и сейчас, не успел Люсин положить трубку после разговора с Березовским, как зазвонил внутренний телефон, и дежурный по городу, благо вся милиция была уже в курсе люсинских дел, доложил, что вчера ночью в Нескучном саду обнаружили труп.

Оперативная сводка.

«В 23 час. 15 мин. в Нескучном саду ЦПКиО им. Горького обнаружен труп мужчины. Судя по проломам черепной коробки, смерть наступила от удара по голове чем-то тяжелым. На место происшествия выехал следователь».

Люсина осведомили об этом происшествии лишь после того как была выяснена личность убитого: Михайлов Виктор Михайлович... Отпечатков подошв преступника следователь на месте происшествия не обнаружил. На плотно укатанной дороге не оказалось и

каких-либо иных следов или предметов. Медицинская экспертиза показала, что Михайлов умер сразу же после того как убийца проломил ему череп каким-то тупым и тяжелым орудием. На левом плече был обнаружен след еще одного удара. Электрографическое исследование ткани пиджака показало, что удар был нанесен железным предметом. Скорее всего, убийца ударил Михайлова дважды: первый раз — по плечу, второй — по голове. Это произошло, очевидно, где-то после двадцати двух часов, поскольку кровь едва успела свернуться. Судя по тому, что во внутреннем кармане Михайлова нашли бумажник с семью десятирублевками, убийство было совершено не с целью ограбления.

Все это Люсину пришлось принять как нечто данное. Сам он место происшествия не осматривал и труп не обследовал. Теперь этот труп лежал в холодильнике, и что-либо предпринимать было уже поздно. Приходилось во всем полагаться на чужого следователя. Он был впереди на шестнадцать невозвратимых часов.

Люсин вызвал к себе Женевьеву Овчинникову и Льва Минеевича. Это были единственные из известных ему людей, которые могли знать, по каким таким неотложным делам отправился вчера вечером Михайлов в Нескучный сад. Но больших надежд он на эти беседы не возлагал. При мысли о том, что именно ему первому придется сказать Женевьеве о смерти ее друга, тоскливо щемило в груди. Он сначала даже заколебался и решил отложить встречу или же коротко сообщить обо всем по телефону. Но это почему-то показалось ему жестоким. Поэтому он все же пригласил Женевьеву прийти к нему завтра, часов около двенадцати. На всякий случай он спросил ее, не знает ли она, где сейчас Виктор. Женевьева ответила, что не видела его уже два дня.

От Льва Минеевича многого ждать тоже не приходилось. Телефона в квартире не было, а беседами на личные темы художник старика, как известно, не баловал.

Дело, которое досталось Люсину, было трудным и несомненно интересным. И все же до сих пор он относился к нему довольно легко и даже как бы чуточку со стороны. Наверное, это было вызвано его необычной спецификой и характерами причастных к нему людей. Действительно, Вера Фабиановна, Лев Минеевич, пляшущий змей и задушенный кот — все это, надо признаться, выглядело, как бы сказал сдержанный англичанин, несколько необычно. Больше напоминало театр, чем реальную жизнь. В любой момент актеры могли сорвать с себя маски, и трагедия грозила обернуться глупым фарсом. Инстинкт самосохранения заставил держаться в стороне, хотя бы из уважения к собственной личности.

Но вот упала маска с главного персонажа, и за ней обнаружился не Арлекин и не обсыпанный пудрой паяц. В эсэсовском черном мундире предстал анонимный актер с приклеенными усами и накладным париком. Сквозь шутовской карнавал и скрежет заржавленных рыцарских лат почудилась невидимая тень смерти, ее бесшумный и потому оглушительный шаг. Вот и пахнуло те-

перь трупным смрадом, вот и кончился сумасшедший цветной балаган.

«Михайлов убит, конечно, не случайно. Он что-то знал и, следовательно, мог выдать. Но почему он не рассказал об этом, когда дело зашло уже достаточно далеко? Слишком глубоко увяз? Или его запугали? Может, просто совершил очередную глупость и стыдился признаться, надеясь, что на том все и кончится? Он же постоянно оступался и тут же оглядывался, лгал и укреплял свою ложь новой, логически обоснованной ложью, невольно превращая минутную слабость свою в тоскливую беду. Он готов был скорее признаться на допросе в продаже иконы, чем рассказать подруге о встрече с бывшей женой. Что сделал он на этот раз, унылый неудачник, в чем и кому не посмел отказать?»

Люсин написал подробный рапорт обо всех событиях последних дней. Он смутно чувствовал, что где-то допустил непростительную ошибку. Ведь был же соблазн арестовать Михайлова, был, но он не поддался ему и формально поступил совершенно правильно. Всей этой уголовщины с сундуком и питоном тогда и в помине не было. Какие же основания были для ареста? Продажа иконы? Попытка запутать следствие? Но разве этого достаточно? Не будь этих дурацких внутренних весов, поддайся он тогда первому побуждению, и Михайлов остался бы жив. Вот в чем дело... Может быть, для суда оснований и не было, то есть, конечно, не были, но предварительное заключение спасло бы человеку жизнь. И кто знает, возможно, Михайлов сказал бы тогда всю правду.

Теперь он никогда уже не сможет рассказать, за что его вчера вероломно и зверски убили.

Глава 20

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

У Центрального рынка Данелия встретил знакомого кахетинца. Они расцеловались, похлопали друг друга по животам. Георгий помог земляку вытащить из такси мешки с зеленью. Земляк снял синюю многогранную кепку и вытер платком разгоряченное лицо.

— Приходи, Гоги, ко мне в «Зарю», сорок девятый номер, — пригласил он, наклонясь к мешкам. — Попьем кахетинского, споем, о жизни поговорим.

— Спасибо, Самсон, спасибо. Как будет свободное время, непременно зайду. — Он оторвал кружевной листик киндзы, растер пальцами, понюхал. — Совсем свежая.

— Свежая, — кивнул Самсон. — Цицмата тоже очень свежая. Давай я тебе заверну!

— Спасибо, Самсон. У меня есть. Вчера родственники привезли... Извини, дорогой, но мне на работу пора.

— Иди, Гоги, иди. Разве я не понимаю? Так придешь вечером?

— Спасибо, Самсон. Не могу сегодня.

— Тогда завтра приходи!

— Завтра совсем другое дело. Завтра приду, если смогу, — пообещал Данелия, хотя твердо знал, что вся эта неделя у него прочно забита.

Он вдохнул аромат яблок, острых солений и трав, обвел взглядом прилавки с грудами помидоров, груш, персиков и ранних дынь. Пучки зелени перемежались насыпными горками мака, стручки сахарного горошка соседствовали с каштанами и арахисом, молодые медно-розовые гранаты сухо пламенели во влажной тени подернутых матовой пыльцой гроздей, и всюду были цветы.

Данелия подумал вдруг, что давно уже не был на родине. Дай Бог, если зимой ему дадут отпуск. Обязательно поедет тогда к родным на Новый год, обязательно! Всем семейством. У Теймуразика как раз будут каникулы. Каждый год ему присылали к празднику бутылки кизилового сиропа и свежий домашний гозинак. Он угощал свою русскую жену, пробовал сам и, зажмурившись, долго цокал потом языком. «Надо будет поехать весной!» — говорил он жене, и она радостно соглашалась. Он тут же загорался и начинал рассказывать, как сказочно пахнет красная весенняя земля, как цветет белый миндаль и лиловый абрикос, а в дубовых лесах с неопавшей прошлогодней листвой желтым огнем тихо горит не сгорает кизил. Он объяснял, что настоящий шашлык из телячьей печенки жарят только на дубовых дровах и на кизиловых прутьях, а чачу пьют лишь по утрам, совсем немножко, заедая ее сочными огненными хинкали и овечьим сыром. Но приходила мокрая московская весна, дул откуда-то теплый тревожный ветер, и солнце сверкало в студеных лужах, млело в жидкой антрацитовой грязи... Тогда почему-то вспоминалась багряная осень, сбор винограда, кислый бродильный запах и сладковатый удушливый дым кизяка.

— О чем задумался, Гоги? — спросил земляк, заботливо опрыскав зелень водой.

— Домой хочется... Знаешь, я обязательно приеду на Новый год! Ты так и скажи нашим. Слышишь?

— Непременно передам, Гоги! Приезжай. Мы тебя знаешь как встретим... И в «Зарю» ко мне приходи, у меня для тебя ма-аленькая посылка есть.

— Что за посылка, Самсон?

— Э! Пустяки! Бочонок «александрули», понимаешь... Двадцать литров.

Они обнялись по-мужски, небрежно и молчаливо хлопнули по рукам.

Данелия еще раз глубоко втянул гордыми и хищными ноздрями ароматы плодов земных, поправил образцовый двойной узел на парчовом галстуке, тронул такой же парчовый платочек в кармашке и решительно зашагал к выходу.

По пути он купил букет белых гладиолусов с длиннющими зелеными ножками.

Не без некоторого волнения остановился он у служебного входа. С детских лет жило в нем преклонение перед артистами — людьми совершенно особой, блистательной жизни. Цирковой же артист, волшебник и фокусник, проделывающий под куполом, в мерцающем звездном костюме, ошеломительные трюки, представлялся вообще существом нездешним.

Робко поднялся по обшарпанным каменным ступенькам Данелия, осторожно отворил липкую от свежей олифы дверь, прижимая к груди шелестящий в целлофане букет.

Разве не мог Георгий Данелия, человек умный и опытный, хорошо понимающий, как и с кем себя надо вести, пригласить циркового артиста Минаева в свой кабинет? И разве не прибежал бы к нему этот самый Минаев, потерявший из-за пропавшего питона чуть не половину выходов?

Но что такое заклинатель змей в стандартной комнате учреждения, среди конторских столов и канцелярских шкафов, заставленных папками с номерами на корешках? Как будет выглядеть он, сидя на инвентаризованном стуле в обычном, не очень опрятном, потому как, говорят, запивает и буйствует, костюмчике? В том-то и дело, что не хотел Данелия, сохранивший в душе наивный восторг перед циркачами и благодарный им за это, развенчивать мага, ради себя самого не хотел, поскольку понимал, что магу это, как говорится, до лампочки: маг ничего не заметит, ему бы только Володьку найти.

Какой-то сморщенный старичок с вензелем «ГЦ» на сердце, не то швейцар, не то гардеробщик, указал Данелии узенькую боковую лесенку.

— Подыметесь на второй этаж, пройдете прямо по коридору до самой лестницы с пожарными кранами, по ней и спуститесь в самый низ... — обстоятельно и дружелюбно объяснил он и вдруг добавил с ехидным смешком: — А там спросите, где, значит, артист Минаев... Шут его знает, где он может быть! — Он зажмурил глаз, сморщился и, склонив голову набок, неожиданно чихнул.

— Будьте здоровы, — пожелал Данелия и, кивнув на черневшую в пыльном сумраке дверь, спросил: — Значит, эта лестница?

— Эта, эта, — закивал старичок в перерывах между жиденькими залпами. — Потом прямо по коридору.

В гулкой тишине пустых коридоров смутно мерещилась волнующая музыка марша. Очевидно, на арене шло дневное представление, а может, просто была репетиция. Но музыка просачивалась откуда-то сверху, отраженная куполом, и Данелия машинально стал прицокивать языком.

Он дошел до пожарной лестницы, где на закрашенных белилами стеклянных дверцах были жирно намалеваны красные «ПК», и, оглядевшись, нет ли еще где такой лестницы, стал спускаться. В нос ударил резкий запах мокрых опилок и звериной мочи. Данелия недовольно зашевелил ноздрями и, нагнувшись к боковому кармашку, понюхал надушенный «Шипром» платочек.

Внизу было совсем темно. Воспаленная нить пыльной лампочки, казалось, только сгущала сумрак. Неровный пол из красной метлахской плитки был слегка припорошен опилками. Где-то вдали слышался приглушенный говор, какое-то кухонное звяканье и жуткое шипение, как от бьющей перегретым паром кишки.

«Неужели змеи так шипят?» — усомнился Данелия, остановившись на скрещении трех коридоров, словно витязь на распутье. Самое время было кого-нибудь спросить.

Потоптавшись немного на месте и спрятав явно неуместный в такой обстановке букет за спину, он боком, как прячущий до времени мулету матадор, скользнул по направлению кухонного звона. И не ошибся. Вскоре во тьме блеснул свет, и в яркой щели неприкрытой двери мелькнул белый кафель стены и не слишком белое полотно халата. Данелия осторожно раздвинул щель и заглянул в помещение. Это и вправду была кухонька и примыкающий к ней буфет на дюжину пластмассовых столиков. Буфетчица мыла в струе кипятка посуду, стройная дама в черном облегающем трико церемонно ела свекольный винегрет, а змеиное шипение издавал исполинский титан, выпускающий время от времени со струей пара избыточное давление. Как сказал поэт, было все очень просто, было все очень мило.

— Простите, пожалуйста, — подал голос Данелия, — где я могу найти артиста Минаева?

— Направо по коридору, — откликнулась буфетчица, грохоча окутанными паром тарелками.

Данелия последовал ее указанию и вскоре с неудовольствием убедился, что идет навстречу тому самому звериному запаху, который не понравился ему уже на лестнице. Где-то далеко впереди — где именно, разглядеть было нельзя, так как коридоры закруглялись, — слышались какие-то стоны и горестные всхлипывания, кто-то тяжело и шумно вздыхал. Можно было подумать, что Данелия блуждал не по цирковым коридорам, а по меньшей мере вдоль первых ярусов Дантова ада.

Он миновал дверь, за которой слышалось гулкое падение капель и свист спускаемой воды. Впереди, по-прежнему горько стенали и еще что-то шлепало, словно на каменный пол швыряли мокрую тряпку.

«Наверное, уборка у них, — подумал Данелия. — А дышит это слон...» И опять ощутил легкое, бодрящее волнение. К запаху он уже притерпелся.

Узкой световой полосой обозначилась какая-то дверь, Данелия решил на всякий случай еще раз спросить и постучался.

— Войдите!

— Могу я видеть артиста Минаева? — приоткрыл дверь Данелия.

Он оказался в маленькой комнатке с диваном, застекленным канцелярским шкафом, столом и двумя стульями. Из подвального окошка сочился рассеянный свет, в котором свинцово поблескивали приколоченные к мебели инвентарные номерки. На диване сидел угрюмый человек в олимпийском костюме и пил рижское пиво.

— Я — Минаев! — неожиданно откликнулся он, вытряхивая в полный стакан последние капли пены, и поднял голову.

Был он слегка небрит, лысоват, в беспощадном дневном свете невесело вырисовывались мешки под глазами.

— Очень рад! — вдруг залебезил Данелия и, переступив через порог, проделал элегантный маневр с букетом. — Позвольте от чистого сердца, так сказать...

— Благодарю, — кивнул Минаев, но с дивана не поднялся и руки к цветам не протянул. — Садитесь. Чем могу?

— Я, собственно, к вам не за этим. — Данелия покосился на букет и положил его на черную, в неясных пятнах клеенку стола. Потом, взяв стул, подвинул его к дивану. — Я, видите ли, Онуфрий Павлович, по поводу питона.

— А! — оживился Минаев. — Пиво будете? — Он зубами откупорил бутылку и, нетерпеливо облизнув губы, наполнил стакан. Пена вздыбилась и поползла через край, но он не дал ей ускользнуть, озабоченно нахмурился, сделал губы трубочкой и шумно всосал. — Свежее! — Он облегченно вздохнул.

Видимо, его очень мучила жажда.

— Благодарю. — Данелия энергично тряхнул пышными кудрями. — Я пива не пью.

— Что же вы пьете? — удивился артист и, словно опасаясь, что будет неверно понят, уточнил: — Когда освежиться хотите? Жажда если?

— Жажда бывает из-за жажды вчерашней, — тонко улыбнулся Данелия, обожавший «Швейка». — Я же предпочитаю сухое вино или боржоми.

— Да? — Минаев допил и вновь наполнил стакан. В зеленой бутылке осталась только хитроумная конструкция из мыльных пузырей. — Так что же с Володькой? Нашли?

— Пока нет, — деликатно ответил Данелия. — Именно в этой связи мне бы и хотелось с вами побеседовать. Я имею в виду обстоятельства пропажи.

— Так я же все рассказал! — Минаев наклонился к собеседнику и прижал растопыренную ладонь к груди. — И заявление написал.

— Кому вы рассказали?

— Как это кому? Да милиции же! Вы-то разве не из милиции?

— Из милиции, из милиции, — успокоил его Данелия. — Но мне вы ничего не рассказывали. Мы видимся с вами в первый раз. Разве не так? — Он стал разговаривать с заклинателем змей, как с капризным ребенком.

— Так вроде... Хотя ваше лицо мне вроде бы знакомо. Вы, случайно, не родственник Читашвили?

— Нет. Не родственник.

— А похожи.

— Первый раз слышу.

— Как?! — удивился Минаев. — Вы не знаете Дика Читашвили? Это же з-замечательный фокусник! — Он поднял над головой

палец и кому-то погрозил. — Экстра-класс!.. Вы почти такой же красивый, как и он.

— Благодарю. Польщен, — слегка наклонил голову Данелия. — Но вернемся к нашим баранам, то есть к питонам... При каких обстоятельствах исчез питон? Кстати, какой он породы?

— Сетчатый.

— Ага! Прекрасно! Значит, ретикулатус.

— Вот как по-латыни будет, не поручусь. Забыл. Вроде бы как вы сказали... А по-нашему — сетчатый. Это точно.

— Он и есть ретикулатус, — заверил Данелия. — Так расскажите же мне все, как было. И не стесняйтесь подробностей. Они бывают очень нужны.

— Значит, так... — Минаев покосился на последнюю бутылку, но взять не решился. — Это было во вторник, на прошлой неделе. Приходит ко мне администратор и говорит: «Не согласишься ли, Оня (я то есть), принять участие в выездной программе?» Я отвечаю: «Всегда, мол, готов, лишняя двадцатка не помешает. Только чтобы не очень далеко. Далеко не поеду. Завтра выступать, говорю, дальняя поездка себе дороже обойдется. Володька тряски не переносит. Целый день потом шипит и на хвост вставать не желает...»

— Простите мое невежество, — робко прервал артиста Данелия. — Но мне бы хотелось знать, с какой целью питон на хвост у вас становится?

— Но позвольте... Это же номер такой! Вы что, в цирке не бывали? — Минаев посмотрел на следователя так, словно перед ним сидел живой марсианин или, по меньшей мере, бушмен из пустыни Калахари.

— Бывал, бывал! — Данелия обиженно поморщился. — Ну конечно же, бывал!.. И вас сколько раз вместе с Володей видел, восхищался всегда... Но сейчас, видите ли, особый случай. Я как бы — вы должны меня понять — официальное лицо. Так забудьте на миг, что перед вами сидит ваш горячий поклонник, и не удивляйтесь кажущейся наивности моих вопросов. Это нужно для пользы дела.

— Да? — скептически прищурил глаз Минаев. — Тогда ладно... Спрашивайте, что хотите.

— Благодарю. Вот вы и расскажите мне суть вашего знаменитого номера.

— Номер действительно знаменитый... — Минаев глубоко вздохнул, и стало видно, как под олимпийским костюмом горделиво налились могучие мышцы.

«Здоровый парень все-таки! — уважительно подумал Данелия. — Невзирая на возраст. Иначе разве с удавом совладаешь?»

— Номер, вы это правильно заметили, мировой! Никто такого с шестиметровым питоном не достигал!

— Шесть метров?!

— Именно... Где я теперь другого достану? В Индии, между прочим, питоны стоят по сорок рупий за ярд. Да пока выучишь, сколько времени пройдет! А есть-пить мне надо? Детей кормить?

— Не волнуйтесь, Онуфрий Павлович. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать его. Никуда он не денется. Не волнуйтесь. Питон, знаете ли, не иголка и не человек. Его найти легче.

— Вы уж постарайтесь. — Минаев просительно втянул голову в плечи. — С песчаным удавчиком или там полозом уральским не та работа. Не тот коленкор! И на зрителя меньшее впечатление производит. Знаете, сколько я ежедневно теряю?

— Не волнуйтесь! — Данелия едва только не скомандовал, но тут же, чтоб отвлечь артиста от горестных подсчетов, мягко переключил разговор на более оптимистическую тему: — Выдающиеся достижения советского цирка обязывают нас как можно быстрее найти замечательного питона.

— Спасибо вам! — растрогался артист. — Спасибо! Я ведь правду говорю, что никто в мире не может сейчас показать пляшущего питона. Я же знаю! Каждый сезон на гастроли за рубеж ездим... Да, только Колька Ванашный мог поставить большого питона на хвост.

— Как вы сказали? Ванашный? Кто он?

— Не слыхали? — удивился артист. — Впрочем, его мало кто теперь помнит. А до войны очень известен был. Правда, только среди своих, среди нас, артистов, значит. Публика его только-только стала принимать, а тут война. Не довелось ему славы настоящей изведать. Вот и не помнят его потому... А ведь выдающийся дрессировщик был. Это я вам говорю!.. Только, хоть о мертвых плохо не говорят, мерзавец тоже... Ох какой мерзавец! Как он зверей избивал! Душа кровью обливалась глядеть на его безобразия. И к людям такой же беспощадный был, к жене даже. Глаза белые-белые, и зубы друг о друга от бешенства клацают мелко-мелко. Да... Номер с пляшущим питоном я у него перенял. Его разработка. Только я с Володькой по-человечески обращался, ласково, а он своего питона, Наг по кличке, полосовал за милую душу. Вы представляете, до чего надо змею довести, чтобы она при одном виде укротителя, что твоя струна, дрожала?! Он и на хвост-то Нага этого битьем поднял. От боли ведь не то что на хвосте — на голове извиваться станешь...

— Вы говорите, он умер, этот Ванашный?

— Без вести пропал в первые месяцы войны... Был слух, что к немцам перебежал, только никто толком ничего не знал. Одним словом, не вернулся с войны человек и все... Я-то всю войну прошел, аж до самого Будапешта... Между прочим, в доме отдыха этом самом — будь он трижды неладен! — однополчанина встретил. Он не то горняк, не то металлург с Горловки. Отдыхать приехал с женой. Вместо руки черный протез...

— В этом доме отдыха и пропал ваш питон?

— Именно. Только не пропал он. Украли его.

— Почему вы так думаете?

— Сам он от меня никуда не уйдет! Это точно. Только шаги заслышит, так уже свистит от радости. Я же его молоком из соски кормил! Сам цыплят ему жарил!

— Любит жареных цыплят?

— Еще как!

— А кроликов или, может, кошек?

— Ест и кроликов, но неохотно, а как насчет кошек, не знаю...

— Кто же мог насильно унести из клетки такую могучую и, главное, столь привязанную к вам змею?

— Ума не приложу... Он вообще-то у меня смирный и к человеку очень ласковый. Зла-то он в жизни немного видел. Понимаете? Пойман был еще молодым и сразу в хорошие руки попал.

— К вам?

— Нет, сперва к Осипу Осиповичу, учителю моему... Какой души человек был! Вот он-то настоящий заклинатель! Я только дрессировщик, а он всамделишный заклинатель змей. В Индии специальную школу прошел, в Персии у дервишей учился. Еще до революции, конечно. Уж он-то змей понимал! И они его понимали. Королевскую кобру на шею вешал, с зеленой мамбой мячиком жонглировал! Да, это человек был!.. Володька мне от него достался, по завещанию... За неделю до смерти отказал, как чувствовал...

— Отчего же он умер?

— От чего все заклинатели умирают! От змеи. Каждый знает, что рано или поздно встретится ему та самая змея.

— Та самая?

— Да. Которая предназначена... Тут ни опыт не поможет, ни сноровка, никакие травки тайные и секреты индийские от этой змеи не спасут.

— И даже сыворотка «антигюрза»?

— Какая там «антигюрза»! — усмехнулся Минаев. — Против минутки любая сыворотка бессильна. Даже бразильская из Бутантана.

— Что же это за минутка такая? — невольно полюбопытствовал Данелия, хотя совсем не стремился придать беседе столь узкопрофессиональный характер. Кроме питона Володьки, никакие другие змеи его не интересовали. Но кто удержится от любопытства, услышав о змее минутке?

— Вот такая крохотулька! — Артист по-рыбацки отмерил руками средней величины плотву. — В мизинец толщиной. Если укусит, пиши пропало, жизни тебе осталось всего минута. Потому и зовут ее так.

— Где же подстерегла она Осипа Осиповича? Он что, номер с ней готовил?

— Как же — номер!.. Публике что минутка, что желтопузик — издали не видно. В Ташкент он ездил, в серпентарий за кобрами. Туда как раз новая партия змей поступила из-за границы. А минутка эта вроде бы контрабандой прибыла. Одним словом, случайно она заползла и притаилась себе тихонько в одном из ящиков. Тут уж ничего не попишешь, если это твоя змея. Она тебя всегда найдет... В палец укусила она Осипа Осиповича...

— И вы верите в такое предназначение? Разве на месте Осипа Осиповича не мог быть кто-нибудь другой?

— Мог. Для обычного человека ведь своей змеи нет. В это никто не верит. Зато каждому заклинателю такая змея судьбой предназначена. Это как профессиональная болезнь, что ли... Все ведь, кого я знал, от укуса умерли.

— И немудрено! Они же постоянно общались со змеями! Разве можно застраховаться от оплошности? Вот и выходит, что рано или поздно... просто по теории вероятностей.

— А я вам о чем толкую? На каждого заклинателя — своя змея!

— Ах, если в этом смысле...

— В каком же еще? Так что я Володьку от Осипа Осиповича унаследовал. Ядовитых змей он другим отказал, я только с удавами работаю. Боюсь потому как. Нет у меня чутья на ядовитых. Не понимаю я их.

— И слава Богу! Дольше проживете! — Данелия похлопал артиста по колену. — Вы, значит, уверены, что питона украли. Кто именно, по-вашему, мог это сделать?

— Если б я знал!

— А все же! Может быть, вы подозреваете кого-то из знакомых! Или чье-нибудь поведение во время концерта в Доме отдыха показалось вам не совсем обычным?

— Нет, — вздохнул артист и развел руками. — Ничего такого сказать не могу. Из наших никто себе такого не позволит, а выступление прошло, как обычно... Ну аплодировали, дамочки вскрикивали, конечно, потом вопросы задавали... Как всегда.

— Не были ли чьи-то вопросы особенно навязчивыми, не показались ли они вам странными?

— Нет! Как обычно. «Не страшно ли вам?», «Может он задушить человека или нет?», «Чем питается?», «Трудно ли дрессировать змей?..» Что всегда спрашивают...

— Когда вы хватились питона?

— Наутро. Мы остались ночевать, с тем чтобы сразу же уехать после завтрака. Часть артистов, конечно, в тот же вечер разъехалась, а я остался, чтобы питону дать отдых. Ну, со мной еще иллюзионист наш остался, Кирилл Петрович, Вова-клоун и акробаты два-Буш-два.

— Где находилась клетка со змеей?

— Там же осталась, в зале то есть. Сразу же после представления я запер Володьку сначала в клетку, а потом и в ящик.

— Не совсем понимаю...

— Значит, так... Есть ящик такой деревянный, для перевозки, в него на пружинах клетка подвешивается, а уж в клетке...

— Ага! Все понял. Ящик тоже запирается?

— Конечно.

— И ключи все время оставались у вас? Больше ни у кого таких ключей не было?

— Верно.

— А зал заперли?

— При мне культурник и запер. Как все разошлись, так и запер. Утром же я сам к нему постучался, чтобы он зал открыл.

— И что же?

— А что? Зал-то он открыл, да только Володьки там уже не было.

— Запоры были взломаны?

— Взломаны.

— Фомкой?

— Почем я знаю? Милиция осматривала замки. Чегой-то там крутились, смотрели.

— Как фамилия культурника, не помните?

— Не знаю... Колей вроде бы его зовут.

— Ну что ж, Онуфрий Павлович, спасибо вам за разъяснения. Приложим все силы... Скажите мне только вот еще что... Чужой человек мог бы заставить вашего питона плясать на хвосте?

— Не мог. Никак не мог!

— Почему?

— Прием такой знать надо, чтоб он послушался, а так нипочем на хвосте плясать не станет.

— И другой укротитель тоже не сможет от него этого добиться?

— Дрессировщик?

— Ну да, дрессировщик.

— Это смотря какой дрессировщик! Если со змеями работал, то, думаю, сможет...

— Значит, опытный змеиный дрессировщик сможет, а простой человек — вроде меня, скажем, — нет. Правильно я вас понял?

— Правильно, — кивнул Минаев. — Простой человек с Володькой не справится.

— Еще раз спасибо. Это все, что я хотел знать. Как только будут новости, сразу же вас известим... Теперь скажите, как мне проще выбраться из ваших лабиринтов.

Глава 21

ВЫСТРЕЛ ИЗ-ЗА ЗАБОРА

Светловидов сошел с автобуса на тридцать шестом километре. День выдался тусклый и тихий. Листья на деревьях поникли. Небо заволокло. Поднятая грузовиками пыль желтоватой дымкой висела в неподвижном воздухе. Бюро прогнозов уже третьи сутки обещало дождь. Но выпадали только обильные росы. Поэтому придорожные деревья и указательные знаки покрылись грязным, мышиным налетом. Было тяжело дышать. Природа давила на людей физически и морально. В переполненном автобусе вспыхивали перебранки, достигавшие особой напряженности на остановках. Такое уж выдалось оно, это грозовое лето...

Светловидов еле протиснулся к выходу и насилу пробился сквозь хлынувший навстречу поток. У него создалось впечатление, что из автобуса никто никогда не выходил — все только влезали. Несколько помятый и разгоряченный — дался ему этот автобус: как будто нельзя было поехать машиной! — он привел себя в порядок, вытер вспотевшую шею. Потом, сняв пиджак и перебросив его через локоть, безмятежно сорвал одуванчик и дунул. Но в мертвом, влажном воздухе крохотные «парашютисты» летели совсем недолго... До высокой арки из гнутых, выкрашенных серебрянкой трубок было рукой подать. На ней почему-то висел рисованный плакат, иллюстрировавший рост производства хлопка-сырца, хотя хлопок, как, впрочем, и лен-долгунец, в Ватутинках, кажется, не произрастал. Слева от арки прилепилась зеленая будка часовой мастерской, справа производили заливку резиновой обуви и принимали стеклотару. Рядом на заборе висели различные объявления. Одно из них оповещало, что в местном клубе сегодня вечером будут танцы и заграничный кинофильм «Затмение».

Отдышавшись и прочитав афишки о найме рабсилы, Светловидов вразвалочку направился к арке. Он не любил и, главное, не умел торопиться. Всякое дело начинал от самых истоков. Взяв, к примеру, книгу, обязательно прочитывал все предисловие. Доведись ему посвятить себя, скажем, новой истории, он бы начал ее изучать с «Происхождения видов» Чарлза Дарвина. Именно поэтому он и поехал сюда городским транспортом. Особой необходимости в том, конечно, не было, но в принципе он поступил совершенно правильно. Одно дело, когда человек приехал на машине; совсем другое — когда вылез из переполненного автобуса.

Асфальтированная дорожка вела мимо райисполкома, почтового отделения Ватутинки-1, продуктового магазина и овощной лавки. Рабочие в заляпанных грязью спецовках копали траншеи под газовые трубы. В зеленых двориках между стандартными пятиэтажными домами возились дети. На веревках висело разноцветное белье. Рыжий веснушчатый парень гонял турманов, но они летали неохотно. Сделав круг, норовили усесться на голубятню.

Все было такое неприметное, обыденное и мирное, и так не хотелось верить, что где-то здесь спрятаны концы недавнего убийства.

Он прошел до конца улицы, где асфальт переходил в засыпанную мелким шлаком площадку. Вокруг были деревянные домики с огородами. За покосившимися заборами росли яблони, скромно цвел жасмин, и колючие акации усыпали землю сорванными грозой пищиками. В одном дворике был накрыт столик с пыхтящим самоваром. Старик в линялой гимнастерке, блаженствуя, попивал чаек, а бабка в белом платке выдергивала с грядки морковь. Под окнами с выкрашенными наличниками и кружевными занавесочками тихо и мирно росли золотые шары.

Грустное умиротворение снизошло вдруг на Светловидова. Он вспомнил детство в Тамбове, бабку и мать, которая померла в

войну. И ярко увидел в памяти своей, как сиротливо и мило льнули к потемневшим бревнам родной избы золотые шары.

Он загляделся на этот двор, вдохнул дым сосновых шишек и, заметив высунувшуюся из заборной щели беловатую и твердую еще малинку, машинально протянул руку, но тут же обстрекался крапивой. Глухо чертыхнувшись, лизнул обожженную ладонь и стал спускаться. Дорога в этом месте круто пошла вниз, петляя в зарослях лебеды и чертополоха. По обеим сторонам цвела картошка, над которой лениво порхали бабочки-белянки и еще какие-то серенькие с голубым мотыльки.

Внизу, за канавой, превращенной в помойку, начиналась большая поляна. Травка местами была совершенно вытоптана. Четверо школьников в серых курточках гоняли проколотый резиновый мячик. Невдалеке паслась большая черная коза, весело бодались друг с другом грязноватые козлятки и терлись лбами о стволы. Видимо, у них чесались подрастающие рожки.

Поляну пересекала извилистая тропинка, терявшаяся среди мелкого подлеска, за которым в лесной зелени белели березы. Тут дышалось свободнее. Гнилостной свежестью тянуло из каких-то невидимых лесных луж. Сонно вился столбик мошкары. Светловидов погладил меловую отвившуюся от ствола бересту, сорвал листик с ольхи и чуть надгрыз его горьковатый черешок.

Люсин, кажется, не ошибался: ольхи здесь было хоть отбавляй. Именно той обычной серой ольхи с остренькими в зазубринках листочками, которая казалась такой красивой в цветном атласе подмосковной флоры.

«Что ж, возможно, именно в этом леске и подцепил иностранец, неведомо для себя, прошлогодний листик... Но это, конечно, мелочь».

Куда серьезнее в глазах Светловидова выглядела история с похищением питона. Вот это, по его мнению, был настоящий след.

Данелия сразу же предложил взять за бока культурника и дознаться, кому он давал ключ от зала. Но Люсин не согласился. И, скорее всего, правильно сделал. Можно было спугнуть главного виновника. И вообще клубок надо разматывать постепенно, а не выхватывать случайный конец из середины — так ведь и запутаться недолго. Листик ольхи — пустяк, косвенная примета, не более, но разведать обстановку, перед тем как начать действовать, не мешает. Это уж точно...

Наезженная, в затвердевших колеях дорога свернула налево. Появились рябины и кусты лакированного краснотала; буйная, обвитая повиликой крапива указывала на близость жилья. Среди прошлогодней листвы попадались ржавые жестянки, конфетные бумажки, окурки. На полянках чернели пятна костров. Нудно гудел шмель.

И тут в затененных, сумрачных травах что-то вдруг засветилось. Светловидов присел на корточки. На трухлявом, поросшем ложной опенкой пне нежилась змейка. Она светилась неярким зеленым огнем, как елочная игрушка. Светловидов осторожно положил пиджак на траву и, подавшись вперед, оперся на локти. Он и

сам не слышал произведенного им шороха, но змейка подняла крохотную головку, распрямилась и скользнула в траву. Споткнувшись о корневище, Светловидов кинулся за ней. На какой-то миг увидел он, как пропало на светлом участке колдовское свечение и огненная змейка превратилась в обыкновенного ужа. Но вот она вновь загорелась на миг под каким-то кустом и совсем пропала.

Распластавшись по земле, Светловидов подлез под куст и раздвинул ветки. Но кроме прелых листьев и лиловой сыроежки ничего не увидел. Разгреб листья, ощупал узловатые корни, ища дыру, в которой запрятался уж... Бесполезное дело! Пусть бы и нашел он укромную эту нору, но что дальше? Совать в нее прутик? Раскапывать перочинным ножом?

Он встал, отряхнул с себя мелкий лесной сор.

А, собственно, зачем он ему нужен, этот светящийся уж? Вполне достаточно, что он его хоть на миг да увидел! Это же редкая удача! Но все же было досадно, что не словил.

«М-да! Положеньице... Выходит, что здесь где-то рядом целая фабрика огненных змей. Но зачем? Разве питон уже не сделал свое дело? Или это пробный вариант? Эдакая первоначальная модель? Что ж, очень даже может быть! Прежде чем выкрасить уникальную, дорогостоящую змею флуоресцентной краской, явно следовало попробовать на обычном уже. Это, как сказал бы Люсин, было бы весьма резонно. А то ведь и подохнуть запросто может».

Светловидов вспомнил, что давным-давно читал не то сказку, не то миф о каком-то царе, выкрасившем мальчика золотой краской. Мальчик от этого умер. Змеи, как видно, оказались выносливее.

Он двинулся дальше, непроизвольно заглядывая под кусты и останавливаясь возле пней, но светящиеся ужи больше не попадались. Лес вскоре кончился, и Светловидов вышел на шоссе у самого каменного моста через речку Пахру. В черно-зеленой воде плавали листья кувшинок. Стремительные стеклянистые струи местами морщили речное зеркало, обтекая подмытые белые корни, подтачивали глинистый берег. Над омутом, затененным свесившейся ивой, какой-то дачник в белой дырчатой шляпе безуспешно хлестал гусиным поплавком воду.

Светловидов хорошо запомнил этот район по карте-полукилометровке и уверенно свернул к мосту. Шоссе поднималось в гору, сразу же за выбеленными известкой столбиками оно раздваивалось. Левая дорога, видимо, шла в обход, правая же вела к дому отдыха. Дорожные знаки запрещали по ней движение грузового транспорта и почему-то велосипедистов.

Пройдя с километр, Светловидов остановился на пересечении путей у красного шлагбаума. На шлагбауме висели знаки, запрещавшие сквозной проезд и движение на велосипедах. Здесь начиналась зона не то писательских, не то архитекторских дач. За дощатыми заборами темнели мохнатые ели, и тонкие розовокорые сосны высоко-высоко вознесли свои игольчатые кроны над белым шифером аккуратненьких четырехскатных крыш. Домики были все

больше стандартные, но очень миленькие, с застекленными верандами. На посыпанных песком обочинах отпечатались узкие колеи велосипедных шин: запрещающим знаком, видимо, пренебрегали. Было тихо, и пахло бодрым смолистым духом. Изредка падали черные растопыренные шишки и парные, чуть закрученные иглы.

Несколько раз Светловидова обгоняли такси и частные машины, проехал синий мотоциклет ОРУДа.

Пора было подумать о том, куда идти. В доме отдыха делать пока было совершенно нечего. Это могло только навредить. Разве что пройтись по аллеям? Но Светловидов понял, когда еще знакомился с картой: такая прогулка могла занять бездну времени. Да и много ли увидишь, когда с обеих сторон высятся заборы, а за ними деревья? Самое время было подвернуться новой змее, которая указала бы точное место. Но надеяться на такое не приходилось. Да он, собственно, и не думал о том. Просто выходило так, что план Данелии начал казаться все более привлекательным. Надо было за что-то зацепиться...

Конечно, местная милиция изучала уже свой район. Возможно, участковые в этот самый момент даже очертили для себя круг предположительно причастных к событиям лиц. Но полагаться только на это было бы слишком наивно... По дороге проехала полуторка, груженная кирпичом. «Явно для местных нужд!» — сразу же отметил Светловидов, хорошо запоминавший знаки у шлагбаума. Он перепрыгнул через кювет и вышел на середину шоссе, чтобы проследить, куда свернет машина.

«Чем черт не шутит? Авось Люсин опять прав? Он же везучий. А где кирпич, там и цемент...» Полуторка действительно свернула направо, в одну из боковых аллей, то ли в третью, то ли в четвертую по ходу.

Светловидов зашагал веселее. А тут и в природе произошли некоторые изменения к лучшему. Петухи накричали все-таки перемену. Белесое, невидимое небо кое-где обозначилось сероватыми подвижными волокнами, а на юго-востоке даже открылись голубые полыньи. На фоне их вечнозеленые сосновые иглы выглядели особенно жизнеутверждающе. На них хотелось смотреть и смотреть. Тем более, что сверху уже лилось предвестье солнечного зноя, а хвойный скипидар даже во рту ощущался. Откуда-то с клумб сладко запахла медуница. Взлетел из-под ног павлиний глаз и сразу же сел в трех шагах впереди на песок, распластав бархатные крылышки, словно и он пил взахлеб преображающееся к ведру небо.

Светловидов остановился у синей артезианской колонки, одной рукой нажал тугую, до блеска отполированную ручку, другой зачерпнул горсть упоительно холодной воды. Он забрызгался, но так и не напился всласть. Тыльной стороной ладони отер рот, глубоко вздохнул, всем телом ощущая томную здоровую негу и холод воды, от которого приятно стыли зубы.

«Давненько я не был за городом... И зря! Только здесь и чувствуешь по-настоящему всю прелесть жизни. Как сказал тот лектор,

что антирелигиозную беседу вел: цель жизни в ней самой. Это очень правильно! Именно в ней самой! Когда весь ты, и душой, и телом, блаженствуешь и радуешься... И еще может такое быть от воды. Писатель-то этот, люсинский дружок, говорил, будто в воде какая-то прана есть, от которой вся жизненная сила идет. Очень похоже на то... Кипяченую воду и пить-то противно...»

В третью аллею, судя по всему, машина не сворачивала, и Светловидов продолжил свой ликующий путь, наверстывая упущенное, постигая за минуты то, на что индийские архаты[1] тратили всю жизнь. Может быть, с той лишь разницей, что мысли его были не столь глубоки и более — как бы это точнее сказать? — конспективны, что ли. Притом он не старался их удержать, они наплывали и улетучивались, как облака. И правы, наверное, те, кто учили, что обрести истину внутри себя можно, лишь всецело отдавшись созерцанию. А это невозможно да и не нужно жителям больших городов, исключая, конечно, поэтов, уезжающих время от времени в творческие командировки.

За следующим поворотом Светловидов сразу же увидел свой грузовичок. Он остановился возле какой-то дачи в самом конце тихой, затененной улицы. Когда подошел туда, ворота из свежего теса были уже раскрыты. Полуторка, фырча и стреляя удушливыми синими клубами, разворачивалась, чтобы въехать во двор. Открывший ворота человек не был виден за створкой, лишь в самом низу сквозь широкую щель Светловидов разглядел порыжевшие стоптанные сапоги. Он успел заметить кусты крыжовника, вишневые левкои на куртине, кирпичную груду, горки шлака и цемента, но машина уже въезжала задом, заслонив проем в заборе. Приоткрыв дверцу, высунувшись и поворотясь назад, шофер отчаянно вертел рулевое колесо.

Так и не удалось разглядеть ничего, кроме этих строительных куч, но, дойдя до самого конца улицы, за которой начиналась сосновая посадка, Светловидов сообразил вдруг, что на участке возводят гараж. Значит, глаза его все же ухватили и отпечатали в голове зацементированные столбы и грубо приваренные к ржавым скобам железные дверцы, но понадобилось какое-то время, чтобы эта автоматически запечатленная картина проявилась в сознании.

Но мало ли где строят гараж или дачу? Ведь не только сюда привозят на машинах шлак и цемент? И все же... Конечно, бывают какие угодно совпадения. Но у времени есть одно совершенно непостижимое качество — уникальность. Если правы физики, которые утверждают, что время квантуется, то мы можем надеяться найти границу, за которой совпадения уже невозможны. Самая мельчайшая порция длительности — временный квант — предполагает уникальность каждого события в мире. Мы увидим сейчас, как невдалеке от Светловидова, вроде бы одновременно, упадет шишка, и петух с чернильной меткой склюет дождевого червя. Связи между обоими событиями нет. Просто они случайно совпали во времени.

[1] Архат — отшельник.

Но если мы произведем скоростную съемку, то убедимся, что и этого совпадения не было. Одно из них хоть на крохотный миг, но случилось раньше. Либо петух клюнул сначала, либо шишка первой свалилась в пыль. Конечно, если не дробить время на кванты и смотреть на все привычным человеческим оком, можно найти тысячи примеров кажущихся нам одновременными событий. Тем более, если мы будем брать большие интервалы, скажем, неделю или даже декаду. За декаду в этом дачном поселке могли начать строительство на нескольких участках, для чего, конечно, потребовалось завезти интересующий нас цемент. Весь вопрос в том: сколько именно подобных совпадений придется на наш непозволительно большой и грубый интервал времени? Если знать среднюю частоту, с которой возникают новые постройки на уже заселенной дачной территории, а также количество дач, можно подсчитать и число таких совпадений. Для этого не понадобится даже электронно-счетная машина — этот кумир нашего века.

Ради простого любопытства проделаем такую нехитрую работу. В итоге мы получим число, близкое к трем. Это значит, что если мы ежедневно в течение десяти дней будем обходить все здешние дачи, то только на трех увидим приготовленный для работы цемент! Пусть в среднем, конечно, поскольку математика не оперирует конкретными фактами. Но и этого достаточно, чтобы заинтересоваться каждым таким случаем в отдельности.

Светловидов изучал физику и математику только в школе, а потому, конечно, не помнил ни той, ни другой из великих наук. Но он обладал достаточным профессиональным опытом, чтобы прийти к тем же самым выводам. Он ничего не вычислял, а цифра «три» не маячила у него перед глазами. Он просто знал, что интересующие его совпадения достаточно редки. Пусть даже не три в декаду, а четыре, пять или шесть — все равно каждое из них заслуживало самого пристального внимания, потому что могло с большей вероятностью привести к цели.

Скажем для справки, что в случае трех совпадений вероятность успеха составляет ровно одну треть.

Возникает, однако, вопрос: к чему все эти глубокомысленные изыскания, эти, так сказать, математические плавания на мелком месте? Разве и без них не ясно, к чему ведет достаточно логичная, надо отметить, повествовательная нить? Ясно-то оно, может, и ясно. Но как показать, что в действиях угрозыска не так уж много той почти мистической интуиции, нежели это принято думать? Как показать, что и счастливых случайностей в его работе гораздо меньше, чем это кажется при чтении хитро закрученных детективов? Случайности есть, но ведь все дело в том, что они идут навстречу именно тем, кто их ищет! Машина с кирпичом, конечно, случайность, но поиски-то цементной кучи случайностью не назовешь! Вот в чем дело!

Нельзя — опять приходится повторяться — точно смоделировать весь процесс человеческой мысли, особенно ищущей мысли. Джойсу

в его «Улиссе» понадобилось несколько томов, чтобы описать всего один день из жизни рядового дублинца. Так неужели нельзя простить и принять эту небольшую попытку не смоделировать, нет, просто схематически проиллюстрировать простейшее умозаключение?

Светловидов прошел мимо дачи, где строится гараж, но он обязательно должен вернуться. Вроде бы это понятно без лишних слов. Хотя бы по той простой причине, что, как нас учили, в пьесе не должно быть нестреляющих ружей. В жизни-то их сколько угодно (к счастью), а вот в пьесе да и в романе быть не должно. Поэтому, может, и в самом деле не стоило городить огород? — Возвращение Светловидова и без того было бы понято. Но ведь мало просто понять и согласиться. Читателю, раз он уж взял в руки книгу, ничего иного и не остается. Это потом, дойдя до конца, он может не согласиться с автором, пока же есть только две возможности: либо не поверить и тут же бросить читать, либо следовать за автором до самого конца.

И просто поверить мало. Нужно, как бы поменявшись на миг местами со Светловидовым, проникнуться его нетерпеливой уверенностью, что он напал на след! У Светловидова — он идет сейчас рядами колючих упругих сосенок и посасывает свежий зеленый побег — есть только одна цель: проникнуть на эту дачу. Он просто разбирает различные варианты, как сделать это достаточно тонко. Вот это-то и необходимо прочувствовать.

Но здесь опять может возникнуть вопрос: почему мы столь подробно говорим об этом человеке? Ведь в сущности он второстепенный герой?! Зачем же столь кропотливо копаться в логических или психологических мотивировках его поступков? Более того, какое нам дело до того, как он пьет воду, щурясь на проясневшее небо, как наполняется вдруг легким, бездумным жизнелюбием?

Что ж, придется ответить и на это. В отличие от классического романа, в детективе все должно быть жестко детерминировано, подчинено логическому исследованию интриги, разгадыванию ребуса, если угодно. Может, конечно, это и не так, но ведь есть и такое мнение. И к нему стоит прислушаться. Итак, почему к второстепенному герою проявляется интерес? А кто может сказать, не дойдя до самого конца, что один герой первостепенный, а другой — служебный, эпизодический? Разве в жизни так бывает? Разве может человек знать, что ожидает его даже в самую ближайшую минуту? Поэтому, пока не исчерпана вся данная человеку катушка лет и секунд, мы не вправе судить ни о его месте в жизни, ни о его роли в повествовании. Но это не главное. Дело совершенно в другом...

Единственное преимущество писателя перед читателем — это то, что писатель иногда знает будущее своих героев. Грустное преимущество. Флобера, говорят, нашли в состоянии глубокого обморока с признаками мышьякового отравления. «Только что скончалась Эмма Бовари», — сказал он, когда его привели в чувство. Не многим, лишь самым великим дана была такая сила перевоплощения. Но даже в

малых дозах отрава все-таки отрава. Поэтому писатели очень неохотно убивают своих героев. Даже самых эпизодических, лишь однажды промелькнувших в одной из глав.

Итак, через мгновение Светловидова не станет. Потом, несколько часов спустя, знавшие его люди поймут вдруг, что, уйдя из жизни, этот тихий и как будто бы незаметный человек многое унес с собой из их привычного, повседневного мира, из их сердец. Жизнь есть жизнь. Она по-своему беспощадна и целительно мудра. Скорее всего, Светловидова постепенно забудут, не полностью, конечно, просто внезапная, резкая боль утраты сгладится и неощутимой тенью осядет в глубинах памяти, где ее занесут пласты повседневных житейских забот. Но, пока эта боль еще ощутима и разум не хочет, не может мириться с очевидной нелепостью этой преждевременной смерти, они поймут: Светловидов потому и казался незаметным, что был всегда на своем месте. Его не приходилось звать, о нем не надо было вспоминать, в нужную минуту он непостижимым образом появлялся. Ненавязчиво, без лишних слов брался за свою работу и делал ее пусть не столь блестяще и быстро, как некоторые, но все-таки делал. А как часто он дежурил за других, как незаметно умел исчезнуть, когда это кому-нибудь было почему-то нужно...

Все знали, что он подражает Люсину. У него это не очень-то выходило: он попадал в смешные положения, иногда допускал крупные ошибки, но все равно старался, как говорили, «работать под Люсина». Но никто не знал, что и Люсин стремился в чем-то быть похожим на Светловидова! Не отдавая себе в том отчета, он тоже в свою очередь «работал под Светловидова». Ему всегда хотелось быть, что называется, простым парнем. И временами он действительно ощущал себя таким вот простым и бесхитростным парнем, которому ничего не надо, и весь он тут — душа нараспашку. Но именно тогда, хотя никто этого почему-то не замечал, Люсин и «работал под Светловидова». Совершенно безотчетно он усвоил светловидовскую манеру пожимать плечами и, склонив голову набок, всем своим видом показывать, что удача пришла, что называется, дуриком. Но у Светловидова это было совершенно искренне. Люсин же полусознательно маскировал свои истинные чувства. В точности как и Светловидов, Люсин сокрушенно чесал затылок, когда попадал впросак, и обстоятельно рассказывал всем, на чем именно споткнулся. Только Светловидов сокрушался о настоящих ошибках и вправду был, как говорится, задним умом крепок. Люсин же скорее играл. Нет, он, конечно, не позерствовал и не разыгрывал из себя шута. Просто он был болезненно стеснителен и скрывал эту непобедимую свою слабость, как только мог. Роль простака давалась ему легче всего, чему, надо сказать, немало способствовала внешность. К тому же это во многом было удобно. И он быстро привык к ней. Светловидов же был для него моделью, с которой он день за днем лепил свой образ.

Это Люсин поймет внезапно и сразу, когда будет стоять опустив голову над лежащим ничком Светловидовым, когда увидит, как заломил тот за спину руку, а другую выбросил далеко вперед, словно

бежал куда-то и, даже падая, что-то стремился схватить. Но он никуда не бежал в свой смертный час и не протягивал вперед руки. Выстрел был сделан сзади, и он просто упал, так и не успев схватиться за свой разнесенный пулей затылок. И умер, не поняв, что это конец.

Глава 22

«ОГНИ СВ. ЭЛЬМА»

Партия флуоресцентной краски «Огни св. Эльма» (ZnS-Cu) была закуплена в октябре прошлого года по заказу Всероссийского театрального общества — ВТО. Но, как это иногда бывает, товар долго кочевал по всевозможным складам и базам и лишь недавно поступил в торговую сеть.

Подробно изучив все торговые точки, куда была доставлена краска, Шуляк остановился на двух: магазинчик ВТО на улице Горького и «1000 мелочей» на Ленинском проспекте. Если только похититель Володьки не раздобыл краску левым путем в каком-нибудь театре, то с большой долей уверенности можно было предполагать, что он приобрел ее в одном из этих двух магазинов. Первым делом Шуляк решил побывать на улице Горького. Ведь в «1000 мелочей» краска попала явно случайно. С таким же успехом ее могли отправить, допустим, на Кутузовку в «Хозяйственные принадлежности». Поэтому более вероятно, что интересующийся светящимся составом покупатель первым делом обратится все же в театральный магазин, тем более что журнал «Новые товары» рекламировал «Огни св. Эльма» в качестве незаменимой краски для декораций. Конечно, нельзя было сбрасывать со счетов элемент случайности. Совершенно случайно забредя в тот же магазин «1000 мелочей» и обнаружив там светящуюся краску, преступник мог прийти к идее огненного змея.

Но в плане расследования это мало что меняло. Пусть светящийся состав натолкнул преступника на мысль раздобыть змею или, напротив, исходным пунктом явился украденный питон — в обоих случаях краску нужно было купить. Следовательно, продавцы могли случайно запомнить покупателя, причем в магазинчике ВТО это было более вероятно, чем в большом универмаге «1000 мелочей». В пользу этого магазинчика свидетельствовал еще один существенный, хотя и косвенный факт. Если здесь действительно был замешан иностранный турист, то, конечно, все шансы были за то, что он купил краску именно на улице Горького. Не следовало забывать также, что он уже навещал расположенный по соседству, причем на той же стороне улицы, антикварный магазин. Да и знаменитая «Березка» была совсем рядом...

На это указал Шуляку Люсин, полностью одобривший предложенную схему.

— Ладно, — сказал он. — Логика, по-моему, безукоризненная. Начинайте с ВТО. У меня такое чувство, что он взят в кольцо. Если только Светловидов что-нибудь там найдет, считайте, что этот Свиньин у нас в руках.

— А вы уверены, что это именно он? — спросил Шуляк.

— Имеете в виду огненного змея?

— Точно.

— Во всяком случае, причастен. Отпечатки-то на бутылке его!

— А вдруг это отвлекающий финт? На рюмке-то нет никаких отпечатков, и на ложечках нет.

— Все верно, — вздохнул Люсин. — Пусть даже финт. Но както он к нему все же причастен?

— Так-то оно так, — Шуляк погладил синий после бритья подбородок. — А со старухой нельзя еще переговорить?

— В том-то и дело... Врач решительно не разрешает. В лучшем случае послезавтра, говорит.

— Жаль!

— Еще бы! Во-первых, словесный портрет сделать надо, во-вторых... Кто его знает, не был ли он в перчатках?

— Ну подождем, недолго осталось...

— Это уж как дела пойдут. Медицина, брат, штука сложная. Нечто вроде прогноза погоды. Ни за что не отвечают. Все равно как шаманы.

— Факт.

— И все же, если вам повезет с этой краской, а Светловидов нащупает что-нибудь на месте, Свиньин от нас не уйдет... И его сообщник тоже!

— Конечно, тут не без сообщника! Такую работу проделать! И еще это убийство... Парень явно что-то знал.

— Безусловно! Иначе не было смысла идти на такой риск.

— А если это от отчаяния? Почувствовал, что его накрывают, заметался.

— Не думаю. Он заранее знал, на что идет... Конечно, возможно, что-то у него неожиданно сорвалось, не получилось... Тут, понимаете, вот что озадачивает: какая-то странная смесь приемов... Рядом с изощренной, почти сумасшедшей выдумкой топорная работа рядового громилы. Странно, не правда ли?

— Точно. Я это тоже заметил! Ведь огненный змей этот все-таки оригинальная затея. С психологией... И тут же мокрое дело... Медик считает, что Михайлова молотком пристукнули.

— М-да... Я вот хочу в субботу на Птичий рынок съездить.

— Зачем? Попугая купить? Я анекдот знаю про попугая...

— С водопроводчиком?

— Точно.

— Я тоже знаю. Это целая серия, попугайная... Шансы, конечно, почти нулевые, но вдруг он туда за кроликами ездил?

— Удава кормить?

— Да... Правда, если он был на представлении, то это отпадает. Укротитель объяснил товарищам, что Володька жареными цыплятами питается...

— Табака.

— Да. Пожалуй, что нет смысла ехать на Птичий...

— Точно. И вообще змеи могут по году не есть.

— Да... Только он-то ведь мог и не читать Брема... Ну ладно, двигайте в ВТО. Там, говорят, ресторан хороший.

Шуляк дождался, когда магазин закрыли в 14 часов на перерыв. Он постучался, показал удостоверение, и его впустили. Девушки только готовились разлететься по закусочным и продуктовым магазинам.

— Извините, что беспокою вас в перерыв. — Шуляк развел руками. — Но ничего не поделаешь, у вас всегда полно народу...

Продавщицы и кассирша были заинтригованы. Директор же, хотя и не знал за собой никакой вины, явно нервничал.

— Какие могут быть извинения, товарищ?.. — Он озабоченно нахмурился, всем своим видом выражая готовность помочь, чем только можно. Дело есть дело! Всегда рады.

— Дело у меня, собственно, пустяковое... Нужна маленькая справочка...

— Пожалуйста, пожалуйста! — Директор широким жестом обвел тесные свои владения.

На застекленных полках темного дерева лежали разноцветные парики, баночки с гримом, куклы, книжки по искусству, всевозможные краски и мази.

— У вас есть светящаяся краска «Огни св. Эльма»?

— К сожалению, вся продана. — Директор улыбнулся скорее радостно, чем сочувственно; у него явно отлегло от сердца. — Но, если вам очень нужно, я бы мог...

— Нет, нет! — замахал руками Шуляк. — Не беспокойтесь... Когда продана последняя банка?

— Когда, Верочка? — Директор повернулся к рыженькой девчушке в синем халатике.

— Еще позавчера, — тихо ответила Верочка и почему-то покраснела.

— Интересно, кто и зачем ее покупал? Всех вы, ясное дело, не помните, но...

— Разве всех упомнишь? — подала голос другая продавщица.

— Ответите, когда вас спросят, Тамара! — строго одернул ее директор.

— А все-таки, милые девушки, как вы думаете: кому может понадобиться такая краска? Театральным работникам?

— Какое там! — усмехнулась бойкая Тамара. — Они к нам и не ходят. Что надо, они по безналичному получают...

— Очень интересно, Тамарочка. Вас ведь Тамарой зовут? — Шуляк понял, что эта полная румяная брюнетка играет здесь первую скрипку. — Кому же она тогда нужна, если не работникам сцены?

— А кому угодно! Всем...

— Ну вы явно преувеличиваете! Наверное, все же не всем... Вы сколько банок продали?

— Семьдесят! — мгновенно ответил директор.

— Семьдесят банок — семьдесят человек, — кивком поблагодарил за справку Шуляк. — Это немало, но и не так уж много. Верно?

Директор кивнул.

— Некоторые по две банки брали, — уточнила Тамара.

— В самом деле? — удивился Шуляк. — Это же пять килограммов краски. Зачем столько?

— Мало ли зачем! — махнула рукой Тамара. — Рыболовы каждый день заходят, спрашивают.

— Рыболовы?

— Ага. Поплавки красить, чтобы в темноте видно было... Крючки опять же.

— А крючки зачем?

— Для ночного лова. Говорят, рыба лучше на свет идет.

— Век живи, век учись, — покачал головой Шуляк, не пропускавший обычно ни одной рыбалки. — И откуда у вас такие познания?

— У нее муж рыбак! — пискнула рыженькая и засмеялась.

— Значит, вы тоже краску купили? — улыбнулся Шуляк.

— Ага. Две банки.

— Превосходно! — одобрил Шуляк. — Выходит, что число посторонних покупателей резко сокращается.

— Всего на два! — уточнила Тамара.

— Уже легче... Кроме рыболовов, кто еще интересовался?

— Многие. — Тамара вынула пудреницу и посмотрелась в зеркальце. — Один покупатель говорил, что хочет выключатели в квартире выкрасить... Для клуба еще брали шесть банок.

— Какого клуба?

— «Красный пролетарий»... Мальчишки еще купили в складчину! — Она вдруг прыснула. — Пакость какую-то в школе написать собирались. Я слышала, как они совещались.

— И все-таки продали?

— Отчего же не продать?.. Но я их выругала!.. А почему вас эта краска так волнует?

— Это я потом вам объясню, а пока...

— «...выпьем кружечку пивка!» — смеясь, передразнила его Тамара.

Верочка всплеснула руками и, давясь от смеха, грудью легла на прилавок.

— Девушки! — прикрикнул директор.

— Пороть вас надо! — вздохнула кассирша. — У человека серьезная забота, а вам все хаханьки. Небось кража опять?

— Почему опять? — повернулся к ней Шуляк.

— Больно кражи теперь участились! Мою соседку вот недавно ограбили. Все подчистую из квартиры вынесли. Одни голые стены

остались. И мало этого, еще саму по голове пристукнули, так что она речи лишилась... Не поглядели, что старуха!

— Вы, случайно, не о гражданке Чарской? — Шуляк подошел к застекленной кабинке кассы.

Кассирша выглядела довольно молодо, несмотря на усталые тени под глазами. Розовое закрытое платьице шло к ее несколько полной фигуре и скромной прическе: длинная русая коса была обвита вокруг головы.

— Значит, вы в курсе? — Она удивленно раскрыла глаза.

— Точно, — подтвердил Шуляк. — Даже знаю, что вас зовут Эльвирой Васильевной.

— Подумаешь, секрет! — фыркнула Тамара.

— Между прочим, Эльвира Васильевна, краска имеет прямое отношение и к ограблению вашей соседки! — Шуляк быстро сообразил, что кассирша вряд ли подробно осведомлена о бурных событиях, происшедших в ее квартире. — Так что прошу мне помочь.

— Так я что?.. Я — пожалуйста...

— Вот и припомните-ка вместе с девушками всех, кому продали банки... Постарайтесь припомнить... Внешность, какие-нибудь особенности, разговоры, может быть... Школьников же вы, Тамара, припомнили? — Он отошел от кассы назад к прилавку.

— А художник-то твой, Тома! — вспомнила вдруг Эльвира Васильевна.

— Такой же мой, как и твой! — огрызнулась Тамара. — Он-то здесь причем?

— Что значит «причем»? Краску-то он купил!

— Ну купил. А дальше что? Стукнул банкой твою полоумную старуху по голове? Так, что ли?

— Стоп! Стоп! — Шуляк постучал костяшками пальцев по прилавку. — Так не пойдет!.. Это дело серьезное. Разрешите, товарищ директор, воспользоваться вашим кабинетом?

— Конечно, конечно, пожалуйста. — Директор погладил седоватый ежик и, подняв доску прилавка, указал на дверь.

— Попрошу вас, Тамара, пройти в кабинет... Побеседуем, так сказать, с глазу на глаз. А то я ничего тут не пойму.

Толкнув дверь, Шуляк пропустил Тамару вперед и, обернувшись к остальным, попросил:

— Я у вас еще чуточку побуду, но вы не обращайте на меня внимания и делайте свои дела. Только вас, Эльвира Васильевна, попрошу задержаться. Хорошо?

— Хорошо, — кивнула кассирша.

Он закрыл дверь и, указав Тамаре на директорское кресло за письменным столиком, устроился на табурете.

— Расскажите мне про этого художника, Тамара.

— А чего рассказывать-то? Вечно они все выдумывают! — Она зло кивнула на дверь. — Ну зашел ко мне знакомый на работу... Что с того?

— Ничего, разумеется, — успокоил ее Шуляк. — Вы не волнуйтесь. Лучше подробно расскажите еще обо всех ваших знакомых, которым вы продали краску. Среди них были, наверное, и товарищи вашего мужа по рыбалке? Так ведь? И этот художник... Понимаете, Тамарочка, все эти люди, очевидно, непричастны к преступлению! Мы сразу же, так сказать, скинем их со счетов. Вы мужу две банки взяли, художник этот еще сколько-то купил, другие знакомые... На долю-то незнакомых, подозрительных людей остается все меньше! Так?

— Ну так. Дальше-то что? — настороженно спросила она.

— Но тогда, Тамарочка, получается, что незнакомых было не так-то много! Значит, вам вместе с девушками легче будет их вспомнить! Понятно?

— Ах, вы об этом...

— Ну конечно! Так что давайте побыстрее отсеем знакомых. — Он взял с директорского стола счеты и отложил семь костяшек. Всего банок было семьдесят. Две вы взяли себе... — Он произвел на счетах нехитрую манипуляцию. Эти банки у вас дома?

— Где же еще?

— Вот и прекрасно! В двух банках я уже полностью уверен. Остается шестьдесят восемь... Сколько купил художник?

— Четыре.

— Ого! Зачем ему столько?

— Художник ведь!

— Значит, ими и рисовать можно?

— А то нет!

— Лады. Выходит, еще четыре банки долой... Правда, нужно еще убедиться, что все они по-прежнему находятся у художника. Ведь одно дело вы, другое — он. Ваши банки находятся на месте, а за чужие вы поручиться не можете. Вдруг он потерял одну или, может, кому-нибудь подарил... Так?

— Ну так.

— Вот и получается, что мне придется побеседовать с самим художником. Все-таки четыре банки не шутка! Это как-никак четыре подозрительных незнакомца.

— Веселая у вас работа...

— Да уж, не даром хлеб едим. Кто он, художник?

— Один знакомый.

— Это я уже понял. Фамилия-то его как?

— Михайлов... Витей зовут. Виктором.

— Вы его давно знаете?

— Давно. Я у них в Строгановке одно время натурщицей подрабатывала.

— Понятно... У вас с ним... хорошие отношения?

— Да так... Заходит иногда, ухаживает вроде... Цветочки на Восьмое марта приносит, мимозу.

— Когда вы его видели в последний раз?

— А вам-то что до этого? Вас ведь краска интересует? Так вы про нее и спрашивайте!

— Вот что, Тамара, давайте-ка сразу же договоримся! Я спрашиваю, а вы отвечаете.

— По какому такому праву?

— Дело в том, милая Тамарочка, что Михайлов Виктор Михайлович — его так по отчеству?.. Ну вот видите, я вас не из любопытства расспрашиваю, потому что Михайлов Виктор Михайлович недавно был убит в Парке культуры и отдыха.

— Ой! — Она прижала руки к щекам и вдруг заплакала, но быстро успокоилась и, вынув пудреницу, притукала пуховкой следы слез.

Шуляк дал ей привести себя в порядок.

— Так когда вы видели его в последний раз? — спросил он, когда она закончила туалет.

— На прошлой неделе... Во вторник, кажется, или в среду...

«Так! — отметил Шуляк. — Возможно, в тот самый день, когда пропал иностранец... Накануне он побывал у Михайлова... Сам же Михайлов принимал у себя на другой день попа, потом пошел его провожать и возвратился, очевидно, поздно... Впоследствии он утверждал, что встретил на улице свою первую жену... Ну и хват же парень! Ну и хват! Чего только они в нем нашли?»

— В котором часу?

— Вечером. Перед самым закрытием.

— Расскажите поподробней, как это было.

— Как было?.. Очень просто. Он зашел в магазин за этой краской...

— Откуда он знал, что она к вам поступила? Разве она часто у вас бывает?

— Нет, конечно... Просто утром он позвонил мне и спросил, нет ли у нас какой-нибудь светящейся краски. А она как раз случайно недавно к нам поступила. Ну я, конечно, сказала, чтобы он приезжал, краска есть.

— Ах вот как!

— Да... Он, значит, зашел вечером и взял четыре банки.

— Что он при этом говорил?

— Ничего особенного... Был очень доволен, благодарил... Пригласил в ресторан.

— И вы согласились?

— А что?

— Ничего. На какой день он вас пригласил?

— Мы не успели условиться. Понимаете, в тот самый момент вошла эта мымра...

— Кого вы имеете в виду?

— Да жену его бывшую, Машку!

— Бывшую жену?

— Да! Они прожили несколько лет и разошлись. Он говорит, что она ему надоела — она и вправду противная, — и он ее бро-

сил... А ребята говорят, что, наоборот, она его бросила... Не знаешь, кому верить.

— Какие ребята?

— Знакомые, бывшие строгановцы... Они Машку хорошо знают. Она на вечера в училище приходила. Я ее тоже там видела.

— После того как Михайлов женился, вы продолжали с ним встречаться?

— Так... Иногда.

— Значит, его бывшая жена вошла в магазин в тот момент, когда вы должны были условиться о времени и месте свидания? Что же было дальше?

— Ничего особенного. Они очень удивились этой встрече, поздоровались, но не за руку, а так, просто друг другу кивнули... Виктор взял авоську с банками и, подмигнув мне, сказал, что еще зайдет, и они вышли.

— Без слов?

— Нет, что-то такое, по-моему, он сказал... Спросил ее, как она живет, вроде... Она сказала, что ничего живет, и пошла к выходу, а он пошел за ней.

— Вам это не показалось странным?

— Ничуть! Что тут такого?

— Это была действительно случайная встреча или все же можно подозревать, что они условились о ней?

— Конечно, случайная! Кто же станет назначать свидание в магазине? Да и вели они себя так, словно... Оба удивились.

— Зачем же он пошел за ней?

— Мало ли?.. Может, просто поговорить за жизнь хотел, может, на старое вдруг потянуло... Всяко бывает.

— С тех пор вы его больше не видели?

— Не-а, не видела.

— И он не звонил вам?

— Ни разу.

— Это не показалось вам странным? Он же пригласил вас в ресторан?

— А он всегда так... Появится вдруг, потом пропадет на полгода...

— Но он же пригласил...

— Сначала пригласил, потом раздумал, с другой пошел. Ему натрепаться — раз плюнуть.

— И несмотря на это, вы все же встречались с ним?

— А что? Мне от него ничего не надо, а парень он славный, добрый такой, не жадный... Жаль, что его убили... Как думаете — за что?

— За краску, — хмуро ответил Шуляк и, кивнув Тамаре, пошел за Эльвирой Васильевной.

— Вы ей не очень-то верьте, Эльке! — сказала ему вдогонку Тамара. — Она известная сплетница... Я про нее тоже многое порассказать могу! Только я не такая.

Но Эльвира Васильевна и не думала сплетничать. В общих чертах она только подтвердила рассказ Тамары:

— Он часто у нас появляется... Может, и не так часто, но только к Томке он давно ходит. Недавно флакон арабских духов принес. Кажется, перед самым Маем это было. Не знаю только, что она в нем нашла. Потасканный он какой-то, глазки так и бегают... Да, в тот день, на прошлой неделе это было — то ли в понедельник, то ли во вторник, — он зашел к нам перед самым закрытием. Вбежал, запыхавшись, и сразу к Томке кинулся, будто не за краской, а за дармовым золотом прилетел. О чем-то они пошушукались — я в такие дела не суюсь, — она ему тут же сверток и достала, видно, заранее припасла. Он обрадовался, в щечку ее поцеловал и опять «шу-шу-шу» да «шу-шу-шу». Тут открывается дверь, и входит с улицы дама. Красивая такая, стройная, волосы золотые так и светятся, и одета хорошо. Он как увидел ее, так и рот раскрыл. Она тоже вроде бы удивилась. Он чуть не на шею к ней кинулся, но она холодно так, высокомерно даже, на него глянула и назад отступила. А он хоть бы что, увивается вокруг, прямо по полу расстилается. Как я рад, мол, как счастлив, как ты живешь и куда сейчас, дескать, направляешься? Она только нетерпеливо плечиком дернула, кивнула ему и к выходу, а он — куда там! — вперед ее забежал дверь открыть и сразу же за ней на улицу. На Томку даже не оглянулся. Да и то верно: куда нашей Томке до той! Только он, я так поняла, и даром ей не нужен! Напрасны все его усилия, ничего ему не обломится... Что он ей? Такая из любого мужика веревки вить сможет. У нее, наверное, получше кавалеры найдутся. Томка после говорила, что это его первая жена. Но я думаю, что она врет, потому как неприятно ей такое его поведение, по самолюбию бьет. Но не может такого быть. Никогда такая женщина за этого мозгляка замуж не пошла бы. Никогда! На нее небось на улице оглядываются. На что я женщина, и то ею залюбовалась...

Глава 23

ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ

Оперативная сводка

«В 19 час. 39 мин. по ул. Советской у дома №43 дачного кооператива «Красная Пахра» неизвестным лицом выстрелом из дробового ружья убит сотрудник милиции тов. Светловидов. На место происшествия отправлена следственная бригада».

Люсин выехал тогда в составе бригады. Теперь, по прошествии нескольких дней, он с трудом мог восстановить последовательность событий. Все вспоминалось как во сне. Длинная тенистая улица. Низкое оранжевое солнце, пробивающееся сквозь листву. Косая

решетчатая тень заборов. Тот особый — только под соснами бывает такой — мелкий серый песок и сухие иглы в нем.

Светловидов лежал ничком, выбросив вперед правую руку, а левая была заломлена за голову, словно тянулась к страшной почерневшей ране на затылке. Когда разжали мертвый кулак, в нем оказалась горсть песка. Участок улицы был огорожен. Стояли машины и мотоциклеты, два милиционера дежурили у тела. Сверкнули блицы фотографов, эксперт по баллистике о чем-то зашептался с медиком, склонившимся над раскрытым чемоданчиком, — все занялись привычным будничным делом. Это было признанием необратимости случившегося. Воскресить Светловидова они были не властны. И надо было внутренне отдалиться и от трупа, и от запекшейся раны, заставить себя не думать постоянно о том, что на сером песке лежит хороший — и это вдруг стало ясно, — очень близкий человек. Это было необходимо, чтобы все тщательно осмотреть, сопоставить и взвесить, не упустить ничего и в конечном счете обнаружить убийцу.

Холодная логика далеко не всегда согласуется с тем, что мы привыкли называть человечностью.

Даже патологоанатом не берется за вскрытие тех, кто при жизни были близки ему. Это настолько понятно, что не требует никаких объяснений.

Но они, и в первую очередь Люсин с Данелией, были лишены даже этой скорбной привилегии, да им и не пришло бы в голову передоверить свою работу кому-то другому, для кого их Светловидов был просто убитым из дробового ружья незнакомцем.

Облазив все вокруг, они так и не обнаружили на сыпучем сухом песке отпечатков подошв преступника. Возможно, выстрел был сделан из-за забора. Но стреляли явно не из дома №43. Эксперт по баллистике сказал, что нуля вошла в затылок под некоторым углом. Скорее всего, убийца выстрелил, когда Светловидов находился от него шагах в сорока.

Но когда были уже защелкнуты чемоданчики, спрятаны рулетки и лупы, а носилки, бережно покрытые одеялом, поставили в кузов милицейского «пикапа», Люсин увидел на песке смятый комочек бумаги. Он лежал вблизи страшного темного пятна, просочившегося, казалось, в самую глубь земли. «Горючая земля, горючий песок». Люсин ощутил вдруг потаенный смысл этих слов и поднял бумажку. Не разворачивая, показал прокурору.

Потом, уже в лаборатории, ее осторожно расправили и осмотрели. Местами она была почти черной, а на отдельных участках к ней прилепились, как застывшие брызги, как точечки волосков в сухом стаканчике для бритья, полусгоревшие порошинки. Химическая проба в растворе дифениламина показала, что это был охотничий порох. Бумажка оказалась пыжом.

Типографский текст на ней едва различался. Но в инфракрасном преобразователе удалось прочитать сквозь пороховую копоть некоторые буквы и цифры. Это была не то ведомость, не то какая-то накладная. Впрочем, дело, конечно, не в ней.

Угол, под которым вошла самодельная свинцовая пуля, давал расстояние в сорок шагов. Этого было достаточно для предварительного вывода, что убийца стрелял из-за забора недавно перестроенной дачи №36.

Выяснилось, что владелец ее на участке еще не живет, дожидаясь окончания отделочных работ и возведения гаража. Кроме того, он вот уже вторую неделю вместе с семьей отдыхал в санатории на Алтае.

Все работы на участке производил в порядке частной договоренности техник-смотритель Сидор Федорович Стапчук. Жил он один в домике с небольшим огородом, приютившимся как раз между соседними дачными участками №34 и №36.

В местной милиции Стапчука хорошо знали. Был он инвалидом войны и поселился в Ватутинках в сорок девятом году.

С первых же дней основания дачного кооператива он поступил туда техником-смотрителем. Зимой без особых хлопот совмещал обязанности сторожа и сезонного истопника в соседнем доме отдыха. Как сторож, он иногда дежурил зимними ночами с ружьецом. Но с каким именно этого в милиции не знали. В охотничьем обществе Стапчук не состоял, и его ружье, видимо, не было нигде зарегистрировано.

Домик техника-смотрителя оказался запертым, а самого его нигде не смогли сыскать, хотя участковый, объезжавший вверенный ему район на мотоцикле, сказал, что видел Стапчука часов около шестнадцати, когда тот принимал привезенный на дачу №36 кирпич.

Когда прибыли понятые и вернулся местный следователь с постановлением прокурора, Люсин приказал взломать дверь и привести культурника Мишу из дома отдыха. К этому времени он уже знал и об ольшанике возле поросшей мелким клевером поляны, и о просыхающих лужах в глинистых лесных колеях. Видел он, конечно, и горку цемента у строящегося гаража. Но все равно это было, как во сне. Куда-то улетучилась привычная ясность мысли, вспыхивали и гасли отдельные сценки, он кого-то о чем-то спрашивал, отдавал распоряжения, но системы во всех его действиях не было. Мешала и беспокоила постоянно тлеющая мысль: почему именно Светловидову дал он это поручение? Вопрос, конечно, бессмысленный. Не ему, так другому. Но все-таки: почему именно ему? Безусловно, такой развязки Люсин не предвидел. Даже смутное беспокойство не затуманило его душу, когда он очертил на светловидовской карте интересующий его участок. В чем же тогда дело? Быть может, в том, что нет и больше никогда не будет уже того зеркала, в котором ему, Люсину, так приятно было видеть свое отражение? Да?

Люсин сам не знал, в чем тут дело. Ему было очень жаль Светловидова, но своей вины в том, что случилось, он не находил. Искал, безусловно искал, но не находил. И это была правда. Но она не обнажала всей сложности и противоречивости того состояния, в котором находилась душа Люсина, смятенная и заторможенная. И это тоже было, как во сне, когда блуждаешь по синим лабиринтам в поисках выхода и не находишь его, а беспокойство все растет и растет.

Но Люсин чувствовал сквозь смутную тревогу этих блужданий, прислушиваясь к себе: он продолжал работать и даже как будто мыслить, но делал это как бы автоматически, ощущая, что в нем совершаются какие-то необратимые процессы. Люсин сразу внутренне обеднел и, еще не сознавая этого, почти физически ощутил эту перемену. Но он не знал да и думать о том не мог, в чем, собственно, она заключается.

Однако тайна этих внутренних изменений была проста, но далеко не столь примитивна, как попытка обрисовать ее с помощью слов. Истинный, «глубинный» Люсин, которого частенько загоняли на самое дно, вдруг остался один. Люсину поэтому предстояло сначала увидеть, а потом и обрести себя вновь. У одних этот процесс протекает мгновенно, и еще за школьной партой в них можно различить прообразы будущих стариков; другие обретают себя в надлежащий день и час, так, что это проходит для них совершенно незаметно; третьи всю жизнь живут в чужом обличье. И никто не знает, как расстаются они со своей нерукотворной маской в тот, последний час.

Душа человеческая не есть нечто неизменное и постоянное в границах нашей жизни...

Культурник Миша сразу же сознался, что после того памятного выступления циркачей в зале дома отдыха пошел к дяде Сидору, как он называл Стапчука, хотя и не состоял с ним в родстве. Стапчук пригласил его обмыть неожиданный выигрыш по трехпроцентному займу. Коротких отношений между ними не было никогда, но в последние дни Стапчук оказал Мише несколько небольших услуг и, в свою очередь воспользовавшись Мишиной протекцией, получил доступ в гараж. По словам культурника, он брал там раза два микроавтобус «рафик» для каких-то «левых» ездок за стройматериалами.

Начальник гаража сначала все начисто отрицал, но потом припертый фактами, признал, что действительно давал Стапчуку машину. В свое оправдание он мог привести только один довод: у Стапчука-де были права шофера третьего класса. Эти сведения имели определенный интерес, тем более что одна из таких «левых» ездок — в данном случае этот термин выглядел несколько мягким — приходилась как раз на тот вечер, когда было похищено имущество гражданки Чарской. В «рафик» ее знаменитый сундук погрузить, конечно, ничего не стоило...

Все это, опять же чисто автоматически, отметил Люсин. Потом это очень пригодится ему, но в тот день он не думал ни о сундуке, ни даже об убитом Михайлове. Данелия тоже говорил только о предполагаемом убийце Светловидова, словно не было у них никаких других забот. И это понятно...

Как бы там ни было, у культурника Миши были основания принять приглашение неожиданно разбогатевшего Стапчука, что он и сделал без всяких колебаний. Да и можно ли его осуждать за это? Тем более, что гостеприимство техника-смотрителя превзошло все Мишины ожидания. Вот уж действительно разбогател человек! И сам радуется и других хочет порадовать. Да, уж постарался на сей

раз Сидор Федорович, ничего не скажешь. Такое угощение выставил, что не на всякие деньги и купишь: экспортную пшеничную водочку, лососевую икру в маленькой баночке, икру осетровую в банке побольше и крабы! Кроме невиданных этих деликатесов, на столе стояли и другие, пусть не столь редкостные, однако милые сердцу штукенции: разварная картошечка, квашеная капустка, бычки в томате, украинский борщ с чесночными пампушками и жигулевское пиво. Одним словом, ешь-пей — не хочу. Миша так и поступил. Больше ничего к своему рассказу добавить он не мог. Сказал только, что очнулся утром и насилу отпился капустным рассолом.

На вопрос Люсина о ключах к кинозалу ответил, однако, твердо: «Ключи нашел в своем кармане, а что мог Стапчук делать с ними ночью — не ведаю».

Но все и так было ясно. Тем более что только вчера Люсин получил снимки с разобранных на детали замков, запиравших некогда клетку и ящик злополучного Володьки. На них ясно видны были оставленные фомкой царапины. Оставалось только гадать, зачем понадобилось Стапчуку переводить свои деликатесы на Мишу, когда открыть кинозал было не труднее, чем клетку. Очевидно, непоследовательность — характерная черта человеческой натуры. А может, Стапчук лишнего шума боялся. Это следователь должен быть логичен в своих умозаключениях, преступник же действует часто совершенно нелогично. Впрочем, у Стапчука могли быть свои соображения, а также и свои трудности, о которых Люсин даже не подозревал. Более того, хотя слишком много фактов свидетельствовало против Стапчука, он мог оказаться неповинным как в убийстве Светловидова, так и в краже питона со всеми ее фантасмагорическими последствиями.

Но мысль эта тут же испарилась, когда милиционеры взломали дверь и Люсин в сопровождении следователя, двух понятых — почтальонши и главбуха дома отдыха — вошел в домик техника-смотрителя. В сумрачной комнате (свет пробивался только сквозь щели в ставнях) мистическим желто-зеленым огнем горели в углу две змейки, мирно лакающие что-то из плошки.

Видимо, испугавшись незнакомых людей, они юркнули в какую-то щель и пропали. Но Люсин не преследовал их: все и так было совершенно ясно. Он раздвинул скрипящие внутренние ставни и приступил к обыску.

— Что это? — робко спросила молоденькая почтальонша, когда комнату наполнил вечереющий свет, и испуганно кивнула на плошку с молоком в углу под лавкой.

«Браслетки Хозяйки Медной горы. Слышала про такую?» — хотел было сказать Люсин, но промолчал, ибо прежнего Люсина уже не стало.

— Накрашенные фосфором ужи, — сказал он для большей понятности.

— А не гадюки? — спросила девушка, больше, видимо, пораженная самими змеями, чем тем действительно достойным удивления обстоятельством, что они светились.

— Может, и гадюки, — сухо ответил Люсин. — Присядьте пока.

Домик Стапчука состоял из одной комнаты и кухоньки с небольшой кладовкой. Уборная и погреб находились снаружи. Обыск поэтому занял немного времени.

За окнами совсем уже стемнело, и Люсин зажег лампочку под голубым пластмассовым абажуром. На большом струганном столе, сработанном, вероятно, самим Стапчуком, лежали старые удостоверения с содранными фотокарточками, пачка недействительных уже облигаций, старая, с размытыми строчками открытка от какой-то Маруси из Кременчуга и почетная грамота, выданная «тов. Стапчуку С. Ф. дирекцией и месткомом д/о «Красная Пахра», — все те немногие документы, которые удалось обнаружить.

Ни ружья, ни гильз, ни пачек с порохом или дробью Люсин не нашел. Очевидно, Стапчук захватил все это с собой либо припрятал на огороде.

Люсин обвел взглядом обшитые рассохшимися досками тоскливые стены стапчуковского жилья. В углу висели черная, прорванная тарелка довоенного репродуктора и нетронутый отрывной календарь за прошлый год. Над лавкой были приколоты вырезанные из «Огонька» картинки: вишневый сад в цветении, закат над разлившейся рекой, фламандский натюрморт с омаром и нацело зажаренным лебедем и еще засиженная мухами открытка — репродукция с картины Утрилло. Картина изображала парижскую улочку со странным названием «Шерш миди» — «Ищу полдень». Дверные косяки были утыканы иголками, из ушек которых свисали завязанные узелком разноцветные нитки. На подоконниках стояли горшки с цветущей геранью и завязанные марлей бутылки с вишневой наливкой. Рядом со шкафчиком, в котором были пустые бутылки, пузырьки с какими-то лекарствами, разномастные тарелки и кружки, алюминиевые ложки, вилки и тому подобные нехитрые предметы домашнего обихода, висели ходики, одну из гирь которых утяжеляли ножницы и старая автомобильная свеча.

Небогато жил Стапчук и, видимо, не собирался богатеть. Нет большего постоянства, чем во временном жилье. Стапчук готов был в любую минуту покинуть свой убогий приют, что он и сделал, убив из ружья, очевидно, совершенно незнакомого ему человека.

Зачем он сделал это? Люсин постоянно задавал себе этот вопрос. Не исключено, что Светловидов совершил какую-то неосторожность, которая выдала его истинные намерения. А вернее всего, Стапчук звериным, загнанным чутьем понимал, что петля вокруг него затягивается. Он и так уже готов был сорваться с места и бежать, бежать, очертя голову, а тут еще незнакомец, который бродит вокруг и что-то выискивает. Ведь Светловидов напал на след — это факт, иначе его бы не убили! Вот он и спугнул Стапчука, а у того нервы не выдержали. Так оно, скорее всего, и случилось.

Люсин прошел вместе с понятыми в кухню. Там стояли красные баллончики с бутан-пропаном и грязная двухконфорочная плита. На полке, застланной вырезанной из газеты зубчатой салфеточкой, стояли бутылки с уксусом и подсолнечным маслом, эстонские квадратные банки с крупой и специями и, как ни удивительно, книги: «Плодовый сад», «Ваш огород», «Ягоды», «Домашнее консервирование», второй том «Жизни животных» Брема, Шевченко, Есенин и «Бездна» Л. Гинзбурга.

Подбор весьма красноречивый и тем не менее удивительный. Брем, как Люсин и думал, был взят на вечное хранение из библиотеки. В нем лежала синяя книжечка, удостоверяющая, что гражданка Стапчук Алевтина Петровна мирно покоится на ближайшем кладбище с апреля 1961 года. Очевидно, это была его жена. Иначе он не купил бы себе место с ней рядом. О сегодняшнем дне не заботился: что с женой, что бобылем жил, как таежный сезонник, а землицы под вечное отдохновение все-таки прикупил...

Люсин тщательно осмотрел всевозможные горшки да бидончики, слазил в подпол, где стояли закатанные банки с ягодами и всевозможные соленья. Кадка с капустой была закрыта деревянным кругом, который прижимал огромный камень. Люсин не поленился и полез в кадку, но, судя по всему, там была только капуста и соленые яблоки. Зато три бутылки из-под экспортной водки, уже пыльные и тронутые паутиной, сразу же его заинтересовали. Осторожно, чтобы не стереть возможные отпечатки, он вынес их по очереди одну за другой наверх и бережно поставил в угол.

Закрывая подпол, Люсин обратил внимание на подпалину возле одной из щелей. Он поковырял ножом и вместе с черной, спрессованной грязью извлек крохотную свинцовую капельку.

Все правильно. Стапчук охотой не занимался. У него просто было ружье, с которым он совершал свои зимние ночные обходы. Но, застигнутый страхом, он отлил, и, видимо, совсем недавно, в этой кухне на газовой плите самодельную медвежью пулю. Просто так, на всякий случай. И случай вскоре представился...

Заглянув под плиту, Люсин извлек оттуда старую квитанционную книжку на газ и электричество. Половина листов из нее была повыдергана. Потом, после того как были готовы все заключения экспертов по делу об убийстве Светловидова, Люсин понял, что именно отсюда и вырвал Стапчук листок, из которого и сделал тот роковой пыж...

В кладовке висело всякое старое тряпье, сумки из-под противогазов, потертый офицерский планшет. Пол был уставлен банками с краской, удобрениями и ядохимикатами, там же валялись пыльные мышеловки и ржавые кротовые капканы. В пачке старых газет Люсин нашел «Блокнот агитатора» за 1951 год и книжку по гражданской обороне без конца и начала.

Да, Стапчук не любил оставлять за собой следов. Даже застигнутый убийством, он сумел использовать буквально считанные ми-

нуты и уничтожил почти все улики. Только об огненных змейках своих не подумал...

Но было ли ему, что уничтожать? Вот в чем вопрос. «Было, обязательно было», — решил Люсин.

Осмотр огорода, погреба и соседней дачи следовало отложить до завтра. На дворе сделалось совсем уже темно. Впрочем, оставался еще тяжелый кованый сундук с узорными петлями и скобами. На нем лежали завернутые в дырявый женский платок зимние вещи Стапчука: тяжелая вытертая доха, довольно приличный полушубок и черные валенки-бурки с новыми, сверкающими калошами. Люсин опять связал все это в узел и, бросив его в угол на мышеловки, поднял тяжелую крышку допотопного сундука.

Изнутри она была оклеена цветными открытками, дореформенными червонцами, журнальными обложками и тому подобной мурой. Содержимое сундука было скрыто марлей, на которой лежали аккуратные шарики нафталина. Под марлей оказался черный суконный костюм с накладными плечами и грудью, синее габардиновое пальто с воротником из серой мерлушки, новая пыжиковая шапка и хромовые сапоги. Все вещи были ненадеванные.

«Аварийный зимний комплект, — решил Люсин. — Интересно, что на нем сейчас?»

Единственная вещь в сундуке, которая заинтересовала Люсина, была газовая зажигалка фирмы «Ронсон», инкрустированная перламутром, с маленькой золотой монограммой.

Стапчук не держал у себя чужих вещей. Он действительно не любил оставлять следов. Но перед зажигалочкой, кажется, не устоял. Люсин осторожно взял сверкающую штучку платком, обернул ее и положил в карман. Потом, схватив в охапку стапчуковский комплект, бросил его обратно в сундук и захлопнул крышку.

Из кухни он прошел не в комнату, а во двор. За забором возле машин вспыхивали жгучие красные огоньки. Там покуривали, о чем-то беседуя, эксперты.

— Але, ребята! — негромко позвал Люсин. — Где тут у вас Крелин?

— Я — Крелин!

Один огонек отделился и поплыл к Люсину.

Когда эксперт-химик вышел из кромешной тени милицейского фургона, Люсин различил, наконец, в густой синьке темную его фигуру. Крелин уже подходил к воротам.

— Ты здесь! Я тебя только сейчас увидел. Тьма, хоть глаз выколи. У тебя люминол при себе?

— Конечно! Есть дело?

— Не знаю. Я хочу, чтобы ты на всякий случай опрыскал. Авось, что и найдем.

Крелин вошел в комнату, щурясь на свет, и, оглядевшись, поставил чемоданчик под лавку.

— Попробуй сначала в кухне, — сказал Люсин.

Крелин молча кивнул и, взяв из чемоданчика пульверизатор, направился в кухню.

— Ничего нет! — крикнул он оттуда минут через десять.

Люсин попросил понятых выйти в сени. Вместе с ними он остановился в дверях и позвал Крелина:

— Давай теперь здесь, Женя!

Крелин с порога осмотрел комнату, задумался, потом опустился на четвереньки и стал аккуратно, половицу за половицей, опрыскивать помещение.

Когда он дошел таким манером до стола, на полу вдруг голубым свечением вспыхнула капля, другая, и тут же зажглось большое пятно.

— Есть! — обрадовано сказал Крелин и поднялся, разгибая усталую спину.

— Да, есть, — кивнул Люсин и, обернувшись к понятым, объяснил: — На этом месте была пролита чья-то кровь, товарищи. Это видно по свечению индикатора-люминола.

Почтальонша серьезно кивнула. Ее расширенные зрачки темнели грустно и всепонимающе.

— А может, он мясо резал? — подал голос старичок-бухгалтер. — Курицу?

— Очень может быть, — согласился Люсин. — Мы это проверим в лаборатории.

— Даже группу определим! — усмехнулся Крелин, доставая из чемоданчика необходимые принадлежности.

Скрипнула ступенька на крыльце, в дверь осторожно постучали. Здешний участковый козырнул и протянул Люсину папку с бумагами.

— Здесь паспортные данные Стапчука, — пояснил он. — И личный листок по учету кадров с места работы.

«Личный листок

Фамилия Стапчук. Имя: Сидор. Отчество: Федорович. Пол: м. Год, число и м-ц рождения: 1920, 21 декабря. Место рождения: д. Семеновка, Курской области. Национальность: русский. Соц. происхождение: из крестьян. Партийность: беспартийный. Образование: семь классов. Какими иностранными языками и языками народов СССР владеете: никакими. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству): с 7.8.1936 по 11.5.1939 — тракторист Семеновской МТС; с 1939 по 10.2.1946 — служба в Советской Армии, сначала рядовым, а с 1942 года — командиром отделения; с 6.10.1946 по 2.8.1949 — стрелок охраны на куйбышевском заводе «Пластмасс»; с 3.11.1949 по наст. время — техник-смотритель дачного кооператива и истопник д/о «Красная Пахра».

Пребывание за границей: Румыния и Венгрия — освобождал. Какие имеете правительственные награды: орден Славы III ст., медаль «За взятие Бухареста», медаль «За победу над Германией».

Отношение к воинской обязанности и воинское звание: невоеннообязанный (инвалид войны), сержант. Семейное положение в момент заполнения (перечислить членов семьи с указанием возраста): жена, Стапчук А. П., — 1918 года рождения».

Обе фотографии (3×4), приклеенная к листку по учету кадров и взятая из паспортного стола милиции, запечатлели облик сравнительно молодого Стапчука: мохнатые насупленные брови, несколько запавшие глаза, широкий нос, выдающиеся скулы, скошенный подбородок.

Люсин возвратил участковому документы и попросил его подготовить все необходимые для всесоюзного розыска материалы.

— Не забудьте дать особые приметы: припадает на левую ногу, в левом глазу бельмо, волосы имеет темные с медным отливом, — добавил он.

Глава 24

ДЕЛО ОБ ОЖЕРЕЛЬЕ

Эдуард, принц из дома Роганов, был представителен, умен и честолюбив. Он добился многого и, может быть, достиг бы еще большего, если бы не изнеженность, любовь к роскоши и жажда наслаждений.

Мария-Антуанетта дарила его яростной ненавистью, причины которой объяснялись различно. Друзья Рогана рассказывали, что во всем виновато письмо принца к герцогу д'Эгильону. Будучи королевским послом в Вене, Роган изобразил в этом письме императрицу Марию-Терезию (мать будущей королевы Франции) не совсем так, как той этого бы хотелось. Правда, речь шла всего лишь о политике, а не о личных достоинствах королевы как женщины, и тем не менее, когда благодаря придворной интриге письмо было разглашено, и дочь, и мать возненавидели де Рогана. Так по крайней мере уверяли его друзья.

Недруги же упоминали обычно о каких-то нескромных ухаживаниях, которыми принц не только преследовал юную супругу своего короля, но имел еще наглость и легкомыслие хвастаться.

Версия эта выглядела довольно правдоподобно, если принять во внимание свойственные Рогану тщеславие, самонадеянность и волокитство. Но, как бы там ни было, королева искренне ненавидела его, а он, хотя и страдал в душе от ее ненависти и отвращения, чуть ли не бравировал этим. Он подымался все выше и выше по ступеням придворной иерархии, но каждый раз это случалось вопреки королевской воле. Его сделали великим милостынераздавателем, кардиналом, настоятелем аббатства Сен-Васт-д'Арра, провизором Сорбонны. Но ненависть австрийской принцессы, ставшей королевой Франции, стала неумолимой преградой в дальнейшем его блистательном продвижении. Он не мог играть первых ролей при дворе, несмотря на то,

что во всей Европе было мало кавалеров, которые могли бы поспорить с ним древностью и знатностью рода.

Когда он, склонный к бурным проявлениям и отчаяния и восторга, попытался оправдаться перед королевой и раскрыть свою душу, его резко оттолкнули. Все его надежды разом увяли. Он с головой окунулся в путешествия, любовные интриги и ученые занятия, избрав себе в наставники божественного Калиостро. Если эликсир долголетия действительно существует, то можно было не очень спешить, можно было позволить себе подождать. В конце концов принц де Роган мог рассчитывать на то, что займет подобающее ему место при следующем царствовании.

В это-то время ему и была представлена некая особа, происходившая по прямой линии, через графов Сен-Реми, от короля Генриха II и носившая потому фамилию Валуа.

Как похожа была эта удивительная женщина на самого де Рогана! Умна, обаятельна, предприимчива, а испытанные ею приключения только прибавляли к этим великолепным качествам романтический блеск, пусть даже с несколько сомнительным оттенком.

Ее отец, растратив остатки некогда весьма значительного наследства, однажды ночью тайно покинул свои заложенные и перезаложенные владения, оставив в корзине под окнами соседнего фермера самую юную из своих отпрысков. В этом бегстве, которое, увы, не взволновало Европу, хотя и неприятно озадачило кредиторов, последнего из Валуа сопровождали сыновья и беременная жена. Кое-как добравшись сперва до Парижа, а затем и до Булони, он неожиданно заболел и был, как бездомный бродяга, принят в больницу Hotel Dieu. Кроме пергамента, удостоверявшего, что их скончавшийся отец был потомком Генриха II, дети ничего не получили.

Однако сироты не оказались брошенными на произвол судьбы, поскольку тронутая печальной участью знатной семьи маркиза Буланвилье взяла их под свою опеку. Подкинутая в корзине девочка выросла и стала красавицей, что бесспорно помогло ей выйти замуж за графа де ла Мотт, служившего тогда в жандармах. Позднее, представив доказательства своего высокого происхождения, графиня де ла Мотт выхлопотала себе ренту в 800 ливров.

Эти рассказы совершенно пленили Рогана. Он оказал молодой графине свое покровительство, облагодетельствовал ее и не замедлил сделать своей любовницей.

Только одно облачко несколько омрачило эту начинающуюся идиллию. Представленная учителю, молодая дама произвела на него самое невыгодное впечатление. Калиостро сразу же угадал в ней авантюристку и предостерег об этом беспечного принца. Ла Мотт все поняла и затаила против Калиостро ненависть, которой предстояло вскоре дать свои плоды.

Между тем судьба благоприятствовала графине. Ей протежирует принцесса Елизавета, сестра короля, у нее прекрасные знакомства при дворе. Но она стремится к большему, добивается еще более

высокого покровительства. И вот однажды Роган узнает от нее, что общие их ожидания увенчались блистательным успехом.

Королева будто бы не только приняла прошение из рук ла Мотт, но пожелала видеть ее у себя, более того — обещала ей свою дружбу. Кардинал пришел в совершеннейший восторг и тут же стал умолять графиню о посредничестве между ним и королевой, что и было ему благосклонно обещано. Уже через несколько дней она сообщила кардиналу, что он может написать королеве письмо. Он незамедлительно написал его и получил ответ, который никак нельзя было назвать враждебным. А это уже было успехом. Вскоре между королевой и Роганом установилась через посредство госпожи ла Мотт деятельная и постоянная переписка. Вначале холодные и сдержанные, письма королевы сделались постепенно более приветливыми. Тон их не только не напоминал более о прежней ненависти или даже презрении, но как бы намекал на что-то, поощрял кардинала к решительности. Склонный к шараханьям из одной крайности в другую, кардинал вообразил, что любим королевой Франции.

И почему бы нет? Разве не был он знатным и очаровательным кавалером, рядом с которым полный и вялый король казался простолюдином?

Но странно: великий милостынераздаватель ex officio[1] мог часто видеть свою королеву хотя бы мельком, и она ни разу не подала ему ни малейшего знака, что отношения их в корне переменились. Неужели это не смущало Рогана? Или он был настолько самонадеян, что не придавал столь двойственному поведению ее никакого значения?

Ясно только одно. В самом начале переписки нетерпеливый кардинал уже просил свою королеву, разумеется, через ла Мотт, о личной аудиенции. Просьба эта была удовлетворена неожиданно быстро, но опять-таки несколько странным образом.

В конце августа 1784 года в садах Версаля произошла загадочная сцена. Около полуночи в залитую луной рощу крадучись пробрался переодетый садовником кардинал. В очаровательном уголке, полном благоухания и неясных шорохов, где лунный свет едва пробивается сквозь листву и, почти ничего не освещая, серебрит только легкую паутинку, де Рогана уже ждала стройная женщина в белой мантилье, с наброшенным на голову белым покрывалом. Сильно взволнованный, с оглушительно бьющимся сердцем, кардинал шагнул к королеве — к кому же еще! — и упал на колени.

— Вы знаете, что это означает?.. — прошептала дама в белом и протянула ему синюю в ярком лунном свете, а на самом деле пунцовую розу.

Кто, как не Роган, знал язык цветов? Он схватил розу, прижал ее к сердцу, но только собрался заговорить, как знакомый голос ла Мотт шепнул ему на ухо:

— Уходите, уходите! Принцесса Елизавета и графиня д'Артуа идут сюда.

---

[1] По должности *(лат.)*

Белая тень исчезла среди подстриженных деревьев, и кардинал поспешил присоединиться к закадычному другу своему, барону де Планта, ожидавшему его у фонтана, и ла Мотт, которая шла за ним следом.

Неужели он всерьез мог поверить, что гордая австриячка, королева и дочь королей, удостоила его свидания и подарила ему знак любви?

Но разве не видели Марию-Антуанетту на балах оперы? В маске? Самозабвенно отдающуюся колдовскому течению музыки? Или в кабриолете, одну, без свиты, королевской рукой правившую лошадьми? Разве не заставали ее на террасе, где она тайно от всех уединялась, чтобы всласть надышаться благоуханием ночи и послушать музыку французской гвардии? А одинокая скамейка, запрятанная в шпалерах подстриженного кустарника, на которой королева в белом перкалевом платье и простой соломенной шляпке с замиранием сердца подстерегала случайное приключение? Одним словом, у кардинала были основания верить своим глазам и тому, что у залитого луной сверкающего фонтана, на фоне беломраморной чаши его розан оказался пунцовым.

Между тем обстоятельства госпожи де ла Мотт совершенно переменились. Если до тех пор она жила крайне скудно на ренту, которую увеличили до 1500 ливров, и случайные пожертвования, то теперь у нее появился отличный экипаж, рысаки лучших заводов, а в ее доме стали часто бывать такие люди, как маркиза Сессеваль, аббат Кабр, советник парламента Рулье д'Орфейль, интендант Шампаньи, граф д'Эстен и главный сборщик Дорси.

Либо судьба действительно улыбнулась ей, либо она из последних сил тщилась выдать желаемое за действительное. Причиной последнего могла быть, конечно, гордость, но, скорее всего, тут был смелый расчет. Ведь сама она говорила, что «есть только два способа выпрашивать милостыню: на церковной паперти или сидя в карете».

Но как бы там ни было, после ее поездки в Бар-сюр-Об о ней заговорили как о богатой женщине. Это был безусловно умный шаг, ибо в Бар-сюр-Об ее еще помнили перебивающейся с хлеба на воду, на грани нищеты.

Теперь же она появилась в платьях лионского бархата, расшитых шелками, в блеске бриллиантовых украшений, а ее новомодный дорожный сервиз из серебра отличался необыкновенной тонкостью рисунка. Более того, она заплатила все долги, вспомнив даже тех кредиторов, которые давно забыли о ней.

Откуда пришло к ней такое богатство? Может быть, от благодарного кардинала? Роган действительно обладал колоссальным состоянием. Одно лишь аббатство Сен-Васт приносило ему 300 тысяч ливров. Кроме того, он получал 30 тысяч аренды за земли в Кунре, да и великолепный Савернский замок давал немалый доход. Но расточительность принца превышала любые доходы. За короткое время он успел наделать долгов на два миллиона ливров. Мог ли этот щедрый и беспечный вельможа не облагодетельствовать жен-

щину, которая доверилась его покровительству? Женщину, которая столь успешно служила Рогану-честолюбцу и Рогану-сладострастнику? Стоит ли удивляться поэтому неожиданному богатству госпожи ла Мотт?

Тем временем придворные ювелиры Бемер и Бассанж явили изумленному Парижу свой последний шедевр: бриллиантовое ожерелье. Камни, великолепно отшлифованные, были подобраны с исключительным вкусом, что по меньшей мере удваивало их стоимость. Особое внимание обращали на себя три из них: два глокондских голубой воды по восемнадцать каратов каждый и сравнительно небольшой алмазик удивительного цвета разбавленного водой бордоского вина. Один лишь он мог составить для какого-нибудь провинциального дворянчика целое состояние. Бемер и Бассанж хотели за свое ожерелье 1 600 000 ливров. Оно было поистине предназначено для королей, но не всякий король мог позволить себе купить его.

Ювелиры неоднократно предлагали свой шедевр Марии-Антуанетте, но всякий раз встречали отказ. Все же у них создалось впечатление, что королева хотела бы получить ожерелье. Да и какая бы женщина могла отказаться от него? Очевидно, это соображение заставило ювелиров действовать через короля. И в тот день, когда Мария-Антуанетта счастливо разрешилась от бремени, в ее голубую спальню робко вошел неуклюжий, виновато улыбающийся Людовик.

— У меня есть для вас подарок, — понизив голос, сказал он и тут же раскрыл великолепную шкатулку, в которой и было то самое ожерелье.

Но королева повела себя совсем не так, как он был вправе ожидать.

— Уберите это, — презрительно сказала она и не без раздражения произнесла гневную речь по адресу женщин, которые готовы разорить ради своих прихотей государство.

Людовик слушал ее раскрыв рот. Он не мог поверить, что перед ним та самая принцесса, которая однажды спросила его: «Чего, собственно, хотят все эти бедняки?» — «Хлеба, — снисходительно объяснил он. — Они, видите ли, голодают». — «Да? (Король навсегда запомнил ее широко открытые, удивленные глаза.) Почему же они не едят пирожных? Это ведь намного вкуснее...»

Теперь она что-то говорила о благе нации раздраженно и зло. А закончила совсем уже непонятно:

— Уж не для того ли, чтобы Бемер водил в оперу девиц, украшенных бриллиантами, вы хотите заплатить ему за эту глупость? Право, зачем было собирать ожерелье из камней, которые легче продать по отдельности?

Пылавшие щеки королевы вдруг побледнели, и она в изнеможении откинулась на подушки. Сиделка пощупала пульс и, найдя его усиленным, стала умолять короля удалиться. Он тут же покинул спальню, осторожно прикрыв за собой дверь. Странный и, надо

сказать, оскорбительный для его особы гнев королевы сильно озадачил Людовика.

Все, конечно, можно было объяснить нездоровьем. Или тайным желанием, особенно острым из-за того, что исполнить его пока было трудно, ибо казна обременена долгами, а чернь только и говорит о расточительстве двора.

Ювелиры, однако, не отчаивались. Продемонстрировав ожерелье в европейских столицах и не найдя покупателей, они вновь попытались продать его французским королям. На этот раз они решили действовать исподволь. Выбор пал на ла Мотт. Прослышав об успехах графини, Бемер прибег к ее посредничеству, посулив за то ценные подарки. Но она холодно отклонила предложение, и дело на том застопорилось.

В это время распространился слух, что посланник де Суза ведет переговоры о покупке ожерелья для португальской королевы. Это вновь всколыхнуло в свете интерес к чудесным бриллиантам. Чувствовалось, что между коронованными дамами Европы идет подспудная борьба за обладание ими.

Госпожа де ла Мотт, которая отвергла только что заманчивое предложение Бемера, вдруг сама приехала к нему и объявила:

— Господин Бемер, к вам скоро явится кардинал де Роган, которому поручено приобрести у вас это ожерелье для королевы. Однако до окончательного совершения сделки дело следует держать в тайне... И будьте осторожны, ибо возможна афера.

Бемер без возражений согласился. Он знал, что королева дарит ла Мотт своим доверием. Кроме того, Роган несколькими днями ранее прибыл в Париж из Савернских владений. Все говорило за то, что приезд не был случайным.

И, действительно, на другое утро кардинал собственной персоной приехал к ювелирам, которые тут же раскрыли перед ним шкатулку с ожерельем.

— Мне поручено, господа, — сказал кардинал, — узнать крайнюю цену этого украшения.

— Один миллион шестьсот тысяч ливров, принц, — с поклоном ответил ему Бассанж. — Цена не изменилась.

— Мы долго питали надежду, что оно украсит величайшую из королев, — добавил Бемер. — Однако, видя, что лестная надежда эта рассеивается, мы были вынуждены послать рисунок принцессе Астурийской.

— А что бы вы сказали, господа, — кардинал многозначительно понизил голос, — если бы ожерелье взял я? Но не для себя, разумеется, а для особы, которая пожелала остаться неизвестной?

— Мы должны обсудить ваше предложение, принц, — ответил Бемер. — Вы же понимаете, что поскольку к ожерелью проявляли интерес коронованные особы...

— Я все понимаю, господа, но пусть эти соображения не тревожат вас... Кроме того, мне поручено вести все переговоры с одним лишь господином Бемером.

— К сожалению, я не могу вести переговоры о таком важном деле без участия компаньона, принц, — сокрушенно покачал головой Бемер, хотя отлично понимал, откуда ветер дует, поскольку королева знала только его одного.

— Хорошо, господа, мы еще вернемся к этому разговору, — сказал кардинал. — Мне должно узнать, буду ли я уполномочен вести переговоры с вами обоими.

Через два дня ювелиры получили собственноручное письмо кардинала, в котором он приглашал их к себе во дворец и просил привезти «известное украшение».

— Вы можете быть довольны, господа, — сказал он им при свидании. — Мне поручено взять у вас ожерелье за назначенную вами цену. Сумма будет выплачиваться частями каждые шесть месяцев. Это устроит вас?

Ювелиры поклонились. Но Бемер, у которого из головы не шло предупреждение ла Мотт о возможной афере, нашел в себе силы сказать:

— Одного вашего слова, принц, достаточно для любой рассрочки. Но нас, признаться, несколько пугает вся эта таинственность. Боюсь, как бы ее величество не остались недовольны... — Он был достаточно благоразумен, чтобы не прибавить более ни слова.

— Я понимаю вас, господа, — озабоченно кивнул Роган. — Но, возможно, мне вскоре удастся вас успокоить.

На том они и расстались.

Через неделю ювелиры вновь получили письмо с фамильным гербом и печатями дома Роганов. Нечего говорить, что в назначенное время их карета уже стояла у парадного подъезда кардинальского дворца.

— Мне разрешено сообщить вам, господа, — сразу же объявил Роган, как только ювелиры вошли к нему в кабинет, — что ожерелье покупает королева Франции.

Бемер и Бассанж почтительно поклонились и сделали вид, что весьма удивлены, хотя ла Мотт давно их об этом осведомила.

— Я прекрасно понимаю, что вам нужны подтверждения, — продолжал Роган. — Вот они. — И он протянул им лист, содержащий условия сделки, которые уже были приняты ими.

На полях было начертано: «Одобрено. Мария-Антуанетта Французская».

В Версале между тем происходило следующее. Мария-Антуанетта сидела перед венецианским зеркалом в хрустальной раме, а камеристка осторожно расчесывала черепаховым гребнем ее прекрасные волосы. В этот момент вошла королевская модистка мадемуазель Бертен и тут же выпалила новость:

— Знаменитое ожерелье, ваше величество, нашло наконец покупателя! Де Суза забрал его для португальской королевы!

— Ах, как я рада! — воскликнула Мария-Антуанетта, отстранив камеристку. — Я велю позвать Бемера и поблагодарить господина Суза за то, что он избавил меня от этого проклятого ожерелья!

И столько горькой иронии, столько неподдельной досады было в ее восклицании, что мадемуазель Бертен прикусила язычок.

Тут как раз доложили, что в приемной дожидается ювелир Бемер, который поспешил от кардинала в Версаль. Королева поспешно схватила какую-то книгу и сделала вид, что читает. Обыкновенно так она выражала свое недовольство. Заставив Бемера постоять у дверей, она несколько раз перелистнула страницы и только потом подняла глаза.

— Я очень рада, сударь, что вы продали ваше ожерелье, — сухо сказала она и отвернулась.

— Мое ожерелье, государыня?

— Да, ваше ожерелье, которое господин Суза посылает сегодня в Лиссабон.

— Помилуйте, государыня! — Бемер прижал руки к груди. — Ничего подобного! Сделка не состоялась! Мы вовсе не хотим, чтобы эта ставшая столь знаменитой драгоценность покинула Францию!

Королева бросила молниеносный взгляд на модистку, укоризненный и вместе с тем торжествующий, и милостиво отпустила Бемера. Он был достаточно благоразумен, чтобы ничего более не сказать.

В этот же день королева приняла перед обедней нескольких придворных дам и иностранных послов, среди которых был господин де Суза.

Как только португальский посол вошел, она тотчас же, вопреки этикету, направилась к нему и с живостью маленькой шалуньи сказала:

— Знайте, господин посол, что вы не получите ожерелья: оно уже продано.

Казалось, она даже готова была высунуть язык.

— Что вы имеете в виду, ваше величество? — удивился или же прикинулся удивленным посол.

— Вы не получите его, сударь, — торжествующе улыбнулась королева. — Я очень этим огорчена... — И, резко повернувшись, она возвратилась к своим дамам.

Эту странную сцену видело много глаз, и через какой-нибудь час ее на все лады обсуждали во дворце. К вечеру о ней заговорил весь Париж.

На другое утро кардинал де Роган получил от ювелиров шкатулку с ожерельем. Оставалось только вручить драгоценность королеве с глазу на глаз. Но как?

Вновь переодевшись в костюм садовника, кардинал отправляется в Версаль. Его сопровождает только камердинер Шрейбер, которому и поручено нести шкатулку с ожерельем. Приехали уже под самый вечер, когда цветы пахнут особенно сильно и первые летучие мыши начинают бесшумно кружить в зеленоватом еще небе. Улучив удобный момент, когда вокруг никого не было, кардинал выскочил из ка-

реты и бросился к дому ла Мотт. Уже у подъезда он принял шкатулку и знаком отослал слугу домой. Его ждали и сразу же провели в гостиную. А вскоре дворецкий доложил о приходе посланного от королевы. Кардинал сразу же прошел в наполовину открытый альков, куда ла Мотт вслед за ним ввела и посланца. Это был господин Лекло — личный камердинер королевы. Он вручил ла Мотт записку, которую та сразу же передала кардиналу. Записка содержала одну только фразу: «Вручить шкатулку подателю». Подписи не было. Приказание, однако, было незамедлительно исполнено.

Кардинал передал Лекло шкатулку, стоившую 1 600 000 ливров, ни о чем не спросив и не взяв у него расписки.

Он мог рассчитывать, однако, что королева, получив ожерелье, все же как-то его об этом известит. Так оно и произошло. На другой день его навестила ла Мотт и сообщила, что утром в Эль-де-Беф королева уведомит кардинала о получении шкатулки условным знаком.

— Каким? — нетерпеливо спросил Роган.

— Этого не уточняли, — ответила ла Мотт. — Но я думаю, сделают так, что вы поймете.

На следующее утро, проходя мимо кардинала, королева как бы невзначай поправила красный розан на корсаже.

Этого было более чем достаточно...

Не прошло и трех дней, как Роган стал торопить ювелиров отдать королеве визит благодарности. Очевидно, у него не было и тени сомнения в том, попала ли шкатулка по адресу.

Но ювелиры уже успели накануне исполнить этот приятный долг. Они лишь не уведомили о том кардинала, боясь оскорбить его недоверием.

И было бы странным, если бы они не отправились к королеве. Все же было так ясно и определенно. К тому же Бемер был еще в Версале, когда произошла знаменитая сцена с португальским послом. Единственное, что смущало его, так это выбор посредника. Королева могла найти более подходящее для этой цели лицо, чем одиозный великий милостынераздаватель.

Но, когда он вместе с компаньоном приехал в Версаль с визитом благодарности, королева встретила их очень милостиво. Разумеется, о беседе с глазу на глаз не могло быть и речи, поэтому пришлось ограничиться общими благодарными фразами. Мало ли за что может благодарить подданный свою государыню? Хотя бы за одно счастье лицезреть ее!

Мария-Антуанетта подарила их чарующей улыбкой и отпустила благосклонным кивком. Все было в порядке.

И вот совершенно неожиданно кардинал уведомляет ювелиров, что из письма, переданного ему госпожой де ла Мотт, стало известно, будто королева находит ожерелье чрезмерно дорогим и просит сбавить цену на 200 тысяч ливров. В противном же случае она вынуждена будет покупку возвратить.

Нечего говорить, что ювелиры были неприятно удивлены. Однако поставленное им условие приняли. Как бы слагая с себя всякую

ответственность за это дело, кардинал продиктовал им письмо к королеве. Оно гласило:

«Ваше величество! Мы счастливы думать, что полученные условия, которые нам были предложены и которым мы почтительно подчинились, служат новым доказательством нашей преданности и покорности приказаниям Вашего величества, и мы несказанно радуемся при мысли, что красивейшее бриллиантовое ожерелье мира будет украшать величайшую и лучшую из всех королев».

Пожалуй, трудно было бы выразиться более определенно. Рогану и ювелирам, не получившим до сих пор даже первого взноса, оставалось надеяться на столь же определенный ответ.

Письмо это от 12 июля 1785 года было подано королеве, когда она входила в свою библиотеку.

Королева прочитала письмо и, не выразив никакого удивления, сказала:

— Это не стоит хранить.

Подойдя к горящему шандалу, она небрежно сунула бумагу в огонь.

Ответа на письмо не последовало.

Срок первого платежа между тем неумолимо истекал. Близился день, когда ювелиры, не рискуя уже погрешить против этикета, могли потребовать первые шестьсот тысяч. Поэтому они предпочли подождать. Трудно сказать, насколько спокойным было их ожидание. Единственное, что могло подкрепить их надежды, было поведение причастных к сделке людей: графини и кардинала.

Ла Мотт спокойно жила в Париже и в Версале, задавала балы, скупала землю в Бар-сюр-Об и, более чем всегда, хвасталась интимной дружбой с королевой. Великий милостынераздаватель Франции тоже ни в чем не изменил привычного образа жизни и не считал нужным хранить тайну королевы. Он даже сказал как-то Сент-Джемсу, что видел в руках королевы 700 000 ливров, предназначенных, очевидно, для первого взноса.

— Вы вели переговоры непосредственно с королевой? — спросили его.

— О да! — не задумываясь, ответил он.

Узнав об этом разговоре, ювелиры успокоились. Но в день, когда истекал последний срок уплаты, кардинал призвал их к себе.

— Вынужден огорчить вас, господа, — сказал он. — Королева не может уплатить вам сейчас следуемую сумму. Она сделает это в октябре. Теперь же мне поручено выплатить вам тридцать тысяч ливров процентов.

— Но как же так, ваше преосвященство? — запротестовал Бемер. — Мы никак не можем ждать столько! У нас у самих подоспели неотложные платежи.

— Мы терпим убытки, принц! — взмолился компаньон. — Нельзя ли уплатить теперь же хоть часть? Ведь мы и так уступили двести тысяч.

— Ничем не могу помочь вам, господа! Я в этом деле только посредник, потому и расписку на тридцать тысяч прошу вас написать на имя ее величества.

Опечаленные ювелиры вынуждены были удалиться. Некоторое время спустя, Бемер посетил госпожу Кампан, которая была в библиотеке как раз в тот момент, когда королева сжигала письмо. Она рассказала об этом Бемеру, с которым имела дела, что несколько умерило его тревогу.

Теперь же он решил выяснить через госпожу Кампан финансовое положение королевы. Мысль об афере он загонял на самое дно.

— В какой форме были переданы вам приказания королевы, мой друг? — прямо спросила его госпожа Кампан.

— Посредством записок с собственноручной ее подписью, — ответил ювелир. — И с некоторого времени я вынужден показывать эти записки моим кредиторам, чтобы их успокоить... Если нам не заплатят и в октябре, мы будем разорены.

— Разве вы совсем ничего не получили?

— Почти ничего. При передаче ожерелья я получил тридцать тысяч ливров в билетах учетной кассы, которые были переданы мне по приказанию ее величества кардиналом... Можете быть уверены, он лично видится с ее величеством, так как, передавая эту сумму, сказал мне, что королева в его присутствии достала билеты из портфеля, лежавшего в бюро севрского фарфора, которое стоит в ее будуаре.

— Да, я слышала, — сказала госпожа Кампан, — будто кардинал то же сказал Сент-Джемсу и Бассанжу... Очевидно, так оно и есть. В противном случае эти люди могли бы легко установить истину... Значит, у королевы просто нет денег. Но это не делает ваше положение более легким, мой бедный друг.

Проводив ла Мотт, кардинал возвратился к себе в кабинет, где его уже ожидал взволнованный Бассанж.

— Кажется, вас запутали в скверную историю, принц, — сурово сказал он. — Мне стало известно, что барон де Бретейль был у королевы по вашему делу.

Услышав имя заклятого своего врага и начальника полиции, кардинал побледнел.

— Говорите, Бассанж, ради Бога говорите скорее!

— Подробностей я не знаю, но все выглядит очень скверно. Бретейль говорил с королевой весьма резко. Он заявил, что имя ее скомпрометировано преступным злоупотреблением. Королева казалась крайне взволнованной. Она заверила Бретейля, что не имеет никакого касательства к делу с ожерельем.

— Тогда я погиб, — прошептал кардинал.

— Я уверен, что вас запутала эта авантюристка ла Мотт! — вне себя от раздражения воскликнул Бассанж. — Недаром наш Калиостро был так настроен против нее! А он знаток людей, принц, вы не станете отрицать.

— Нет, ла Мотт не виновата, — покачал головой кардинал. — Нас обоих запутали.

— А я так уверен, что все это ее рук дело! Вы должны немедленно потребовать у нее объяснений в присутствии Бретейля.

— Никогда! Если откроется тайна моей переписки с королевой, ни мне, ни ла Мотт не миновать палача. Ей надо бежать, Бассанж! Бежать за Рейн! Уведомите ее об этом от моего имени. При сложившихся обстоятельствах мне трудно будет сделать это самому. Много людей осведомлено о последних событиях в Версале?

— Много? О совсем немного! Как всегда, весь Париж!

— Ну вот видите, Бассанж. Поспешите же к ла Мотт. Она столь же невиновна, как и я.

Но ла Мотт отказалась следовать полученному совету. Не выказав никакого беспокойства и не приняв даже минимальных предосторожностей, она выехала вместе с мужем в Бар, где продолжала жить столь же открыто и широко.

И хотя все уже знали о скандальном докладе Бретейля, она продолжала вести себя как ни в чем не бывало. Более того, герцог Пантьевр не только принял ее, когда она нанесла ему визит в Шатовилене, но и оставил к обеду. Это удивило всех. Рассказывали, что герцог сам проводил ее до дверей второго салона — честь, которой он не удостаивал даже герцогинь и оказывал лишь принцессам крови! Столь же высокий прием оказал ей и аббат в Клерво. В аббатстве как раз собрались поужинать, когда вошел новый гость, только что приехавший из Парижа. На вопрос, что нового в столице, он изумленно раскрыл глаза:

— Как? Вы ничего не знаете? Кардинал Людовик Роган арестован!

Присутствующие буквально онемели. Ла Мотт слегка побледнела и велела немедленно запрягать.

— Надеюсь, вы незамедлительно покинете Францию? — спросил ее аббат. — Я одолжу вам денег.

— Ни за что! — с досадой отмахнулась она. — Я-то тут при чем? Меня тревожит лишь судьба кардинала. Я еду к себе в Бар.

Еще большее спокойствие продемонстрировал ее супруг. Когда карета графини на взмыленных лошадях влетела в Бар, его не оказалось дома. Еще с утра он уехал с приятелем на охоту.

Кардинал де Роган действительно был арестован. И арест его выглядел поистине ужасно. Только лютой злобой Бретейля можно объяснить, что для этой цели был выбран день Успения.

Двор только собирался отправиться на богослужение. Все уже были в сборе. Великий милостынераздаватель находился в это время в церкви в полном епископском облачении. Неожиданно к нему подошел лейтенант черных мушкетеров с приглашением немедленно последовать в кабинет короля. Когда смертельно бледный Роган переступил порог кабинета, там уже ждали его сам Людовик, королева, хранитель государственной печати и, конечно, барон Бретейль.

— Что это за ожерелье, которое вы будто бы доставили королеве? — резко и прямо спросил король.

Роган завертелся, как пойманный зверь.

Но ни в чьем взгляде не встретил сочувствия.

— Меня обманули, сир... — беспомощно залепетал он. — Меня обманули...

— Как же это могло случиться? — спросила вдруг королева.

Этот вопрос совершенно доконал кардинала. Он жалко улыбнулся, но, овладев собой, посмотрел королеве прямо в глаза тяжелым и отнюдь не почтительным взглядом. Она не выдержала и отвернулась.

— Мне трудно оправдаться перед вами, сир, — сказал он, поворачиваясь к королю. — Все так внезапно, так неожиданно... Позвольте ответить вам в письменной форме? Клянусь, сир, я совершенно невиновен!

— Хорошо, — сказал король, — пройдите в соседнюю комнату и напишите все, что считаете нужным.

Роган вышел, шатаясь. Епископское облачение болталось на нем, как на пугале. Он был совершенно сломлен. Что же окончательно сразило его? Суровость короля? Но к ней надо было быть готовым. Может быть, вопрос королевы?

Когда он возвратился в кабинет с оправдательной бумагой в руках, король встретил его еще более сурово.

— Отдайте это Бретейлю, сударь! — отмахнулся он. — Это дело полиции!

— Меня хотят арестовать? — шепотом спросил кардинал. — Ах, государь! Я всегда готов повиноваться приказаниям вашего величества, но избавьте меня от позора быть арестованным в архиерейском облачении, на глазах всего двора.

— Так и должно быть, — неумолимо ответил Людовик.

Когда Роган выходил из кабинета, за спиной его прозвучал визгливый голос Бретейля. Барон не смог сдержать нетерпения и, самовольно присвоив себе права начальника дворцового караула, отдал приказ:

— Арестуйте кардинала!

Роган замер, словно ему в позвоночник впилась пуля, потом согнулся и, как бы преодолевая встречный порыв ветра, резко подался вперед. За дверями его с почтительным поклоном встретил молодой лейтенант гвардии.

Проследовав вдоль длинной галереи дворцовой церкви, опальный кардинал увидел в конце ее своего форейтора. Лейтенант оказался настолько любезен, что отошел в сторону.

— Одну минуту, господин офицер, — задержал его кардинал. — Не найдется ли у вас карандаша?

Взяв карандаш, он быстро набросал на клочке бумаги несколько строк и отдал записку слуге, прошептав ему что-то по-немецки.

Форейтор тут же выбежал из церкви и, вскочив на коня, во весь опор помчался в Париж.

Когда он спешился у кардинальского дворца и слуги хотели увести коня, загнанное животное упало на землю, чтобы уже не подняться.

Записка попала к аббату Жоржели весьма своевременно. Он успел собрать всю переписку Рогана в портфель, который и спрятал затем в надежном месте. Однако обыск, которого так опасался Роган, был произведен лишь через четыре часа после ареста. В чем причина столь странного промедления? Может быть, опасались обнаружить слишком многое?..

Вечером принц де Роган был препровожден в Бастилию. Парижане были изумлены. Правительство действовало в духе старых добрых традиций. Но времена давно изменились, и традиции эти могли вызвать лишь насмешку и омерзение. Безумство полицейской акции воспринималось, как признак сумятицы. Режим терял реальную власть.

Вскоре стало известно, что король предложил Рогану на выбор парламентский суд или королевское милосердие. Оскорбленный процедурой ареста кардинал выбрал суд. Это его решение раскололо страну на два лагеря. Кардиналу, не способному играть серьезные политические роли, было суждено сделаться символом грядущих перемен. Но даже закаты дряхлеющих монархий трагикомичны.

Парламент торжествовал. Впервые князь церкви отдавался на его суд. Более того, от решения этого суда зависела честь королевской семьи. Аристократия сочла себя оскорбленной. Буржуа в красных тогах собирались копаться в грязном белье самых высоких фамилий королевства. Не было ли это началом новых времен? Гнев дворян, сменивших по велению моды красные каблуки на толстые подошвы и пышное шитье со знаком дворянского достоинства на грубые суконные костюмы, обратился отнюдь не против опального кардинала. Роган был одним из них, и лишь по вине бездарной и ленивой власти этот отпрыск знатнейшей семьи предстанет теперь перед потешающейся толпой.

Высшее же духовенство открыто негодовало. «Простые клирики, — говорилось в протесте от 18 сентября 1785 года, — имеют специальных судей, указанных в законе, а епископский чин, права которого освящены столькими историческими памятниками, не пользуется такой же привилегией! Епископ, обвиняемый в преступлении, должен быть судим епископами же».

Роган присоединился к этому протесту. Но разгневанный папа грозился лишить его кардинального сана за то, что он не отклонил формально и безусловно юрисдикцию парламента.

Безрассудная акция Бретейля восстановила против власти добрую половину королевства. Точнее, она просто ускорила этот неизбежный процесс. Даже ярые монархисты заколебались, ощутив нарастающий страх. Суд, каков бы ни был его приговор, неизбежно соединит альков королевы с фантазией народа. Это будет крушением божественного принципа королевской власти. Но, как блестяще скажет потом об этих событиях Луи Блан, Людовик XVI подчинился закону, не зависящему от расчетов человеческого благоразумия, ибо революция уже началась.

Действительно, не пройдет и четырех лет, как падет Бастилия...

Но как бы ни была бессильна потерявшая реальную власть над событиями монархия, скандального ареста в день Успения она могла бы избежать. Королева пошла на страшный риск, загнав в угол человека, разоблачения которого по меньшей мере были бы ей неприятны. Почему она все же так поступила?

Барон де Бретейль, начальник полиции, люто ненавидел Рогана, сменившего его когда-то на посту посла Франции при австрийском дворе. Надо сказать, что это была весьма успешная замена. Но тем более было у Бретейля оснований, чтобы превратить арест врага в грандиозный скандал. О, если бы королева по-прежнему находилась высоко, и брызги мирской грязи не достигали бы даже ее подошв, ничего не стоило бы тогда осадить ретивого полицейского! Но вот беда: королеве самой приходилось выкручиваться, вести себя так, чтобы ничтожный пройдоха Бретейль не заподозрил ее. Могла ли она в этих условиях сказать хоть слово в защиту Рогана? Королева — могла; слабая, запутавшаяся женщина — нет. Мария-Антуанетта сыграла жалкую роль слабой женщины. Более того, она позволила себе сделать самую низменную ставку. Ее поведение в кабинете было продиктовано не только смятением, не только страхом перед разоблачением, но и холодным расчетом. Она могла не опасаться отчаяния доведенного до крайности Рогана. В его интересах было молчать. Одно лишь слово об интимной связи с королевой было бы для него равносильно смертному приговору.

И он молчал. А события летели, как неуправляемая, теряющая колеса телега с обрыва.

18 августа арестовали в Баре госпожу де ла Мотт. У нее тоже оказалось предостаточно времени, чтобы сжечь письма кардинала, полные честолюбивого бреда и игривых, любовных вольностей.

На первом же допросе ла Мотт оговорила Калиостро. Она хорошо отомстила ему за то мнение, которое он составил себе о ней при первом знакомстве. Божественный Калиостро, как всегда, не ошибся, но его правота отдавала горечью.

Калиостро знал о сказочном ожерелье и даже, кажется, видел его у Бемера. Особый интерес, впрочем вполне понятный для непревзойденного знатока камней, он проявил к винно-красному алмазику. Говорили, будто он готов был купить ожерелье только из-за одного этого диковинного камня. Но ювелиры не решились продать наделавшее столько шуму в королевских семьях ожерелье загадочному иностранцу.

Впрочем, это были одни лишь слухи. Документально зафиксирован только оговор ла Мотт, которая показала, что виновником аферы с ожерельем был не кто иной как Калиостро. Еще она обвинила его в ереси и заговорщической деятельности. Знаменитый некромант, якобы получив от дьявола эликсир бессмертия, задумал погубить душу католического епископа — кардинала Рогана. Оный Калиостро выманил у Рогана фамильный епископский аметист — реликвию и святыню, принадлежавшую некогда епископу Азорскому кардиналу Гвидо Сантурино, которую предал тайным поругани-

ям на нечестивой черной мессе. Далее ла Мотт понесла совсем уже несусветную чепуху про каких-то бессмертных, оживших сожженных и про красный глаз во лбу медного идола, дающий будто бы силу читать мысли и видеть будущее.

Но иезуиты из Франции были изгнаны, а святейшая инквизиция упразднена. Что же касается вольнодумства и тайных наук, то кто этим теперь не занимается? Поговаривают, что и сам король не чужд алхимии. Поэтому такие обвинения в знаменитом деле Калиостро более не фигурировали. Зато все, что касается ожерелья, было тщательно занесено в протокол и передано лично Бретейлю.

Начальник полиции потребовал ареста Калиостро. Король вначале заколебался. Сеансы омоложения не были еще доведены до конца, а на расспросы его о философском эликсире, коим владели в этом мире всего три человека — Агасфер, Сен-Жермен и сам Калиостро, — граф отвечал пока очень уклончиво. Людовик заколебался и отказал Бретейлю. Но когда барон заговорил о чести королевы, слабовольный король сдался и уступил.

В тот же день Калиостро арестовали и препроводили в Бастилию, в ту же башню, где уже страдал Роган. Сверкающая судьба его была омрачена тенью. Очевидную клевету ла Мотт неправедный суд мог превратить в смертный приговор. Но граф Калиостро отдался в руки полиции с ясной и безмятежной улыбкой, словно не провидел для себя в грядущем никаких неприятностей. В камеру он вошел с кроткой улыбкой.

Париж ответил на известие об его аресте грозным ропотом. Кумир толпы, почти что новый мессия, брошен в узилище властью, разъедаемой коррупцией и развратом. От Бога ли эта власть?..

Достойно внимания, что граф ла Мотт, узнав об аресте жены, сам отдался в руки полиции. Но его почему-то оставили на свободе. Может быть, опасались твердого влияния этого решительного и мужественного человека на истеричную, склонную к видениям женщину? Благо он сам был когда-то жандармом и знает все полицейские штучки.

Скорее всего, Бретейль руководствовался именно этими соображениями, потому что сразу же после ареста ла Мотт подверглась интенсивному психологическому натиску. Коварные советы, которые давал ей якобы сочувствующий и верящий в ее личную невиновность следователь, преследовали двоякую цель: обелить королеву и погубить Рогана. Впрочем, двоякость эта была кажущейся, скорее следовало говорить о двух сторонах одной медали.

По своему обыкновению полиция хотела прикрыть скандальный арест дутым процессом, а замаранная власть безмолвствовала. Во избежание же нежелательных разоблачений узнице через комиссара Шенона дали понять, что если только она назовет одну особу — неприкосновенную! — то поплатится жизнью.

— У вас есть только одна возможность, — комиссар внезапно сменил запугивание дружеским советом, — свалить все на кардинала. Право, он не заслуживает, чтобы его щадили. Зачем вы его

выгораживаете? Ведь он-то вас не пожалел. Во всем обвинил именно вас. Да и что ему оставалось делать? Он же тоже должен благоразумно избегать... тех же самых имен. Но вообще-то это ваше дело... Только имейте в виду, что у вас есть всего две возможности: либо обвинить кардинала, либо покорно позволить ему обвинять вас. Третьего не дано, графиня.

Комиссар действовал по испытанному полицейскому правилу, но он не лгал своей узнице. Кардинал действительно был поставлен в то же самое положение, что и ла Мотт. И, конечно, они стали давать показания друг против друга. В этом ключ всего процесса, которому суждено было пройти в полном мраке, ибо единственное имя, способное все разъяснить, не могло быть названо в зале суда.

Пока шло следствие, полиция не дремала. Дело разрасталось, как снежный ком, что было чревато опасными последствиями для самих его устроителей, но ситуация уже вышла из-под контроля. Как часто бывает в таких случаях, слепая стихийная сила управляла событиями, и никто не мог этому противостоять.

В Брюсселе была задержана некая мадемуазель Олива. На первом же допросе она показала, что по наущению ла Мотт сыграла во время сцены в парке роль королевы. В это же самое время в Женеве арестовали Рего де Вильета, который сознался в том, что та же ла Мотт заставила его подделать почерк королевы и начертать те роковые слова: «Одобрено. Мария-Антуанетта Французская».

Только убогому мышлению королевских юристов могло показаться, что таким путем удастся обелить августейшую особу и с честью провести процесс. Он был проигран еще до начала, невзирая на то, лгали Олива и де Вильет или говорили правду.

Но успехи полиции не ограничивались только этими показаниями. Ирландский капуцин и тайный иезуит Мак-Дермот сообщил, что граф ла Мотт (ему почему-то беспрепятственно дали покинуть Францию) продал в Лондоне ювелиру Грею несколько великолепных бриллиантов на общую сумму в 10 000 фунтов стерлингов. Грей, допрошенный через посредство французского поверенного в делах, полностью подтвердил слова капуцина. Более того, он показал, что граф ла Мотт в числе прочих продал ему и чрезвычайно редкий камень винно-красной воды.

Сомнений быть не могло. Это был алмазик из бемерова ожерелья. Как уверяли знатоки, второго такого не было на земле. К великому сожалению. Грей уже успел перепродать его (за 8000 фунтов) какому-то фламандцу, по виду важному вельможе, с офицерским крестом Мальтийского ордена на шпажном банте. Так этот камушек и сгинул бесследно.

Все эти факты были убийственны для госпожи ла Мотт.

Вот как она объяснила их сначала на тайных допросах в тюрьме, потом в нелегальных брошюрах, которые появились сразу же после суда:

«Я признаю, что мадемуазель Олива действительно сыграла в ту ночь королеву. Но это еще ни о чем не говорит. Почему она так

сделала? Да потому, что этого хотела сама королева! Спрятавшись за деревьями, она сама присутствовала при этом свидании. Она, собственно, сама и придумала эту невинную шутку. Это было забавно и оригинально. Кроме того, ее величеству хотелось, не рискуя ничем, испытать скромность кардинала. Как можно подумать, чтобы без приказания королевы я осмелилась задумать интригу, которую так легко было обнаружить? Разве рискнула бы я выбрать для преступного деяния оскорбления величества полночный час и сад Версальского дворца? Я же знала, что ночные прогулки, дозволявшиеся в 1778 году, ныне запрещены, и королевская резиденция бдительно и строго охраняется! Если бы был один только вымысел с моей стороны в этой любви, столь лестной для кардинала, то разве не выгоднее для меня было бы продлить его заблуждение? А я вместо этого безрассудно устраиваю ему обманное свидание, которое наверняка воспламенит его надежды и внушит уверенность, что он может хоть завтра приблизиться к королеве и заговорить с ней о своей любви! Наконец, он захочет повторить свидание, с каждым разом становясь все настойчивее и требовательнее.

Разве это не усиливало опасность разоблачения лжекоролевы? Разве от такого разоблачения не пострадала бы и я сама? Достаточно было бы одного слова настоящей королевы, чтобы обнаружить обман и ввергнуть меня в бездну! Выходит, что я сама сознательно губила себя!

Теперь относительно подписи... Действительно, слова «Одобрено. Мария-Антуанетта Французская» формально были написаны Рего де Вильетом, но сделано это было с полного согласия королевы и кардинала. Мы придумали этот маленький план сообща, считая его полезным и малоопасным, ибо такая подпись не является личной и не может считаться подлогом. Она понадобилась лишь для того, чтобы побудить Бемера отдать ожерелье, не компрометируя ни королеву, ни ее посредника-кардинала. В самом деле, было бы очень странно, если бы кардинал де Роган, бывший посол и царедворец, не знал, как подписывается королева в действительности. Разве, состоя великим милостынераздавателем, он не получал от нее письменных приказаний? Разве австрийская принцесса могла подписаться так? Или слово «Французская» не бросилось ему в глаза? В том-то и дело, что это была наша общая придумка: королевы, Рогана и моя.

Что же касается бриллиантов, проданных графом де ла Моттом в Лондоне, то они принадлежали лично мне. Я получила их в подарок от ее величества. Неужели не ясно, что королева не могла надеть знаменитое ожерелье в его первозданном виде? Она же отказалась взять его в свое время из рук самого короля! Разве не ясно? Не оставалось ничего другого, как разобрать ожерелье на отдельные камни, чтобы потом сделать новое, совсем по другому рисунку. При такой переделке оказались лишние бриллианты, в том числе и тот, красный, который так легко было бы узнать. Кому еще могла подарить их королева? Разумеется, только мне, близкому человеку, посвященному в тайну...»

Само собой разумеется, что эти показания госпожи де ла Мотт на процессе не фигурировали. И все же они выплыли наружу и приобрели важное значение, может быть преувеличенное, что неизбежно, однако, в закрытых процессах.

Полностью игнорируя показания госпожи де ла Мотт, нельзя ни понять, ни объяснить ряд всплывших на процессе фактов, достоверность которых, на беду устроителей, оказалась бесспорной...

Впрочем, толковать их можно было двояко, в зависимости от интересов того или иного лагеря: партии королевы и партии кардинала.

Настала пора очных ставок. Госпожа де ла Мотт повела себя смело и агрессивно, нередко впадая в буйство. Казалось, она по-прежнему была уверена в собственной безопасности.

Кардинал не выдерживал ее горящего то ли ненавистью, то ли безумием взгляда, отводил глаза и начинал путаться в показаниях. Не легче приходилось и следователям. Судьи опасались ее буйных выходок, свидетели краснели и замолкали в испуге. Твердо держась первоначального намерения валить все на Рогана, она избегала называть имя королевы. Но сколько раз оно готово было сорваться с ее губ! Она тут же сбивалась и начинала нести околесицу, запутывая следствие и сама путаясь в детской какой-то лжи. Сознавая, что ее несет куда-то не туда, она замолкала и, впадая в бешенство, подымала крик:

— Пусть остерегаются! Если меня доведут до крайности, я заговорю!

Трибунал приходил от этой слишком ясной угрозы в уныние и ужас.

Однажды ла Мотт не выдержала и, окончательно завравшись по поводу переписки кардинала, выкрикнула:

— Это письмо было от королевы! От королевы! И начиналось оно так: «Посылаю тебе...»

Ее тут же увели.

Граф Калиостро, по примеру других обвиняемых, выпустил оправдательную брошюру. В ней в частности говорилось: «...Я провел свое детство в Медине, под именем Ахарата, во дворце муфтия Салагима. Моего наставника звали Алтотасом. Это был замечательный человек, почти полубог, обстоятельства рождения которого остались тайной для него самого... Я много путешествовал и удостоился дружбы со стороны самых высоких особ. Чтобы не быть голословным, перечислю некоторых из них: в Испании — герцог Альба и сын его герцог Вескард, граф Прелата, герцог Медина-Сели; в Португалии граф де Сан-Виценти; в Голландии — герцог Брауншвейгский; в Петербурге — князь Потемкин, Нарышкин, генерал от артиллерии Мелисино; в Польше — графиня Концесская, принцесса Нассауская; в Риме — кавалер Аквино, на Мальте — гроссмейстер ордена.

В разных городах Европы есть банкиры, которым поручено снабжать меня средствами как для жизни, так и для щедрой благотворительности. Достаточно вам обратиться к таким известным финансистам, как г. Саразен в Базеле, Санкостар в Лионе, Анзельмо ла Круц в Лиссабоне, и они с готовностью подтвердят мои слова.

Я не имею никакого касательства к делу об ожерелье. Все выдвинутые против меня обвинения — бездоказательная клевета. Они могут быть легко опровергнуты, что я и сделаю ниже. Сами же обстоятельства этого дела меня не интересуют, и я не считаю возможным для себя их обсуждать...

Я написал то, что достаточно для закона, и то, что достаточно для всякого другого чувства, кроме праздного любопытства. Разве вы будете добиваться узнать точнее имя, мотивы, средства незнакомца? Какое вам дело до этого, французы? Мое отечество для вас — это первое место вашего королевства, где я подчинился вашим законам: мое имя есть то, которое я прославил среди вас; мой мотив — Бог: мои средства — это мой секрет».

Эта записка, где к грубым хитросплетениям и реминисценциям из арабских сказок и рыцарских романов примешивается и некоторое величие, умножила число философских масонов, видевших в Калиостро своего учителя.

Такова была эпоха, когда жажда чуда и предчувствие исторических катаклизмов выливались в восторженную истерию. Не Вольтер и не Дидро были властителями душ, а врачеватель Месмер, объединивший людей через открытый им животный магнетизм.

Все громче стали раздаваться голоса, требовавшие немедленного освобождения божественного Калиостро.

Внезапно распространились слухи, что граф де ла Мотт хочет покинуть Англию, чтобы предстать перед парламентом и выложить всю правду. Говорили, что на него было даже организовано покушение, которое лишь по глупой случайности не удалось. Трудно сказать, была ли в этом сообщении хоть доля правды. Но если Бретейль и не собирался убрать нежелательного свидетеля, то заткнуть ему рот все же попытался.

Процесс явно уходил из рук полиции. Ропот по поводу ла Мотта грозил его окончательно провалить. В самом деле, если полиция могла арестовать в Брюсселе двух важных свидетелей, то почему нельзя сделать того же в Лондоне, где находится еще более важный свидетель? Разве это не он продал бриллианты из ожерелья? Разве это не он собирается теперь все рассказать суду? В чем же дело наконец? Может быть, в том, что первые свидетели дали показания против госпожи ла Мотт, а этот даст их против кардинала?

Возможно, полиция и не была здесь виновата. Олива и Вильет были арестованы, возможно, вопреки ее желанию, по инициативе Верженна. Теперь же Верженн из дружбы к кардиналу не хотел проявлять такой же инициативы. Партия кардинала открыла войну против партии королевы. И не было реальной власти, которая могла бы заставить Верженна делать то, что он не желает. Правила игры неожиданно усложнились.

В ответ на запрос парижской полиции по поводу задержания ла Мотта Верженн даже не нашел ничего лучшего, чем сослаться на нормы международного права. В Брюсселе и Женеве они его почему-то мало беспокоили.

Для формы он сделал английскому правительству представление, в котором просил о выдаче графа де ла Мотта. Но, получив столь же формальное возражение, в котором его просили уточнить обстоятельства вины графа, он более не настаивал.

Тайный агент французской полиции ле Мерсье, узнав, что дело с выдачей ла Мотта затягивается на неопределенный срок, сделал Верженну совершенно официальное предложение. Вот его текст:

«Если для ареста известной особы одной ловкости будет недостаточно, то можно употребить силу, чтобы привести эту особу на берег Темзы, в какое-нибудь уединенное место, где должен стоять наготове, хотя бы и две недели, если понадобится, один из тех кораблей, которые снабжают Лондон каменным углем. На этих судах стенки и палуба такой толщины, что невозможно было бы услышать крик человека, запертого в трюме».

Верженн, человек, много лет направлявший европейскую политику Франции, посол при многих дворах, на глазах которого обделывались и не такие дела, с негодованием отказался. А граф де ла Мотт, как видно, вовсе и не собирался прибыть в Париж.

Конечно, в интересах королевы было бы увидеть графа представшим перед судом. Разумеется, лишь в том случае, если он поддержит линию, которая была внушена его супруге, и во всем обвинит кардинала. Но согласится ли он на это? Выяснить намерения ла Мотта было поручено французскому послу в Англии господину Адемару. Это было тем более удобно, что, в отличие от Верженна, своего прямого начальника, Адемар поддерживал партию королевы.

Ла Мотт получил от него такие заверения, такие заманчивые авансы, что безоговорочно согласился выступить против кардинала. Он уже готовился сесть на корабль, идущий в Кале, как все переменилось.

Королева опоздала. Партия кардинала ускорила развязку. Атакованный со всех сторон парламент наконец склонился в определенную сторону. Советники, засыпанные ходатайствами и одурманенные сладкими обещаниями, неясность которых только удваивала их прелесть, вынесли свое решение. Впервые власть столь явно уступила нетерпению народа.

Генерал-прокурор указал в официальном заключении, что Вильета и графа де ла Мотта, который пока еще оставался в Англии, следует приговорить к бессрочной каторге, графиню де ла Мотт — к наказанию плетьми, клеймению и пожизненному заключению в Сальпетриере, кардинала — к удалению от двора, лишению всех должностей и духовного сана, мадемуазель Олива от суда освободить, а графа Калиостро полностью от всех возведенных на него обвинений оправдать.

Мнение генерал-прокурора поддержали оба докладчика, после чего оно было принято четырнадцатью советниками. Однако пункт, касавшийся кардинала Рогана, встретил резкие возражения. Стало ясно, что его нелегко будет провести в суде.

Перед вынесением приговора обвиняемых, как положено, подвергли последнему допросу. Один за другим они покидали следственный кабинет и входили в переполненный зал, где стояла уже позорная скамья.

Первым на нее опустился Вильет и, весь в слезах, полностью во всем покаялся. Затем ввели ла Мотт, в простом платье и с ненапудренными волосами. Она вошла твердо и внешне спокойно, только глаза ее. окруженные синей тенью, лихорадочно и сухо блестели. Но, увидев скамью, она вся передернулась, а лицо ее исказила мгновенная гримаса. Все же она скоро овладела собой, осторожно присела на самый краешек и даже сумела улыбнуться.

Но когда она узнала уготованную ей участь, то пришла в совершенное бешенство. Пока судьи читали приговор, четверо служителей держали ее, рычащую и бьющуюся, буквально на руках. Ни у кого из них не нашлось силы, чтобы поставить ее на колени. Пришлось крепко связать графиню и вытащить после зачтения приговора из зала. Но во дворе суда она, перестав на минуту вопить, крикнула:

— Если так третируют потомков Валуа, какая же участь ожидает кровь Бурбонов? — Выкрикнув эти пророческие слова, она истерически засмеялась и, обращаясь к народу, почти спокойно сказала: — Это по собственной вине я подвергаюсь такому позору. Стоило сказать мне только одно слово — и я была бы повешена!

Ей тут же заткнули рот.

Она не смирилась до самого конца и продолжала буйствовать в руках палача. Поэтому раскаленное железо, которое должно было заклеймить плечо, прожгло ей грудь.

В Сальпетриер она была доставлена в жутком виде: растрепанная, исцарапанная, в крови и копоти, полунагая, спеленатая веревками, почти безумная. Но и там она нашла в себе остаток сил, чтобы выкрикнуть сорванным голосом последнее проклятие.

И все же не ее судьба столь сильно волновала грозно рокочущие толпы парижан, собравшихся в этот день у здания суда.

Все с замиранием сердца ожидали выхода де Рогана.

Служители подняли и унесли скамью подсудимых. Зал встретил этот недвусмысленный знак шумным вздохом. И все же никто до самого конца не знал, каким будет приговор.

Роган вошел в зал в длинном парадном одеянии. Он сильно побледнел и похудел за эти дни. Выглядел уныло и сумрачно. Приглашенный судьями сесть, он, как бедный, забитый проситель, беспомощно оглянулся и остался стоять. У некоторых судей навернулись на глаза слезы жалости.

В этот день 31 мая 1786 года члены фамилии Роган и члены дома лотарингского пришли к тому месту, где должны были проследовать в зал судьи, еще в четыре часа утра. Все они — мужчины и женщины — надели глубокий траур. И когда огненные мантии парламента прорезали эти черные стены, замершие по обеим сторонам прохода, стояла страшная тишина. Казалось, что возвратились времена салических франков или феодальных войн.

Но приговор был оправдательным. Принц Эдуард де Роган от обвинения был освобожден.

Париж встретил это известие взрывом восторга. Кардинал оправдан! Это значит, что королева, пусть и негласно, осуждена. Парламент возвысился над легитимной монархией. Роган, который не мог прославиться доселе даже скучной обыденностью своих пороков, стал вдруг знаменем парижан.

Когда президент и советники вышли из сумрачного зала на слепящее солнце, их оглушили вопли восторга и возгласы: «Да здравствует парламент! Да здравствует кардинал!» Рыночные торговки осыпали судей цветами. Когда же, неуверенно улыбаясь и щурясь на свет, показался Роган, восторг толпы достиг наивысшего накала. Люди окружили карету, которая на время должна была отвезти его обратно в Бастилию, и. тесня и толкая друг друга, бросились целовать полы его одежды.

С таким же ликованием было встречено и появление Калиостро. Неудивительно, что никто не заметил, как к графу подошел какой-то седой худощавый человек и, сделав таинственный знак рукой, передал какую-то записку.

Впоследствии утверждали, что это был господин де Казот. Возможно, так оно и было на самом деле.

Как же прореагировали на решение суда королевская семья? Как она встретила первый порыв нарастающей революции? Королева заплакала и, отказавшись от обеда, заперлась в будуаре. Король расстроился и на ближайшем же приеме заявил, что Роган просто-напросто вор. Заявление это встретило гнетущее молчание. Людовик вспылил и, переполняя чашу ошибок и неудач, заявил, что отправит Рогана в изгнание.

На другой день, блюдя королевское слово, ему пришлось подтвердить эту глупость в письменной форме. Логика требовала изгнать и также полностью оправданного парламентом Калиостро, что король и сделал. Но прежде чем граф покинул Париж, Людовик XVI смиренно просил его о частной беседе. Такая беседа вскоре состоялась в Фонтенбло. Король умолял Калиостро изгладить в сердце память о перенесенном унижении и принять в знак дружбы те самые драгоценные реликвии французских королей, которые так заинтересовали графа в их последнюю встречу.

Никто не знает точно, что увез Калиостро в своей карете из Парижа. Зато с уверенностью называли сумму, которую король получил взамен. Это был вексель на два миллиона ливров, который должен был учесть тот самый Санкастр из Лиона, подтвердивший вместе с другими финансовые полномочия Калиостро перед парламентом. Если учесть, что ожерелье стоило полтора миллиона, то можно было лишь смутно догадываться о характере королевских реликвий.

Нечего говорить, что нашлись люди, заявившие, будто чуть ли не собственными глазами видели, как граф, вручая королю чек, присовокупил к нему в качестве личного подарка еще и хрустальный флакон с кроваво-красной жидкостью. Не оставалось сомне-

ний, что это и был знаменитый эликсир бессмертия. Почему-то добавляли еще, что Калиостро не рассказал королю, как его надо принимать, по причине чего толку из этого не будет. Может быть, в это не очень-то верили, и все же парижанам было приятно сознавать, что их любимец оказался щедрее короля, обманутого мужа ненавистной австриячки. Как бы сказал по этому поводу сам Калиостро: «Se non e vero, e ben trovato»[1].

Глава 25

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Получив из типографии сигнальный экземпляр книги Ю. Березовского, Гена Бурмин позвонил счастливому автору. Через час они уже сидели в ресторане «София». Событие необходимо было отметить.

В ожидании шкварчащей на раскаленных угольях сковороды с агнешком они посасывали ломтики бараньей колбасы и пили холодный «димиат» под шопский салат с брынзой.

— Да, старик! — Березовский щелкнул языком и блаженно закатил глаза. — Брынзу надо уметь готовить! Вот когда я отдыхал на Золотых песках, так там была брынза!.. Поперчишь ее, мамочку, польешь оливковым маслом, винным уксусом сбрызнешь и все это смешаешь с помидорно-сметанным соком... А еще очень хороша брынза, запеченная в пергаменте. В ресторане «Трифон Зарезан» это коронное блюдо...

— Вообще, — согласно закивал Гена, прихлебывая винцо, — нет ничего лучше первозданных плодов. Возьми хотя бы ту же брынзу — исконный овечий сыр. Что нужно было древнему греку? Ломоть сыра, горсть олив, кисть винограда и, конечно, мех с вином.

— И еще мед в сотах, только чтоб обязательно на листе винограда или инжира.

— Верно... Кухня стран средиземноморского бассейна осталась в своей основе такой же, что и во времена Одиссея. Рыбу, к примеру, древние греки не очень-то уважали...

— Не скажи! Не скажи! — запротестовал Березовский. — Не знаю, как греки, но в той же Болгарии я ел, может быть, лучшую в своей жизни рыбу... Это было в маленьком кабачке «Морской дракон» у самого моря. Представь себе кусок пляжа, отгороженный висящими на шестах сетями, столики в виде яликов, поплавки там всякие, якоря — это и есть «Дракончик». Да... Официанты в драных тельняшках и с красными платками на шее, и кормят — с ума сойти можно! И вот, представь, сижу я в таком ялике и гляжу на вечереющее тихое море. Невероятная луна медленно всплывает в этакой лазурной дымке, едва дышит прибой, где-то играет музыка, а мне приносят огромное блюдо раков, печеные мидии и огромную

[1] Если это неправда, то хорошо придумано *(итал.)*.

пеламиду на скаре! Каково? И плюс ко всему холодное пиво «Радебергер»! И рюмочку «Мастики» для пущей прохлады. Польешь в нее немного воды, и она тут же побелеет, как молоко, — кристаллы аниса выпадут... Самое питье в жару!

— Ты один в этом райском ялике сидел?

— Что? Неважно... Кстати, в этот день в «Дракончике» был морской праздник. Это зрелище, доложу тебе! Такого я не видал! Прямо на песке зажгли костры из сухого тростника. Не успели они прогореть, как тут же подкинули новую порцию. Пламя горит, искры летят, жар невозможный. Но наши пираты в тельняшках только, знай себе, подбрасывают. Хворост какой-то особый, сухую лозу и, конечно, все тот же тростник. Когда все это наконец прогорело, они разгребли угли граблями, и получился огненный ковер, что-нибудь метра два на четыре. И что ты думаешь? Притушив солью последние языки пламени, они разулись и устроили пляску на раскаленных углях! Босиком, старик! Каково?

— Грин пишет о таком хождении как об одной из тайн Африки.

— Так то Африка, отец, а это наши другари болгары, рядовые сотрудники «Балкантуриста»!.. Между прочим, один из наших, русских, толстый такой весельчак, тоже раздухарился, скинул сандалии — и прямо на угли! Все только ахнули...

— И что?

— А ничего, Он, конечно, не плясал, но пробежался, знаешь, по всей дорожке... Утром на пляже я сам его пятки осматривал — ни одного ожога. Так что, может, весь секрет тут лишь в душевном состоянии. Никакого страха быть не должно. Полная уверенность в успехе. И все будет в порядке.

— Нет, дорогой! — не согласился Гена. — Не все так просто, как нам кажется. Одно дело — попрыгать на огне, другое — медленно ходить в течение двух-трех минут. Тут есть и свои секреты, и особая, неизвестная нам подготовка. Возьми хотя бы заклинателей дождей. Или бушменов, которые читают мысли друг друга, глядя на дым костра. Это ведь все загадки одного порядка...

— Все это ерунда! У нас под самым носом творятся делишки и почище. Вот я сейчас веду следственные изыскания...

Под нежное мясо агнешка, запиваемое темно-красным «Мелником», разговор постепенно перешел в русло явлений таинственных и непонятных. И как-то само собой получилось, что Юра Березовский проболтался о своих исторических изысканиях. Наверное, большой беды в этом не было, но даже Гене Бурмину, своему в доску парню и доверенному человеку, не стоило пока рассказывать об этих пусть не секретных, но все же достаточно деликатных вещах. Березовский это понимал, но, сказав «а», он должен был сказать «б»: не мог же он ни с того ни с сего оборвать разговор. Надо было на что-то решаться немедленно. И он решился. Выбрал оптимальный вариант. Не очень оригинальный, надо сказать.

— Только дай мне слово, что все это останется между нами. — Он понизил голос и придвинулся к собеседнику, лихорадочно сооб-

ражая, как выйти из неприятного положения: и Гену не обидеть, и слова не нарушить?

— Ну? — Гена даже вилку отложил и весь подался к приятелю. — Можешь не сомневаться! Ну?

— Я тебе верю, голубь! — вздохнул Березовский. — Но дело это сугубо конфиденциальное. Понимаешь? Поэтому я не буду тебе рассказывать, как и с чем оно связано, что, старик, и почему. Скажу только одно: где-то в Москве находится сейчас ларец, в котором альбигойцы хранили свои тайные святыни.

— Не может быть! — прошептал Гена, но по всему было видно, что поверил он сразу и безоговорочно и только лишь ждет подробностей.

— Да... — Юра довольно откинулся в кресле. Решив пожертвовать малым ради спасения остального, он заглушил кошачье поскребывание совести и наслаждался теперь беседой, можно сказать, с чистой душой. — Эта реликвия, ставшая позднее известной под названием ларец Марии Медичи, находится где-то рядом. Этот сундук знал графа Калиостро, мальтийских рыцарей, тамплиеров, государя императора Павла Первого, может быть, многих декабристов и даже самого Пушкина! Последний его владелец — царский генерал-губернатор, сатрап, так сказать, перед тем как смыться в семнадцатом году, передал его своему слуге.

— И где же он теперь?!

— В этом-то вся загвоздка... Но тут кончаются уже границы моей власти. Это не моя тайна, Гена! Как только станет возможно, ты первый узнаешь всю эту жу-утчайшую историю! А пока нет, старик, пока — молчок!

— Это, случайно, не связано с деятельностью нашего дружка Люсина? — спросил проницательный Гена.

— Ой, миленок! — укоризненно покачал головой Березовский. — Я не говорю тебе ни да ни нет. Оцени это! И вообще забудь пока о сундуке. Настанет день, и ты все узнаешь. Обещаю тебе! Тем более что я намереваюсь написать об этом книгу... Так что, как сам понимаешь, тебя это не минует.

— Рассказывать не можешь, а писать...

— Нет же, нет! Писать тоже пока нельзя. Я же не сказал тебе, что пишу, я только собираюсь... Понимаешь? Но я уже вижу эту книгу! Я еще многого не знаю, все в тумане, но — как бы это сказать? — уже чувствую удивительный, неповторимый вкус! Я даже знаю фразу, которой закончу.

— Ну?

— «Звезды солгали. Игра не кончилась!» Что-нибудь в этом роде.

— Любопытно! Значит, вот почему ты вдруг занялся астрологией!

Березовский, действительно, разрабатывая исторические толщи, столкнулся с некоторыми астрологическими проблемами. Как всегда обстоятельно и за минимальный срок, он постиг нехитрую тайну составления гороскопов и приобрел квалификацию шарлатана средней руки. Где-нибудь в Швейцарии или ФРГ он мог бы даже зарабатывать

этим деньги. Побочным результатом приобретенных знаний явилось несколько милых мистификаций и, конечно, куча примитивных гороскопов, которые Березовский составил для ближайших друзей. В частности, гороскоп Гены, родившегося 10 июня не важно какого года, гласил: «Созвездие Близнецов обещает успех в любви, пылкость, стремительность следовать всему возвышенному. Мужчина-близнец похож на ребенка, который никогда не вырастает. Он удачлив, и все дается ему без особых усилий, как бы само собой. Счастливый месяц для него — август, день недели — вторник, числа — 5,10,15».

Сейчас было как раз 15 августа и как раз вторник. Березовский вспомнил это и, досадуя, закусил губу. Разговор следовало как можно скорее перевести на другие рельсы, иначе проницательный Гена обо всем догадается. Ведь они встречались по два, а то и по три раза на неделе, и все Юрины увлечения так или иначе прорывались в разговорах. Сопоставив все это с загадочным сундуком, Гена действительно мог проведать слишком о многом. Именно этот нежелательный для Березовского мыслительный процесс и протекал сейчас в бурминской голове.

— И материалы о десятой главе «Евгения Онегина», которые я тебе достал, значит, были тебе нужны вовсе не для знакомой критикессы? — спросил он, что-то припомнив и сопоставив, в полном соответствии с запоздалым предвидением Березовского.

— Гена, прошу тебя, перестань ворочать мозгами! Забудь пока об этом сундуке, будто я тебе ничего не говорил! Не выпытывай, котик! Умоляю!

— Ну ладно, — со вздохом согласился Гена. — Будь по-твоему. Но о самом-то сундуке ты можешь говорить? Какой он из себя? Ты его видел?

— Нет, в том-то и дело, что не видел! — Березовский обрадовался повороту в разговоре. Лучше уж было говорить об исторической реликвии, раз уж он все равно о ней проболтался, чем о той немыслимой каше, которая заварилась вокруг этого сундука. — Но я знаю, как он выглядит... — И, словно птица, уводящая охотника от гнезда, он поспешил достать из папки какие-то старые журналы. — Вот смотри: это «Столица и усадьба». Выходил у нас в России такой журнальчик в годы первой мировой войны. Обрати-ка внимание, как господин редактор Вл. Крымов заманивал подписчиков...

— Причем тут твоя «Столица и усадьба»? Я же тебя...

— Погоди, погоди! — остановил его Березовский. — Это о том самом... Но прочти сначала, что пишет редакция в первом номере.

Гена взял в руки журнал с помещичьим колонным домом и лебединым прудом на обложке. В обращении к гг. подписчикам было сказано:

«...Все газеты ведут хронику несчастных случаев, никто не пишет о счастливых моментах жизни.

Жизнь полна плохого, печального гораздо больше, чем веселого, но есть же и хорошее — красивое, — об этой красивой жизни писать не принято...

У нас печатают портрет интересного человека, его дом, его изящные вещи, пишут об укладе его жизни только тогда, когда он умрет, попадет в крушение поезда или в судебный процесс! Еще такое право дает выступление в общественных делах, но не все же интересные люди работают в этой области, есть и другие.

Заграничная печать — особенно в стране самой совершенной культуры, в Англии, — давно уже отступила от этого принципа. В английских газетах пишут не только некрологи, пишут также о радостном рождении, о помолвках, балах, охотах и т. д.

Радостного так мало в жизни, что его, казалось бы, надо подчеркивать, как можно больше говорить о нем.

Недавнее русской усадьбы с ее своеобразной жизнью уходит в прошлое. Меняется быстро и жизнь города, многое становится лучше, а иного жаль... Сколько погибло произведений искусства, вдохновения человеческой мысли, благородных традиций, красивой старины в тех старых усадьбах, в домах, даже в отдельных предметах, которые разрушены уже временем или самим человеком.

Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует, она создает те особые ценности, которые станут когда-нибудь общим достоянием. Хотелось бы запечатлеть эти черточки русской жизни в прошлом, рисовать постепенно картину того, что есть сейчас, что осталось, как видоизменяется, подчеркнуть красивое в настоящем.

Эту задачу ставит себе редакция.

Всякая политика, партийность, классовая рознь будут абсолютно чужды журналу».

— Вот это маразм! — восхитился Гена. — Это да! Но какой великолепный документ! А? Какой комментарий к эпохе! Ведь тогда уже война вовсю шла?

— Конечно! — кивнул Березовский. — Газеты печатали бесконечные списки убитых. Появились боевые аэропланы, иприт, люди умирали в кровавой грязи. «Испанка» знаменитая, вши... А тут красивая жизнь... Погляди теперь, что они пишут в номере семнадцать... — Он передал Гене другой журнал, с голубой балериной, замершей на пуантах. — Этот номер все-таки отозвался на злобу дня. Но как!

«...Наша громадная армия доблестно сражается за отечество, и вся страна, с твердой уверенностью в безопасности, в победе, спокойно живет, почти как и в мирное время. Нет в мире той силы, которая могла бы выбить из колеи необъятную Русь...

Наш журнал по своей программе, по своему девизу «красивая жизнь», не должен, кажется нам, ни в чем отступать от прежнего содержания. Мы можем дополнить его только иллюстрациями некоторых новых, величественных, красивых черт русской жизни, вдруг проявившихся среди общего подъема.

Война пройдет, за нею ждет Россию еще большее величие, а в теперешние трудные минуты всякий должен, кажется нам, по мере сил спокойно делать свое дело».

— Каково? — Березовский нетерпеливо вырвал журнал и начал быстро его листать, отыскивая что-то еще.

— Впечатляет... Знаешь, я бы эти журналы в Музее Революции выставил. Лучшей иллюстрации того, что режим прогнил и просто не мог не развалиться, и придумать нельзя. Действительно, потрясающий документ!

— А теперь гляди! — Березовский указал на большую фотографию, на которой был изображен господин во фраке и с орденами, положивший руку с зажатой в ней лайковой перчаткой на высокий резной сундук. У господина были длинные завитые усы, бакенбарды и аккуратная курчавая бородка; на заднем плане смутно виднелись какие-то тропические растения — латании и филодендроны.

Подпись под портретом гласила: «Действительный статский советник Всеволод Юрьевич Свиньин в своей гостиной рядом с бесценным антиком под названием «Ларец Марии Медичи».

Гена схватил журнал, и так и впился глазами в ларец.

На вид он был из эбенового дерева. Резные грифоны по краям головами поддерживали массивную крышку, а когтистые лапы их служили сундуку ножками. Сложный узор из виноградных лоз и цветов подсолнечника оплетал часто повторяющиеся изображения пятиугольника, голубка и пчелы.

— Кто такой этот Всеволод Юрьевич? — как всегда глядя в корень, спросил Гена.

— Все! — Березовский забрал журналы и сунул их в папку. — Конец всем вопросам! Все, как говорится, в свое время... Не выпить ли нам кофейку? Ты не торопишься?

— Нет. Я ведь сегодня дома работаю. В редакцию просто случайно забежал: как сердце чувствовало, что твой сигнал должен появиться... Так за твои успехи!

Они чокнулись фужерами с красным вином, выпили их до дна и скромно закусили маслинками.

— Пожалуй, самое время теперь кофе, больше ничего не влезает.

Им принесли густой и сладкий кофе по-турецки в обливных керамических чашечках с бело-голубым троянским узором.

— Я, пожалуй, на дачу сегодня съезжу, — сказал Гена. — Давно уж матери обещал. Надо помочь ей по саду, окопать там что-то такое, повыдергивать. Махнем вместе? Это недалеко, тридцать минут от Ленинградского вокзала... Чайку из самовара попьем с крыжовниковым вареньем! Мать борщок нам сварганит из молодой крапивы! А? В гамачке потом поваляемся?.. Благодать!

— Соблазн велик... Но я не могу. Каждая минута на счету. Столько дел, понимаешь, ни черта не успеваю...

— Жаль... Тогда, может, двинем? И ты свои дела обделаешь, и я на дачу пораньше поспею. Чего рассиживаться-то?

После того как они допили кофе, рассиживаться было и в самом деле нечего. Расплатившись с официанткой, они вышли из полутемного душного зала на яркий солнечный свет, и привычный московский шум хлынул им в уши.

Щурясь от этого света, вдыхая запах разогретого асфальта, бензинных выхлопов и духов проходящих мимо женщин в легких, открытых платьицах, они вдруг расчувствовались и обнялись.

— Ну пока, друг! Удачи тебе и удачи! — сказал Гена, троекратно облобызав Березовского. — И помни: я жду!

Они расстались довольные и ублаготворенные.

Прошумела пузатая поливная машина, и Гена ощутил на лице холодную водяную пыль. Мокрая мостовая засверкала так, что больно сделалось глазам. Все вокруг волшебно преобразилось. Пыльные, раскаленные улицы стали черными, как тропические реки. В минутной влаге воздуха разлилось вдруг горьковатое дыхание догорающих в августе тополиных листьев. И все это чудо совершила голубая машина — дворник! Но, как всякое чудо, оно было мгновенным. Тропические реки покрылись сетью все увеличивающихся архипелагов и вскоре совсем высохли, превратившись в ползучий асфальт, прилипающий к протекторам и подошвам, а синие ядовитые выхлопы быстро восстановили в атмосфере привычный порядок. Преображение не состоялось. И все же оно оставило смутный, мерцающий след.

Гене вдруг томительно не захотелось ехать на дачу. Для самовара надо было наколоть лучинок, крапиву к обеду нарвать и ошпарить кипятком, гамак подвесить, воду натаскать из колодца и т. д. Сельская идиллия обернулась неким филиалом каторги. Это была утонченная месть города. Все то, чем Гена обычно с таким удовольствием занимался на даче в Малине, предстало в теневом облике. Что же поделать, если у человека улетучился вдруг душевный подъем?

Гена зашел в телефонную кабину, опустил монету и снял трубку. Но железное беспощадное клацанье было ему ответом. Он нарвался на тот самый автомат-грабитель, из которого некогда Люсин пытался дозвониться Березовскому.

Как лихорадочно пронеслось, отгорело это лето! Сухое и знойное... Какой грустью отозвалась вдруг в груди память о нем, как перехватила дыхание одна только мысль о Марии... Горькой полынью повеяло с синих и лунных полей, замирающим криком ночной электрички донеслось и грохотом колес отстучало мимо пустых, залитых мертвым фонарным светом дачных платформ. Все мимо и мимо, без остановки...

Костер метался под ночным ветром, и дымные тени неслись по ее лицу.

И еще студенческие практики вспомнились остро, экспедиции, бродяжничество, песня...

Багульник горит,
И бел его дым,
И дышит огонь
И жарко, и пряно.
Апельсиновой долькою в небе лежит
Луна над курганом.
И как расплывается, и как дрожит
Она за туманом.

И много разлук,
И много дорог.
Как тянутся птицы на юг караваном.
Сплетение рук,
И молчание плеч,
И пальцев касанья
Тревожны, как счастье негаданных встреч,
Как боль провожанья.
Пожар октября,
И мартовский хмель.
Но тянутся птицы сквозь бури и зимы.
Так пусть ничего не уносит метель,
Пусть в нас оседает и в нас остается.
Не то позабудет конечную цель,
Кто ждет не дождется, кто ждет не дождется,
Но так суеверно умеет молчать,
Кто ждет не дождется...

Багульник горит,
И бел его дым,
И дышит огонь,
И жарко, и пряно.
Апельсиновой долькою в небе лежит
Луна над курганом.
И как расплывается, и как дрожит
Она за туманом.

Гена нашел другой автомат и позвонил Марии на работу:

— Здравствуй, Мария!

— Здравствуй.

— Это я.

— Я узнала.

— Что ты думаешь делать сегодня вечером?

— Еще не знаю.

— Давай встретимся?

— Зачем?

— Ты спрашиваешь зачем? Тогда и в самом деле незачем.

— Ну вот видишь.

— Да, вижу... Ты была права. Ничего не получилось.

— Да. Ничего не получилось. И не могло...

— Почему же не могло, Мария? Почему? Что же все-таки случилось?

— Ничего. Ты же знаешь, что ничего. Просто не судьба. Понимаешь? Обыкновенная не судьба.

— Это чертовски обидно и... больно, откровенно говоря.

— Я понимаю. Прости.

— Чего ж тут прощать? Никто не виноват. Просто так получилось. Для тебя это не судьба.

— А для тебя?

— Боюсь, что у меня это чуточку серьезнее, Мария...

— Прости. Я всегда буду тебе хорошим другом... Да, я подумала сейчас, что в сущности ничем не занята сегодня, и, если ты хочешь, мы могли бы что-нибудь придумать.

— Ах, Мария, Мария, святая душа! Не надо так, не надо, матер долороза. Не жалей ты меня, идиота, не надо... Это худшее из того, что у нас могло бы быть.

— Дурак ты, Генка, какой ты еще дурак! Но когда-нибудь ты поймешь, что жалость — это самое лучшее в человеке...

— Мне позвонить тебе еще?

— Как хочешь.

— А ты, ты, что скажешь?

— Я скажу: до свидания.

— Не прощай?

— Не люблю мелодрамы.

— Спасибо тебе.

— За что?

— За все. За все, понимаешь? Но, главное, за то, что ты не даешь мне — как бы это сказать поприличнее? — сжечь корабли.

— Я не даю? Глупый! Это ты сам себе не даешь! Я всего лишь тебе не мешаю.

— Но это так много!

— Не знаю... Я не хочу для тебя ни вот столечко беды! Понимаешь?

— Но то остается в силе? Ты понимаешь, о чем я говорю? То остается в силе? Со временем ничего не изменится?

— Опять ты меня загоняешь в тупик! Ты неисправимый максималист. Но откуда я могу знать, что случится со временем? Откуда? Я знаю только то, что творится со мною сегодня и было вчера. Так мы никогда не соскользнем с этих замкнутых рельсов.

— Все же скажи.

— Ты уверен, что так будет лучше?

— Для кого?

— Для тебя, разумеется, только для тебя.

— Тогда все понятно, можешь не отвечать... Ведь все понятно?

— Да.

— Ну вот видишь?.. От себя не убежишь, Мария. Я знаю, что через минуту стану проклинать себя, но я говорю... Понимаешь? Я говорю: прощай.

— Хорошо, пусть так и будет. Прощай, Генка.

Вот, собственно, и все.

Как удивительно подходит к тебе твой гороскоп, Генка! Как стремительно летишь ты к любви и успехам, ребенок, которому не суждено стать взрослым, и судьба ковровой дорожкой стелется перед тобой. Но когда твой увлекающийся друг, когда этот дурак Березовский определил твои звезды, разве не выглядело все немножко иначе? Возвышенность, нежность, стремительность и победы, как говорили наши предки, на амурном поприще? Разве не влез ты в свой гороскоп, как в готовый костюм размер 52, третий рост? И разве не пришелся тебе он впору, как и миллионам других мужчин?

Но тогда ведь все еще только длилось. Прогулки, музеи, кино, пляжи, байдарка, палатка, гитара... И как знать, может быть, и

сегодня все бы осталось по-прежнему, не будь того разговора у раздуваемого ночным ветром костра? Не надо выяснять отношений, тридцатилетний Генка, особенно если сердце подсказывает, что нечего выяснять...

Багульник горит,
И бел его дым

Вот и кончается твое лето. Желтеющим лесом и колкой стерней на полях, звездным августовским дождем.

Но еще не исчерпан до конца этот вторник, это пятнадцатое число... И ничего же не случилось в конце концов. Ну поставлена еще одна точка там, где и без того чернеют пни многоточий. Жизнь-то ведь не кончается?

Надо все-таки ехать в Малино помочь матери по хозяйству: выполоть сорняки и окопать какие-то кустики и деревца, расколоть несколько чурбаков, починить провалившиеся ступеньки.

И пусть холодный синий сумрак, прожженный где-то за лесом закатной полоской, растревожит душу. И многозначительны будут влажные касания сирени, и зов электрички, и запах полыни. И пламя в закопченной трубе самовара тоже о чем-то напомнит тебе.

«Лечите подобное подобным», — советовал великий гомеопат по имени Мефистофель. «Нет никаких лекарств», — утешал бессмертный Стендаль. И оба они с мудрой усмешкой сочувственно следили за тем, как люди не устают бередить собственные раны, ибо мука эта сладостна.

Нет, ни жизнь не кончалась, ни этот зодиакальный день, а жара и духота только усилились. Гена с облегчением нырнул в спасительную тень метро «Маяковская».

Глава 26

К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ

(Донесение генералу иезуитского ордена. Часть 2)

«Поскольку монсеньору во всех подробностях известно скандальное дело об ожерелье, я позволю себе в данном отчете опустить процедуру следствия и самого процесса. Вместо этого я остановлюсь на событиях, имевших место в самое последнее время, и на преобладающих в обществе настроениях.

Общественное мнение в Париже по-прежнему настроено далеко не в пользу двора. Но это не означает, что и оправданный парламентом кардинал де Роган оказался свободным от подозрений. Процесс, таким образом, нанес двойной удар престижу королевской и церковной власти.

В оппозиционных правительству кругах отказываются допустить, что Роган был обманут. Его скорее готовы признать виновным, чем

одураченным интригой ла Мотт. Невозможно допустить, что, получая любовные письма от королевы, вне зависимости даже от их подлинности, кардинал не попытался бы закрепить или хотя бы проверить свой успех. Постоянно бывая во дворце и встречаясь с королевой, он, конечно, нашел бы способ заговорить с ней о том, что составляло муку и очарование его жизни. Он мог не сомневаться в том, что признания его будут встречены благосклонно. Залогом тому были письма, засушенный в молитвеннике красный розан.

Кардинал должен был добиваться разговора с королевой, и он, безусловно, добился его. И судя по тому, что тайная их переписка продолжалась в течение целого года после ночного свидания, ла Мотт говорила правду.

Не в пользу королевы свидетельствует и то молчание, которое хранила она по поводу письма ювелиров, переданного ей в библиотеке 12 июля. Если бы его содержание удивило ее, то без сомнения она бы тотчас же призвала к себе господина Бемера для объяснений.

А что можно сказать по поводу скидки в 200 000 ливров с назначенной цены, которую она якобы потребовала через ла Мотт перед началом платежей? Если бы графиня в самом деле имела намерения обмануть кардинала и присвоить себе бриллианты, то зачем ей понадобилась вся эта комедия? Чтобы вернее себя разоблачить? Или дать ювелирам повод потребовать ожерелье назад? Очевидно, следует поверить кардиналу, что ла Мотт передала ему действительно подлинное письмо королевы. А ведь оно было написано той же рукой, что и предыдущие.

Все это наводит на весьма грустные мысли... Трудно, конечно, вообразить себе королеву Франции, спрятавшуюся за деревьями в ночном парке. Трудно поверить, что дочь Марии-Терезии могла оказаться причастной к сомнительной авантюре. Но как иначе можно толковать изложенные факты? Более того, разве характер и образ жизни Марии-Антуанетты не подкрепляют даже самых тяжелых подозрений на ее счет? В предыдущих донесениях я уже уведомлял монсеньора о некоторых весьма неосторожных капризах королевы и о том легкомыслии, которое она проявила, сыграв роль Розины в «Севильском цирюльнике» на спектакле в Малом Трианоне. От участия в этой светской легкомысленной опере до приключения в версальском парке один шаг. Боюсь, что королева все же сделала его.

Королева Франции прежде всего капризная и легкомысленная женщина, монсеньор, а это многое объясняет. Ей уже пришлось однажды отказаться от сказочного ожерелья из-за катастрофического состояния королевской казны. Королева тогда победила женщину. Но ненадолго. И тем сильнее был реванш женщины, когда она узнала, что ее ожерелье будет носить какая-то иноземная принцесса, вдобавок низкого ранга! Право, именно здесь следует искать начало всех последующих безумств.

Что же касается ла Мотт, то в ее пользу говорит многое. Незадолго до покупки ожерелья она удивила свет своим неожиданным богатством, которое не становилось менее сомнительным оттого, что

проистекало от щедрот церкви. Даже подозрения, которые она пробудила у ювелиров своим хвастовством и темными условиями сделки, в которую почему-то оказался вовлеченным Роган, тоже говорят за нее. Всего этого легко было бы избежать. Настоящая аферистка провела бы свою игру куда более тонко. Наконец, полное спокойствие, которое проявила графиня до самой последней минуты, ее отказ бежать и безусловная уверенность в собственной безопасности — разве этого недостаточно, чтобы отвести обвинения в краже?

Мне удалось снять копию с записки, которую Роган второпях написал сразу же после ареста и передал доверенному лицу через своего конюшего. Впоследствии она попала все же к барону де Бретейлю, но в деле, как можно понять, не фигурировала. Вот она in extenso[1]:

«Пошлите опять за Б. (очевидно, Бемер). Нужно опять поговорить с ним о том, о чем было уже говорено по поводу известного проекта. У него голова идет кругом с тех пор, как А. (Антуанетта, королева!) сказала: «Что хотят сказать эти люди? Кажется, они потеряли голову. Боюсь, как бы и у меня не закружилась голова».

Роган не стал жертвой обмана. По этому поводу, монсеньор, ни у кого нет и тени сомнения. Либо он действительно приобрел ожерелье по приказу королевы, либо сознательно хотел его присвоить. Альтернатива страшная, но, увы, неизбежная. Виновен либо кардинал, либо королева. Материалы процесса свидетельствуют в пользу последнего. Виновна королева, и орден может извлечь возможные выгоды из этой небывалой ситуации. А оные, несомненно, будут.

Документы процесса и показания ювелиров свидетельствуют о том, что письмо от 12 июля было написано по инициативе кардинала и под его диктовку. Это неопровержимый аргумент в пользу искренности де Рогана. Королева виновна Последние события, которые и будут изложены далее, только подкрепляют этот неопровержимый вывод. Сразу же после вынесения приговора принцессу Ламбаль по секрету попросили съездить в Сальпетриер. Официальная версия была довольно проста: принцессе «так захотелось». На самом же деле поездка была предпринята, чтобы подробно разузнать о состоянии ла Мотт и дать для нее денег начальнице. Это подтвердил и служитель, которого мне удалось устроить на работу в Сальпетриер. Оный служитель позднее осведомил меня, что ночью в одном из дворов Сальпетриера женщина, прислуживавшая ла Мотт, получила от часового записку без подписи, которая гласила: «Обдумывают средства изменить к лучшему вашу участь».

Три дня спустя тот же часовой передал прислужнице новую записку, в которой содержалась просьба прислать оттиск или же рисунок ключа от комнаты ла Мотт. Очевидно, просьба эта была незамедлительно выполнена, потому что не далее как на прошлой неделе какой-то неизвестный солдат передал узнице ключ и мужскую одежду, очевидно, не без содействия начальницы. В настоящее время ла Мотт уже находится в Лондоне вместе со своим мужем.

[1] Дословно *(лат.)*

Наш человек передает из английской столицы, что графиня не сомневается по поводу того, кому обязана своим бегством. Но это отнюдь не заглушило в ней жажды мести. Об этом свидетельствует заметка, напечатанная в английских газетах: «В лондонских салонах только и разговора, что о скором появлении интересной брошюры, которая прольет новый свет на дело об ожерелье».

Королева была неосторожна, позволив Бретейлю арестовать ла Мотт. Но, освободив оскорбленную графиню, она поступила простонапросто глупо.

Это лишний раз доказывает, что королевская власть во Франции слаба и беспомощна. Трон, на котором восседал слабый, скомпрометированный собственной супругой монарх, не может быть прочным. Власть может позволить себе преступный обман, но не жалкую интригу, достойную комедии или же балагана.

В заключение, монсеньор, позволю себе сделать несколько замечаний об этом Homo novus[1] Джузеппе Бальзамо.

Как стало известно, король утешил своего любимца за проведенные в Бастилии дни щедрым подарком. Граф Калиостро получил тот самый ларец, который привезла во Францию Мария Медичи. Монсеньор, как я полагаю, располагает обширной перепиской по поводу этого предмета. Позволю, в частности, сослаться и на свои донесения, посланные в разное время из Митавы и Парижа. Кроме того, Калиостро получил и четки, принадлежавшие некогда Анне Австрийской. Как следует из упомянутых мной документов, четки эти, очевидно, находятся в прямой связи с указанным ларцом.

Проведенное в Англии по моей просьбе расследование показало, что известный монсеньору красный алмаз из знаменитого ожерелья был приобретен у ювелира Гарвея одним фламандским дворянином, насчет которого орден уже давно питает подозрения. Оный дворянин, приехавший в Лондон под именем Ван дер Брога, является одним из активнейших масонских миссионеров розенкрейцерского толка. Это позволяет высказать предположение, что покупка алмаза была произведена не без ведома Калиостро. Таким образом, заговорщики против церкви и государства располагают ныне самим ларцом и по меньшей мере двумя предметами, к нему относящимися. Как известно монсеньору, гроссмейстер родосского братства на Мальте тоже владеет одним либо даже двумя предметами. Отсюда нетрудно заключить, что Калиостро, направившийся из Парижа в Марсель, посетит Мальту, где у него давно уже установлены крепкие связи, и сильно продвинется в раскрытии известного дела.

Это представляется особенно опасным, если учесть, как сильно разрослись в последнее время тайные общества. Нам удалось заслать своих людей в некоторые из лож, где агенты ордена «удостоились» посвящения в ученики и даже подмастерья. Все они единодушно сообщают, что привычный ритуал масонства претерпел сильные изменения. В ряде лож он является только прикрытием

[1] Выскочка *(лат.)*.

заговорщической деятельности. Позволю в этой связи обратить высокое внимание монсеньора на новый вариант масонской легенды о строительстве храма:

«Когда великий царь, которому повиновался мир видимый и мир невидимый, поручил Адонираму (так они называют теперь зодчего Хирама) управлять всеми работами, число рабочих достигло уже трех тысяч. Чтобы избежать путаницы при раздаче денег, Адонирам разделил своих людей на три разряда: учеников, подмастерьев и мастеров. Разряды эти можно было узнавать только при помощи знаков, слов и прикосновений, которые держались в строгом секрете. Однажды трое подмастерьев, решив поскорее стать мастерами, устроили в храме засаду. Они хотели подстеречь Адонирама и любой ценой выпытать у него высший мастерский пароль. Каждый из подмастерьев затаился у одной из дверей. Когда Адонирам появился наконец у южного входа, один из них вышел из-за укрытия и потребовал секретный пароль. Адонирам отказался сообщить подмастерью высокие тайные знаки, и тут же на его голову обрушился сильный удар. Это подмастерье ударил строителя линейкой. Адонирам бросился к западной двери, но и там его ждал заговорщик, который нанес ему удар в сердце остроконечным наугольником. Собрав последние силы, Адонирам хочет спастись через последнюю, восточную дверь, но третий убийца, не добившись желаемого пароля, добивает строителя мастерком.

Когда на город опустилась душная мгла, подмастерья унесли тело Адонирама на Ливанскую гору и закопали его под акацией. Но посланные царем девять мастеров обнаружили могилу на свежей земле, которая не успела высохнуть за ночь. Когда землю разрыли и увидели обезображенное тело, один из мастеров коснулся мертвого Адонирама ладонью и сказал: «Макбенак! Плоть покидает кости!» И тогда было условленно, что слово это останется впредь между мастерами вместо утерянного со смертью Адонирама пароля».

Такова, монсеньор, обновленная их легенда. Она напоминает церемонные посвящения в степень мастера, которые совершаются вокруг гроба при свете потайного фонаря, сделанного в виде Адамовой головы.

Позволительно спросить: кем же является на самом деле тот мученик, убийство которого требует от мастеров отмщения? И какое это утерянное слово нужно воскресить или даже завоевать?

Символические вещи поддаются, конечно, самым разнообразным толкованиям. Но мы не можем не прислушаться к тем, которые со всей серьезностью заявляют, что нынешние иллюминаты, розенкрейцеры и мартинисты продолжают мерзкое дело тамплиеров. В этой системе Адонирам — это последний гроссмейстер Яков Моле, убийцы которого — король Франции Филипп Красивый и папа Климент V — олицетворяют ныне политическую и духовную тиранию. Это призыв к восстанию против папы и королей. Потерянное же слово означает «свобода». Если немедленно же не положить заговорщической деятельности предел, то вскоре Европа запылает в пламе-

ни бунта. Опасны не масоны своей игрой в таинственное. Опасны заговорщики, прячущие под темным ритуалом свои истинные цели.

В бытность мою провинциалом ордена в российских землях я имел уже случай убедиться, что масонские ложи скрывают опасных революционеров. Боюсь, что государыня императрица Екатерина II увидит нечто более страшное, чем крестьянское восстание. Что может быть опаснее для монарха, чем бунт всех сословий, к которому примкнет и молодое дворянство? Возможно, это случится в России в одно из последующих царствований. Парижская же чернь готова восстать уже завтра.

Bis dat qui cito dat[1], чем скорее будут приняты меры, тем больше шансов сохранить хоть какие-то устои государства и спасти дело веры от окончательного осмеяния. Удар следует нанести ex abrupto[2] и повсеместно. Там, где орден сохранил еще влияние на власти, следует действовать implicite[3]. Смиренно прошу монсеньора простить мне неподобающие по сану обобщения. Не выходя из рамок дозволенного, смею лишь уповать на то, что орден обратит внимание на указанных (список прилагается) лиц и не оставит их своим покровительством. Касательно же Джузеппе Бальзамо — графа Калиостро — могу только вновь молить Бога, чтобы он не дал этому человеку обратить свой талант во вред церкви.

Оный Калиостро, очевидно, недолго задержится на Мальте, где родосское братство давно уже втайне исповедует розенкрейцерскую ересь, и возвратится в Европу или же в Россию. В случае, если он воспользуется для этого италийскими портами, было бы желательно попытаться обратить этого человека на путь истины. В противном случае связанная с ларцом тайна окажется потерянной для ордена навсегда. Verba volant, scripta manent[4]. Деятельности подобных людей пора положить конец. И это особенно уместно в отношении Калиостро, который, не являясь последовательным заговорщиком, а скорее шарлатаном, может, при известном убеждении, многое рассказать о планах и деяниях тайных обществ. Est modus in rebus[5].

К вящей славе Господней отец Казимир, провинциал общества Иисуса в г. Париже».

Примечание автора. Калиостро действительно был арестован инквизицией в Риме в 1790 году. На тайном следствии («Показания Джузеппе Бальзамо в его Vie extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790, ch. III, p. 130»)[6] он подробно осветил свою роль и в тайных обществах, и в знаменитом деле об ожерелье. Показания же его по поводу ларца в деле не фигурируют. Сказано только, что подобный вопрос обвиняемому был поставлен, и трибунал получил

---

1 Вдвойне дает тот, кто дает скоро *(лат.)*.

2 Внезапно *(лат.)*.

3 Подразумеваемым образом *(лат.)*.

4 Слова улетают, написанное остается *(лат.)*.

5 Всему есть мера *(лат.)*.

6 «Протоколы следствия в Риме, ч. III, с. 130»

на него соответствующий ответ. На вопрос, знает ли подсудимый о дальнейшей судьбе красного алмаза, Калиостро ответил отрицательно и придерживался этого до конца процесса, несмотря на то, что тайные доносчики сообщали, будто необыкновенный камень находится теперь, как и сам ларец, у гроссмейстера Мальтийского ордена. Когда в Петербурге было основано мальтийское приорство, выступавший на процессе с показаниями против Калиостро отец Казимир вновь назначается провинциалом в Россию, где папа легализовал упраздненный в 1773 году, но тайно продолжавший существовать иезуитский орден. В том же году из Парижа переезжает в Петербург и поступает на русскую службу гвардии поручик Жорж-Антуан Пуркуа де Кальве. Потомки его принимают русское подданство. Один из них, Петр Иванович Пуркуа, впоследствии был выслан в Сибирь якобы за сочувствие декабристам, другой, Теодор Иванович, получил смертельную рану на дуэли с другом Жоржа Дантеса, приемного сына посла барона Геккерена. По свидетельству Чаадаева, поводом для дуэли послужило публичное обвинение барона Геккерена в том, что он будто бы состоит тайным шпионом иезуитов.

Граф Калиостро же был приговорен к пожизненному заключению в подземной тюрьме. Приговор, произнесенный против него в Риме, содержит осуждение «за проповедование учения, открывающего широкие двери мятежу».

Причинной связи между указанными в примечании событиями история не устанавливает.

Глава 27

ПИТОНЬЕ СЧАСТЬЕ

Гена Бурмин вышел из метро «Комсомольская» и направился к пригородным кассам Ленинградского вокзала. Он все же решил поехать в Малино.

В привокзальной сутолоке и толчее еще острее ощущал он свое одиночество. Вернее, не одиночество, а утрату. Нет даже не утрату — тяжелую пустоту...

Он уже начинал жалеть, что позвонил сегодня Марии. По собственному опыту он знал, что никогда не надо бросаться навстречу событиям, исход которых сомнителен. Как правило, попытка ускорить развязку лишь ухудшала положение, принося запоздалые сожаления и эту тошнотворную пустоту.

Конечно, ему не следовало торопиться ни там, у костра, ни сегодня в разговоре по телефону. Тем более — эта мысль пришла к нему только сейчас — Мария совсем недавно перенесла душевную травму! По крайней мере случилось событие, которое наверняка вывело ее из состояния равновесия... Так, может, в этом вся причина?

Гена даже остановился, обдумывая эту совершенно новую ситуацию. Поймав робкий отблеск надежды, сердце заколотилось, лихо-

радочно подгоняя запутавшийся в сложных комбинациях мозг. Он, конечно, знал, что Мария раньше была замужем. Она не любила говорить об этом, и он мог лишь смутно догадываться, почему она ушла от мужа. Но зато он понимал и еще острее чувствовал, что лично у него с ней ничего не слаживается. Почему? Он находил разные ответы и в зависимости от них резко менял свое поведение. Но все шло по-прежнему, и только благодаря ее удивительной сдержанности и такту их отношения протекали более или менее ровно. Но в последние дни что-то переменилось. Еще в тот вечер, на квартире у Березовского, его удивила неожиданная лихорадочная какая-то веселость, которая вдруг проявилась в Марии. Она слишком бурно воспринимала довольно плоские шутки этого муровца, хорошего, впрочем, открытого парня, и беспричинно едко высмеивала рыбацкие байки, которые он рассказывал. Когда же Гена попытался защитить Люсина, она вдруг надулась и замолчала, будто ее обидели, но через минуту столь же неожиданно обрушилась на него, обвинив чуть ли не в хамстве. А что он сделал? В сущности, ничего! Просто прервал люсинскую травлю невинным замечанием: «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие». Все рассмеялись тогда, но Мария, казалось, готова была разреветься. Почему? Бог ее знает...

Может, шампанское так на нее подействовало? Вряд ли... Он даже ощутил тогда что-то вроде ревности. Да, пожалуй, именно с того дня в их отношениях и возникла напряженность, которая и привела теперь к концу. Но там, на опушке леса, у раздуваемого ветром костра, она была удивительно нежна к нему. Это-то, собственно, и придало ему бодрости, и он решился... Но как она на это ответила?

Нет, он ни в чем перед ней не виноват. Он добивался ее открыто и честно, а все его хитрости и уловки были дозволенными в извечной любовной игре. В сущности и хитростей-то особых не было, так просто — наивные попытки, святая интуитивная ложь. Просто она не полюбила его, вот и все. Почему? Может быть, продолжала любить прежнего мужа? Гене это объяснение показалось тогда заманчивым. О как возненавидел он вдруг этого человека, которого никогда не видел и ничего о котором не знал! Но вдруг — они договорились в тот день вместе поехать покататься на водных лыжах — она не пришла. Он прождал ее в Химках два часа и, недоумевая, вернулся в город. Вечером же она позвонила и, извинившись, словно между прочим, сказала, что убит ее бывший муж. Она явно была огорчена, но не то что отчаяния, а даже особого волнения он в ее голосе не уловил. На другой день они встретились, как ни в чем не бывало. Она коротко рассказала обо всем, что ей сообщили в милиции. Потом произнесла те самые столь поразившие его слова: «Жаль, конечно... Всегда жаль человека, кто бы он ни был». Как это следовало понимать? В чем же тогда заключается его ошибка? Если, конечно, он ее в самом деле совершил?

Верно, он, будто позабыв о недавнем резком отпоре, усилил тогда свой натиск. Словно бес какой в него вселился, словно почувствовал он, что она одинока и беззащитна и готова пасть в те руки,

которые крепче за нее ухватятся. Вот-вот, он именно ухватился за нее! А может, не следовало? Не лучше ли было тактично выждать, мягко и заботливо лишь намекнуть ей, что на него она всегда сможет положиться? А он что сделал? Как волчицу какую, обложил ее флажками дурацких своих альтернатив? Господи, какое мальчишество! Недаром она только что назвала его максималистом. Она же человек тонкой души, капризных, неуловимых настроений, ей просто претит максимализм с его резкими черно-белыми тенями.

Конечно, смерть, трагическая, надо добавить, смерть пусть бывшего, но все-таки мужа, не могла не вывести ее из равновесия. Он же, вместо того чтобы поддержать ее, стал грубо настырничать. Наверное, тот тоже был таким, как он. А она по горло сыта этим максимализмом. А что предложил ей, немало настрадавшейся в прошлом, он сам?

Гена остановился, захваченный врасплох сожалениями о прошлом и неясными надеждами на будущее, в самом неподходящем месте. Прямо перед ним были ступеньки, ведущие в темное, сыроватое подземелье камеры хранения; слева продавали пирожки с мясом, справа — газированную воду. Его толкали локтями, царапали сумками и кошелками, на него огрызались, но, как некий утес, он молча противостоял всем превратностям судьбы, и людской нервозный поток вынужден был обтекать его.

Что надлежало ему предпринять в данную минуту? Опять позвонить Марии? Нет, об этом нечего было и думать. Что же тогда? Ведь он сам — о идиот! — двадцать минут назад сказал ей, что это навсегда. Всего двадцать минут, но их уже никогда и ни за что не возвратишь назад. Правда, она, как всегда, не стала ловить его на слове. Она просто согласилась с ним, — а что ей оставалось делать, если он такой дурак? — и, надо признать, согласилась не очень охотно. Значит, еще не все потеряно? Так как же дать понять ей, что и он тоже не воспринимает всерьез сказанных им слов? Что, несмотря ни на что, он будет благоговейно и совсем ненавязчиво ждать ее? Она же говорила ему, кретину, что не может поручиться за будущее и не знает, как сложатся их отношения потом. Нужно же было понять и оценить эти великодушные слова, а он... Э, да что там говорить... Решительно надо было что-то немедленно, не сходя с места, придумать.

С места он действительно не сошел, но и придумать ничего не мог. Банальная пословица «Слово — не воробей...» так и прыгала в мозгу. Он даже уловил в этом дурацком мелькании известный ритм, сложившийся вдруг в какой-то залихватский мотивчик.

«Так и рехнуться недолго. А что, если я напишу ей письмо?» С этой успокоительной мыслью он и двинулся было к билетным кассам, но тут же вновь замер в совершеннейшем изумлении. Мимо него прошел небритый, прихрамывающий гражданин, таща за собой тот самый альбигойский ларец с грифонами, который был запечатлен в незабвенном журнале красивой жизни «Столица и усадьба». Только был он теперь, как ящик вокзального мороженщика, поставлен на подшипники и вид имел потрепанный и жалкий. Боко-

вые ребра были не то побиты, не то обгрызаны и расщепились местами, как засохшие малярные кисти.

Это было настолько неожиданно, что Гена в первый момент подумал, что и впрямь душевные переживания уже заставили его галлюцинировать. Но настолько реален был небритый, в изжеванном парусиновом костюмчике владелец сказочного сундука, что мысль о галлюцинациях следовало немедленно отбросить. Тем более, что прихрамывающий гражданин остановился и купил два мясных пирожка, а привидения, как известно, не едят, по крайней мере на людях. Гражданин же, нисколько не стесняясь, бросил под ноги кусок промасленной чековой ленты, в которой продавщица вручила ему истекающий жиром харч, и в три приема, кусая оба сразу, покончил с пирожками. После этого он остановился у автоматов попить, загородив сундуком проход к пригородным поездам. На недовольство спешащих он, как, впрочем, и Гена, никакого внимания не обращал. Выпив два стаканчика чистой, он, толкнув обремененную детской коляской женщину, занял очередь за билетами. Все это было в порядке вещей: и гражданин, и пирожки, и вокзальная толчея. Но совершеннейшим абсурдом выглядели на этом фоне священные орнаменты катаров, которые Гена только что видел в старом журнале: цветущая лоза, пчела, символизирующая безгрешность растительного оплодотворения, и пятиугольник, говорящий, по манихейским верованиям, об извечной распыленности материи. Только истерзанный вид сундука и четыре подшипника, на которых он стоял, еще как-то дозволяли ему находиться в нашем мире. Иначе бы это было фантасмагорией, сном наяву.

Очнувшись от столбняка, Гена туг же заволновался и стал подумывать о том, как задержать небритого гражданина. Не будучи осведомленным о всех перипетиях, он, естественно, не подумал о самой простой возможности: схватить этого голубчика за шиворот и доставить в милицию. Понятно, что столь нелепая в данных обстоятельствах мысль даже не пришла ему в голову. Но очередь двигалась быстро, и Гена, между прочим заочный аспирант кафедры этнографии, не мог позволить какому-то угрюмому субъекту, к тому же алкоголику по виду, увезти куда-то в далекий пригород бесценное сокровище катаров. Пепел сожженных альбигойцев стучал в ту минуту в его сердце.

Но что он мог сделать? И пока его душу раздирали благородные, хотя и незримые для мира страсти, ситуация резко переменилась. Очевидно, гражданин в затрапезной парусине заинтересовал не только Гену. Вид его, а может быть, и вид сундука пробудили тягостное чувство сомнения и в сердце маленького старшего сержанта дорожной милиции Я. М. Болдырева. Болдырев зашел сначала с одной стороны, потом, протолкавшись сквозь очередь, с другой, но заинтересовавший его субъект уже склонился к окошечку. Зато когда он, получив билет, повернулся, они, что называется, столкнулись носом к носу.

— Билетик, извиняюсь, до Московского моря брали? — дружелюбно осведомился маленький милиционер.

— Да... А что? — настороженно спросил тот.

— А вот что! — Болдырев разглядел все, что было надо, в том числе и бельмо в левом глазу. — Предъявите документы!

— Что? Документы? — ощерился вдруг желтыми, прокуренными зубами Стапчук (конечно, это был именно он, и попытки скрыть сие далее не могут надеяться, как писали в старых романах, на успех). — Сейчас я дам тебе документы! — Он отпрыгнул в сторону, растолкал локтями людей и рванул веревку сундука.

Но то ли подшипник застрял в какой-то трещине на асфальте, то ли рывок оказался слишком стремительным, только сундук накренился и, как ведомая гонщиком-эквилибристом машина, встал на два колеса. Стапчук дернул сильнее, глаза его забегали, а из глотки вырвался надсадный хрип, но сундук еще более накренился и, описав дугу, перевернулся. Крышка с треском отскочила, и на асфальт вывалился живой, шевелящийся мешок.

— А-а! Та-ак! — завыл Стапчук и, бросив веревку, кинулся к мешку.

Милиционер и люди кругом словно оцепенели. Все свершилось столь быстро и неожиданно, что никто не успел прореагировать. Очередной гражданин, повернув голову назад, застыл у кассы с трешкой в руке, а кассирша, так та даже рот открыла от удивления. Остальные же, подавшись в сторону, образовали круг, в центре которого оказались похожий на затравленного кабана Стапчук и изумленный старший сержант.

Гена, который тоже обратился от удивления в соляной столп, рассказывал потом, что все было как у Герберта Уэллса в «Новейшем ускорителе». Мир продолжал жить в прежнем времени, и только заросший, оскаленный мужчина в центре онемевшего круга словно наглотался этого самого уэллсовского эликсира. В ускоренном темпе он подхватил мешок и, сгибаясь под его тяжестью, подался в сторону. Людская стена перед ним поспешно отступила, а милиционер сделал плавное, как в замедленной съемке, движение, словно собирался кинуться в погоню. Но Стапчук, видимо, и не думал пока убегать. Он зубами сорвал бечевку с мешка и пронзительно, тоненько-тоненько, на самых высоких частотах, засвистел. Шевеление в мешке замерло, и вдруг оттуда, как стальное полотно рулетки, вылетела громаднейшая змея. Она тут же могучими кольцами оплела милиционера и стала его душить. Лицо его сделалось малиновым, а на лбу обозначилась напряженная жила. Только тут люди пробудились и с криками стали разбегаться. Но им навстречу уже бежали все те, кто находился в этот совершенно жуткий момент далеко: у самого метро или на выходе с платформ. Паника и неразбериха на привокзальной площади, в самом центре которой маленький милиционер отчаянно боролся с удавом, напоминала одну из моделей нашей Вселенной, которая взорвалась и разлетается в разные стороны, но где-то далеко, на самой периферии, уже начинает подумывать: не пора ли ей возвращаться?

И вот сквозь эту мятущуюся Вселенную, как вестник беды, неслась зловещая комета, опрокидывая на своем разрушительном пути

всех и вся. Это убегал к платформам Стапчук. На что он надеялся? Вскочить в первый попавшийся поезд? Перебежать на Ярославский вокзал? Трудно сказать... Скорее всего, он просто бежал, вылупив налитые кровью глаза, подгоняемый страхом, удесятерившим и без того недюжинную его силу. Казалось, не было никакой человеческой возможности сдержать этот сумасшедший бег.

Первым опомнился в этой немыслимой кутерьме Гена. Вначале он заметался, не зная, куда кинуться: то ли милиционера спасать, то ли догонять бандита. Совершенно безотчетно он выбрал второе и бросился за Стапчуком. На ступеньках, которые подымались к перрону, возник затор. Это дало Гене возможность настичь молотящего во все стороны кулачищами Стапчука и прыгнуть к нему на спину. Но Стапчук, как медведь собаку, сбросил его с себя. Повернувшись всем телом, он ногой ударил Гену в лицо. Тот закрылся руками и, закусив разбитую губу, скатился со ступенек, но сразу вскочил на ноги. И только он сделал рывок вперед, Стапчук нанес ему сокрушительный удар в живот. От нестерпимой, как молния пронзившей все его существо боли Гена согнулся в дугу. Сопя и озираясь, Стапчук задержался на лестнице. Затор в проходе еще увеличился, и путь на перрон был затруднен. Свободной оставалась только дорога к правому проходу, но она пролегала мимо еще не добитого окончательно Гены. Стапчук занес руку назад для нового, последнего, может быть, удара, но уже пробуждающийся от шокового ослепления Гена, непревзойденный мастер карате и спортсмен, ловко увернулся и ребром ладони рубанул врага прямо по волосатому и потному адамову яблоку. Стапчук схватился за горло, захрипел и медленно сполз на землю. Только тем обстоятельством, что Гена еще не очнулся от парализовавшей его боли, можно объяснить сравнительно умеренную силу его удара. Обычно он легко перерубал кирпич и, конечно, мог бы убить Стапчука. Итак, Стапчук был повержен!

На другом участке фронта силы добра тоже, кажется, одержали верх. То ли маленький милиционер выдюжил и разжал наконец смертельные кольца, то ли Володька (кем еще мог быть этот удав?) вспомнил всю доброту воспитавших его людей и, внезапно перестав душить свою жертву, кинулся наутек. Любопытных как ветром сдуло. Перед Володькой образовалась самая настоящая улица, и он с удивительной, конечно, только для тех, кто не видел змей на воле, скоростью шмыгнул мимо метро прямо к остановке такси.

Очередь пропала в мгновение ока, будто стая воробьев, и Володька оказался первым, кто бросился навстречу долгожданному зеленому глазку. Но это был последний бросок в его жизни, последняя гримаса его невезучей судьбы, ибо он попал прямо под колеса.

Когда таксист затормозил и, распахнув дверцу, выскочил из машины, то увидел огромную, вытянувшуюся в линейку змею. Небольшая треугольная голова ее была чуть вмята в пластичный асфальт, по белому брюху перебегали конвульсивные спазмы, а туповатый хвост еще колотился по земле, вздымая облака пыли и расшвыривая вокруг плоские сухие окурки и горелые спички.

Таков был глупый, совершенно неестественный для удава, но тем не менее трагический конец Володьки. Вокруг него уже робко собиралась осмелевшая толпа. Пронзительно свиристели, перекрывая движение, милицейские свистки.

Главные герои драмы остались почти в одиночестве, как освистанные неблагодарной публикой театральные герои.

Болдырев, все еще малиновый, с усилием и недоверием пытался ворочать головой. Фуражка с него давно свалилась, жиденький чубчик прилип ко лбу. Он тяжело дышал, видимо, все еще не понимая до конца случившегося, но силясь что-то припомнить и наконец осознать.

Стапчук лежал замертво, и вздутый кадык его, принявший на себя всю сокрушительную тяжесть японского приема, не шевелился. Зато Гена полностью пришел в себя. И хотя руки его еще слегка дрожали, он пытался одновременно и вытереть кровь с лица, и стряхнуть пыль с брюк. Только это ему плохо удавалось. Кровь размазывалась рыжими полосами и, продолжая капать, темными звездочками прожигала пыль. Гена быстро понял всю тщету своих усилий и, решив, что без воды не обойтись, собрался было пройти в туалет. В тот момент он еще не вспомнил ни об альбигойском ларце, ни о той причине, которая, собственно, заставила его принять бой.

Но со всех сторон к нему уже спешили милиционеры разных рангов. Он мужественно и скромно, как и положено герою, приготовился к встрече с ними. Как-никак, а без него этого бандита вряд ли бы так скоро словили.

Это факт. Жаль только, что Мария не присутствовала при этой столь драматической сцене... Очень жаль!

Один из милиционеров поднял фуражку Болдырева, отряхнул и протянул владельцу. Тот ошалело глянул на нее, потом все же взял и надел, но криво. Коллега тут же поправил и, похлопав маленького сержанта по плечу, обнял его и повел к Гене, успевшему принять непринужденную, чуть небрежную позу.

Но тут Гена нащупал языком скользкую соленую ямку от выбитого зуба, и все его приподнятое настроение мигом улетучилось. «Хорошо еще, если вместе с корешком, — затосковал он. — Ничего себе счастливый денек! Ох и накостыляю я Юрке шею за такое счастье...»

В Малино он так в этот гороскопный день и не попал.

Глава 28

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

Грамота была отпечатана типографским способом на бристольском картоне с золотым обрезом и снабжена всеми необходимыми подписями и печатями. На самом верху ее находился герб: увенчанный трофеем и графской короной серебряный щит с зубчатой башней и тремя пчелками вдоль трехцветной ленты.

К грамоте прилагались: шелковая подвязка, пакет с документами, завещание и личное письмо.

«Дарственная грамота

Я, Мадлена-Дениза графиня де Ту видамесса де Монсегюр, вдова последнего наследственного видама Монсегюра Филиппа-Ангеррана-Августа графа де Ту и единственная наследница титула и состояния, передаю во владение господина Владимира Константиновича Люсина хранящуюся в нашей семье подвязку Генриха Четвертого, короля Франции и Наварры. Подлинность драгоценной реликвии, в день злодейского убийства обагренной кровью великого короля, удостоверяется историческими документами, а также семейными архивами домов Роган, Фуа и Ту. Указанные документы передаются господину Люсину вместе с реликвией в полное и неограниченное владение без каких бы то ни было условий. Он волен поступить с ними по своему усмотрению, а также передать их лично или по завещанию любому лицу.

Мадлена-Дениза графиня
де Ту видамесса де Монсегюр.

Удостоверено нотариальной конторой Клодель и Кин».

«Завещание

Находясь в здравом уме и твердой памяти, в предвидении неизбежной смерти, я, Эркюль де Роган герцог де Монбазон, дополняю сим ранее составленное мною завещание. Воля моя в отношении движимого и недвижимого имущества остается неизменной. Единственным и законным наследником всего состояния является мой сын Генрих Ганнибал де Роган граф де Шарки. Однако обстоятельства вынуждают меня дать специальное распоряжение касательно некоторых документов семейного архива и доверенной мне на сохранение подвязки короля Франции и Наварры, забрызганной августейшей кровью в черный для Франции день.

Сию печальную драгоценность вместе с приложенными бумагами завещаю отдать в вечное владение Бертрану-Оливье графу де Ту, моему крестнику, сыну моего друга и родственника маршала Франсуа де Ту, оказавшего последнюю услугу несчастному королю. В день, когда молодой граф станет посвященным, дано ему будет узнать, что сия подвязка — служанка.

Эркюль де Роган герцог де Монбазон».

Письмо маршала де Ту своему сыну Бертрану-Оливье

«Вы получите это последнее мое письмо, граф, когда ни меня, ни Вашего крестного отца и опекуна герцога де Монбазона уже не будет в живых. Молю Бога, чтобы последнее случилось как можно

позднее и застало Вас в возрасте достаточно зрелом, чтобы взвалить на свои плечи тяжкое бремя ответственности.

Никогда не забывайте, граф, что имя свое вы получили в память о святом епископе истинной веры наших предков господине Бертране д'Ан Марти, который взошел на костер в Поле сожженных марта 16 дня 1244 года.

Помните, сын мой, что на подвязке, которая в настоящую минуту лежит перед Вашими глазами, кровь величайшего из королей. В ночь накануне святого Варфоломея он купил себе жизнь ценой отречения от веры отцов, но не предал великого принципа: «Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны». Пусть это послужит Вам уроком, ибо жизнь беспощадна. Она всегда требует от нас предательств и компромиссов. Слова редко стоят головы, граф. Не придавайте особого значения словам и уж во всяком случае не спешите взойти на эшафот ради слов. Но знайте также, что и для отступничества есть пределы, преступив которые мы навеки теряем уважение к собственной личности, без которого в сущности незачем и жить. Верю, что Бог и собственная Ваша совесть, а равно и разум укажут Вам роковые границы эти, а также способы сохранить и жизнь, и честь в годину испытаний. Чужой опыт здесь едва ли полезен. Каждому дано в жизни измерить только собственную душу. Одни люди — таким был епископ Бертран — не знают сомнений и не способны ни к каким компромиссам, другие — я имею в виду короля Генриха, — напротив, оставаясь верными себе, проявляют широкую терпимость и большую свободу в принципах. Но свобода эта всего лишь отсрочка. Наступает неумолимый час, и вокруг них смыкается стальное кольцо, когда уже нельзя ни маневрировать, ни отступать. И если к тому роковому моменту бессмертная душа еще не утрачена ими, они столь же бестрепетно и гордо пойдут навстречу своему костру, как это сделал Бертран д'Ан Марти.

Епископ отдал всего себя служению истине и погиб мучительной смертью от руки невежественных злодеев; великий король готов был даже погубить себя во имя Франции и тоже погиб от руки убийцы, вручив только Богу сокровище, которое не принадлежало ни ему, ни его подданным — бессмертную душу.

Будем же и мы верны теням великих и, сохранив себя, сохраним и доверенные нам тайны. От отца к сыну, от сына к внуку, но только так, чтобы среди живущих был лишь один посвященный. Мы не должны даже пытаться постигнуть доверенную нам тайну, тем более раскрыть ее. Мы только хранители! Мы призваны только хранить ее в лоне семьи до поры, неведомой нам, назначенной не нами, и для цели, непостижимой для нас. Помните же об этом всегда, граф! Ваша задача — передать все это потомству.

Теперь же ознакомьтесь с тем, что доверено сохранить и не утратить роду де Ту:

«В безлунную ночь с 14 на 15 марта 1244 года с неприступных скал Монсегюра спустились на веревке четверо посвященных. Их имена: Гюго, Эмвель, Экар и Кламен. Они спасли бесценное сокро-

вище катаров. План, по которому можно отыскать его, выбит тайнописью на серебряной пентаграмме, именуемой «звезда Флоренции», которая принадлежит ныне короле-регентше, в тайну не посвященной. В руках оной же регентши Марии из рода Медичи пребывает и священный ларец, в коем ранее обитало сокровище. Теперь он пуст, но настанет день, и разрозненные пылинки вновь объединятся в сверкающий узор, в котором посвященные прочтут секреты величия и могущества. Не пытайтесь вырвать священные атрибуты из невежественных рук. Все само собой сложится в надлежащий час, по воле звезд — управителей судеб. Но следите за ними. Дабы не исчезли они из поля вашего зрения, не сгинули и не пропали бы в безвестности и позоре. Всего их девять, по числу истинных, в тайных катарских учениях перечисленных планет: Сокровище, Вместилище и Семеро слуг (по числу планет астрологическому и учению пифагорейцев). Попечению монсегюрских видамов отданы: Вместилище (священный ларец) и одна из служанок его (серебряная пентаграмма). Следуйте же за ними повсюду, не щадя ни достояния своего, ни самой жизни. Клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не раскрывайте тайны».

Вот, граф, та часть тайны, которая доверена нам на сохранение. От себя добавлю, и отныне это станет постоянным добавлением к великой миссии, которая возложена на наш род.

В связи с тем, что граф де Фуа, дед Ваш со стороны матери, умер, не оставив прямых наследников мужского пола, он передал мне свою часть тайны. Вот она: «Ключ к тайнописи пентаграммы хранит слуга — тигровый глаз — седьмое зерно резных четок из индийского камня, принадлежащих испанскому королю».

Отныне это тайна нашего дома. Мы только хранители. Остальное — в руках Божьих. «Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны».

Граф де Ту, маршал Франции».

Письмо Денизы Локар товарищу Люсину В. К.

«Дорогой друг!

Позвольте мне называть Вас так, иначе будет совершенно непонятно, почему графиня и наследственная видамесса делает своим наследником Вас. Но это, конечно, шутка. Надеюсь, Вы простите мне это помпезное шутовство с «дарственной грамотой», но, как говорится, положение обязывает. Вы поймете это, когда ознакомитесь с остальными бумагами. Право, все это вещи очень серьезные и заслуживают соответственного отношения, тем более что подвязка Генриха Наварского действительно является исторической ценностью. Впрочем, кажется, не только исторической, потому что она была застрахована на сто тысяч новых франков. Страховой полис я не выслала, поскольку Вам он, очевидно, совершенно не нужен. Итак, Вы становитесь отныне наследником древних, запутанных тайн, хранившихся столетиями в известнейших феодальных семействах. Очевидно, недаром их предписывалось так строго хранить,

потому что во все века вокруг них вертелось столько проходимцев и негодяев. Но с Вас я не беру никаких клятв. Можете, если угодно, лжесвидетельствовать и даже раскрыть тайну первому встречному. Все это является Вашим личным делом, действуйте, товарищ Люсин, по своему усмотрению. И все же одно обещание Вы должны будете мне дать! Надеюсь, Вы догадываетесь, в чем оно заключается? Да, товарищ Люсин, это именно то, о чем Вы сейчас подумали. Вы обязаны поймать эту мерзкую и подлую гадину — Андре Савиньи! Во имя всего хорошего, что только есть или было на свете, Вы обязаны поймать и раздавить ее!

Поймать и раздавить! Иначе не будет мне покоя ни в этом, ни в ином мире. Иначе я навсегда останусь предательницей и клятвопреступницей, самовольно доверившей древние тайны недостойному человеку. Докажите же, товарищ Люсин, что это не так, и я вручила наследство в надежные руки. Найдите его! Я не знаю, что он успел наделать в СССР и как на это посмотрят Ваши юристы, но помните: счастливейшим днем в моей жизни будет тот, когда я получу от Вас весть о смерти предателя.

Вы получили нелегкое наследство, товарищ Люсин, очень нелегкое. Теперь я хочу поделиться с Вами некоторыми соображениями, которые возникли у меня при чтении исторических документов (я тоже послала их Вам). Не знаю, насколько ценны они будут для Вас, но, мне кажется, они проливают хоть какой-то свет на то, почему всем этим так интересовался Савиньи. Итак, завязку всей этой истории следует искать, по-видимому, в XII—XIII веках в Лангедоке, на юге Франции. Лангедокское графство простиралось тогда от Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Керси. Его сюзерены, династия Раймундов, были настолько могущественны и богаты, что их часто называли «королями юга», подобно тому как Плантагенетов именовали «королями севера». Но если на севере все еще исповедовали католичество, то во владениях графов Раймундов все шире распространялась опасная ересь, таинственными путями проникшая во Францию из далекой Азии.

Альби, Тулуза, Фуа, Каркассонн — повсюду множится число тех, кого назвали потом катарами («чистыми» по-гречески), или альбигойцами, поскольку впервые они заявили о себе именно в Альби. «Нет одного Бога, есть два, которые оспаривают господство над миром. Это Бог Добра и Бог Зла. Бессмертный дух человеческий устремлен к Богу Добра, но бренная его оболочка тянется к Темному Богу» — так учили катары. В остроконечных колпаках халдейских звездочетов, в черных, подпоясанных веревкой одеждах пошли они по пыльным дорогам Лангедока, проповедуя повсюду свое вероучение. Это были так называемые Совершенные — подвижники веры, принявшие на себя тяжкие обеты аскетизма. Остальные же лангедокцы жили обычной жизнью, веселой и шумной, грешили, как все люди, что не мешало им благоговейно соблюдать те немногие заповеди, которым научили их Совершенные. Одна из этих заповедей — основная: «Не проливай крови». Это опасная ересь!

Опасная во все времена. Она, быть может, еще более страшна для сильных мира сего, чем сама доктрина катаров. Впрочем, они неотделимы друг от друга. Судите сами. Вот небольшой отрывок из подлинных альбигойских источников, которые разыскал мой муж еще в бытность студентом: «Мир существует вечно, он не имеет ни начала, ни конца... Земля не могла быть сотворена Богом, ибо это значило бы, что Бог сотворил порочное... Христос никогда не рождался, не жил и не умирал на Земле, так как евангельский рассказ о Христе является выдумкой католических попов... Крещение бесполезно, ибо оно проводится над младенцами, не имеющими разума, и никак не предохраняет человека от грядущих грехов... Крест не символ веры, а орудие пытки, в Риме на нем распинали людей...»

Конечно, этого было вполне достаточно, чтобы поднять христианский мир на крестовый поход против страшной заразы, идущей с юга. Благо интересы церкви здесь целиком сходились с тайными устремлениями французских королей. Ведь и Филипп II Август и Людовик VIII давно уже точили зубы на богатое Тулузское графство, которое было бы так славно присоединить к королевскому домену. А тут еще говорят, что Раймунд VI граф Тулузский — еретик, не признает католических таинств, отрицает Святую Троицу, ад и чистилище, а земную жизнь именует творением сатаны. Чего же, кажется, лучше? Не пора ли созывать баронов? Трубить в поход?

Но Рим почему-то медлил с началом похода. Почему? Не знаю, я не слишком сильна в истории. Очевидно, на то были свои причины. Одна из них, скорее всего, заключалась в том, что катары очень скрытно проповедовали свое вероучение. Шпионы великого понтифика не могли даже ответить на самые простые вопросы владыки. Каковы обряды альбигойцев? Где они совершают свои богослужения и совершают ли они их вообще? Нет, ничего достоверного узнать о катарах не удалось. Может быть, виной тому был великий и очень человечный принцип: «Jura perjura, secretum prodere noli!» — «Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны!»?

Но чем менее известно было о новой ереси, тем страшнее она казалась.

«Катары — гнусные еретики! — проповедовали католические епископы. — Надо огнем выжечь их, да так, чтобы семени не осталось...»

Папа Иннокентий II послал в Лангедок своего доверенного соглядатая — испанского монаха Доминика, причисленного впоследствии к лику святых. Доминик попытался противопоставить аскетизму Совершенных еще более суровый аскетизм с самобичеванием и умерщвлением плоти, но это вызывало только смех. Тогда он попытался победить еретических проповедников силой своего красноречия и мрачной глубиной веры, но люди больше не верили в спасительную силу пролитой на Голгофе святой крови.

Фра Доминик покинул Тулузу, глубоко убежденный, что страшную ересь можно сломить только военной силой. Вторжение стало решенным делом. Личной буллой великий понтифик подчи-

нил недавно учрежденную святую инквизицию попечению ордена доминиканцев — псов господних.

Римский первосвященник объявляет наконец крестовый поход, а христианнейший король Филипп II Август, развернув орифламму, двинул к границам Лангедока закованных в сталь баронов и армию в 50 000 копий.

Умирает Иннокентий, и конклав кардиналов избирает нового папу; три короля сменяются на французском престоле, а в Лангедоке все еще полыхает пламя восстаний. Покоренные и униженные жители Тулузы, Фуа, Альби и Каркассонна вновь и вновь берутся за оружие во имя бессмертных заповедей Совершенных. Только через шестьдесят лет негодяю из негодяев, по имени Симон де Монфор, по прозвищу Арденнский вепрь, удается как будто бы утихомирить опустевшую, дымящуюся страну.

Только в Безье головорезы, согнав жителей в церковь св. Назария, перебили 7000 человек, не щадя ни детей, ни женщин. «Святой отец, как отличить катаров от добрых католиков?» — спросил однажды какой-то солдат папского легата Арнольди да Сито, сопровождавшего карательную экспедицию де Монфора. «Убивайте всех: Бог узнает своих!» — ответил легат, и слова его вошли в историю...

Безье горел три дня; древний Каркассонн, у стен которого катары дали последний бой, был наполовину разрушен. Последние Совершенные с остатками разбитой армии отступили в горы и заперлись в стенах пятиугольного замка Монсегюр.

Среди защитников крепости было всего около сотни военных. Остальные не имели права носить оружие, ибо в глазах Совершенных оно являлось носителем зла. Но и сотня воинов целый год противостояла десяти тысячам осаждавших крепость крестоносцев. Но силы были слишком неравны. Объединившись вокруг своего престарелого епископа Бертрана д'Ан Марти, Совершенные, последние маги, философы, врачи, астрономы, поэты, готовились принять мученическую смерть.

Однажды ночью крестоносцы втащили на крохотную скальную площадку тяжелую катапульту и забросали замок камнями. В марте 1244 года Монсегюр пал, а спустя несколько дней, двести пятьдесят семь уцелевших после штурма катаров взошли на костер.

Но четверо Совершенных спасли главную катарскую святыню. Спустившись с заоблачных круч Монсегюра, они тайно унесли куда-то ларец с неизвестным сокровищем. Это подлинный исторический факт. Его установил мой муж. Но, как вы увидите, задолго до него имена смельчаков были названы в фамильных документах Роганов, Ту и Фуа. Филиппу же просто удалось раскопать в авиньонской библиотеке, что и легат Арнольди был осведомлен об этом. Филипп нашел протокол допроса, который был учинен под пыткой коменданту крепости Монсегюр Арно-Роже де Мирпуа. Вот что он вынужден был сказать пресвятому трибуналу: «Бежавших звали Гюго, Эмвель, Экар и Кламен. Это были четверо Совершенных. Я сам организовал их побег, они унесли с собой наши сокровища. Все тайны катаров

заключались в этом свертке». Как видите, эти сведения полностью подтверждаются документами наших семейных хроник.

Крестоносцы спешно снарядили погоню, но беглецы как в воду канули. Единственное, что удалось найти преследователям, — это был пустой ларец, в котором раньше хранился сверток с сокровищем. Очевидно, беглецы были не в силах и дальше таскать за собой огромный и тяжелый сундук и, вынув сверток, спрятали его в надежном месте. Где именно? Об этом, как вы знаете теперь, могла бы рассказать только серебряная пентаграмма «звезда Флоренции», ключ к шифру которой хранится в седьмом зерне четок из тигрового глаза. Филипп пытался разгадать эту тайну, но помешала война... Возможно, Савиньи знал об этом...

Я даже думаю, что знал наверняка...

На этом теряются все следы священного сокровища мужественных альбигойцев и, как говорили в прошлом веке беллетристы, начинается история ларца и семерки его слуг. Я мало что знаю из этой истории. К тому, что вы узнаете из этих документов, я могу добавить лишь очень немногое. Так, из семи слуг мне известны только следующие: упомянутые в документах серебряная пентаграмма («звезда Флоренции»), подвязка Генриха IV, седьмое зерно четок и — об этом я узнала случайно — какой-то необычный алмаз красной воды. Но я, кажется, забегаю вперед. Как вы, должно быть, уже догадались, семьи де Ту, де Фуа и Роганов связаны с трагической историей катаров. Право, не так уж важно теперь проследить всю их генеалогию. Я лично знаю только одно, да и то опять-таки совершенно случайно: де Фуа являются прямыми наследниками графов Тулузских. Но, повторяю, не это важно.

Очевидно, потомки уцелевших Совершенных продолжали тайно следить как за спрятанными, так и за расхищенными сокровищами (в данном случае я имею в виду ларец и его слуг). Это была действительно миссия поколений, передаваемая, как священный огонь, от отца к сыну. Но постепенно, очевидно, тайна оказалась раздробленной, связь между семьями ослабела, а кое-что просто утерялось или забылось. Сообщу Вам поэтому только то, что известно мне. Филипп, возможно, сказал бы Вам больше. Итак, после покорения Лангедока разбойничья армия возвратилась домой, увозя с собой награбленное. Уехал к себе на родину, в Италию, и папский легат Арнольди да Сито. Именно он и увез с собой легендарное вместилище катарской святыни — резной драгоценный ларец. Впоследствии ларец этот оказался в семействе Медичи. Когда Генрих IV по политическим соображениям вступил в брак с Марией Медичи, ларец возвратился во Францию. Вместе с ним вернулся и священный пятиугольник из серебра, на котором было зашифровано описание места, в котором четверо Совершенных укрыли когда-то катарское сокровище. Возможно, Генрих IV кое-что знал об этом или о чем-то догадывался. Иначе трудно объяснить, каким образом его подвязка оказалась вдруг причисленной к семерке слуг. Мария Медичи же, одна из вдохновительниц заговора против короля, вероятно, не была

посвящена в тайну принадлежавших ей сокровищ или же просто так и не нашла времени, чтобы ею заняться. Когда на престол вступил сын Генриха IV — Людовик XIII, еще одна служанка попала в Лувр. Это были четки из тигрового глаза, в которых спрятали ключ к шифру. Эти четки испанский король подарил своей сестре Анне Австрийской в день ее обручения с Людовиком. Опять, как видите, иностранка, став королевой Франции, возвратила ларцу беглую служанку. Знала ли Анна Австрийская тайну четок или нет, неизвестно. Неведомо также, как вообще попали четки в Испанию. Скорее всего, их увез какой-нибудь безымянный грабитель, а может, даже и сам святой Доминик.

Семейные хроники умалчивают о том, что случилось с интересующими нас предметами в последующие годы. Может быть, оттого, что они мирно почивали под сенью королевского дома. Лишь накануне революции 1789 года ларец и его слуги вновь заставили заговорить о себе. Это связано с приездом в Париж знаменитого Калиостро, графа Феникса.

Людовик XVI буквально боготворил Калиостро. Он даже громогласно объявил, что всякая критика в адрес этого замечательного человека будет рассматриваться как антигосударственное деяние. Неслыханное заявление! Оно только лишний раз доказывает, что режим королевской власти окончательно разложился и должен был пасть, подобно тому, как случилось потом у вас в России при Распутине. Но это всего лишь отступление, а не историческая параллель. В истории я, повторяю, абсолютная дилетантка.

В документах дома Фуа говорится, что Калиостро обещал Людовику бессмертие, тайной которого якобы обладал вот уже две тысячи лет. Взамен он потребовал «всего лишь» ларец, «звезду Флоренции» и четки из тигрового глаза. Как видно, граф Феникс каким-то образом овладел тайной. Король ни в чем не мог отказать своему любимцу и с радостью отдал ему «всю эту старую рухлядь». Но тут как раз приключилось знаменитое дело об алмазном ожерелье, познакомиться с которым можно в любой книге по французской истории. Оклеветанный епископом Роганом (как я понимаю, это было сделано намеренно, чтобы лишить самозваного графа королевских сокровищ: ведь сделал-то это Роган — один из тех, кому назначено было следить за ними!), Калиостро очутился в тюрьме, а все его имущество конфисковали. Но оговор не удался, и Калиостро вскоре пришлось освободить. Впрочем, я совершенно не уверена, что все обстояло именно так... Вместе со своей женой, красавицей Лоренцией, он покинул Париж. И опять неизвестно, увез ли он с собой катарские святыни или они остались во Франции. По одним сведениям, он все же сумел их вывезти и спрятал где-то в России, в каком-то курляндском замке, по другим — вынужден был оставить. Но так или иначе, каким-то путем в начале прошлого века ларец все же попал в Россию. Как именно? Об этом я ничего не знаю. Известно только, что один из родственников де Фуа, некто Жорж де Кальве, последовал за ларцом и продолжал даже на чужбине оста-

ваться его хранителем. Это обстоятельство, собственно, и наводит меня на мысль, что Савиньи приехал в Советский Союз, чтобы отыскать ларец. Но возможно, я и ошибаюсь ..

Пожалуй, больше мне нечего Вам сообщить Впрочем, нет, еще одно. Дело в том, что во Франции Калиостро очень сблизился с мартинистами, иллюминатами и розенкрейцерами. Это, конечно, естественно. Он продемонстрировал им такие чудеса, что они приняли его за второго Аполлония Тианского, возможно, даже за первого, ибо Калиостро считали бессмертным. По некоторым свидетельствам можно заключить, что один из виднейших иллюминатов, знаменитый Казот, поведал Калиостро какую-то важную тайну и преподнес ему алмаз удивительного цвета, напоминающего разбавленное водой бордоское. Казот при этом именовал алмаз «слезою Марса» и «одним из слуг». Из этого я делаю заключение, что Калиостро узнал тайну именно от Казота, хотя, по другим сведениям, красный алмаз был увезен на Мальту каким-то фламандским дворянином-розенкрейцером.

Казот был замечательным человеком. Опять же из истории вы можете узнать о знаменитом «предсказании Казота», сделанном якобы в одном дворянском кружке. Казот предсказал тогда всем присутствующим, и себе в том числе, скорую трагическую смерть. Предсказание его вскоре полностью сбылось во время якобинского террора.

Это опять-таки отступление, никакого отношения к интересующему Вас делу не имеющее. Но и добавить к этому делу еще что-либо я уже не могу.

Позвольте же на этом проститься с Вами и пожелать Вам самых больших успехов. И помните, что я жду от вас сообщения о Савиньи.

Искренне расположенная к Вам *Дениза Локар*».

Люсин отложил письмо мадам Локар и задумался. В этот момент в кабинет вошел Шуляк.

— Так, так! — рассмеялся он, увидев разорванный пакет с разноцветными штемпелями и кучей иностранных марок. — Переписочка с заграницей! Что это у вас? — Он кивнул на «Дарственную грамоту». — Небось диплом получили?

— Э, что там диплом! — поморщился Люсин. — Подымайте, выше! Просто за заслуги перед иностранной державой меня возвели в герцогское достоинство... А кроме того, я получил предложение стать директором Интерпола. Вот подыскиваю себе заместителя. Нет ли подходящей кандидатуры на примете?

— Как же! — рассмеялся Шуляк. — Очень даже есть! Могу предложить, в частности, себя!

— Вот как? — Люсин сделал вид, что очень удивлен. — А справитесь?

— Полагаете, что не потяну? Как же быть тогда с материалами о Стапчуке? Я уж и не решаюсь вручить их вам, раз такое недоверие...

— О Стапчуке? — Люсин сразу же перестал дурачиться. — Что-нибудь новое?

— Очень даже новое! Можно сказать, совсем новое!

— Давай сюда! — незаметно он перешел на «ты».

— Вот как? А в Интерпол возьмешь?

— Возьму, возьму!

— И этим самым — как его? — графом сделаешь?

— Само собой! Считай, что корона у тебя в кармане. Давай материалы!

— Так уж и быть! — Шуляк положил на стол досье. — Когда допрос снимать будешь?

— Как только прочту.

Глава 29

ИЗ БЕЗДНЫ

Магнитофонная запись допроса

С л е д о в а т е л ь. Итак, вы по-прежнему утверждаете, что ваша фамилия Стапчук?

С т а п ч у к. А как же иначе, товарищ дорогой? Конечно, Стапчук! Сидор Федорович Стапчук. И отец мой был Стапчук, и дед — Стапчук. Мы все как есть Стапчуки. В документах, в анкетах тоже Стапчуком значусь... Или у вас какие сомнения есть?

С л е д о в а т е л ь. Это, Сидор Федорович, у меня привычка такая: перед каждым допросом уточнять фамилию. А то бывает, знаете ли, в ходе следствия открываются такие подробности, что подследственный сам от своей фамилии отказываться начинает.

С т а п ч у к. Понимаю, гражданин следователь! Очень даже понимаю. Сам бы готов от себя отказаться, душегуба проклятого, да разве возможно? Куда там... Виноват я, тяжко виноват и готов понести справедливое и неизбежное возмездие.

С л е д о в а т е л ь. Вы себя только что душегубом назвали, Сидор Федорович. Как это следует понимать?

С т а п ч у к. А так и следует, гражданин начальник. Душегуб я и есть. Человека убил... Да будто вам не известно? Э, да что там говорить! Сознаюсь и принимаю на себя. Убил человека! Виновен, так сказать, в непредумышленном убийстве. Раскаяние мое, понимаю, конечно, не в счет. Начхать суду на мои чувства. Но вам, гражданин следователь, за уважительное отношение ваше, скажу, что убил нечаянно. Да и за что мне было убивать его? Как на духу говорю, не верите?

С л е д о в а т е л ь. Вы это уже говорили на первом допросе. Правда, сначала вы пытались отрицать свою причастность к убийству, но, надо отдать вам должное, быстро одумались. Против фактов ведь никуда не денешься, не так ли, Сидор Федорович?

С т а п ч у к. Истинная правда! Как Бог свят! Испужался я сперва, гражданин следователь, ох как испужался! Но потом в себя пришел, осознал и скажу вам: тошно мне от своего душегубства стало! Подумать только: Стапчук человека убил! До сих пор не верится. Ловлю себя на том, что это сон. Проснусь, думаю, и все пойдет, как прежде: на работу, думаю, пойду... Только куда там! Вы вот очень точно сказать изволили: против фактов никуда не попрешь. Очень образно сказали. Куды Стапчуку против науки? Пыж вон ентот из квитанционной книжки, восковую маску на лицо накладывали, чтоб пороховой нагар снять. Ружье опять же исследовали... Не захочешь — сознаешься... Только непредумышленно я милиционера вашего убил.

С л е д о в а т е л ь. Вы это уже говорили.

С т а п ч у к. И опять говорить буду! Что ж мне, товарищ дорогой, делать, коли я и вправду по нечаянности выстрел сделал? Сами-то рассудите: разве была мне какая корысть убивать? Шел себе по улице незнакомый человек в штатской одежде, а Стапчук вдруг ни с того ни с сего бац ему в затылок жаканом... Так, что ли, по-вашему, выходит? Что я, псих какой? Нет уж, прошу официально, товарищ... простите, гражданин следователь, направить меня на экспертизу в Институт имени Сербского. Пусть там убедятся, что Стапчук абсолютно нормальный.

С л е д о в а т е л ь. Это для чего же, Сидор Федорович?

С т а п ч у к. Тогда у вас всякие сомнения на мой счет исчезнут. Не станет нормальный человек намеренно стрелять в незнакомого милиционера, даже если тот не в форме... Эх, оговорился я, образование подводит, простите старика... Я хотел сказать, что нормальный и, учтите, до недавнего прошлого кристально чистый советский человек не будет стрелять среди бела дня в незнакомого прохожего. Не будет! Разве не так?

С л е д о в а т е л ь. Однако вы стреляли.

С т а п ч у к. А о чем это говорит? О том, что выстрел был произведен не-ча-ян-но! Вот и получается, что я говорю правду!

С л е д о в а т е л ь. В самом деле? Ну ладно, Сидор Федорович, мы еще к этому вернемся. А пока я вынужден вновь задать вам вопрос: зачем вы в тот день подошли к ограде с заряженным ружьем? С какой целью, если не стрелять?

С т а п ч у к. Да просто так, без всякой цели!

С л е д о в а т е л ь. В прошлый раз вы заявили, что хотели ворон попугать.

С т а п ч у к. Да я и теперь бы так сказал, только же вы не поверите.

С л е д о в а т е л ь. Согласитесь, трудно поверить, что вам так уж сильно докучали вороны? Но даже если встать здесь на вашу точку зрения, то и тогда не удастся избегнуть некоторых трудностей.

С т а п ч у к. Вы это про жакан?

С л е д о в а т е л ь. И про жакан.

С т а п ч у к. Так я ж говорил вам, гражданин следователь, что про жакан позабыл. Думал, у меня дробь. Промашка вышла.

Следователь. Помню: говорили. Но ведь это объяснение едва ли можно признать удовлетворительным. Вот смотрите, как выглядит картина в целом. Незадолго до убийства вы сами — сами, Сидор Федорович! — отливаете на газовой плите свинцовую пулю, а в тот день выходите с заряженным ружьем в сад попугать ворон. При этом вы случайно стреляете не в воздух, а прямо в затылок оперативного работника Светловидова...

Стапчук. Я не знал, что он милиционер.

Следователь. Очень может быть. Но это не делает нарисованную вами картину более убедительной.

Стапчук. Потому что вы мне не верите.

Следователь. Не верю, Сидор Федорович, не верю... И суд тоже не поверит, более того: даже своего защитника вы не сумеете убедить... Надо придумать что-нибудь более правдоподобное, Сидор Федорович.

Стапчук. Правде часто не верят!

Следователь. Сидор Федорович, стыдитесь! Это уже не ваше амплуа. Убийце, даже непредумышленному, роль правдоискателя не к лицу. Это выглядит смешно, вы мне поверьте, смешно и жалко.

Стапчук. Что же мне делать, если обстоятельства против меня? Я понимаю, что поверить мне трудно, но ведь и не поверить нельзя. Ну какая мне корысть была его убивать? Какая?

Следователь. Вот и я бы хотел это узнать. Может, мы вместе поразмыслим над этим? А, Сидор Федорович?

Стапчук. Как это — вместе?

Следователь. Очень просто. Попробуем логически исследовать все возможные мотивы, которые могли бы толкнуть вас на убийство.

Стапчук. Так их же нет, мотивов-то!

Следователь. Вот и давайте разберемся. Если действительно окажется, что таких мотивов нет, тогда ваш беспомощный — вы это сами понимаете! — лепет получит солидную основу.

Стапчук. И тогда вы мне поверите, что выстрел произошел случайно?

Следователь. Во всяком случае это будет звучать для меня более убедительно.

Стапчук. Тогда лады! Я вам верю! Давайте исследуйте!

Следователь. Вместе с вами, Сидор Федорович, вместе с вами.

Стапчук. Так я ж не умею исследовать, я ж малограмотный...

Следователь. Ничего, я вам помогу.

Стапчук. Готов учиться! Всеми силами хочу помочь следствию.

Следователь. Вот и прекрасно... Так, Сидор Федорович, временно допустив, что у вас все же была причина выстрелить в проходившего мимо забора человека, мы вынуждены спросить себя: какая причина?

Стапчук. Верно говорите! Золотая голова! Действительно: какая причина?

Следователь. Я вижу, вы легко усваиваете. Значит, дело пойдет. Итак, какая именно была у вас причина выстрелить в незнакомого вам человека? Здесь, мне кажется, есть две возможности. Первая — вы приняли Светловидова за кого-то другого, с кем хотели свести счеты, и вторая...

Стапчук. Я ни за кого его не принял! Мне не с кем сводить счеты!

Следователь. Это же только предположение, Сидор Федорович, только предположение! Мне казалось, что вы меня поняли.

Стапчук. Понял! Виноват, больше не буду. Продолжайте, пожалуйста, исследование на благо правосудия!

Следователь. Хорошо. Мы остановились с вами, Сидор Федорович, на второй возможности.

Стапчук. Так точно!

Следователь. А если мы предположим с вами, Сидор Федорович, что вы совершили ранее какое-то серьезное преступление? Ожидая, так сказать неизбежной кары, вы, понятно, обратили внимание на человека, который несколько раз проследовал мимо ваших ворот, а потом еще и зашел с другой стороны участка. Вполне допустимо, что это вас насторожило, и вы, решив, очевидно, что вас сейчас арестуют, схватили ружье, заряженное в предвидении такого момента, выстрелили и поспешили скрыться. Логично, как по-вашему?

Стапчук. Отчего же не логично? Очень даже логично. На то и образование дается... Только ведь неправда все это, гражданин начальник! Неправда! А правда, хоть она часто бывает горькой и даже смешной...

Следователь. Опять вы за свое, Сидор Федорович! Я ведь в сущности помогаю вам, показывая слабые места вашей, так сказать, потенциальной защиты, а вы: правда, неправда... Так мы далеко не уедем. Как вы полагаете, чья картина покажется более правдоподобной непредубежденному человеку: моя или ваша?

Стапчук. Ваша, конечно! Образование, ведь оно.

Следователь. Образование тут ни при чем. Я показал вам все слабости вашей версии. Теперь попробуем обменяться местами. Попытайтесь-ка опровергнуть мою, докажите мне, что мои обвинения несостоятельны.

Стапчук. Э, гражданин следователь, так не пойдет! Я слыхал, что советский человек не обязан доказывать свою невиновность. Это вы должны мне доказать, что я виноват... Уж простите, если что не так сказал.

Следователь. Вот видите, Сидор Федорович, а вы говорите: образование! Оказывается, вы у нас юрист, законник... Только вы малость ошибаетесь. Презумпция невиновности больше суда касается, а это у вас еще впереди. У меня же задача иная. Я не обвиняю и не оправдываю вас. Но отмечаю, что ваши показания не выдерживают никакой критики. Естественно, я вынужден давать

иное истолкование известных нам событий. Вы его, как я вижу, не принимаете — дело ваше. Но хочу указать вам, что защитить вашу позицию едва ли удастся.

Стапчук. Так я знаю. Разве же я не вижу? Вижу, в том-то и дело, что вижу. Да толку-то что? Вот у вас все, конечно, гладко получается, куда Стапчуку до вас! Но только ведь и вы, гражданин следователь, доказать ничего не можете. Рассуждения всякие, логика — это красиво, не спорю, только фактов-то у вас нет. А куда же без них? Верно, стрелял я в вашего сотоварища, тут и наука свое слово сказала, и сам я своей вины не отрицаю, а что до остального, так это пшик, так себе, мыльный пузырь... Где факты, я вас спрашиваю, где наука? Я ведь и на суде так скажу. Где, скажу, граждане судьи, факты? Докажите мне, скажу, что я виновен, а так я — чист!

Следователь. Ну, побойтесь Бога, Сидор Федорович, так ли уж чисты?

Стапчук. А это уж, как поглядеть... Непредумышленное убийство совершил и готов понести наказание. В остальном — чист! Пусть докажут, если не так! Неправильно я говорю?

Следователь. В основном правильно. Вижу, что одними логическими построениями нам не обойтись. Что ж, попробуем обратиться к фактам, если они, конечно, у нас есть.

Стапчук. Во-во!

Следователь. На полу вашей комнаты обнаружены следы крови. Что вы можете сказать по этому поводу?

Стапчук. Где кровь? Какая кровь? Ничего не знаю.

Следователь. Есть такой метод, который позволяет выявить пятна крови, даже если они были вытерты.

Стапчук. А я-то тут при чем?

Следователь. Вот этим самым методом и было установлено, между прочим, в присутствии понятых, что в вашей комнате недавно была пролита кровь.

Стапчук. Ах это!.. Я совсем забыл. Волнение, знаете ли... Я поросеночка резал как раз на Троицу!

Следователь. В комнате, не в кухне?

Стапчук. Да. Кухонька-то у меня маленькая, сами небось видели. Повернуться негде.

Следователь. Кровь человеческая.

Стапчук. Значит, это моя. Я палец недавно порезал. Капусту шинковал и рубанул нечаянно. Кажется, даже заметно еще, хотя кожа у меня очень грубая. Физический труд все же! И под открытым небом.

Следователь. Какая у вас группа крови?

Стапчук. А я почем знаю? Я ведь не доктор.

Следователь. Такие вещи, Сидор Федорович, знать надо. Может пригодиться. На всякий случай запомните, что по современной классификации у вас кровь группы АВ.

Стапчук. Неужели? Спасибо. Буду теперь знать... А вы, простите, откуда это знаете: мне ведь анализов в тюрьме не делали...

Следователь. Запамятовали вы, Сидор Федорович, запамятовали... Засучите-ка рукав... Что у вас над локтевым сгибом наколото? Это же группа крови!.. Когда и где вы поступили в СС?

Стапчук. Не отрицаю, гражданин следователь, было... Думал, что позабудут люди, сам почти что позабыл, да, видно, от судьбы не уйдешь... Хочу сделать признание! Официально заявляю, что хочу сделать чистосердечное признание. Имею право?

Следователь. Несомненно.

Стапчук. Вот и я так думаю! Вы еще увидите, гражданин следователь, Стапчук не совсем потерян для матери-Родины. Сейчас вы узнаете, что он...

Следователь. Кто он? Стапчук? Вы то есть?

Стапчук. Да. А что?

Следователь. Ничего, продолжайте.

Стапчук. Так вот, гражданин следователь, про то пятно крови... Не моя это кровь и не поросенка. Это кровь, можно сказать, злейшего врага Советской власти, матерого империалистического шпиона и даже диверсанта. Это он превратил тяжело раненного бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии Стапчука — вон она, моя искалеченная фашистским снарядом ноженька, товарищ следователь! — в подлого наймита! В бессознательном состоянии находился Сидор Стапчук, когда сделали ему эту проклятую наколку, пометили, как бычка какого-то... А все зачем? А затем, чтоб сломить человека, склонить его к измене матери-Родине! Мол, все теперь, парень, пути назад отрезаны. Куда ты денешься с эсэсовской своей наколкой и кто тебе поверит? Но Стапчук был тверд, он не пошел на измену...

Следователь. Вы говорите почему-то в третьем лице, словно рассказываете не про себя, а про кого-то другого. Это от скромности?

Стапчук. Нет, гражданин следователь, не от скромности. От стыда за Сидора Стапчука, за себя то есть, вовлеченного волею обстоятельств... Позволите продолжать?

Следователь. Продолжайте.

Стапчук. Значит, когда очнулся я в лагере для военнопленных советских солдат, эта наколка уже была на мне...

Следователь. До сих пор принято было думать, что в СС вступали добровольно. Более того, не всякого предателя немцы удостаивали этой чести, ее надо было заслужить.

Стапчук. В том-то и был их дьявольский план, гражданин следователь! Они вовсе и не приняли меня к себе! Вот в чем закавыка. Только наколку сделали в провокационных целях. Понимаете? Чтоб завербовать меня! Видно, понимали гады, что так я нипочем к ним не перейду.

Следователь. После наколки, значит, все же перешли?

Стапчук. Не! Где там... Для виду больше. Притом все время я лелеял одну только мысль — быть полезным нашим. Сведения собирал, облегчал участь попавших в фашистские лапы героических советских людей, собирался перебежать к партизанам...

Следователь. Не стоит столь пространно распространяться о ваших намерениях, Сидор Федорович, тем более что они так и не воплотились в реальность. Вернемся лучше к недавним событиям. Вы, кажется, говорили о каком-то шпионе и даже диверсанте.

Стапчук. Именно! Это он и сгубил меня. Он работал тогда в гестапо.

Следователь. У вас еще будет время предаться воспоминаниям, Сидор Федорович. Где он теперь? Как его имя, фамилия?

Стапчук. Насчет имени и фамилии этого изверга рода человеческого ничего сказать не могу. Он работал в немецкой контрразведке и фамилию свою менял чуть ли не каждый день, как портянки все равно... Мы его фамилию не знали. Зато насчет того, где он сейчас пребывает, могу сказать с полной уверенностью: в могиле.

Следователь. В могиле?

Стапчук. Да, товарищ... простите, гражданин следователь, в могиле! Это я своими руками совершил над ним справедливый приговор. Нет, нет, я все понимаю. Конечно, мне следовало задержать врага и передать его в руки наших замечательных органов. Но поймите меня, гражданин следователь, что я пережил, когда вдруг увидел его... Да у меня в глазах потемнело, когда он вошел в мою хату...

Следователь. Когда это было?

Стапчук. В начале прошлого месяца.

Следователь. Точнее.

Стапчук. Числа не помню... А день знаю — вторник. Первый вторник, точно знаю, у нас пленум кооператива в этот день был... Да, вошел он это и говорит: «Здравствуй, Стапчук, не узнаешь старого друга?» Но я его узнал! Кровь в голову так и бросилась. Тут уж я себя не помню. Что было дальше, сказать не могу. Не хочу врать. А уж когда я опять в сознание вернулся, он уж лежал на полу с пробитой головой, истекал поганой своей кровью. Каюсь, не по закону я поступил... Но честно говорю: не жалею. Рад даже, что поквитался с фашистским гадом.

Следователь. И чем это вы его?

Стапчук. Молотком. Сапожным молотком, гражданин следователь, я как раз косячки на сапогах прибивал, когда он вошел... Так что, чем попало... Да, что было в руках, то и... Одним словом, себя не помнил. Но не жалею!

Следователь. Почему не заявили потом?

Стапчук. Известно почему, гражданин следователь, — боялся. За собственную шкуру боялся, не хотел, чтоб опять стали в прошлом копаться... Разве не понятно?

Следователь. Куда дели труп?

Стапчук. В бочку, гражданин следователь. Положил его туда, цементом присыпал и водой залил, а когда цемент схватило, бочку в реку скатил.

Следователь. Место показать сможете?

Стапчук. Еще как смогу! Это недалеко, возле моста, там еще ива над омутом свисает... В этот омуток я и скатил его. Так что

место найду хоть днем, хоть ночью, смотря какое будет на то ваше указание.

Следователь. Значит, вы его убили сразу же, как он только вошел?

Стапчук. Так точно.

Следователь. И даже водки вместе с ним не выпили?

Стапчук. Чтоб я стал с этой нечистью пить? Нет, гражданин следователь, видно, вы не знаете Стапчука.

Следователь. На бутылках отпечатки его пальцев.

Стапчук. Правильно. Он принес, его пальцы и остались. Видно, думал меня за водку купить, катюга! Только я...

Следователь. Но бутылки пустые. Он что, после смерти их выпил?

Стапчук. Зачем так? Я и выпил. Не пропадать же добру!

Следователь. Почему же ваших следов на стекле не осталось?

Стапчук. Так я, гражданин следователь, те бутылки полотенцем брал, рушничком, чтоб руки не испачкать после него. Брезговал притронуться даже, раз его руки касались.

Следователь. А пить не брезговали?

Стапчук. Так ведь внутрь он не лазил! Водка-то, она чистая.

Следователь. Понятно, Сидор Федорович, теперь все понятно... Но объясните мне тогда, почему и на квартире престарелой гражданки Чарской вы проявили ту же щепетильность? Я допускаю, что вы брезговали браться за бутылку, но почему отпечатки ваших пальцев не остались, например, на рюмке, из которой вы пили? Как это понять? Или рюмку вы тоже брали полотенцем?

Стапчук. Зачем полотенцем? Я медицинские перчатки надел, такие резиновые...

Следователь. С какой целью, интересно?

Стапчук. А все для того, чтоб бутылки этой поганой не касаться. Вам странно, я понимаю. Но это уж мания у меня такая. У нас в роду все брезгливые: и отец, и дедушка... Но в гостях-то не будешь полотенцем орудовать, вот я и надумал перчатки в аптеке купить, чтоб старуха не заметила чего. А то ведь пойдут расспросы: отчего да почему?

Следователь. Ну, теперь все совершенно ясно, Сидор Федорович. Вы действительно проделали большую и тонкую работу, чтобы не осквернить себя прикосновением к этим нечистым бутылкам. Индийским брахманам ваш опыт был бы чрезвычайно полезен.

Стапчук. Кому, кому?

Следователь. Брахманам, Сидор Федорович, брахманам. Это, знаете ли, высшая каста жрецов, но разговор, конечно, не о них. Расскажите мне лучше, в чем смысл всей этой комедии с питоном и старым сундуком? В чем тут дело?

Стапчук. Какая же тут комедия? Никакой комедии нет. Вера Фабиановна — человек верующий, и я тоже, должен сказать вам, не отрицаю существование высших потусторонних сил. На этой почве мы с ней и сошлись, подружились.

Следователь. Причем же здесь питон?

Стапчук. Просто захотелось развлечь старушку. Много ли у нее в жизни радостей? Вот и показал ей живого питона... А старушка-то, гражданин следователь, жива?

Следователь. А вы как думаете, Сидор Федорович? Разве вы не оставили ее в состоянии глубокого шока, вызванного испугом?

Стапчук. Ах так?.. Ну, царство ей небесное...

Следователь. Радуетесь, что одним свидетелем меньше? Не спешите радоваться: Вера Фабиановна дала показания. И, между прочим, опознала вас по фотографии.

Стапчук. А я и не отрицаю! Был у нее и фокус с питоном показывал. Но пужать ее не хотел, просто развлечь немного думал, удивить.

Следователь. И сундук заодно похитить.

Стапчук. Сундук? На кой мне эта рухлядь! Она сама его отдала.

Следователь. Зачем?

Стапчук. Как — зачем? Питона возить. В мешке-то, чай, тяжело. Он пудов шесть тянет...

Следователь. Ах вот как! А питон — раз уж разговор опять о нем зашел — как к вам попал?

Стапчук. Обыкновенно попал — приполз, и все.

Следователь. Откуда? Из леса?

Стапчук. Чего не знаю, того не знаю. Приполз, и все.

Следователь. Видите ли, Сидор Федорович, факты свидетельствуют о том, что вы украли питона после представления, которое артисты цирка дали в доме отдыха. Подпоив здешнего культурника, вы взяли у него ключ от зала, а клетку и ящик раскрыли с помощью подручных средств. Ломик, кстати, найден в той самой комнате в доме номер семь во Втором Зачатьевском переулке, в которой вы скрывались последнее время. Все говорит, таким образом, что питон попал к вам совсем не случайно. Вы хотели с помощью этого питона выманить у гражданки Чарской ее сундук, что, собственно, и сделали. Она это подтверждает.

Стапчук. Оговор! Оговор, гражданин следователь, оговор! Теперь все будут валить на Стапчука. Но пусть говорят, что хотят — я остаюсь при своем. Ломик тут ни при чем. Это не мой. Стапчук в жизни еще ничего не украл. Спросите по месту работы. Вам там скажут, что честнее Стапчука человека нет. Вы же были у меня в хате. Видели. Жизнь-то прожил, а гроша ломаного не нажил. Могу только сожалеть, что моя глупая шутка с питоном привела к таким последствиям. Я вижу, что на меня брошена тень, но я невиновен.

Следователь. Зачем вы окрасили питона светящимся составом?

Стапчук. Для большего эффекта.

Следователь. Где взяли краску?

Стапчук. Купил случайно у одного маляра.

Следователь. Фамилия этого маляра?

Стапчук. Не знаю. Он у нас прошлое лето в кооперативе подрабатывал. С тех пор я его не видел.

Следователь. Зачем ужей окрасили?

Стапчук. Для опыта. Вроде научного эксперимента. Хотел посмотреть, что из этого получится.

Следователь. Откуда у вас эта синяя фаянсовая фигурка, изображающая древнеегипетского бога?

Стапчук. Эта?

Следователь. Да, да.

Стапчук. Ах эта! Ее, понимаете ли, тот гад, ну тот самый эсэсовец, которого я порешил, выронил. Я ее потом на полу нашел.

Следователь. Выходит, что их было две? Одна лежала в гостинице, в которой ваш, так сказать, старый недруг остановился, а другую он носил с собой?

Стапчук. Может, и так. Я лично ничего об этом не знаю. Просто увидел красивую штучку и подобрал, а что она собой представляет, понятия не имею.

Следователь. Вера Фабиановна Чарская утверждает, что вы предъявили ей фигурку в качестве своего рода пароля?

Стапчук. Пароля? Ничего не знаю. Может, старушка на этого гада работала? Вы бы выяснили, гражданин следователь. Я-то ведь просто так ей штучку-то эту показал. Вижу, у нее все вещи старинные, ну и решил похвастаться — показал. Случайно совершенно...

Следователь. Случайно? Понимаю.

Стапчук. Ну вот, вы опять мне не верите! Я же все по доброй воле рассказываю. Разве не я вам про шпиона этого чистосердечное признание сделал? Что было, то было, а чего не было, того, уж извините, на себя взять не могу. Ничего я про старуху не знаю. Могу только сказать, что это очень подозрительная особа... Позвольте рассказать лучше, как дальше было дело.

Следователь. Что значит «дальше»?

Стапчук. Ну после того как я, поддавшись справедливому гневу, покарал гестаповского агента.

Следователь. Слушаю вас, Сидор Федорович.

Стапчук. Одним словом, схоронил я его и стал ждать...

Следователь. Чего?

Стапчук. Второго визита. Я-то их методу знаю, изучил, слава богу. Они если возьмут на прицел человека, то уж не отцепятся. Вот и стал я поджидать нового гостя. Для этого — откроюсь вам, что уж теперь скрывать! — и отлил я пулю. Думаю, порешу и второго на месте, ежели он ко мне, конечно, пожалует. И стал я с тех пор дежурить с заряженным ружьем, ожидать, значит. Вот тут-то со мной эта беда и приключилась. Не за того я милиционера вашего принял, не за того! Сердце-вещун обмануло. Гляжу это я однажды — как раз в тот день кирпич привезли, — бродит один, на участок глазом косит. Я подождал, подождал, а он не уходит. Даже с другого бока зашел. «Так и есть, думаю, второй пожаловал». Ну, я и вжарил ему жаканом... Эх, да разве мог я думать,

что это наш, советский человек! Вот какая беда со мной, гражданин следователь, приключилась. Обманулся я, жестоко обманулся...

Следователь. И решили скрыться?

Стапчук. Конечно. Убийство есть убийство. Найдут тело, пойдут клубок разматывать, до прошлого моего проклятого обязательно докопаются. Ну, теперь, слава Богу, я чист перед вами. Все как есть выложил, и даже легче на душе стало. Теперь за мной ничего нет. Вот он я, весь перед вами, судите меня по всей строгости наших законов.

Следователь. Расскажите мне о подробностях убийства, совершенного вами в Парке культуры и отдыха имени Горького.

Стапчук. Какого убийства? Ничего не знаю! Стапчук, выходит, все убийства должен на себя взять? Интересно получается...

Следователь. Михайлова Виктора Михайловича вы ведь тоже ударили сапожным молотком? Не так ли?

Стапчук. Какого Михайлова?! Не знаю никакого Михайлова!

Следователь. Знаете, Сидор Федорович, знаете... Он еще привозил вам флуоресцентную краску. Припомните-ка получше.

Стапчук. Ах этот?!

Следователь. Да-да, именно этот.

Стапчук. Думал, что про него вы не знаете... Вы уж простите меня, гражданин следователь, но даже мышь и та жить хочет. Мне веры, понятно, нет никакой, хотя я добросовестно заблуждался. Думал, что врагов уничтожаю. Да, собственно, первый и был враг. Это я уж на милиционере вашем накололся, не за того его принял... А мальчишка этот стиляжный, ну художник который — вы вот сказали, Михайлов его фамилия, а я и не знал, — так он, тут уж я не ошибаюсь, тоже враг. Он сподручный того эсэсовца... Я уж вам теперь всю правду выложу. Их тут цельная компания. Художник этот, сама старуха и еще какой-то старикашка-краснодеревщик по кличке Дормидонтыч. Я его никогда не видел и ничего про него не знаю. Эсэсовец про него обмолвился. Честно говоря, я не сразу эсэсовца-то порешил, думал разузнать побольше, чтобы всех их на чистую воду-то вывести. Одним словом, дважды ко мне эсэсовец приезжал. Я хотел в первый же раз его убить, но он сказал, что задание есть. Вот и решил я разузнать все про это самое задание, чтоб пользу, конечно, принести, и прикинулся дурачком, согласным, мол, исполнить любое приказание. Тут эсэсовец мне про старуху и поведал. Сказал, значит, что есть в Москве такая старуха, у которой хранится сундук с важными документами. Он даже внешность и все привычки ее описал. Как я понял позднее, за старухой по заданию эсэсовца все время следил этот самый неизвестный мне Дормидонтыч. Поэтому эсэсовец действовал не вслепую, а наверняка. Он мне и сказал, что старуху лучше всего взять на живого дьявола, показать ей, значит, призрак такой. Тут я и вспомнил, что в дом отдыха цирк приезжает, и предложил эсэсовцу вместо дьявола живой змеей воспользоваться. Он обрадовался и сказал, что фосфором змею надо покрасить. «Где его, этот самый фосфор, взять? — говорю. — У нас это дефицит». Он тут же пообещал достать светящуюся краску, и правда: через день ху-

дожник этот стиляжный мне две банки приволок. Сказал, что просили его доставить по такому-то адресу, и адрес как раз мой. Больше он ничего не сказал, но адрес свой на всякий случай оставил. А потом было все как я уже показал, я ведь ничего не выдумал, просто не все рассказывать хотелось: мышь ведь и та жить хочет... Когда эсэсовец второй раз приехал, я его, как уже вам докладывал, сапожным молотком порешил и стал дожидаться следующего... А он, следующий-то, все не идет и не идет. Но я-то ведь знаю, что их много. Вот нервы и не выдержали. Я написал художнику и от имени эсэсовца назначил встречу в парке... Там я его и порешил. Сапожным молотком, как вы справедливо указали. Понимаю, конечно, неправильно я поступил — надо было заявить на него. Но нервы, знаете ли... Я ведь так натерпелся от этих гадов!.. Контужен опять же, и нога у меня искалечена. Каюсь, затмение нашло на меня. Но что было, то было... Одним словом порешил я его, художничка этого. Вот и все! Как я милиционера убил, вы уже знаете. Ошибка вышла... Как вы думаете: мне вышку дадут или учтут честные мои намерения и чистосердечное признание? За признание ведь скидка полагается?

Следователь. Ничего обещать вам не могу. Все решит суд.

Стапчук. Это я понимаю, понимаю... Разве я без понятия? Мне ваше мнение знать драгоценно как человека опытного, заглянувшего, можно сказать, в глубины моей души. Могу я надеяться, гражданин следователь?

Следователь. Надеяться?.. Слушайте-ка, Стапчук — в последний раз называю вас так, — тут у меня лежит досье на Ванашного Николая Трофимовича... Так вот, попейте водички и расскажите мне все, что вы знаете про этого человека. Все, что только знаете... В том числе и о том, как Ванашный присвоил себе документы убитого в нацистском концлагере рядового Советской Армии Стапчука Сидора Федоровича. Вы понимаете меня? Все и без утайки, а потом мы уточним с вами некоторые детали дела с сундуком и питоном. Заодно вы расскажете, куда спрятали валюту убитого вами Свиньина.

Стапчук. А потом?

Следователь. Тогда разговор о чистосердечном признании не будет таким беспредметным. Вы поняли?

Стапчук. Да, гражданин следователь, понял. Все сделаю, как вы велели. Все! Только можно, я дам свои показания в письменном виде? А то мысли как-то расползаются...

Следователь. Хорошо. Пишите.

Показания Ванашного Н. Т.

«Я, действительно, не Стапчук, а Ванашный Николай Трофимович, 1912 года рождения, уроженец Белгорода. По профессии цирковой артист. Работал, как правило, со змеями. Мои номера пользовались известностью, и я часто выезжал на гастроли. Перед самой войной наша труппа давала концерт в Гамбурге. После концерта состоялся банкет, на котором мне, видимо, что-то подмешали в водку,

потому что, хотя выпил совсем мало, совершенно опьянел. Что было потом — не помню. Товарищи рассказывали, что ушел с банкета, сославшись на нездоровье. Сам я этого не помню. Однако утром я проснулся в своем номере. Все было нормально, если не считать только легкого похмелья. Я бы вообще забыл об этом случае, если бы в день прощального представления в мою артистическую уборную не пришел один человек. Имени его я не знаю, он мне не представился. Сначала я принял его за обычного поклонника, пришедшего вручить корзину цветов, но быстро понял свою ошибку. Вместо записки в корзине лежал конверт с компрометирующими меня фотографиями и копия полицейского протокола. Человек коротко рассказал мне, какие художества я выделывал в портовых кварталах Гамбурга. Фотографии и протокол вроде бы подтверждали его рассказ, но сам я ничего не помнил. Это был самый обыкновенный шантаж, но я тем не менее струсил и поддался ему. Короче говоря, я был завербован гестапо. Мне сказали, что пока от меня ничего не требуется, но, когда нужно будет, меня обязательно известят.

Я уехал в состоянии настоящего ужаса, хотел все рассказать или даже покончить с жизнью. Но постепенно я успокоился и даже решил, что про меня забыли. Тот человек, который принес цветы, говорил, что обратил внимание на меня, когда я будто бы зверски избивал своего удава. «В этот момент, — сказал он, — вы были похожи на разгневанного нордического бога. Настоящий Нибелунг!» Но, поскольку ко мне никто не приходил, я решил, что впечатление о значимости моей особы быстро рассеялось и я уже не пригожусь. В самом деле, зачем им цирковой дрессировщик?

Но вот началась война. Вскоре меня призвали и отправили в действующую армию на Северный Кавказ. Наш батальон попал в окружение и был почти целиком уничтожен. Вместе с немногими уцелевшими я оказался в плену. Нас поместили за колючую проволоку. Спали мы на голой земле, под открытым небом, а ночи были холодные. Кормили из рук вон плохо. Два раза в день давали какую-то свекольную бурду и больше ничего. Видно, уморить нас хотели. А тут вдруг пронесся слух, что вербуют добровольцев в местную охрану, чтоб за порядком следили среди местного населения. Тем, кто соглашался, давали одежу, приличное питание и даже шнапс. Я и решил: чем за колючей проволокой подыхать, не лучше ли поступить в охранники, чтоб при первом же подходящем случае перебежать к своим. Сказано — сделано. Я сам обратился к немцам и сказал, что согласен у них работать, а чтоб мне больше доверия было, и про гамбургский случай сообщил. Меня тут же отделили от наших и поместили в отдельную комнату в доме, где немецкая охрана жила. Питание сразу же улучшили. Не бог весть что, конечно, но жить все же можно. Так прошло несколько дней: видно, наводили обо мне справки. Я уж жалеть начал, что объявился. Эх, не знал я тогда, какого дурака свалял! Если б знал, наверное, удавился бы. Но человеку не дано знать, что его ожидает. Через несколько дней вызывает меня сам начальник местного гестапо штурмбанфюрер Нушке и го-

ворит: вам, дескать, герр Ванашный, оказано огромное доверие. Вы зачислены в специальную школу, по окончании которой сможете принести большую пользу великой Германии. Я, конечно, не знал, что это за специальная школа, но на всякий случай согласился. Думаю, там видно будет, оглядимся и поймем, что к чему, а если сразу откажешься, небось расстреляют. Ну, я и согласился. Через два дня меня отправили на самолете в Польшу, под Люблин, где и находилась эта самая школа. Тут только я понял, куда попал.

Оказывается, в школе обучали диверсантов для заброски в советский тыл. Я, конечно, не хотел воевать против своих. К тому же я не сомневался, что меня сразу поймают. А там иди доказывай, что ты ничего плохого не сделал. Так мне и поверили... Одним словом, решился я из этой школы сбежать. Только куда сбежишь? Кругом чужая страна, чужие люди, а у ворот эсэсовцы с автоматами... Обращение, надо сказать, было с нами самое скотское. Кормили, конечно, но держали в строгости. За малейшую провинность — карцер. Для себя я нашел только один выход: повредить ногу и стать негодным для прыжков с парашютом. На одной из тренировок я так и поступил. Подтянул стропы, убавил купол, чтобы скорость приземления побольше была, и, поджав правую ногу, левую вытянул и напряг. Как я хотел, так и получилось. Только не подрассчитал немного. Слишком сильно ногу повредил, навсегда, можно сказать, калекой остался. Поместили меня в немецкий лазарет, но я указаний ихних врачей не выполнял, старался затянуть лечение. Так они мне ногу и не отремонтировали. Я уж радовался, что благополучно выскочил. Но не тут-то было. Из школы меня отчислили, но направили в еще худшее место — в зондеркоманду шесть-а.

Надо ли говорить, что творили эти проклятые зондеркоманды? Всякие карательные акции, очистительные мероприятия, поджоги и расстрелы. Я, конечно, по мере своих сил старался в расстрелах участия не принимать. Если же и приходилось мне по долгу службы — за отказ ведь полагался расстрел — присутствовать при экзекуциях, то я, как правило, стоял в оцеплении. Я твердо заверяю, что ни разу сознательно не целился в несчастные жертвы немецко-фашистских зверей. Однажды я даже дал кусок хлеба сиротке, случайно уцелевшей после того, как звери из зондеркоманды сожгли целое село. Вообще следует сказать, что все мы, кому выпала несчастная судьба служить у немцев, ненавидели этих «сверхчеловеков». Да и они нас за людей тоже не считали. Достаточно привести такой пример. Хотя я и считался эсэсовцем, но не имел права приветствовать своих офицеров поднятием руки и возгласом «Хайль Гитлер!. Это была привилегия только немцев. Я же, не немец, должен был просто прикладывать два пальца к козырьку. Так что разница была. И не только в этом, но и во многом другом. Нас и снабжали хуже, и бросали всегда на самые черные работы. Но я все терпел, мечтая вырваться из фашистской неволи.

С Андреем Всеволодовичем Свиньиным я познакомился в конце 1943 года в Западной Европе, куда откатывалась под ударами со-

ветских войск германская «непобедимая» армия. Он быстро продвигался по службе и был уже оберштурмфюрером, то есть старшим лейтенантом, тогда как я дальше шарфюрера — простого фельдфебеля, даже меньше чем фельдфебеля, не продвинулся. И это понятно. Я служил нехотя, только, как говорится, за страх, а он — за совесть. Кроме того, он знал кучу языков, и даже немцы его боялись, потому что у него были влиятельные покровители на самом верху. Он выполнял много функций. Вербовал в лагерях предателей, выслеживал борцов Сопротивления и вообще занимался темными махинациями. Я всецело находился у него в подчинении, но, повторяю, по мере сил саботировал его указания.

Так, помню, в одном южном городке, в котором некоторое время орудовал — конечно, под чужим именем — Свиньин, всех жителей согнали на площадь. Сам Свиньин, в черной маске, чтоб не узнали, и даже в черных перчатках, сидел рядом с эсэсовским начальством в открытом «хорьхе», а мимо проводили жителей. Он смотрел на них сквозь прорези в маске и время от времени указывал пальцем, молча, без единого слова. Отмеченного им человека тут же хватали. В тот день Свиньин указал на семьдесят или даже восемьдесят человек. Все это были участники Сопротивления. Всех их расстреляли на другое утро. Так вот, я тогда стоял в оцеплении и слышал, как один парнишка сказал идущему рядом старику: «Знать бы, кто этот мерзавец!..» Это он про Свиньина так сказал. Я сделал вид, что не слышал, и отвернулся. Правда, минуту спустя, Свиньин уже указал и на парнишку, и на старика. Я их не выдал, но спасти их было, как понимаете, не в моей власти. Подобных эпизодов можно было бы привести много...

Теперь о том, как я стал Стапчуком. Это опять-таки случилось не по моей воле. Когда хребет фашистского зверя уже трещал под ударами нашей славной армии, гестаповцы начали консервировать свою агентуру. Видно, чувствовали, что приходит конец и близка расплата за все их зверства. Однажды, когда мы со Свиньиным, как обычно, находились в лагере для военнопленных, он указал мне на заключенного, очень похожего на меня лицом. «Это некто Стапчук Сидор Федорович, в прошлом тракторист и ударник, — сказал мне Свиньин. — Родных у этого человека нет. Самое время тебе поменяться с ним местами». Я сперва не понял, что это означает, но Свиньин быстро мне все растолковал. Я, конечно, согласился. Во-первых, другого выхода не было, а во-вторых, я решил тогда, что так для меня будет лучше. Исчезнуть, духовно, можно сказать, умереть в другом человеке и зажить наконец честной жизнью. Конечно, я не собирался работать на гестапо, хотел только скорее вырваться из их лап. Ведь я-то знал, что такое гестапо! Помню, я только выразил опасение, что друзья Стапчука по лагерю могут меня при случае выдать, но Свиньин только усмехнулся в ответ. У меня мороз по коже пробежал: я понял, что никто из этих людей из лагеря не выйдет. Что с ними со всеми случилось, я так и не узнал. Но думаю, что до освобождения они не дожили.

Понятно, что, спасая меня, немцы надеялись как-то использовать нового, так сказать, Стапчука. Свиньин приказал мне поселиться где-нибудь вблизи Москвы и вести тихую, незаметную жизнь. Больше ничего от меня не требовалось. Единственное, что я должен был делать, — это давать время от времени объявление в Мосгорсправку об обмене своей площади на домик в Поти. Почему именно в Поти — не знаю. Я вынужден был давать такие объявления, потому что хорошо знал своих бывших хозяев. За неподчинение они бы, не задумываясь, убрали меня. А я хотел жить. Тем более, зла своей жизнью никому не причинял. Я понимал, конечно, что объявления нужны, чтобы меня можно было найти, и потому старался давать их, как можно реже. Последнее время я вообще перестал их давать и совершенно забыл страшное свое прошлое. Я стал действительно новым человеком, Сидором Федоровичем Стапчуком.

Понятно поэтому, что я решил убить Свиньина, когда он вновь появился на моем горизонте. Я хотел покончить с прошлым, я уже окончательно его похоронил. Но оно ожило вдруг, и мне пришлось похоронить его вторично. Дальнейшие же события целиком обусловлены этим моим решением и поступком. Ну, конечно, и нервы у меня тоже малость сдали. Парень-художник был у меня дома, он знал меня в лицо и мог в любую минуту выдать. Вот я и решил вызвать его в уединенное место и убить. Тем более что он был связан со Свиньиным, помечен его зловещей меткой... А выстрел я сделал по ошибке: принял переодетого милиционера за врага. Будь у меня нервы в порядке, я, возможно, этого бы не сделал, вел бы себя более сдержанно. Но ведь я прожил такую трудную, такую жуткую жизнь...

Все вещи, взятые мной у Свиньина, зарыты на соседнем участке, возле строящегося там гаража. Комедия, которую я разыграл с питоном, не преследовала никаких корыстных, а тем более преступных целей. Свиньин уверял меня, что в сундуке хранятся важные документы, и сулил за успешное выполнение задания большую сумму денег. Я хотел все это проверить. Сознаюсь, что если бы там нашлись компрометирующие меня документы, я бы их уничтожил. Все остальное я бы так или иначе подбросил заинтересованным органам. Но в сундуке никаких документов не оказалось. Он был совершенно пустым. Обратного хода мне, понятно, не было, и я оставил сундук у себя. Тем более, последовавшие вскоре трагические события настолько выбили меня из колеи, что я и думать забыл про этот сундук.

Я, конечно, очень виноват перед нашим государством, но действовал так только из малодушия и по злому стечению обстоятельств, а не по доброй воле. Если меня найдут достойным снисхождения и сохранят мне жизнь, то клянусь, что искуплю свою вину самой тяжелой работой, какая бы она ни была. Готов выполнить любое поручение.

Заявляю также, что у Свиньина есть в Москве агент, который следил все это время за старухой и ее сундуком. Все, что я знаю о нем, так это только кличку — Дормидонтыч. Он старик и по специальности краснодеревщик. Старуха и художник Михайлов, как я понял теперь, касательства к шпиону и врагу человечества не имеют.

Прошу учесть все вышеперечисленное и даровать мне жизнь.

Ванашный Н. Т.»

Глава 30

«АННА ИВАНОВНА»

Тридцатилетний Наполеон в своем знаменитом походном сюртуке беспокойно расхаживал по обширному кабинету. Большой стол, с которого съехала на паркет небрежно постеленная тяжелая скатерть, был завален военными планами итальянской кампании, картами расчлененной на всевозможные курфюршества и герцогства Европы. Плащ и треуголка лежали на роскошных креслах в стиле Людовика Пятнадцатого. Медная зрительная труба и шпага с трехцветным темляком и кистями нашли приют на кушетке. В самых неподходящих местах стояли чернильницы с гусиными перьями, на полу валялись раскрытые фолианты в кожаных переплетах. Это была временная обитель прославленного полководца, урвавшего несколько минут для дипломатии.

Князь Шарль-Морис Талейран, манерно подперев узкой, унизанной перстнями рукой подбородок, с непроницаемой улыбкой внимал первому консулу. В отличие от молодого простоволосого генерала, ставшего фактически диктатором, на нем был завитой старомодный парик, атласный камзол, отороченный кружевом, и башмаки с бантами.

— Главное, князь, — Наполеон мерил шагами комнату, — посеять рознь между Англией и Россией. Иначе нам не одолеть коварный Альбион.

— Видите ли, мой генерал, ваш победоносный рейд и последовавший за ним разгром изолированной Австрии изменили отношение Павла. Нынешняя коалиция из Англии, Австрии и России, к которой, к сожалению, присоединилась и Порта, явилась прямым следствием кампоформийского мира.

— Жаль, искренне жаль, что русский император увлекся ролью защитника ниспровергаемых тронов, — задумчиво откликнулся Наполеон. — Но захват англичанами Мальты, которую Павел взял под свое покровительство, приняв титул великого магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского, неизбежно вобьет клин между Лондоном и Петербургом.

— Я уже думал об этом, мой генерал, — загадочно улыбнулся Талейран. — И, мне кажется, нашел верное средство ускорить события.

— Говорите! — Наполеон порывисто подошел к столу.

— Мальта.

— Отыгранный козырь. — Наполеон нетерпеливо тряхнул головой, и длинная прядь оттенила сосредоточенное чело победоносного корсиканца.

— Отнюдь, — небрежно бросил Талейран. — Этот благословенный остров однажды уже принес нам желаемый союз, почему бы не повторить милую шутку?

— Едва ли я смогу ныне бросить вызов британскому флоту.

— В этом нет никакой надобности. Склонный к мистицизму Павел Петрович прочно увяз в рыцарских играх. Недаром знак мальтийского ордена был присовокуплен им к гербу Российской империи. На сей раз мы сможем ограничиться сущим пустячком.

— Что вы имеете в виду?

— Первый раз вы подарили царю не принадлежавшую вам Мальту, теперь можно ограничиться чужим скипетром. Я имею в виду гроссмейстерский жезл, мой генерал, украшенный камешками альбигойского гарнитура.

— Пустая мечта, манившая визионеров вроде Казота и мистификаторов на манер Сен-Жермена и Калиостро, — задумчиво произнес первый консул, глядя в одному ему отверстую даль. — Способна ли она согреть хоть единое сердце в снегах страны гиперборийской?..

— За одно сердце, — Талейран сделал на слове «одно» ударение, — я могу поручиться, и этого будет вполне достаточно.

— Русская корона располагает сокровищами полумира, зачем Павлу гоняться за сомнительным альбигойским наследством?

— Вопрос вполне правомерный, если бы речь шла о сокровищах.

— О чем же еще? — пренебрежительно дернул плечом Бонапарт.

— О мечте, как вы только что изволили выразиться, о бесплотной, но очаровательной игре теней. Мои информаторы подробно оповещают меня о каждом шаге русского самодержца. В его новой, роскошно отделанной загородной резиденции в Павловске есть специальный зал, где великий магистр принимает мальтийских кавалеров. Этот покой так и называется «кавалерским». К тому же Павел знаком с альбигойской легендой, и мы приобретем его безусловное расположение, если деликатно намекнем на секрет жезла.

— Какой секрет? — Наполеон вопросительно поднял брови.

— С помощью гроссмейстерского жезла, как уверяют, можно открыть некий загадочный ларь.

— Шкатулку Пандоры.

— Одно не противоречит другому.

— Пусть так, — согласился Наполеон. — Дело остается за малым. В чьих руках находится ныне драгоценная безделушка?

— У мальтийского командора де Шевреза, мой генерал, роялиста и конспиратора, уличенного в заговоре против республики. Вместе с одним из герцогов де Роган, укрывшимся в Богемии, он...

— Подробности меня не интересуют, — отмахнулся Наполеон и благосклонным кивком утвердил хитроумный план ловкого министра, который, подобно пчелке на одном из своих гербов, старался урвать взятку с каждого цветка.

По осенней дороге, ведущей к Павловскому дворцу, тряслась на ухабах запряженная цугом карета, украшенная графской короной,

с форейтором и гайдуками на запятках. Восьмерик лошадей наглядно свидетельствовал о том, что экипаж везет особу третьего, а то и вовсе второго класса в табели о рангах, заведенной великим прадедом ныне царствующего монарха. Не доехав до ворот, карета вынуждена была остановиться, ибо несколько крепостных мужиков, сгибавшихся под тяжестью огромных бревен, застряли в раскисшей после затяжных чухонских дождей грязи.

Нетерпеливый кучер принялся полосовать нерасторопных смердов длинным кнутом, удивительно послушным и гибким в столь умелых руках.

— Дорогу послу его императорского величества! — выкрикивал он с заметным немецким акцентом. — Прочь, холопы! Прочь!

Бревна качались в натруженных руках, грозя сокрушить вздрагивающие под ударами плечи. Но мужики, ничуть не ускорив шаг, — продолжали брести по непролазной грязи. Только еще ниже склонили головы.

Наконец, нетерпеливо переступавшие кони рванули удила, карета дернулась, но тут же грузно осела в луже, раздавшейся мутным каскадом брызг, заляпавших оконце.

Лоснящаяся жирная грязь цепко держала экипаж.

Гайдуки спрыгнули наземь, шлепая атласными башмаками по луже, открыли дверцу, а форейтор, откинув подножку, подставил согнутую выю сиятельному ездоку.

С сановитой обстоятельностью грузный граф Колычев оседлал хлипкого холопа, качнувшегося в сторону, но превозмогшего тяжесть.

— Погодь, — столь же обстоятельно граф развернулся в «седле» и вытянул из кареты опечатанный сургучом продолговатый ящик и сафьяновый посольский портфель с государственным орлом. — Трогай! — дрыгнул он ногами, словно шпоры лошади дал.

В тронном зале, богато украшенном золоченой лепниной, государь император вместе с царицей и многочисленными великими князьями и княжнами позировал придворному живописцу. Невзирая на ясный день за окнами, жарко пылали свечи в хрустальных дымчатых люстрах, бра и бронзовых канделябрах на инкрустированных перламутром консолях. На мольберте уже была изображена вся группа в роскошных нарядах, регалиях и париках. Художник накладывал последние мазки.

Изящный камергер с ключом на голубой ленте неслышно приблизился к государю и склонился к августейшему уху.

— Граф Колычев прямиком из Парижа, ваше величество.

Павел встрепенулся, глянул кругом ясным невидящим взором и, печатая шаг, удалился во внутренние покои. Словно метеор, пронесся через анфиладу комнат, мимо застывших лакеев и гренадеров из гатчинцев.

В спальне государя высился вызолоченный альков с амурчиками под пышным балдахином. Из дверей туалетной темнела божница с единственной лампадой. Сумрачно мерцали в холодных зеркалах шандалы с непочатыми свечами. В углу стояли рыцарские латы,

живописно задрапированные алым плащом с восьмиконечным крестом мальтийского братства.

Стоя во всех регалиях, но без парика, Павел нетерпеливо вертел в руках осыпанный самоцветами жезл.

— Волею Буонапарте, — объяснял посол. — Вручили мне его в запечатанном виде, в коем он и препровожден покорным вашего императорского величества слугой.

— И как нам сие рассматривать? В качестве знака политических исканий или же просто как добрый дар?

— Согласно письму, — Колычев покосился на привезенные им бумаги. — Буонапарте на последнее напирает, но, как водится, именно первое в виду иметь следует. Я так понимаю, намек это, ваше величество. На прошлые обстоятельства, с мальтийскими делами связанные, а еще паче — на нынешние. Англичане на имущество мальтийцев секвестр наложили, — озабоченно присовокупил он. — Под тем предлогом, что гроссмейстер, то есть ваше императорское величество, не является лицом католического вероисповедания.

— А я вот соберу корпус и двину его прямиком в Индию! Тогда и будем разбираться в духовных тяжбах. — Павел побледнел от гнева. Его пальцы бегали по жезлу, как по флейте. — Большая тайна через сей предмет открыться может, Осин Петрович, — добавил он без всякой связи с высказанной угрозой, которой, увы, надлежало вскорости стать предприятием поистине безумным. — Что любезный дружок наш Анна Ивановна? — неожиданно поинтересовался государь.

— Анна Ивановна просила передать, что опять нужду в деньгах имеет, — скорбно вздохнул Колычев. — Ох и ненасытный аппетит у приятельницы этой, ваше величество!..

— Не рядись, граф. Даст Бог, окупится с лихвой, — изрек Павел. — Я доволен, хоть и заплатил Анне Ивановне за «подарочек» полновесными червонцами. Пусть теперь дознается, где пребывает ныне некий кавалер де Кальве, камергер несчастного Людовика. Есть молва, что тому ведомо, как через оный предмет совокупно с прочими атрибутами великие таинства раскрываются.

— Слыхал я, что всех, кто с альбигойской тайной связывается, несчастья преследуют. Тут, словно в полном тароте кабалистическом, нельзя, без урона для собственного счастия, судьбу запрашивать... Впрочем, до венценосных особ сие обстоятельство касательства иметь не должно, — поспешил добавить осторожный амбассадор.

В тот же день в покоях цесаревича Александра в Зимнем дворце состоялась еще одна приватная беседа, также затронувшая потаенные пружины европейской политики.

— «...Когда боги хотят покарать человека, они лишают его рассудка» — так, кажется, говорили древние? — Граф Семен Романович Воронцов элегантно откинулся в кресле. От его англизированной сухопарой фигуры, затянутой в черный фрак с высоким кружевным жабо, веяло чопорностью и отчужденностью.

Александр беспокойно глянул на собеседника.

— Ваши слова, граф, — он едва уловимо покосился на дверь, — могут быть дурно истолкованы.

— Мэй ай континью ин инглиш, еа хайнес?[1] — чуть понизив голос, осведомился Воронцов.

Александр кивнул. Далее разговор протекал исключительно на английском языке.

— Атмосфера, царящая при нашем дворе, поистине несносна и огорчает многих. В результате дворяне толпами покидают службу, что не замедлило отразиться на составе администрации. Так, например, из ста тридцати двух офицеров конногвардейского полка, состоявших на службе в момент воцарения его императорского величества, осталось лишь двое. Зато подпоручики девяносто шестого года ныне стали полковниками. В Лондоне, кстати, о том превосходно осведомлены... Должен сказать в этой связи, что вообще сближение с корсиканским выскочкой Буонапарте вызывает осуждение и тревогу британского правительства. Тем более что по данным сэра Френсиса Дрейка в самой Франции зреет недовольство. Вам известно о покушении в декабре прошлого года?

— Говорят, что бомба была английского производства? — бесстрастно заметил Александр.

— Но бросали ее французы, — спокойно парировал Воронцов. — Видимо, недалек тот день, когда во Францию вернется законный монарх... И тогда нынешнее покровительство корсиканцу будет выглядеть весьма двусмысленно. Будущему императору Российскому придется...

Александр взглядом остановил увлекшегося посла.

— Его величество сам соизволил установить порядок престолонаследия, — зашел с другого бока опытный дипломат. — Трон переходит к старшему сыну или к его первенцу... — он не договорил, словно намекая на распространившиеся в последние дни слухи о том, что государь намерен усыновить выписанного из Германии племянника императрицы Марии Федоровны, тринадцатилетнего принца вюртембергского Евгения, и даже как будто передать ему впоследствии престол. Александр об этом, разумеется, знал, но даже вида не подал, что понял невысказанное предостережение.

— Молю Бога, чтобы он продлил дни государя, — склонил голову цесаревич.

— И я уповаю на это, — прикрыл глаза Воронцов. — И я...

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта 1801 года император Павел при загадочных обстоятельствах скончался в своем неприступном Михайловском дворце.

Наполеон, узнав о смерти Павла, изрек:

— Англичане промахнулись по мне в Париже, но попали в Петербурге.

---

[1] Можно ли мне продолжать по-английски, ваше высочество? *(англ.)*

Корпус под командой атамана Донского войска генерала Орлова, состоящий из 22 507 человек с двенадцатью единорогами и столькими же пушками, посланный царем в Индию, к тому времени окончательно застрял в среднеазиатских песках. Люди умирали сотнями. Стаи грифов тучами кружились над обреченным на смерть войском. Шакалы бежали ночами по его следам.

Едва ли не первым деянием нового государя был приказ воротить последних, оставшихся в живых, русских воинов. Подобное решение, сопровождавшее неизбежный пересмотр политической ориентации, лишь увеличило непритворную скорбь будущего императора французов. Однако бывший епископ Отенский, а ныне герцог Беневентский Шарль-Морис князь де Талейран не выразил особого огорчения по поводу неблагоприятных для Франции перемен. Да и что ему было печалиться, коли лично для него все осталось по-прежнему.

Как то было при Павле, он и при Александре продолжал снабжать русскую дипломатию, разумеется, за чистопробное золото, сведениями самого деликатного свойства. Что значила подобная малость для человека, который много лет радовал австрийский двор тайнами тех же русских, да еще заодно с секретами Франции, Пруссии и прочих держав? Для человека, который подсовывал затем свой утративший первую свежесть товар пруссакам? Именно этот разносторонний искусник и значился в списках русской разведки под кличкой «Анна Ивановна»... С подобной дамой ухо надо было держать востро. Недаром, когда Талейран наконец скончался, один из его приятелей меланхолично спросил: «Интересно знать, зачем ему это понадобилось?»

К числу сведений, запрошенных Павлом, но полученных уже Александром, были и бумаги, касающиеся рода де Кальве. Талейран передал их все скопом: родословное древо, украшенное геральдическими фигурами, дворянские грамоты и письма многих поколений, приватные мемуары, всевозможные счета и семейные предания.

«Предвечный отче! Мать святая
И ты, поправший смертью смерть!
Лучами близкого свиданья
Ужель не озарится твердь?»

Лесистый окоем раздольный
Горит в скрещении мечей,
Как светозарный Треугольник,
Как зрак в сиянии лучей.

Роса и луг и дол омыла,
А все не разглядеть никак
Сквозь облачко, что нежно скрыло
Надмирной власти высший знак.

Когда ж сукровицей заката
Зеница Божья истекла,
Сокрылась вечная загадка
Во тьму витражного стекла.

Во мглу капеллы, арок, башен
И в пустоту настенных лат,

Не потому ли, вещ и страшен,
Над бургом ширился набат?

Иная стража заступала...
Ее приветствуя приход,
Змея касанием ласкала
Одетый крепом эшафот.

«Князь тьмы! Единственную милость
Знаменье сущности иной!»
И огненным трезубцем мнилась
Зарницы вспышка над скалой.

Над той базальтовой постелью
С дремучей хвоей, рыжим мхом,
Отмеченной незримой тенью,
Благоухающей грехом.

Когда ж, как Матер Долороза,
Луна свой подала намек,
Зажглись на паутинках росы
И розы скорбный лоск поблек.

Ни солнца жар, ни трепет молний
Так глубоко не проникал
В колодец графской гладоморни,
Как этот пепельный накал.

Казалось, будто покрывала
Судеб в тот миг приподнялись
И все концы, и все начала
Во всепрощении слились.

Из знаков всех, из тайных, мудрых,
То был отчетливейший знак,
Что не пределом станет утро,
Не палача последний взмах.

Что за мучительной границей
Иная распахнется даль,
И коль ничто не сохранится.
Пребудет в вечности печаль...

Как хладен мрамор был в капелле!
Как мертв распятый на кресте!
И лишь потертости блестели
На склепа бронзовой плите.

Не там, не там! В пространствах ночи
Мелькнул неизреченный свет,
И пусть неверен, пусть непрочен
Его запечатлелся след.

Хоть неподвластен перемене
Ход ночи в прорезях бойниц,
Кассиопея, как знаменье,
Пять звезд повесила на шпиц.

И молнии пронзили выси
Над той базальтовой плитой,
И в камышах был выклик выпи
Наполнен бабьей маетой.

Скользили звери зодиака,
И воском капала свеча
На Девы бюст, на клешню Рака,
Пометив домик палача.

Там темной кровью отливала
Маркграфа тяжкая печать,
Которую тесьма качала,
Как колыбель качает мать.

Под этот ритм вращались сферы
И тщились воды в море течь.
Так подчиняются размеру
Стиха и маятник, и меч.

Когда же голову и тело
В капеллу тихо занесли,
На дубе вещая омела
Качалась в золотой пыли.

Был мрамор витражом окрашен,
А у гвоздем пробитых ног,
В густой тени зубчатых башен,
Лежало то, что принял Бог.

И хоть ничто не изменилось
На каменном его лице,
Пять тихих звездочек светилось
Меж острых терний на венце.

А в полночь вместо звезд знакомых,
Чертивших литер «дубль ве»,
Взошел трезубец незаконный.
О чем поведал де Кальве.

Алхимик и астролог вместе,
Известный, впрочем, как хронист.
Его правдивости и чести
Пергаментный свидетель лист.

Глава 31

ПОДВОДНЫЙ ВУЛКАН

В тот день с утра собирался дождь. Но грузные, набухшие облака никак не могли пролиться на тусклые, усыпанные палой листвой тротуары. Они только провисали все ниже, и было видно, как треплет ветер туманные их края.

Люсин зябко поежился, захлопнул форточку и включил настольную лампу.

— Исполнилась мечта идиота! — усмехнулся Березовский и небрежно похлопал по крышке легендарный ларец. — Вот он, наш двенадцатый стульчик. Остается узнать только, где зарыто когда-то хранившееся в нем сокровище... А, стариканчик? — Он скорчил комичную рожу и с нарочитой беспомощностью развел руками.

— Не скажу, что это очень меня волнует, — меланхолично заметил Люсин. — Хотя, конечно, мне бы больше понравилось, если бы сундук не оказался столь безнадежно пустым.

— Ты разочарован? — Березовский оседлал сундук, словно это был популярный снаряд, именуемый в спортзале козлом, и неуклюже перебрался на другую сторону.

Надо сказать, что ларец почти целиком заполнил тесный люсинский кабинетик Исцарапанный терниями веков и пропыленный всеми ветрами Европы, он уверенно стоял на четырех подшипниках между кожаным диванчиком и неказистым письменным столом об одной тумбе. Но были скучны и молчаливы грифоны по его углам. Сложив крылья и свесив змеиные шеи, тоскливо уставились они на казенный паркет.

Неужели здесь и закончится нескончаемый их перелет? Дым сражений и отблеск пожаров на синей стали кирас, зеленая вода лагуны, королевские лилии, черепа на зловещем бархате масонских запонов, подстриженные деревья и сказочные фонтаны Версаля, — неужели все это прошло навсегда, навсегда, как случайная рябь на воде?

— Ты разочарован? — переспросил Березовский.

— Нет, Юра, нет... Совсем не то. Не знаю, как тебе сказать...

— Я понимаю, — с готовностью кивнул Березовский.

— Нет, ты не понимаешь... То есть, быть может, и понимаешь, но, как бы это тебе сказать, немного не так... Я совсем не разочарован. Мы ведь с тобой и не надеялись что-нибудь найти в нем. Столько лет, Юра, столько сказочных лет... У одной старухи-то он, почитай, полвека почти простоял. . Да и по всему было видно, что он давным-давно уже пуст. Может быть, с того самого дня, когда пали наконец стены Монсегюра... Разве не так?

— Конечно, так, старик. Все верно. Но согласись все же, что была надежда найти хоть какие-нибудь следы, указание, что ли... А так ведь, что? Обрыв! Конец!.. Как жаль, как чертовски жаль! Приходится просыпаться после удивительного сна у разбитого, так сказать, корыта.

— Да. Это именно то... То самое ощущение! Ты хорошо уловил. Пора просыпаться. Но, дорогой, почему у разбитого корыта? Разве мы не нашли то, что искали?

— Ты-то, положим, нашел.

— Что ты имеешь в виду?

— Бочку с зацементированным трупом. Ведь у вас главное — это обнаружить труп. Разве не так?

— Отчасти, может, и так, — улыбнулся Люсин. — Правда, ты чересчур примитивно...

— Не в этом дело! — перебил его Березовский. — Я просто констатирую факт. Ты нашел все, что искал, и вполне этим удовлетворен. Верно?

— Опять же только отчасти, Юра. Смотря с какой точки зрения...

— С деловой! С чисто деловой. Теперь ты можешь написать исчерпывающую докладную, рапорт, закрыть дело .. не знаю точно, как там это у вас называется?.. Можешь ведь? — упорствовал Березовский.

— Ну могу. Могу! — рассмеялся Люсин, глядя на красного, даже злого приятеля. — Что ты, собственно, хочешь доказать?

— Ничего, ровным счетом ничего! С меня вполне достаточно, что ты доволен. Рад, если мог тебе в чем-то помочь.

— Я по тебе вижу, как ты рад! В чем дело, Юр? Давай выкладывай.

— Что, отец? Что выкладывать-то, милай?

— Чем ты недоволен?

— Собой, только собой.

— Понимаю! Очень похвальная черта.

— Перестань издеваться!

— Я? Над тобой?

— Да, милок. Прояви великодушие. У тебя ведь удача...

— Ах вот в чем дело! У меня удача, а у тебя неудача? Так, что ли?

Березовский шумно вздохнул и улыбнулся вдруг виноватой, обезоруживающей улыбкой.

— Ты мне эти штучки брось. — Люсин сурово постучал пальцем о край стола. — Нечего тут юродствовать! У тебя, если хочешь знать, еще больше оснований для радости, чем у меня. Я бы на твоем месте ликовал.

— Да?

— Да! Разве ты не собрал богатейший материал?

— Так ведь надо еще, чтобы разрешили публикацию...

— Это не твоя забота. Можешь считать, что разрешение у тебя в кармане.

— Надо же еще и написать, — вздохнул Березовский. — Думаешь, просто? Каторжный труд, старик!

— Соболезную, но помочь не могу. Не хочешь — не пиши.

— Легко сказать... Как вспомню эту бочку, потоки мутной воды, тина зеленая, как волосы русалки, скользкие веточки рдеста... Очень впечатляет! Легко сказать — не пиши.

— Ты все еще недоволен?

— Почему недоволен? Доволен. Счастлив!.. У тебя дело к концу подошло, а мне еще только начать предстоит...

— О несчастный! Понимаю, понимаю! Как мне тебя жаль!

— Ладно! — Березовский хлопнул Люсина по плечу. — Хватит, действительно, дурака валять! Все, конечно, очень хорошо и распрекрасно. Дай Бог, чтоб всю жизнь было не хуже... Но мне почему-то грустно. Жаль расставаться... Чертовски жаль! По сути наше расследование только теперь и должно было бы начаться! Разве не так? Легендарный Грааль! Тайна катаров! Что мы узнали об этом? Ровно ничего. А сколько оборванных линий! Один цареубийственный кинжал чего стоит! Но мы никогда — вдумайся в это страшное слово! — никогда не узнаем, как все было на самом деле. Мы ничего не узнаем. Мелькнула золотая рыбка, и нет ее.

— Ты все еще думаешь, что это был кинжал, о котором писал Пушкин?

— Не сомневаюсь, старик. Последняя глава «Онегина» была им зашифрована. Это точно. На днях я читал, что наконец отыскали

ключ к шифру. Мне хочется написать о декабристах, Володя, очень хочется.

— Но у нас же очень мало данных.

— Мало... Но именно в этот момент мы и прекращаем работу.

— Почему прекращаем? Закончено, собственно, только следствие по уголовному делу. И то еще не до конца. Но тебя-то это абсолютно не касается. Ищи себе на здоровье. Вот Андроников всю жизнь такими вещами занимается.

— Верно, всю жизнь... А если б ему в придачу весь ваш мощный аппарат...

— Вот ты о чем!.. Понимаю. Теперь понимаю... Только нереально все это. Жизнь есть жизнь, что там ни говори. Я бы рад тебе помочь и буду помогать, если представится такая возможность, только ты ведь и сам понимаешь... Понимаешь же?

— В том-то и дело! У вас совсем другая задача, и никто не позволит вам заниматься, если можно так выразиться, чистой наукой. Так?

— Кое в чем я тебе все же сумею помочь, Юр. Согласись, что мы и так сделали больше, чем это требовалось по чисто служебным соображениям. Верно?

— Разве что самую малость... Тут ведь такое дело. Про Грааль я уж и не говорю. Ради Грааля умереть и то, как говорится, мало. Вся история европейского рыцарства — это нескончаемые поиски Грааля. Круглый стол, двенадцать пэров и прочее. А к чему, собственно, стремились алхимики?! Да я уверен, что даже для современной науки, для всей этой физики, химии... Одним словом, что говорить... Но не будем про Грааль. И даже про кинжал. Ведь, кто знает, может, тут ничего такого и нег. Одна лишь легенда, красивый поэтический вымысел. Даже о красном алмазе я не заикнусь и не стану засорять твои мозги легендой о третьем глазе Шивы. Но аметистовый перстень — это же реальность! Он же у тебя в сейфе лежит! Кстати, почему их оказалось два?

— Думаю, по той же самой причине.

— Полагаешь, что тут та же история, что и с египетскими божками?

— Скорее всего... Мосье Свиньин предпочитал располагать на всякий случай дубликатом. Для верности. Кроме того, подлинники ведь и сами по себе немалые деньги стоят. Фигурка, которую он вручил Ванашному для передачи старухе, оказалась поддельной. Подлинник он для себя приберег.

— Но перстень...

— И перстень. Вдруг бы Дормидонтыч не согласился отдать его? Мог? Вот и заготовил дубликат. Не знаю только, как он собирался им распорядиться: то ли подменить украдкой хотел, то ли просто вез его старику в утешение... Но теперь это уж неважно.

— Непросто было выцарапать у Дормидонтыча перстенек? — подмигнул Березовский.

— А ты думал! — Люсин присвистнул. — Дормидонтыч дрался, как лев. Нипочем признаваться не хотел.

— И как же?

— Как всегда, — пожал плечами Люсин. — Куда против фактов денешься! И, надо сказать, Лев Минеевич нам здорово помог... Золотой человек. От него-то я и узнал, что настоящий перстень у Дормидонтыча. Когда же старуха поправилась и с ней уже можно было разговаривать на простом человеческом языке, а не с помощью детских буковок, и вторая линия подтвердилась. Здесь-то Ванашный не наврал. Дормидонтыч действительно опекал старуху, сужал круги вокруг сундучка... Да я тебе все это уже рассказывал.

— Рассказывал, — кивнул Березовский. — Мне просто нужно было лишний раз убедиться, что перстень все же один.

— Это-то и мне нужно было. Один перстень! И сундук тоже один.

— Да, но у меня на то своя причина.

— Ну?

— Я знаю, в чьих руках был этот перстень, старик.

— Так и я знаю! Мы же вместе с тобой проследили всю цепь от папы Иннокентия Третьего до наших дней?!

— Но в этой цепи есть много недостающих звеньев.

— Конечно! Особенно по части русской истории прошлого века.

— Вот-вот! В самое яблочко... Именно по части русской истории. Одним словом, я вчера — понимаешь, только вчера! — восполнил одно звено! Этот аметистик побывал в руках Дантеса.

— Что?!

— Уж будь уверен! Я заказал в Ленинской библиотеке снимки с документов. На той неделе будут готовы. Теперь можно не сомневаться, что Дантес и, особенно, его приемный папаша были иезуитами.

— Это неплохой улов, Юра. Верно?.. Поздравляю, от всей души поздравляю! Теперь ты не можешь сетовать, что наша совместная работа была полезной только для одного меня. Никак не можешь! И у тебя хорошо заловилось.

— Но мы же прекращаем ее! И в какой момент?

— Знаешь что? — Люсин потер лоб. — Надо будет написать докладную начальству... В самом деле, ты нам помог, и мы не можем, так сказать, отплатить тебе черной неблагодарностью... Думаю, что кое-что мы для тебя сделаем. Возможности все же есть.

— Это другой разговор, старик! Это мужской деловой разговор... Надо, понимаешь — во всяком случае, мне так кажется, — чтобы ты по-прежнему официально вел это дело, а я в качестве консультанта...

— Наверное, так не получится, Юр.

— Ты же не знаешь, что я хочу сказать...

— Все знаю, Юр, прекрасно знаю. Просто есть вещи, которые, увы... Одним словом, не мне тебе говорить... Уголовное дело кон-

чено. Все! Баста!.. Исторические же изыскания в нашей стране волен вести любой гражданин, в том числе и писатель Березовский. Поскольку оный писатель оказал нашей фирме значительные услуги, мы будем по мере сил ему всячески помогать. Вот и все. Иначе никак нельзя.

— Спасибо и на этом.

— Это не так мало, Юр, уверяю тебя. Кроме того, не будем загадывать на будущее... У нас еще остается заключительный акт, и кто знает, какие неожиданные перспективы могут вдруг перед нами открыться.

— Ты все же хочешь открыть сундук по всем правилам? Согласно тамплиерскому и масонскому ритуалу?

— Конечно! А тебе разве не любопытно?

— Но ведь он и так не заперт и безобразно пуст.

— Зачем же вся эта кутерьма со слугами?

— Масонская тайна, всего лишь масонская тайна. Я не раз уж говорил: романтическая игра взрослых дядюшек. Не более. За всем этим ровно ничего не стоит.

— Но ведь слуги-то существуют. И взаимодействуют! Ты же сам видел, что произошло с жезлом, когда мы надавили на красный камень.

— Да, обмишурились мы с камнем, — вздохнул Березовский. — Я как увидел жезл, так сразу решил, что этот самый алмаз.

— И я так подумал.

— А оказалось, шпинель[1].

— Да.

— Когда его подменили, как ты думаешь? И где тигровый глаз?

— Как ты думаешь, Юра, — спросил Люсин, безучастно уставившись в окно, — когда было написано то стихотворение?

— Про семерых?

— Да.

— В конце прошлого века... Может быть, в начале девятисотых годов, но не позже.

— Но и не раньше?

— Нет.

— А что, если это всего лишь перевод, а само стихотворение было написано все же гораздо раньше?

— Когда, например?

— В то время, когда вся эта, как ты говоришь, масонская тайна была не пустой игрой. Что, если последние строки о наследнике Фебе только позднейшая приписка?

— Черт его знает, может быть, при Калиостро игра действительно имела какой-то тайный смысл. Но теперь сундук пуст. Против фактов никуда не денешься. Твое, между прочим, любимое выражение.

---

[1] Шпинель — красный драгоценный камень.

— И все же давай попробуем.

— Давай! — Березовский махнул рукой и с нарочитым безразличием зевнул.

— Тебе неинтересно? — Люсин исподлобья глянул на него и, отвернувшись, чтобы скрыть улыбку, вздохнул. — Впрочем, ты прав. Безнадежная затея. Даже пробовать не стоит... Сегодня же сдам все драгметаллы. — Он кивнул на сейф, размалеванный безобразной охрой. — Баба с воза — кобыле легче.

— Ради смеха, конечно, можно попробовать, — нерешительно заметил Березовский.

— Ради смеха?

— Надо же завершить игру... Пусть символически. Это, если хочешь, даже наша обязанность. Кстати, старик, ты не досказал про подвязку. Кто догадался, что узор представляет собой зашифрованную надпись?

— Кто догадался? — Люсин пожал плечами. — Ну прежде всего я сам... А ты разве не догадался?

— Нет, — покачал головой Березовский. — То есть я думал, конечно...

— Вот-вот, это я и имею в виду! Я тоже, как ты говоришь, думал. Логика-то, Юра, простая, примитивная логика. Раз подвязка причислена к слугам, значит, в ней что-то должно быть. Так мы с тобой и рассуждали?.. Или не так?

— Ну да! — обрадовался Березовский. — И поскольку этот шитый золотом ремешок с пряжкой никак не мог оказаться деталью системы «ключ — запор», то вполне естественно предположить, что он содержал какую-то информацию.

— Совершенно справедливо. Понятно теперь, кто догадался?

— Выходит, что это было ясно с самого начала?

— Именно! Проще пареной репы.

— Дешевый номер! Я тебя, слава Богу, знаю. Тебя послушать, так все вообще пареная репа, легко, просто и само собой разумеется. Поиски-то ведь были? Работа мысли? Умозаключения?

— Да, конечно, но на самом примитивном уровне. Просветили мы подвязку рентгеном, полюбовались на нее в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах и отправили шифровальщикам.

— Почему?

— Да потому, что ничего не обнаружили! Вот и все... Не обнаружили, но вместе с тем были почти уверены, что информация есть. Где, спрашивается? Очевидно, в узоре, в котором в самых разных сочетаниях насчитывается двадцать восемь разнородных элементов... Никак, ты за мной записывать собираешься? — удивился Люсин, увидев, что Березовский достал истрепанный блокнот. — Сроду такого не было.

— Теперь будет.

— Выходит, что и я дожил наконец до заслуженной славы? Под каким же именем ты думаешь меня вывести?

— Видно будет, — буркнул Березовский. — Я еще не решил, буду ли вообще писать.

— Вот как? О-хо-хо! Какие мы гордые, какие значительные!

— А ты что думал? Сначала загоришься, набросишься, а начнешь работать, и тю-тю... Материал не вытанцовывается. Темка мелковата...

— Чего же ты тогда записываешь?

— Так, пустяки... Драгоценный местный колорит. Очень мне эти разнородные элементы понравились. Профессиональная деталь, старик. Такое на улице не валяется. Между прочим, ваши шифровальщики, видно, большие доки. Разгадать такую криптограмму, да еще на старопровансальском наречии, — это, доложу тебе, не всякий сможет! Высший пилотаж!

— Да, ребятишки свое дело знают, — небрежно кивнул Люсин. — Однако должен тебе сказать, что, не будь у нас уже разработанной ситуации, они бы еще до сих пор возились. Точно! Ведь до старопровансальского дошли, отталкиваясь, так сказать, от исторического фона Франции. Иначе пришлось бы действовать больше методом тыка.

— Наверное... Как ты думаешь, Генрих знал тайну ларца?

— Наваррский? Кое-что, должно быть, знал. Это же в конце концов, приданое его супруги. Впрочем, Аллах с ними! Давай лучше делом займемся... — Он встал из-за стола и, прижавшись к стене, обошел сундук. — Сейчас мы устроим смотр слугам, — сказал он, отпирая сейф. — Записывай.

— Начнем с системы «ключ — замок»! — предложил Березовский.

— Хорошо... Вся она тут. — Люсин осторожно вынул серебряный жезл с золотым мальтийским крестом и ободками из жемчуга и самоцветов. — Сокровище «золотой кладовой» Эрмитажа, инвентарный номер 71 014.

— Принято! Давай дальше.

— Далее следуют элементы информативной системы. — Люсин извлек из сейфа пакетик с подвязкой и бархатную подушечку с аметистовым кардинальским перстнем. — Их у нас всего два.

— Не хватает «звезды Флоренции», седьмой четки из тигрового глаза и красного алмазика, — уточнил Березовский.

— Но это не мешает нам открыть ларец, ибо система «ключ — замок» у нас представлена с исчерпывающей полнотой.

— Характерной для собраний Эрмитажа, — уточнил Березовский и почтительно склонил голову. — Дай сюда! — сказал он, протянув руку.

— Встань-ка, — скомандовал Люсин. — Вот так! — удовлетворенно сказал он, когда Березовский поднялся с сундука, на котором все это время сидел. — Как лицо материально ответственное вручаю вам вверенный мне на временное хранение жезл гроссмейстера Мальтийского ордена. — И он торжественно опустил литую серебряную болванку в раскрытые ладони Березовского.

— Премного благодарен, — кивнул Юра и большим пальцем правой руки с силой вдавил в ручку тусклую розово-красную шпинель.

Жезл тут же разломился пополам, как охотничье ружье.

Березовский разнял полые трубки и, поковыряв пальцем в отверстии, извлек оттуда черный эбеновый крестик с жемчужиной посередине, удивительно напоминающей розу. Впрочем, жемчуг был серый с прозеленью — мертвый.

— Крест и роза, — сказал он, становясь перед сундуком на колени.

— Погоди! — остановил его Люсин. — Успеешь открыть... Надо бы нам соблюсти все условия, Юра... Из уважения хотя бы...

— Что ты имеешь в виду? — удивился Березовский.

— «Ты положи игре конец и отыщи жену младую», — процитировал Люсин.

— Вот еще! Может, прикажешь дожидаться, пока наступит «ночь тихая и ночь святая»? Сочельника дождаться? Рождества? — Он выпрямился и отряхнул брюки.

— Нет. Этого я не сказал, — мягко улыбнулся Люсин. — Но жену младую, по-моему, пригласить стоит... Тем более, что она отвечает... требованиям инструкции.

— Кто? — удивился Березовский.

— Ты ее прекрасно знаешь. Слушай, Юр, позвони-ка ей ты, а то мне самому неудобно, право...

— Да кому это — ей?! Скажи наконец, кто она?

— Мария.

— Мария? — Березовский почему-то сконфузился.

— Ну да, Мария! — горячо зашептал Люсин. — Родилась седьмого января, значит, чистый Козерог, к тому же она врач, она Мария-медичка. Чего же больше?.. Кроме того, красивая, и... нам будет приятно ее видеть... Позвонишь?

— Да, конечно! — Юра смутился и в очевидном замешательстве положил на сундук крестик с жемчужной розой. — Но, видишь ли, мне даже в голову не приходило, что у тебя, что ты... И как это я сразу не сообразил?

— О чем это ты? — еще ничего не понимая, но уже предчувствуя что-то, спросил Люсин и с силой захлопнул стальную дверцу сейфа.

— Она уехала с Генкой отдыхать в Макопсе.

— Она?! С Генкой? С каким еще Генкой? С Бурминым?

— Ну да! Я ходил их позавчера провожать.

— Но ты же вроде говорил, что у них... Одним словом, у меня создалось впечатление, будто...

— Я и сам так думал, старик, — сразу понял его Березовский. — Очевидно, я ошибался... Или могли произойти изменения. Все же женщина... — Он удивленно выкатил глаза и развел руками.

— Да, — сказал Люсин, — женщина...

Ничего не случилось. Просто рушилась придуманная им любовь. Только и всего. Он ничего не сделал и понимал теперь, что и сделать-то не мог ничего. Он всего лишь думал о ней, смутно надеясь на что-то, ожидая с тревожной радостью чего-то такого, что обязательно случится само. Но оно не случилось. Вот и все. Он не пытался больше позвонить ей, откладывая это до какого-то особого дня, который так и не наступил. О чем он думал тогда? О тех нереальных днях, когда у него будет свободное время? Будет самая драгоценная из свобод — свобода думать только о том, что волнует тебя в данную минуту!.. Или о том событии он думал, которое естественным образом, почти без усилий с его стороны, почему-то обязательно свяжет его и ее? Ах, черт, все было не так, совсем не так! Просто не было времени, просто не думалось об этом всерьез, а было лишь одно настроение, одно ощущение, что нечто подобное должно обязательно случиться. И вся беда только в том, что оно крепло, это ощущение, это предчувствие... И опять его мысли возвратились на круги своя.

Он все откладывал, а кристаллизация чувства шла своим чередом, хотя Мария решительно ничего не знала об этом. А если бы даже и знала? Ничего же не было у них и быть — теперь это очевидно — не могло. Только искра лишь пробежала. Короткое наваждение, подобное сну, не более. Остальное он просто придумал, взрастил в себе, откладывая встречу до лучших, но не наступивших дней. Что делать? Он моряк, он все еще моряк, привыкший по три месяца не видеть землю, женщин, привыкший помнить последнюю улыбку, последний взмах руки. За сто пять дней рейса мало ли что может придумать моряк... Его, быть может, уж и не помнят, а он считает дни, растит в себе ликующее чувство, которое вдруг переполнит его в ту первую секунду, когда сбежит он по трапу на асфальт и, перепрыгивая через колеи портовых кранов, заспешит к той самой загородке, за которой, вполне возможно, его никто, совсем никто не ждет. И что испытает он, одиноко бредя из порта в общагу? Разочарование? То ли это слово — разочарование?

— Ты чего? — тихо спросил Березовский.

— Да, между прочим!.. — вдруг рассмеялся, очень громко рассмеялся Люсин. — Я совсем забыл тебе рассказать про этого самого Феба! Если б ты знал, сколько пришлось с ним намучиться! И ты знаешь, кто этот «последний есть наследник Феб»?

— Кто? — Юра тут же отвел глаза и тоже с готовностью рассмеялся.

— Феб Аполлонович — покойный папаша Веры Фабиановны Чарской, урожденной Пуркуа. — Люсин все еще смеялся. — Забавно?

— Как же это? Она ведь Фабиановна?

— В этом-то и весь фокус, это, собственно, и сбило меня сперва с правильного курса. Чертова старуха! Видишь ли, отчество Фебовна показалось ей неблагозвучным, и она сменила его на Фабиановну через газету в двадцать восьмом году... Какова?

— Кокетка, старик, кокетка! — шутливо отмахнулся Березовский. — Не суди ее строго, очаровательная ведь женщина.

— Очаровательная? Знаешь, сколько она запросила за свой сундук?.. По ценам международного антикварного рынка! Понял? — Люсин перестал, наконец, смеяться и глубоко вздохнул. — Да, веселенькая история...

— И вы заплатите?

— Какой там! Придется вернуть ей ларчик... А жаль! Вещь впечатляющая, в музей просится... Ну да ладно, не будем тревожить нашу Марию-медичку... Ей не до нас. Открывай!

Березовский вновь опустился на колени и, отыскав под крышкой крестообразное отверстие, вставил в него эбеновый крестик с жемчужиной. Тут только он разглядел, что это вовсе и не крестик, а стилизованный альбигойский голубок.

Но мысль эта только мелькнула в его голове и рассеялась; он же, занятый совершенно другим, не задержался на ней и повернул два раза крохотный ключик с головкой из некогда розовой, теперь же зеленоватой и темной мертвой жемчужины.

— Погоди, — опять остановил его Люсин.

— Что еще?

— Так ты будешь писать роман или нет?

— Я же сказал тебе, что еще не решил!

— А ты решай, братец, решай поскорее. У тебя ведь конкурент есть. Как бы не опередил...

— Кто же это, интересно? Уж не ты ли?

— Нет, не я... Но писатель, можно сказать, мирового класса.

— Ты это серьезно?

— Вполне. Меня вчера шеф вызывал.

— По этому поводу? Врешь, старик! — Березовский опять поднялся и отряхнул колени. — По глазам вижу, что врешь.

— Чтоб мне моря никогда не видать! — Люсин кулаком ударил себя в грудь.

— Что-то ты больно веселый сегодня? — покачал головой Березовский. — Никогда тебя таким не видал. — И он опять пристально посмотрел на него, пытаясь понять причину неровного и столь непривычного настроения. Возможно, он о чем-то даже догадывался.

— Просто настроение хорошее, Юра. Более ничего... А насчет конкурента чистая правда. Я сам удивился. Чего-чего, а такого даже не предполагал! Понимаешь, Юр, к расследованию проявлял некоторый интерес один иностранный дипломат. Меня это сперва даже встревожило. Никак не мог понять, что ему нужно. Конечно, он по долгу службы обязан был справиться о ходе дела. Это так. Но, каюсь, я заподозрил тут нечто большее, чем служебный долг... И не ошибся. Хотя в то же время попал пальцем в небо. Как ты думаешь, кем оказался на самом деле этот дипломат?

— Шпионом?

— Нет. Писателем!

— Мирового класса, — ехидно поддакнул Березовский.

— В том-то и дело! На днях, конечно, по соответствующим каналам, мы уведомили посольство о результатах расследования. И что ты думаешь? Этот консульский чиновник самолично пожаловал к нам и буквально на коленях стал умолять сообщить ему подробности.

— Из этого вы тут же заключили, что он писатель. — Березовский насмешливо хмыкнул. — Да... Нечего сказать! Одно слово: кри-ми-на-ли-сти-ка.

— Ты погоди иронизировать! Нам еще до его прихода это было известно. Он пишет под псевдонимом и выпустил уже шестнадцать книг: «Тайна голубой комнаты», «Агент 47», «Случай в Альпах», «Лисы пустыни», «Правда о Красной руке» и так далее.

— Детективщик?

— Точно. Прославленный автор детективных романов Кэтрин Лонг!

— Кэтрин? Это же женское имя?!

— Он взял себе женский псевдоним. Между нами, конечно, их посол терпеть не может детективов и, кажется, даже не подозревает, кого пригрел под своим крылышком.

— Черт возьми! Вот это история!

— Да. Так будешь писать?

— Конечно, буду. Я ведь просто так, дурака валял.

— То-то... Тем более, что мой можно сказать, тебе аванс выдал.

— Как так?

— Очень просто. На униженную просьбу того господина он ответил весьма дипломатично. «Видите ли, — сказал он, — мы, конечно, с удовольствием познакомим вас с обстоятельствами дела. Но несколько позднее. Во-первых, следствие еще не закончено, во-вторых, материалы его будут переданы судебным органам. Кроме того, я уже обещал показать их одному нашему писателю, весьма талантливому, весьма. Ведь вы сами понимаете, об этом много писалось в ваших газетах, и нужно дать наконец общественности правдивую информацию. А так, конечно, никаких препятствий вам чинить не будут». Вот так он примерно и сказал. Понятно, что и виду не подал, будто ему известно, кто есть на самом деле эта Кэтрин Лонг. Здорово?

— Да, старик! Должен тебе сказать...

— Как ты, наверное, догадываешься, бедняга, узнав о конкуренте, сразу же потерял к этому делу всякий интерес. Мне искренне жаль его: парень он, видимо, неплохой. Но, как говорят французы, се ля ви! Ну ничего, не обеднеет, у него, наверное, масса других сюжетов. К тому же ты напишешь о ларце лучше.

— А ты почем знаешь?

— Что я, Кэтрин Лонг не читал?.. Ну, давай теперь открывай! А то мы все тянем, тянем...

Березовский попытался еще раз повернуть ключик, но тот дошел до упора.

— Подыми крышку, — посоветовал Люсин.

Но крышка не подымалась. Сундук оказался запертым. Впервые, может быть, за сотни лет.

— Вынь ключ

Березовский потянул к себе жемчужную розочку, и тяжелая крышка с мелодичным, как у музыкальной шкатулки, звуком откинулась, и днище чудесного ларца пошло вверх, боковые стенки наклонились, и весь он как бы вывернулся наизнанку.

Резные украшения оказались внутри, а нижняя доска вызывающе уставилась в потолок всеми четырьмя подшипниками.

— Что это? — хрипло спросил Березовский.

— Волшебный ящик, — сказал Люсин. — Как в цирке. Видел? — Он подошел к ларцу и незаметно для Березовского надавил какую-то скрытую пружину.

Доска с подшипниками тут же отъехала в сторону. Березовский заглянул внутрь, но там было все так же пусто.

— Ничего нет, — разочарованно сказал он.

— Ничего, — подтвердил Люсин. — Значит, ты все же надеялся?

Березовский кивнул, закусив губу.

— Тогда смотри! — Люсин боком пробрался мимо ларца к сейфу и торжественно распахнул его.

Все было так, как он задумал. За одним только исключением. Ларец Марии Медичи следовало открыть не Березовскому. Но об этом сейчас лучше было не думать. И Люсин продолжал парад, который не удался с первой же минуты.

— Вот! — сказал он, бережно вынимая из сейфа темный обоюдоострый кинжал с крестообразной ручкой. — Смотри!

Березовский, как лунатик, протянул руки и взял кинжал.

— «Aut Caesar, aut nihil», — чуть шевеля губами, прочел он полустертые и заплывшие буквы на рукоятке.

— «Или Цезарь, или ничто», — тут же откликнулся Люсин. — «Или быть первым, или ничем»... Девиз Брута!

— «Капитолийская волчица хранит завязку всей игры...» — Березовский присел на краешек раскрытого сундука, так и не подняв лица от лежащего на ладонях кинжала. — Неужели ему тысячи лет?

— Кто знает... — сказал Люсин. — Теперь смотри, что еще там было.

— Значит, ты открывал уже? — несколько запоздало спросил Березовский.

Люсин ничего не ответил и достал из сейфа почти черный от вековой патины, тяжелый серебряный пятиугольник.

— «Звезда Флоренции»! — тут же воскликнул Березовский. — Именно такой я ее и представлял себе... Значит, у нас есть все, кроме алмаза и четки?

— Все, Юра. Четка нам не нужна. Здесь тот же шифр, что и на подвязке. Погляди. — И он протянул Березовскому пятиугольник. — Тут объяснение и план того места, где, возможно, спрятано катарское сокровище. Все уже расшифровано. Возьми-ка у меня на столе подстрочный перевод..

Литое сердце пентаграммы[1]
Навеки в сердце унеси
Премудрость не на небеси —

Незримо воссияют грани,
Когда возвышенный смарагд
Рассеет вековечный мрак,

Стена падет перед глазами!
В седьмой найдешь ты указанье,
Как отыскать в скале Грааль
На том и кончится игра[2]

— Подведем итоги? — спросил Люсин.

— Да, старик... Только, знаешь, у меня что-то голова совсем не варит. Не знаю, на каком я свете. .

— Выходит, сон все еще длится?

— Угу. И просыпаться не хочется... С чего начнем? Мысли разбегаются.

— А ты не торопись, — посоветовал Люсин. — Хочешь, я чаю попрошу?

— Нет... Потом, отец. — Березовский перевернул звезду и нежно обвел пальцем причудливые линии. — Ты думаешь, это план?

— А что еще?

— Все может быть, конечно.. Но где находится это место?

— Ну ясно! — Люсин сделал вид, что упустил нечто важное. — Как я сразу не сообразил?! Ты же не знаешь еще, что было написано на подвязке!

— Не знаю, — покорно согласился утративший вдруг чувство юмора Березовский. — Покажи.

— Возьми сам. В той же папке.

Березовский, покопавшись в бумагах, нашел наконец листок с несколькими машинописными строчками. Это был третий, а может быть, и четвертый экземпляр.

— Торжествуешь? — Березовский понимающе хмыкнул. — Сам все единолично сотворил, а теперь выдаешь по капле?

— Да, Юр, в гомеопатических дозах. Знаешь, как дают воду алчущим от жажды морякам?.. Не сердишься?

— Нет, благодетель. Что ты?! Я б и сам не утерпел, — механически ответил Березовский, пробегая глазами строчки.

---

[1] Расшифрованная надпись дается здесь в стихотворном переложении Ю Березовского

[2] Буквальный перевод этой строфы звучит так «Тогда и свершится предназначенное»

«В лето от Р. Х. 1466-е, в день Всех Святых, когда король Португалии Альфонс V передал в пожизненное владение Изабелле Бургундской остров в архипелаге Ilhas Terceiras, рыцарь Эрве де Сен-Этьен и кавалер Гвидо Сантурино тайно перевезли туда Это. «Клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не выдавайте тайны!»

— И что ты уже знаешь? — спросил Березовский.

— Почти все. Ilhas Terceiras — португальское название Азорских островов.

— Но где именно?

— Слово на перстне, Юра. Перстень ведь тоже должен был когда-то сработать!

— Гвидо? Но это же имя?

— Так мы с тобой до сих пор думали.

— А теперь?

— Теперь это, по всей видимости, остров. В Большом атласе есть хорошая карта Азорского архипелага. Я отыскал на ней крохотный островок Гвидо. Это между Фаялом и Гарсиозой.

— Потрясающе, старик! Неужели сокровища до сих пор там?

— Ишь ты куда хватил?

— А что ты думаешь?

— Не надо заниматься химерами. Это уже не наша забота.

— Значит, ты доложишь обо всем? — Березовский ткнул палец в потолок.

— Конечно. Ты должен помочь мне составить докладную. Чтоб по научной части все было грамотно.

— Надо указать, что это дело первостатейной важности. Кто знает, может, от него зависит весь дальнейший ход научного прогресса! Это же...

— Вот ты и изложи коротенько... Только так, чтоб это поменьше смахивало на сказку. Понял? Сделай посуше.

— Выходит, дело в архив не сдается? Следствие продолжается?

— Там посмотрим... А пока давай-ка наведем справку об этом острове. Начальство любит, когда все лежит на столе готовенькое. Начальству некогда рыться в справочниках.

— Надо выписать из Ленинской лоцию Атлантики.

— У меня есть. Я, слава Богу, Атлантику вдоль и поперек избороздил.

— Ну да, ты же штурман...

— Бывший.

— И на Азорские заходили?

— Нет. Чего не было — того не было.

— Не важно.

— И я так думаю.

— У меня такое впечатление, что нам только кажется, будто мы многое знаем, — сказал вдруг Березовский. — На самом деле мы не знаем почти ничего.

— Как так? — удивился Люсин.

— Это же история. Вот лежат перед нами всякие древние вещицы, а что мы знаем о них? О каждой можно было бы написать роман. Нам известно лишь грубоутилитарное назначение, да и то недостоверно. Из сотен свойств мы знаем лишь одно, возможно, случайное. И можем только гадать о всем многообразии связей. Прошел тайфун, а мы видим лишь тающий туман на стекле. Но даже его не осталось на вещах, вокруг которых гремели грозы людских страстей, бушевали такие тайфуны. Нет, мы ничего не знаем, старик, ровно ничего. Можем лишь только догадываться. Что дает нам наша реконструкция, наша с позволения сказать схема? Монсегюр — папский легат — Флоренция или же неаполитанский двор? Что мы знаем о них? А дальше? Генрих Наваррский — тамплиеры — розенкрейцеры — Калиостро и дело об ожерелье? Мы сочинили некое подобие железнодорожного расписания, но разве оно заменит живую, полнокровную жизнь? Даже если основные вехи верны, то кто нам скажет, как блуждал по ним наш ларец? Кто те люди, которые доставили его с Мальты в Петербург? Какие страсти кипели вокруг них? Кто с кем боролся, кто погиб и кто победил? Нет ответа, нет ответа!

— Ну, так ли уж нет? Кое-что мы ведь знаем.

— Что, дорогой? Что? Ты можешь сказать мне, куда делся красный алмаз? Кто и при каких обстоятельствах подменил его шпинелью? Мы даже не догадываемся о том, чем был этот алмаз столь ценен и знаменит. Ничего мы не знаем.

— Не впадай в крайность, Юра. У меня, в частности, есть заключение специалиста по поводу кинжала.

— Да? — Березовский хотел еще что-то сказать, но вдруг сбился и только переспросил: — Да? И что?

— Он, понимаешь, изготовлен в конце восемнадцатого — в начале девятнадцатого века. А ты говоришь, что мы ничего не знаем!.. То есть мы действительно ничего не знаем. — Люсин улыбнулся и махнул рукой.

— Погоди, старик, я ничего не понимаю!

— А я, думаешь, понимаю?

— Постой, постой... Может быть, его специально изготовили революционеры тех лет... Мало ли зачем он мог им понадобиться? — Юра уже вновь увлеченно размахивал рукой. — Это был символ борьбы с тиранией. Кроме того, на нем они могли давать клятву...

— Ладно, ладно, — остановил его Люсин. — Это уже по твоей части... Давай-ка мы наведем сейчас справки об этом островке.

— Гвидо?

— Угу! — Люсин прошел к телефону и соединился со специальной справочной, назвав абонентский пароль. — Не могли бы вы дать мне сведения об острове Гвидо в группе Азорских островов?.. Да, Гвидо. Григорий — Вероника — Иван — Данил — Ольга... Хорошо. Я подожду, девушка... Спасибо.

Пока он ожидал ответа, Березовский вновь взял в руки кинжал и стал осматривать его с недоверчивой, критической усмешкой.

— Да, да! — сказал Люсин в трубку. — Как нет?.. Что?! На самом деле?.. Очень жаль... Очень!.. Спасибо, извините, пожалуйста! Боюсь, что мы опоздали, — сказал он, положив трубку. — То есть мы действительно опоздали!

— В чем дело?

— В 1957 году вблизи острова Фаял произошло извержение подводного вулкана, и островок Гвидо ушел на дно. Зато рядом с Фаялом появился новый, но это вряд ли нас может утешить. Верно? Мы немного опоздали...

— Вот это удар!.. Чувствуешь руку судьбы, старик?

— Очень жаль, Юра. Действительно, чертовски жаль... Но вдумайся хорошенько, загляни на самое дно души... Понимаешь, погибли какие-то неведомые нам сокровища, может быть, что-то очень ценное, но... вряд ли уж такое необыкновенное... Согласись! Ты же историк! Разве археологи хоть однажды нашли что-нибудь такое, которое... Одним словом, чудес в мире нет, Юра. Скорее всего, их и не было.

— Но...

— Погоди! Я знаю, что ты хочешь сказать! Конечно, раскопки на острове Гвидо, если бы они только стали возможными, могли бы обогатить историческую науку. Даже, допускаю, сделали бы в ней переворот. Но — ты сам это сознаешь, только не хочешь признаться, не желаешь расстаться с мечтой! — они, я думаю, ничего бы не добавили к тем фундаментальным — понимаешь: фундаментальным! — истинам, на которых стоит современное знание. Чудеса возможны только в сказке. Утешимся же тем, что хоть сказка осталась, несмотря ни на что. Извержение подводного вулкана уничтожило древнее, таинственное, может быть, сокровище катаров, но оно же спасло тем самым сказку, легенду о нем... И легенда эта переживет века.

— Как ты думаешь, он знал обо всем? — спросил Березовский.

— Кое-что, наверное, знал. — Люсин сразу понял, о ком его спрашивали. — Но мы наверняка знаем сейчас куда больше. Вообще мы знаем об этом деле больше, чем кто бы то ни было начиная по крайней мере со славного короля Генриха.

— Я не про то... Скажи мне лучше, за чем охотился этот гад? За сокровищами? Я, конечно, о деньгах говорю, не о тайне.

— Не знаю! — развел руками Люсин. — Но думаю, что деньги во всяком случае его интересовали больше всего. Такая уж психология... Ведь даже не будь этих тайн и неведомых сокровищ, наш ларчик — прости за плохой каламбур — открывался просто... Мне принесли английский ежегодник «Whitaker» за 1970 год. Там есть статья «Исчезнувшие сокровища», в которой говорится и о ларце Марии Медичи. Так вот, по оценкам специалистов, он котируется на сегодняшний день в четыреста — четыреста пятьдесят тысяч долларов... Как видишь, игра стоила свеч. Можно было, как гово-

рится, ставить на один только сундук. Дело того стоило. У меня нет прямых доказательств, но я тем не менее не сомневаюсь, что охотился он в основном именно за сундуком. Иначе зачем была ему нужна антикварная мебель? Не раз, наверное, не два он справлялся там о старинном сундуке эбенового дерева. Готов был любой купить, продавца торопил, бакшиш сулил, понимаешь... Зачем?

— Действительно: зачем? Он же знал, где находится настоящий сундук?!

— В том-то и дело! А вся суть в том, что сундук из антикварной мебели ему был совершенно не нужен... Вот так, Юр. Ему товарный чек был нужен, чтобы предъявить его на таможенном досмотре и преспокойно вывезти этот наш ларец.

— И такое могло сойти? — удивился Березовский.

— Очень даже свободно. Думаешь, там искусствоведы сидят? К тому же сундук — он и есть сундук. Это тебе не картина, не статуя... Так что план он разработал неплохой.

— Пожалуй, ты прав... Может, раньше, до войны еще, он и занимался катарскими тайнами, но теперь его интересовал только ларец, точнее, те сотни тысяч, которые за него можно было получить... Итак, дело закончено?

— Да, Юр, дело закончено, — кивнул Люсин.

— Но мы не бросим поиски?

— Если позволит жизнь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мало ли что... — уклончиво ответил Люсин. — Разве все предусмотришь? Только несколько минут назад мы даже не подозревали, что где-то в океане опустился на дно остров...

— И все же звезды солгали. Игра на этом не кончилась.

— Да, звезды солгали. Игра не кончилась, — согласился Люсин.

Летом 1980 года, когда на киностудии «Мосфильм» шли съемки фильма по роману, автор получил редкостный подарок — букетик засушенных диких трав и несколько камешков из Монсегюра. К этому своеобразному посланию из дали времен был приложен примерный набросок тайных подземных галерей, которыми буквально пронизана неприступная скала. Нет, «игра не кончилась». Энтузиасты-археологи уверены, что основные сокровища катаров остались где-то здесь, в помеченном тайными знаками лабиринте.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД ЗНАКОМ КОЛЬЦА 5

ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ

Глава 1. АМЕТИСТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ 25
Глава 2 СТАРАЯ КАЛУЖСКАЯ ДОРОГА 42
Глава 3. СВЯТАЯ «ТРОИЦА» 51
Глава 4. ВЕРА ФАБИАНОВНА И ЛЕВ МИНЕЕВИЧ 62
Глава 5. ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ СВЕРШИТСЯ 79
Глава 6. КОВЧЕГ ГРААЛЯ 93
Глава 7. ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ (в Москве) 103
Глава 8. ФИЛИПП КРАСИВЫЙ 117
Глава 9. ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ (в Ленинграде) 128
Глава 10. БЕДА 152
Глава 11. ГЕРЦОГ-КАРДИНАЛ 160
Глава 12. ВЕЧНОЕ ИСКУССТВО 169
Глава 13. ТАМПЛИЕРЫ 177
Глава 14. СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ 189
Глава 15. МАДАМ ЛОКАР 197
Глава 16. ОБЕД НА ВЕРАНДЕ 207
Глава 17. ЛЮЦИФЕР СВЕТОЗАРНЫЙ 214
Глава 18. К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ 231
Глава 19. ПЕРВОЕ УБИЙСТВО 237
Глава 20. ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ 253
Глава 21. ВЫСТРЕЛ ИЗ-ЗА ЗАБОРА 262
Глава 22. «ОГНИ СВ. ЭЛЬМА» 271
Глава 23. ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ 279
Глава 24. ДЕЛО ОБ ОЖЕРЕЛЬЕ 288
Глава 25. ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 311
Глава 26. К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ 320
Глава 27. ПИТОНЬЕ СЧАСТЬЕ 326
Глава 28. СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА 332
Глава 29. ИЗ БЕЗДНЫ 342
Глава 30. «АННА ИВАНОВНА» 358
Глава 31. ПОДВОДНЫЙ ВУЛКАН 365